

Борис Захаръ - съ [ср.] [ср.] - ЛИНЗЪ ТУРГЕНЕВА - 4

БОРИС ЗАХАРЪ

ЛИНЗЪ
ТУРГЕНЕВА





БОРИС ЗАЙЦЕВ

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**

**ЖИЗНЬ
ТУРГЕНЕВА**



**РОМАНЫ-БИОГРАФИИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ**

Москва

<< РУССКАЯ КНИГА >>

1999

УДК 82
ББК 84Р
3-17

Составитель, автор примечаний и указателя имен
Т. Ф. Прокопов

Издание осуществляется при участии дочери писателя
Н. Б. Зайцевой-Соллогуб

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Зайцев Б. К.

3-17 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. Жизнь Тургенева:
Романы-биографии. Литературные очерки.— М.: Русская
книга, 1999.— 544 с., 1 л. портр.

В пятом томе собрания сочинений выдающегося прозаика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Зайцева (1881—1972) публикуются его знаменитые романы-биографии «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954), а также статьи об этих писателях, дополняющие новыми сведениями жизнеописания классиков. Том открывается мемуарным очерком известного философа и публициста русского зарубежья Федора Степуна.

УДК 82
ББК 84Р

ISBN 5-268-00429-8
ISBN 5-268-00402-6

© Прокопов Т. Ф., 1999 г.,
состав, примечания, указатель имен.

**БОРИСУ КОНСТАНТИНОВИЧУ
ЗАЙЦЕВУ —
К ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ¹**

Всякий подлинный писатель, писатель от рождения и по призванию, отличается от пишущего и пописывающего рассказы, романы и статьи дилетанта тем, что его можно сразу же узнать по тому особенному воздуху, которым дышат его строки и который мы вдыхаем, читая его. Б. К. Зайцев большой, настоящий писатель, потому что все его вещи исполнены своей особой атмосферы и написаны особым почерком. Было бы, однако, неверно говорить, что почерк Зайцева во всех вещах один и тот же. Почерки «Голубой звезды», «Улицы Святого Николая», «Анны» и «Древа жизни» весьма различны: все они явно зайцевские, но Зайцев являет себя в них весьма по-разному. Если бы это было не так, зайцевский стиль давно превратился бы в манеру. В превращении стиля в манеру еще Гете усматривал смерть искусства.

Для стиля Зайцева характерен задумчивый, подернутый грустью лиризм. Зайцевская печаль всегда медитативна. Эти свойства Зайцева усиливаются по мере приближения описываемого сюжета к России. Лиризму не свойственны размашистые жесты и внезапные удары голоса. В лиризме Зайцева больше вдоха, чем стона. Печаль его светла.

Природа лиризма родственна природе музыки. «Голубая звезда» и «Дом в Пасси» исполнены зайцевской музыки. С этой музыкой связана и степень пластичности выведенных им персонажей. Они очень видны, очень пластичны, как в психологическом, так и в социологическом смысле. Но они пластичны пластичностью барельефа, а не скульптуры. Они как бы проплывают перед читателем, но не останавливаются перед ним. Они не скульптурны. Их нельзя обойти кругом. В искусстве Зайцева, взятом в целом, нет толстовского начала. Но это не недостаток его творчества, а его особенность, связанная прежде всего с религиозной настроенностью его души. Двухмерное изображение Алексия Божьего человека на иконе вполне естественно, но Божий человек, трехмерно высеченный из мрамора, уже проблематичен.

Особенной взвиренной музыкой исполнена «Улица Святого Ни-

¹ Из книги. Федор Степун. Встречи. Изд 2-е. Нью-Йорк, 1968.

колая». Короткие предложения, все главные, придаточных нет, несутся с быстротой предгрозовых туч: «Страшный час, час грозный — смертный час — призыв». Но эта взволнованная революцией музыка исполнена, что, может быть, не каждый сразу заметит, чуть ли не в каждой фразе молниеносными анализами октябрьских дней. Даны и партии и отдельные люди. Слышен бокальный звон предреволюционных либеральных банкетов в «Праге», но и тяжелый шаг командора подходящей революции.

Зайцева очень часто называют акварелистом. Это определение верно, как характеристика общего фона зайцевского творчества. Но вот «Анна», — одна из лучших, написанных Зайцевым, но, быть может, не типичных зайцевских вещей, — очень далека от акварели. Это уже настоящая масляная техника. В этой повести первых революционных лет все образы трехмерны; они не реют в воздухе, но тяжело оседают к земле. Латыш-фермер, честная докторша, от которой пахнет гуманизмом и Йодоформом, горячая русская девушка Анна — все эти образы исполнены стереоскопической пластичности. Сцена, в которой Марта с Анной режут свиней, чтобы они не достались Советам, написана так, что сквозь нее видно, как большевики убивают людей. Второй такой вещи у Зайцева нет, но ее отголоски есть в других рассказах того же периода.

«Тишина», «Древо жизни» — это возврат Зайцева на свою исконную духовную родину, возврат в предреволюционную Россию, в близкую Зайцеву с юных лет греко-латинскую Европу и в православную церковь. Триединому образу этого мира, как он раскрывается не только в беллетристических произведениях Зайцева, но прежде всего в «Афоне», в книге об Италии и в его трех монографиях о Жуковском, Тургеневе и Чехове и посвящена, в качестве приветствия Зайцеву к его восьмидесятилетию моя статья.

* * *

Когда Глеб, как Б. К. Зайцев именуется себя в своем автобиографическом романе «Путешествие Глеба», после тяжелой болезни в 1922 году уезжал за границу, он, вероятно, надеялся, что еще вернется, как надеялись и мы, осенью того же года административно высланные писатели и ученые. Мечты всех нас не сбылись и утешать себя надеждой, что они еще сбудутся, больше не приходится. Но все же есть у нас свое эмигрантское утешение, которое я благодарно почувствовал, перечитывая наиболее любимые мною произведения Бориса Константиновича. Большевицкая власть изгнала Зайцева за пределы родины, но родина, породившая и выпестовавшая его, ушла с ним на чужбину и на чужбине явила ему свое «заботой отуманенное прекрасное лицо».

«Эмиграция,— пишет Зайцев,— дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времен — Россию «святой Руси», которую без страдания революции, может быть, и не увидел бы никогда».

«Святая Русь» — термин славянофилов, еще в большей степени термин Достоевского, но у Зайцева он значит нечто иное. В зайцевском патриотизме нет ни политического империализма, ни вероисповеднического шовинизма, ни пренебрежительного отношения к Европе. Его патриотизм носит чисто эротический характер, в нем нет ничего, кроме глубокой любви к России, даже нежной влюбленности в нее, тихую, ласковую, скромную и богоисполненную душу русской природы, которую Зайцев описывает отнюдь не как «передвижник»-реалист, но с явным налетом творческой стилизации. То, что он говорит о русском яблоневом саде, распространяемо на всю русскую природу. Вся Россия для Зайцева — некий «скромный рай». Мстель у него не просто метель, а некое «белое действо». Ока впадает у него не в Волгу, а в вечность, жеребенок на холме — не просто жеребенок, а призрак. «Орион», «Сириус», «голубая звезда Вега» вечно сияют у Зайцева над скромной нищей русской земли, удостаивая ее и украшая за ее тишину.

Особенность зайцевских описаний природы в том, что, несмотря на их чуждую Чехову тронутость «символическими означенаниями», они никогда не теряют своей простоты и естественности и не приобретают патетического или хотя бы только возвышенного характера. Вот завязло колесо телеги в непролазной русской грязи, застрял на этом колесе и глаз писателя, а он восклицает, даже с каким-то особым лирическим волнением: «Что же поделаешь! Это родина, Россия!» Так восклицает, что невольно и сам подумаешь: не дай Бог начать у нас прокладывать шоссе или строить вместо задумчивых паромов железнодорожные мосты через реку. Тогда все пропадет.

Редкая среди русских писателей начала века встреча близкого Чехову импрессионистического реализма с явно символистическими моментами указывает на то место, которое Зайцев сразу же занял среди близких ему писателей.

Хотя Зайцев, как он рассказывает в заметке «Молодость — Россия», принадлежал к московской группе писателей-реалистов, генеральный штаб которой находился в горьковском издательстве «Знание», он с ними имел мало общего, хотя в молодости и отдал обязательную дань революционным увлечениям. Подобные черной молнии буревестники никогда не носились над его творчеством; в своих романах он никогда не занимался социальными анализами политической и экономической отсталости России, очень отличаясь в этом отношении от Горького, Шмелева, Куприна, Юшкевича и многих других. Стоя политически на

правом фланге этих писателей-общественников, он, однако, как сам отмечает, вместе с Леонидом Андреевым представлял собою «левое модернистическое крыло», как стилистически, так и мирозерцательно очень еще далекое от символизма, но все же чем-то с ним перекликающееся. Сближая себя с Андреевым, Зайцев сближает Андреева с Александром Блоком.

«На самых верхах культуры,— пишет он,— Блок, может быть, выражал уже роковую трещину, которую простодушнее и провинциальнее выражал Леонид Андреев: все-таки они друг к другу тяготели, что-то у них было общее».

Это общее, соединявшее Блока, Андреева и Зайцева, было, как мне кажется, не столько ощущение «роковой трещины», которую чувствовали и все социалистические буревестники, сколько чувство наличия в жизни и прежде всего в истории некоей сверхисторической реальности. Блоку это чувство подсказало образ Христа во главе красноармейцев:

В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос.

На этот образ (из дневника Блока мы знаем, что появление Христа к концу поэмы для самого Блока было неожиданно и неприятно и что он долго ждал, чтобы Христос ушел из поэмы, чего тот, однако, не сделал) напала в свое время почти вся антикоммунистическая Россия, но вряд ли с достаточным основанием. Признавая, что без революции он, быть может, никогда не почувствовал бы святой Руси, Зайцев в сущности довольно близко подходит к вере Блока, что революция в своих бессознательных глубинах чем-то связана со Христом. Надо только, как правильно пишет Л. Ржевский, рассматривать «Двенадцать» не как поэтический репортаж, а как символ еще далекого грядущего возрождения. Лично мне думается, что не только Блок цикла России и стихов об Италии, но даже Блок «Двенадцати» все же много ближе Зайцеву, чем Леонид Андреев, от которого Борис Константинович весьма отличается своим духовным аристократизмом или, скажем проще, культурой. Что у Андреева был талант и даже очень большой талант, отрицать нельзя; почти в каждой из его вещей найдется несколько изумительных страниц, но в целом его творчество — плод обязательной эпохальной наглости («Капитанская дочка надоела, как барышня с Тверского бульвара») и мучительной мирозерцательной изжоги, вызываемой «проклятыми вопросами» жизни,— производит тяжелое впечатление. Сплюснутый Достоевским — карамазовским неприятием мира и защитой зла старцем Зосимой,— Андреев то вскинет кулаки отца Василия Фивейского против «несуществующего Бога», то провозгласит устами желторотого студента: «Стыдно быть хорошим». Причислять Андреева к символистам, хотя бы в том приблизительном смысле, в каком это возможно по отношению к Зайцеву, нельзя.

«Царь-голод», «Красный смех», «Жизнь человека» — все это отнюдь не видимые означенности вещей невидимых, а густо, размашисто, красочно, но часто и весьма аляповато написанные изображения того жизненного хаоса, в котором жил и которым мучился Андреев. С символизмом эти плакатные аллегории имеют мало общего. Не чувствуется за ними никаких далей, — ни исторических, ни культурных. Иногда, правда, мелькнут влияния Ницше, Шопенгауэра и более сильное Эдгара По, но все это так: «то флейта слышится, то будто фортепьяно», не больше.

Почти так же выгодно, как от Андреева, отличается Зайцев и от Шмелёва, которого патриотически настроенная церковная эмиграция в общем предпочитает Зайцеву. И тут дело опять-таки не в размерах таланта, а в различии духовных обликов обоих писателей. Открытый и выдвинутый Горьким Шмелев сразу же, как и Андреев, занял левую позицию. Революцию он не только предвидел, но и с нетерпением ждал. Когда же она пришла не такой, какой она ему виделась, он, писатель крестьянского корня, со слепой страстью восстал против нее. Оставаясь по темпераменту революционером, он стал ярким почвенником: патриотом и церковником. Но так как почва революции не терпит, то в его патриотизм и в его православие не могли не ворваться ложные ноты. Праведная любовь к родине-матери у него обернулась заносчивым шовинизмом и похвальбою славянской русской кровью, а православная вера — той чрезмерной эмоциональной душевностью, для которой евразийцы изобрели весьма красочный и точный термин «бытового исповедничества». Нет спору — картины бытового исповедничества написаны Шмелевым с громадным талантом, горячо, искренне, ярко, но до мистически-духовного плана веры они едва ли возвышаются, — а ведь веровать можно только в дух, а не в быт.

Я подробнее остановился на реалистах-знаньевцах, Андрееве и Шмелеве, чтобы определить то место, которое Зайцев занимает в русской литературе. Я уже сказал, что за Андреевым не чувствуется ни дали истории, ни дали культуры. Его сумбурно-вдохновенное, незадачливо-талантливое творчество — это фонтан, бьющий из собственного подземелья. То же самое можно сказать и о творчестве Шмелева — оно тоже выросло на сочном подножном корму, — но никак не о Зайцеве. За ним стоит как даль истории, так и даль культуры. Имя этой двойной дали, завещанное ему родом его матери, — Данте Алигьери. Этим величайшим поэтом своего времени (1265—1321), многосторонним ученым — богословом, философом, историком, литературоведом, — и приговоренным к смертной казни эмигрантом, Зайцев и как исследователь, и как переводчик с неустанным благоговением занимался всю свою жизнь.

В «Древе жизни» есть замечательные страницы о встрече Глеба с Данте. Психологически и художнически весьма интересно, что описание

этой встречи Зайцев начинает словами: «Данте встретил Глеба», а не как было бы более естественно — «Глеб увидел памятник Данте».

«Данте стоял на каменном пьедестале в венке из лавра, всегда похожем на терновый венец.. Данте был безглаголен... Глеб сидел, молчал и сам наполнялся безглагольной вечностью... Данте смутно белел в нескольких шагах — и в этой тишине вдруг сверху медленно, винтообразно, кружась в полете, несколько таинственно начало спускаться голубиное перо — маленькое и легкое, оно село на плечо Глеба. Оно было почти невесомо. Откуда пришло? Голуби спали... Глеб снял его в некоем волнении. Данте безмолвно стоял. Данте был совершенно безмолвен».

На следующее утро Глеб рассказал о случившемся жене и дочери и показал им перо, принятое женщинами не то как посвящение, не то как обещание помощи и охраны. Но чтобы никто не подумал, что и сам Зайцев мог придать спустившемуся к нему перу такое символическое значение, он к словам Элли: «Мы его всюду будем возить с собой и будем его любить», целомудренно прибавляет: «Элли любила такие штуки».

Надо ли говорить, что образ Данте неразрывно связан у Зайцева с образом Италии, его второй духовно-астральной родины. О ней он написал очень живую личную, проникновенную книгу, кончающуюся такими близкими всем, кто жила в Ассизи, словами:

«Смерть грозна и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые — как бы легкой радужной арки вечности».

Как глубоко ни любил Зайцев Данте и Италию, он, конечно, никогда не был русским западником, хотя бы уже потому, что любимый нашими западниками Запад был, если не считать русских католиков, порождением атеистического просвещения XVIII века. Но, как было уже сказано, нельзя причислять Зайцева и к славянофилам. В нем две души: поклонник древней Эллады, он одновременно и исповедник византийского православия. Это творческое единодушие отнюдь не означает мирозерцательного двоедушия, как прекрасно показал в своей обстоятельной рецензии на «Афон» Федотов. Да, он прав: Зайцев действительно принес на Афон смиренную готовность принять, не рассуждая, открывшийся ему особый мир, но в то же время и зоркий взгляд, изошренный только что проплывшим перед ним волнующим образом Эллады и опытом давних итальянских странствий. Паломник Зайцев повествует о ночных службах, о бессонном, голодном трудовом подвиге Афона, аскетически суровом, как встарь. А художник напоминает очарование фракийской ночи, горизонты моря, ароматы жасминов и желтого дрока и ему сладко улавливать сквозь напевы заутрени звук мирской — дальний гудок парохода. После поэзии послушания, трудов и поклонов — вдруг перед фресками Панселино долгий сдержанный возглас: «Гений есть вольность!» Нет преграды — все возможно, все дозволено.

До чего глубоко жило в Зайцеве это чувство свободы, доказывается тем, что свой «Афон», с его широко открытым видом на древнюю Элладу, он писал после работы над житием Сергия Радонежского (книга вышла в Париже в 1925 году), потребовавшей от него тщательного изучения житийной литературы. Этот же святоотеческий мир породил один из лучших рассказов Зайцева «Алексий — Божий человек», дальние — по духу — родственники которого постоянно встречаются в рассказах Зайцева.

* * *

Историки литературы очень любят исследовать вопросы о зависимости писателей друг от друга и о влиянии предшествующих на последующих. Мне лично эта литературоведческая традиция представляется малопродуктивной даже и с чисто научной точки зрения. То, что один писатель своим творчеством напоминает другого, очень часто объясняется не влиянием, не воздействием одного на другого, но сродством их душ, а потому и стилей. Стиль и душа неотрывно связаны друг с другом. Установление этих созвучий гораздо важнее, чем установление влияний. О том же, кто из русских писателей Зайцеву наиболее созвучен и за что им любим, он сам рассказал в своих трех монографиях о Жуковском, Тургеневе и Чехове.

Написаны все три монографии по-зайцевски. Не извне, а изнутри. С интуитивным проникновением в жизненные судьбы любимых им авторов и с повышенным вниманием к религиозным темам их творчества; по отношению к Чехову это подчеркивание религиозной темы кажется на первый взгляд не вполне оправданным, но при более глубоком проникновении в зайцевское понимание Чехова, оно все же убеждает. Очень важно и ценно в этих монографических работах Зайцева и то, что жизни писателей и развитие их творчества даны на тщательно изученном и прекрасно написанном фоне русской культурной и общественной жизни. Это прежде всего относится к Тургеневу и к Жуковскому. В меньшей степени — к Чехову. Но все же и за ним стоит фон нашего времени.

Считая Жуковского истоком русской поэзии, Зайцев не преувеличивает ни его художественного дара, ни числа его бесспорных творческих удач. Он лишь отмечает особенности его поэтического дарования: «легкозвонную певучесть» его голоса, «летучий сквозной строй» его стиха и «спиритуалистическую легкость» его поэзии. Восхваляет он его лишь указанием на то, что в Жуковском впервые раздалась те звуки, что создали славу великого Пушкина. Жуковский,— пишет Зайцев,— русский Перуджино, через которого войдет, обгоняя и затмевая его, русский Рафаэль.

Тхоржевский в «Истории русской литературы» упрекает Зайцева в

том, что он в своей «мастерской книге» о Жуковском стилизует поэта под святого. Упрек этот, мне кажется, неверен уже потому, что Зайцев многократно называет Жуковского романтиком. Романтизм же, не отделимый от той или иной формы религиозности, со святостью никак не соединим. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно попытаться назвать Серафима Саровского романтиком. А кроме того, Зайцев подчеркивает, что Жуковский — «Скорее прожил жизнь около церкви, чем в церкви». «Церкви он несколько боялся, как бы стеснялся, духовенство знал мало... Его религиозность носила всегда очень личный характер»...

Одной из наиболее характерных черт этой личной религиозности Жуковского надо считать прирожденное целомудрие. «В 22 года никаких Лаис и Дорид пушкинской юности» и ни одной «Афродиты Пандемос, в поощряющих условиях крепостной распущенности». Характерна для Жуковского также его исключительная покорность судьбе и терпеливое несение ее привередливых решений. Долгие годы ждал он, что его далекая родственница, Маша Протасова, станет его женой, но умолить ее мать на согласие не смог. Когда Маша без большой любви вышла замуж за милого доброго профессора Дерптского университета Мойера, Жуковский и его светло и благодарно принял в свою душу. Был он и исключительно добр. Когда сестра Маши выходила замуж, он продал свое небольшое владение, чтобы помочь бесприданнице. Освободил он и своих крестьян от крепостной зависимости.

Жуковский жил в очень бурное время — французская революция, Отечественная война, декабрьское восстание, — и жил он в нем внешне весьма активно. Редактировал «Вестник Европы», участвовал в Бородинском сражении; попав в штаб Кутузова, писал приказы по воинской части; 32 лет был приглашен ко двору, куда впоследствии переехал в качестве воспитателя наследника, будущего царя Александра II. Подолгу жила Жуковский и за границей. Встречался с Гоголем в Риме, с Тютчевым в Париже. Чувствовал себя всюду очень хорошо, как бы дома, но одновременно все же и странником, готовым в любой момент покинуть милую землю. «Всегда, с раннего детства, — подчеркивает Зайцев, — ощущал Жуковский остро бренность жизни». Всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

Вчитываясь в зайцевскую монографию, я не раз спрашивал себя, чем объяснить ту легкость и то благородство, с которыми Жуковский справлялся со своей в личном плане трудной, а в историческом плане даже и бурной жизнью. Никакими исключительными силами он не обладал: ни полновесной верой, ни лично выношенным глубоким мирозерцанием, ни непоколебимой волей; не было в нем никакой твердыни, ни гранитной, ни стальной, — а вот справлялся же! С пленительной «спиритуалистической легкостью», с сомнамбулической уверенностью вел он «по звездам» свой корабль к последней земной

гавани, «откуда в таинственном благообразии и отчалил» к далеким берегам. Этим замечательно нарисованным образом Жуковского Зайцев много сказал и о себе.

* * *

«Жизнь Тургенева» — вещь не менее интересная и существенная, чем «Жуковский». Кто ее прочтет, узнает очень много точного, а быть может, для себя и нового о духовной жизни России первой половины XIX века. Ее общественно-политический и культурный фон разработан, быть может, еще тщательнее, чем в монографии о Жуковском. В книге вряд ли отсутствует хотя бы только одно более или менее значительное имя тургеневской эпохи. Объясняется обилие выведенных Зайцевым в его «Тургеневе» лиц тем, что Тургенев подолгу жил за границей, в Германии, где учился в университете, в Италии, в Париже и Лондоне, всюду встречаясь с эмигрантами и легко вращая в среду западноевропейских писателей.

Само собой разумеется, что духовное становление Тургенева, рост его славы, достигшие своего апогея после выхода «Дворянского гнезда», а в дальнейшем расхождение либерала-западника с революционным течением молодежи, нападки на «Отцов и детей» и «Новь», пушкинские торжества, чувство обиды на родину, одиночество, знаменитое «Довольно», так зло осмеянное Достоевским, воссозданы Зайцевым с увлекательной живостью и осмотрительной справедливостью, но не в этом значение книги. В ней важен и интересен не образ всем образованным людям известного Тургенева — западника, либерала, позитивиста и вдумчивого наблюдателя быстрых изменений в обществе, но иной, как бы ночной образ Тургенева с его страхами, страстями, печалью и причудами. Этот образ заинтересовал Зайцева в связи с его собственными проблемами, между прочим, как мне кажется, и с взаимоотношением благодатной любви и легкой смерти. Это значение ночного Тургенева для творчества Зайцева заставляет нас глубже вникнуть в его работу о нем.

В 1848 году, вращаясь в Париже в кругу Анненкова, Герценов, Тучковых, Тургенев производил странное впечатление, совсем не вяжущееся с его общественным обликом барина, западника и либерала. У Н. А. Тучковой он устраивал всякие «штуки»: просил позволения кричать петухом, влезал на подоконник и замечательно кукарекал, драпировался в мантию и разыгрывал сумасшедшего. Огромные серые глаза его сверкали, он изображал страшный гнев. Никого это не забавляло и никому от этого не было смешно, вероятно, всем было очень грустно. Наталья Александровна Герцен, которой тургеневские выходы были особенно не по душе, находила, что в нем чувствуется что-то холодное и неживое. Зайцев об этом прямо не говорит, но он

все же между строками как будто указывает на то, что впечатление холодности и безжизненности Тургенев производил оттого, что в нем с ранних лет жил страх смерти.

Уже во время путешествия из Петербурга в Любек, когда на пароходе вспыхнул пожар, он, хотя положение было отнюдь не остро опасно, неистово кричал: «Не хочу умирать, спасите!» Только еще сорока лет от роду он, путешествуя по Италии, «упорно думал о смерти». Эти думы и страхи вызывали в нем жуткие галлюцинации. Беседуя за столом, он видел рядом со своим собеседником его скелет; еще страшнее, что иногда, очевидно не справляясь с собой, он совершал как будто совсем уже безумные поступки.

Живя в Париже в одинокой комнате, он как-то насмерть загрустил. Шторы в комнате раскрашены, разные фигуры изображены, узорные, очень пестрые. Он смотрит, смотрит, потом подымается, отрывает штору, делает из нее длинный колпак, аршина в полтора, становится в нем носом в угол и стоит. «Тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой. Наконец, мне стало весело». Что все это значит? «Вот вам и голубоватые «Записки охотника»,— восклицает Зайцев, заканчивая рассказ.

Изредка становится в угол, спиной к миру, Тургенев, конечно, мог. Но нормально он жил, обернувшись к нему лицом. О том, как он себя чувствовал под конец жизни в мире, свидетельствует выписка из дневника 1877 года:

«Полночь. Сажусь за своим столом, а на душе у меня темнее темной ночи. Могила словно торопится поглотить меня; как миг какой-то пролетает день, пустой, бесцельный, безответный. Смотришь, опять валиться в постель. Ни права жить, ни охоты нет: делать больше нечего. Нечего ожидать и нечего даже желать».

Эти потрясающие строки пишет отнюдь не смертельно больной Тургенев. Только год тому назад он виделся в России с баронессой Вревской, которой спустя год, т. е. в том же году, которым датирована выписка из дневника, писал: «С тех пор как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать Вами». В 78-м году он торжествует на международном литературном конгрессе в Париже, где, будучи избран вице-председателем, произносит свою известную речь о русской литературе: «Сто лет назад мы были вашими учениками, теперь вы нас принимаете, как своих». После парижского конгресса он едет в Россию, где дважды дружески гостит в Ясной Поляне. Во второй приезд вместе с Толстым, работающим над изложением своего евангелия, он ходит на тягу. «Почему,— прибавляет Зайцев,— мирных птиц, любовью влекомых, стреляли непременно Толстой и отдавший свою жизнь любви Тургенев, понять нельзя». В 1880 году Тургенев участвует в открытии памятника Пушкину. Перечисляя все эти доказательства, что Тургенев, ждавший смерти,

проявлял все же большую деятельность и испытывал лирические чувства, нельзя умолчать о его последнем увлечении Марией Гавриловной Савиной. В феврале он часто виделся с нею в Петербурге, а через некоторое время, встретив ее на вокзале в Миценске с букетом цветов, сел в поезд, чтобы проводить ее до Орла.

Баронесса Вревская и знаменитая актриса Савина — лишь два последних имени в списке тех значительных русских женщин, которые любили Тургенева и как бы старались вернуть его на родину. За год до встречи Тургенева с Виардо, в Тургенева страстно, вдохновенно, с налетом мистической религиозности влюбилась Татьяна Бакунина, сестра знаменитого анархо-коммуниста. Тургенев сначала было откликнулся, но потом отошел. Двенадцать лет спустя он чуть было не женился на крестнице Жуковского, Ольге Александровне Тургеневой, девушке тихой и глубокой, душевно близкой Лизе Калитиной и Тане из «Дыма». Дело зашло так далеко, что Тургенев уже говорил со старым Аксаковым о возможности брака, но решительного шага в последнюю минуту все же убоился.

В несколько другом, более сложном ключе протекали его отношения с графиней Ламберт. Накануне отъезда в Париж, он писал ей:

«Ах, графиня, какая глупая вещь потребность в счастье, когда веры в счастье уже нет». В следующем письме развивал ту же мысль: «Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, вижу, что я ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а наши Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею». Так он и уехал, сознавая, что «лучше было бы не ехать, а быть может, продолжать свой утонченный роман с графиней».

Метафизики, психологи и поэты согласны в том, что любовь, которой живет человек, глубоко связана со смертью, которая его ждет. То, что любовь Тургенева к Виардо, знаменитой певице с потрясающим голосом и громадными черными, завораживающими глазами, не была в силах освободить Тургенева от преследующего его страха смерти, а скорее усиливала этот страх, как будто бы разрешает предполагать, что чувство, которое его приковывало к Виардо, было не подлинной любовью, а лишь одержимостью. Если бы оно было подлинной любовью, зачем бы Тургеневу отзываться на любовь тех женщин, которым он нравился? Не был же он просто салонным Дон Жуаном, любившим в полумраке дамского будуара чувствительно поговорить о нежных и грешных тайнах любви? Быть может, ему бессознательно все же хотелось освободиться от гипноза Виардо, которая вряд ли его любила: деля его с мужем, она кроме того и изменяла ему. На все эти вопросы в книге Зайцева можно найти много намеков и прикровенных домыслов.

Еще в раннюю берлинскую эпоху, когда Тургенев писал стихи, у него вырвалась строчка: «Но я как небо жажду верь». Вера не пришла.

Тургенев прожил жизнь если и не атеистом, то все же религиозным агностиком, верившим, однако, в реальность сверхчувственного мира. Зайцев думает, что он не только верил в него, но даже его знал. Открывался ему этот мир, однако, не в церкви, но в любви. «В глазах любимой женщины открывалось не только сверхчувственное, но и само божество». В этом отношении он бесспорно являлся предшественником Владимира Соловьева. Имени Соловьева Зайцев не называет, но указывает на то, что в сверхчувственном понимании любви Тургенев был близок к Данте. В кругу своих парижских друзей, знаменитых писателей, изощренных гастрономов в искусстве любовных утешений, он твердо отстаивал свою мистическую эротику. И все же опыта подлинной любви он был лишен. Зайцев объясняет это тем, что высшую силу мира Тургенев не чувствовал и как «всемогущего светлого Бога» не постигал. Она ощущалась им началом слепым и безжалостным. Этой мрачной безжалостностью надземного мира объясняются, по мнению Зайцева, и все странности тургеневской жизни, и такие его художественные произведения, как исполненные ужаса «Призраки» и «Фауст» с его сумрачным, хотя и глубоким торжеством. Правда, нечто иное, более светлое иной раз как будто брезжило в душе Тургенева. Если бы он совсем не знал этого света, он не смог бы написать «Дворянского гнезда», не мог бы создать тишайшего и христианнейшего образа Лизы Калитиной. В ту римскую зиму, в которую он писал «Дворянское гнездо», ему как бы приоткрылась дверь, которая вела к религии, но он остановился на пороге и не вошел. Лизу он написал, ее образ навсегда останется одним из высших достижений русской литературы, но помолиться с ней в церкви он, пишет Зайцев, не мог.

Вопрос о том, выросло ли бы искусство Тургенева, если бы он помолился с Лизой в церкви,— очень большой и сложный. Церковь требует сердца высокого, искусство — богатого. Вопросы этого Зайцев в своей книге о Тургеневе не ставит, заниматься его решением представляется мне потому в статье о Зайцеве излишним.

* * *

Третий портрет Зайцева — «Чехов, литературная биография», написан в несколько ином стиле, чем «Жуковский» и «Жизнь Тургенева». Общекультурный фон набросан лишь легкими штрихами. В «Чехове» Зайцев мало отклоняется от художественной и личной жизни Антона Павловича, но Чехов, и в этом все значение зайцевской книги, видится ему в совершенно новом свете. Думаю, что не будет преувеличением сказать, что, по мнению Зайцева, Чехов ближе к Достоевскому, чем к Тургеневу.

Оправдывает он это сближение раскрытием в творчестве Чехова им самим неосознанных, но глубоких в нем религиозных корней. Я

думаю, что портрет Чехова, написанный Зайцевым, верен. Но если бы это было и не так, то во всяком случае ошибка Зайцева очень показательна для того пути, которым он пришел к исповеданию христианской истины. (Я же пишу не о Чехове, а о Зайцеве.) С первых же страниц Зайцев подчеркивает «пусть внешне уставное, но в глубине все же духовно живое православие» отца Чехова. Подчеркивает он и любовь Антона Павловича к церковному пению. Даже много позднее, в Мелихове, Чехов вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, своим отцом и другими, приводя в смущение российских интеллигентов, охотно исполнял разные церковные песнопения.

Зайцев отнюдь не искажает фактов; он безоговорочно признает, что Павел Егорыч дал детям более чем неудачное религиозное воспитание, что и превратило Чехова, в связи с его медицинским образованием, в убежденного материалиста-науковера. Но Зайцев считает, что, отдавая дань требованиям своей эпохи, Чехов в глубине своей души все же не был атеистом, а лишь казался таковым. Не утаивая того, что Чехов был материалистом интеллигентской закваски, Зайцев обращает внимание и на то, что он очень отличался от защитников быстрого политического прогресса, в чем его неоднократно упрекали не только идейные критики, но и неидейные друзья. Конечно, Чехов ездил на Сахалин, написал о Сахалине замечательную книгу, обратившую на себя внимание в Петербурге и улучшившую судьбу ссыльных; конечно, он был весьма отзывчивым врачом и бескорыстно работал во время эпидемии холеры, но он никуда не звал, никуда не вел, ничего не исповедовал и ничего не провозглашал. Под его науковерчеством зияла пустота, тоскующая, в изображении Зайцева, по Богу. Об этой тоске говорит старый профессор в «Скучной истории»:

«Нет общей идеи!» Не лучше бы сказать веры или даже Бога. Разгадать тайны мира мы не можем, но достойно служить ей обязаны. Но для этого надо над наукой, над искусством и над философией чувствовать нечто высшее. А одного костного мозга мало. Его хорошо изучать, но нехорошо обожествлять. Встречать с ним смерть слишком трудно».

Слова профессора в очень значительной степени оправдывают зайцевское понимание Чехова, так как их, конечно, говорит не только профессор, но и сам автор.

Говоря о «Степи», этой благословенной вещи, после которой остается на сердце радость и свет, Зайцев останавливается на образе отца Христофора Сирийского и указывает на то, с каким ласковым вниманием и с какой благожелательностью Чехов создал свой первый образ православного священника; подчеркивает Зайцев и слова Чехова: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние».

Переходя к «Дуэли», Зайцев любит военным врачом Самойленко, горячим, добрым заступником прежней России, и молодым смешливым

дьяконом, который своими словами, идущими от простого сердца, сражает умного, но самоуверенного фон Корена, а в конце концов спасает обоих дуэлянтов.

«Вся внутренняя направленность дуэли,— заканчивает Зайцев свой анализ,— глубоко христианская». «Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм совершенно евангельский: «Во единый час» может человеческая душа спастись».

Самой замечательной вещью Чехова Зайцев считает «В овраге». Начинается она с дьякона, который один съел икру,— так мог бы начать небольшой рассказ Антоша Чехонте,— а кончается она словом «креститься». Перед концом рассказ возносится на такую духовную высоту, которую в русской литературе можно встретить только у Достоевского. Мир, который описывается Чеховым в «овраге» — страшный мир, исполненный темноты и прочно укоренившейся, в быту обжитой преступности. Но к концу над этим мраком восходит нездешний свет. Когда затравленная и забитая семьей мужа Липа ночью несет из больницы домой своего мертвого ребенка, она у костра встречает мужиков, которым — «кому повем печаль мою» — рассказывает о своем горе.

«Старик поднял уголек, подошел с огоньком к Липе и взглянул на нее; и взгляд выражал сострадание и нежность.

— Ты мать,— сказал он.— Всякая мать свое дите жалеет.

Потом стало опять темно. Длинный Вавила возился около телеги.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет,— мы из Фирсанова».

Старик не пророк и не святой. Он из Фирсанова. Но самый тон разговора такой, будто дело происходило не близ Фирсанова, а в Самарии или Галилее.

Все мы читали и перечитывали Чехова. Но тот Чехов, который раскрылся Зайцеву и которого он написал, мало кому виделся. Да и сейчас против этого нового образа многие протестуют, несмотря на то, что Зайцев в свою защиту мог бы сослаться на самого Антона Павловича. В рассказе «Студент», который Чехов, по его собственным словам, особенно любил, встречаются такие слова:

«Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

* * *

Революция обогатила Зайцева, как он сам благодарно признает, углубленным постижением России: ее религиозных корней и ее устремлений к истине и справедливости. Главным содержанием творчества

Зайцева является проникновенное, не лишенное умиленности, но все же всегда трезвенное изображение той России, которую славянофилы и Достоевский называли «святой Русью».

Не сомневаясь, что Россия Бориса Константиновича Зайцева прикровенно живет и за тюремной решеткой советской государственности, я не сомневаюсь и в том, что в тот, уже приближающийся час, в который советская молодежь получит свободный доступ к творчеству эмиграции, она найдет в книгах Зайцева подтверждение и своих собственных ожиданий и предчувствий.

Смысл всех, пусть жестоких и преступных, но все же великих и судьбоносных революций, заключается, конечно, не в том, что они разрушают враждебное будущему прошлое и строят неукорененное в прошлом настоящее,— но, конечно, лишь в том, что они, и не ставя себе этого целью, в новых условиях, на новой высоте и глубине раскрывают вечное содержание народной жизни. В осуществление этого раскрытия Зайцев вложил много труда, много любви и много творческого дара, за что мы и приносим ему свою глубокую благодарность.

1961

Федор СТЕПУН



**ЖИЗНЬ
ТУРГЕНЕВА**

КОЛЫБЕЛЬ

Орловская губерния не весьма живописна: поля, ровные, то избегающие изволоками, то пересеченные оврагами; лесочки, ленты берез по большакам, уходящие в опаловую даль, ведущие Бог весть куда. Нехитрые деревушки по косогорам, с прудками, сажалками, где в жару под раkitами укрывается зазеленившееся стадо — а вокруг вся трава вытоптана. Кое-где пятна густой зелени среди полей — помещичьи усадьбы. Все однообразно, неказисто. Поля к июлю залиты ржами поспевающими, по ржам ветер идет ровно, без конца без начала и они клоняются, расступаются тоже без конца-начала. Васильки, жаворонки... благодать.

Это предчерноземье. Место встречи северно-средней Руси с южною. Москвы со степью. К западу заходя в Калужскую, к северу в Московскую, области Тулы и Орла являются как бы Тосканою русской. Богатство земли, тучность и многообразие самого языка давали людей искусства. Святые появлялись в лесах севера. Тургеневы, Толстые, Достоевские порождены этими щедрыми краями.

Село Спасское-Лутовиново находится в нескольких верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии. Огромное барское поместье, в березовой роще, с усадьбой в виде подковы, с церковью насупротив, с домом в сорок комнат, бесконечными службами, оранжереями, винными подвалами, кладовыми, конюшнями, со знаменитым парком и фруктовым садом. В начале прошлого века это как бы столица маленького царства, с правительством, чиновниками, подданными. Даже колонии были: разные подчиненные имения и села, всякие Любовши, Тапки, Холодовы.

Спасское принадлежало Лутовиновым. Последнею из Лутовиновых владела им девица Варвара Петровна, унаследовавшая его от дяди Ивана Ивановича. Ей было уже под тридцать, когда

в Спасское заехал молодой офицер Сергей Николаевич Тургенев — для закупки лошадей с ее завода, классический «ремонтер». Варвара Петровна сразу в него влюбилась: отличался он редкостной красотой. Она пригласила его бывать запросто без дела; и оставила у себя его портупею: чтобы крепче выходило. Сергей Николаевич стал появляться в Спасском. В 1816 году она вышла за него замуж. Через год у них родился сын Николай, а затем Иван.

Варвара Петровна не могла похвастаться предками: дед ее был скряга, отец скандалист и буян, обиравший, еще будучи молодым офицером, валдайских ямщиков. Дядя — сумрачный скупец (любил только покупать жемчуг). Знаменитый сын Варвары Петровны не одну горькую страницу своих писаний посвятил Лутовиновым.

Молодость ее оказалась не из легких. Мать, рано овдовев, вышла замуж за некоего Сомова. Он мало отличался от Лутовиновых. Был пьяницей. Тянул ерофеича и сладкую мятную водку. Тиранил падчерицу — девочку некрасивую, но с душой пламенной, своеобразной. Мать тоже ее не любила. Одиночество, оскорбления, побои — вот детство Варвары Петровны. Чрез много лет, уже хозяйкою Спасского, побывала она со своей воспитанницей Житовой в имении, где прошла ее юность. Обошли комнаты дома, и выйдя из залы в коридор, наткнулись на заколоченную досками, крест-на-крест, дверь. Житова подошла к двери, дотронулась до старинного медного замка, торчавшего из-под досок. Варвара Петровна схватила ее за руку: «Не трогай, нельзя! Это проклятые комнаты!» Что именно там происходило, она не рассказала. Но известно, что в этом доме, когда ей близилось шестнадцать, отчим покушался на ее юность. В одну страшную ночь измученная девушка, которой грозило «позорное наказание», бежала из дому — ей помогла няня. Полуодетая, пешком, прошла шестьдесят верст до Спасского. Там укрылась у дяди своего, Ивана Иваныча.

Здесь ждала тоже несладкая жизнь — у крутого и скупого старика. Будто бы он лишил ее наследства и от него она тоже бежала, он же умер внезапно, от удара, не успев написать завешание против ее. О смерти Ивана Иваныча известия смутны. И вторичное бегство Варвары Петровны не есть ли уже легенда? Так ли ей на роду написано всегда убегать?

Во всяком случае лучшие ее годы полны глубокой горечи. Она прожила у дяди десять лет, ей шел двадцать седьмой, когда неожиданно из Сандрильоны обратилась она во владелицу тысяч крепостных, тысяч десятин орловских и тульских благодатных земель.

Эти крепостные, эти земли определили и любовную ее жизнь — брак с Тургеневым.

Род Тургеневых иной, чем Лутовиновых. Очень древний, татарского корня, он более благообразен. С пятнадцатого века Тургеневы служили на военной и общественной службе. «Отличались честностью и неустранимостью», — говорит предание. Были среди них мученики: Петр Тургенев не побоялся сказать Лжедмитрию: «ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря, я тебя знаю» — за что был пытан и казнен, как впоследствии погиб от удалцов Стеньки Разина воевода Тимофей Тургенев, не пожелавший сдать им Царицына. (Заперся в башне с десятком стрельцов. Васька Ус на веревке тащил его к Волге, где и утопил.)

Тургеневы восемнадцатого века не столь воинственны и героичны. Они мирно служат в армии, выходят в средних чинах в отставку, и более или менее лениво доживают дни в деревне. Только у одного из них необычная судьба — связанная с красотой его и любовными делами. Это Алексей Тургенев, в юности паж Анны Иоанновны. Бирон из ревности услал его на турецкую войну, где он и попал в плен. Оказавшись в гареме, подавал кофе султану и раскуривал ему трубку. Век бы Тургеневу ее раскуривать, если бы красотой его не была тронута султанша. Она дала ему кошелек с золотом и помогла бежать.

Сергей Николаевич Тургенев соединял в себе разные качества предков: был прям и мужествен, очень красив, очень женолюбив. «Великий ловец перед Господом», — говорил о нем сын. Сергей Николаевич совсем мало служил на военной службе: уже двадцати восьми лет вышел в отставку. Но до последнего вздоха был предан Эросу, и завоевания его оказались огромны. Он мог быть с женщинами мягок, нежен, тверд и настойчив, смотря по надобности. Тактика и стратегия любви были ему хорошо известны, некоторые его победы блестящи.

И вот этот молодой человек с тонким и нежным как у девушки лицом, с «лебединою» шеей, синими «русалочьими» глазами, неистощимым запасом любовной стремительности, попал на пути Варвары Петровны.

У него — единственное имение в сто тридцать душ. У нее крепостных не менее пяти тысяч. Женился ли бы он, если бы было обратно? Кавалерист с русалочьими глазами, быть может, и соблазнил бы несколько полоумную девушку, но жениться... — для этого необходимо Спасское. И как некогда турецкая султанша высвободила деда из гарема, так женитьба на Варваре Петровне укрепила внука в жизни.

Повенчавшись, Тургеневы жили то в Орле, то в Спасском.

Счастливою с мужем Варвара Петровна не могла быть — любила его безгранично и безответно. Сергей же Николаевич, под знаменитыми своими глазами был вежлив, холоден, вел многочисленные любовные интриги и ревность жены переносил сдержанно. В случаях бурных умел и грозить. Вообще над ним Варвара Петровна власти не имела: воля и сила равнодушия были на его стороне.

Как бы ни прожил Сергей Николаевич жизнь с некрасивою и старше его женою, несомненно, что он знал и Любовь истинную. Иногда ее профанировал. Но иногда отдавал ей всего себя и потому понимал страшную ее силу и силу женщины. «Бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» — говорил сыну. Сергей Николаевич обычно побеждал, все-таки роковой характер Эроса знал. И не было в нем колебаний, половинчатости. По пути своему, иногда жестокому, мало жалостливому, почти всегда грешному, шел Тургенев-отец, не сворачивая. Его девиз: взять, взять всю жизнь, ни одного мгновения не упустить — а дальше бездна.

Он очень походил на Дон Жуана.

* * *

Город Орел столь же неказист и ненаряден, как и окружающая его страна. Ока здесь еще мала. Нет живописного нагорного берега, как в Калуге. Нет леса церквей, дальних заречных видов. Разумеется, есть Собор и городской сад. Вблизи Левашовой горы Болховская, прорезающая весь город, да Дворянская, где жила Лиза Калитина. Главное же, что отличает Орел, это летняя жара и пыль — облака белой известковой пыли над улицами.

«1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловою» — так записала в памятной книжке Варвара Петровна. Меньше всего думала, конечно, что родила будущую славу России.

Рождением своим Тургенев связан с Орлом-городом, но только рождением. Довольно скоро перебрались родители в Спасское, и Орел в жизни, как и писании Тургенева, сыграл роль небольшую.

Истинной его «колыбелью» оказалось Спасское, со всем своим пышным и тяжеловесным, медленным, суровым и поэтическим складом. Дом — чуть не дворец. Дворня — лакеи, горничные, казачки на побегушках, повара, конюхи, садовники, швеи, приживалки — все это двигалось мерно и возглавлялось

владыкою — Варварой Петровной. Сергей Николаевич на втором плане. Жили праздно и сытно, не без нарядности. Устраивали балы, маскарады. В одной галерее давались спектакли. Ставили пьесы и под открытым небом, в саду. Играл свой оркестр, своя крепостная труппа. Трепещущий батюшка служил по праздникам молебствия. Гувернеры и гувернантки учили детей.

Детство Тургенева могло стать золотым — но не стало. Слишком суровой оказалась мать, слишком отравила жесткостью нежные годы. Она очень любила сына — и очень его мучила. В этом же самом роскошном доме чуть не каждый день секли будущего владельца Спасского, за всякую мелочь, за каждый пустяк. Достаточно полоумной приживалке шепнуть что-нибудь Варваре Петровне, и та собственноручно его наказывает. Он даже не понимает, за что его бьют. На его мольбы мать отвечает: «Сам знаешь, сам знаешь, за что я секу тебя».

На другой день он объявляет, что все-таки не понял, за что его секли — его секут вторично и заявляют, что так и будут сечь ежедневно, пока не сознается в преступлении.

Кажется, Варвара Петровна могла бы вспомнить, как сама некогда бежала из ненавистного сомовского дома. Но вот не вспомнила. А сын чуть не убежал. «Я находился в таком страхе, в таком ужасе, что ночью решил бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и впотемках пробрался по коридору в сени...» Его поймал учитель, добросердечный немец (толстовский Карл Иваныч!), и рыдавший мальчик признался ему, что бежит потому, что не может долее сносить оскорблений и бессмысленных наказаний. Немец обнял его, обласкал и обещал заступиться. Заступился и на самом деле: его временно оставили в покое.

Вне же матери Спасское давало очень много. Тут узнал он природу, русских простых людей, жизнь животных и птиц — не весь же день уроки с учителями и гувернантками. Выдавались счастливые минуты и даже часы, когда удирал он в Спасский знаменитый парк. Изящный и далекий, отец плел свои донжуанские кружева то с орловскими дамами, то с крепостными девицами. Мать правила царством: принимала поваров, бурмистров, наблюдала за работами, но и сама читала, сама кормила голубей в полдень, беседовала с приживалками, охала, жалела себя.

А у сына появились, конечно, свои приятели из дворовых. На прудах можно было чудесно пускать кораблики. Из молодых липовых веток вырезать свистульки. Бегать в догонялки. Ловить птиц. Это последнее занятие нравилось ему особенно. Водились у него всякие сетки, пленки, западни. С семилетнего возраста его тянуло именно к птицам. С этих пор он их и изучал так

любовно, знал в подробностях жизнь, пение, и когда какая утром начинает раньше щебетать. Мало ли всяких иволг, кукушек, горлинок, малиновок, дроздов, удолов, соловьев, коноплянок жило в спасском приволье? В дуплистых липах гнездились скворцы — на дорожках аллей, среди нежной гусиной травки валялись весною пестрые скорлупки их яичек. Вокруг дома — реюшая сеть ласточек. В глухих местах парка сороки. Где-нибудь на дубу тяжкий ворон. Над прудом трясогузки — перелетывают, или попрыгивают по тенистому берегу, качают длинными своими хвостиками. В зной — тишина, белая зеркальность вод, цветенье лип, пчелы, смутный, неумолчный гуд в парке полутемном.

Здесь узнал он и поэзию книжную — кроме природы. Любовь к ней пришла из чтения дворовым человеком в уединенном углу того же парка — Пуниным назвал в рассказе Тургенев первого своего учителя словесности, милого старика, который на глухой полянке за прудом мог и подзывать зябликов, и декламировать Хераскова. Дружба с Пуниным, конечно — полутайна, все это вдали от гувернанток, приживалок, наперекор всему. Но тем прелестней. И неважно, как в действительности звали его. Важно и хорошо, что поэзия предстала перед мальчиком Тургеневым в облике смиренного энтузиаста, в облике «низком» и одновременно возвышенном, полураба, полуучителя. В парке, в зелени и среди света солнца ощутил он впервые «холод восторга».

Пунин, крепостной человек, самоучка и любитель словесности, читал особенным образом: сперва бормотал ь.юлголоса, «начерно», а потом «пифически» гремел, «не то молитвенно, не то повелительно» — это священнодействие и побеждало. Так прочитали они не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира, но и Хераскова. В зеленой глубине спасского парка и была решена участь мальчика. Как ни презрительно относилась Варвара Петровна к писателям (по ее мнению, сочинять «канты» мог «либо пьяница горький, либо круглый дурак») — у ней самой под боком рос уже такой сочинитель. Безвестный, добродушный Пунин тронул в барчуке тайную струну: и уже пропал в нем помещик, начался поэт.

Вернее — в одном существе началась жизнь и другого. Мечтатель, опьяняющийся стихами — вместе с тем и сын Варвары Петровны, барское отродье. Сам страдает от грубости, жестокости окружающего, но и тотчас подымает тон, как только ему кажется, что низшие недостаточно к нему почтительны. «Мне не понравилось, что он назвал меня барчуком. Что за фамильярность! «Вы, должно быть, не знаете,— произнес я уже не развязно, а надменно,— я здешней барыни внук».

Варвара Петровна считала себя верующей, но к религии относилась странно. Православие для нее какая-то «мужицкая» вера, на нее, а уж особенно на ее служителей смотрела она свысока, вроде как на русскую литературу. Молитвы в Спасском произносились по-французски! Воспитанница читала ежедневно по главе «Imitation de Jesus Christ»...¹ Сергей же Николаевич вовсе был далек от всего этого. Жил сам по себе, одиноко и без Бога, но при всей смелости своей был, как нередко именно мужественные и неверующие люди, суеверен: боялся не Бога, не смерти и суда, а домовых. То, как отец ходил за священником, освящавшим поздним вечером углы обширного дома, как колебалось пламя свечи и как жутко это было, маленький Тургенев запомнил. (Священник являлся тут для Сергея Николаевича чем-то вроде колдуна, заклинателя — одна таинственная сила противопоставлялась другой.) Но поэзия быта православного, существовавшая тогда в некоторых семьях, Тургенева, к сожалению, не коснулась. Доброты, светлого уюта в отчем доме он не встретил — как-то с первых шагов оказался одиноким.

Далекий холод и парадность Сергея Николаевича, причудливая карамазовщина Варвары Петровны (тяжкое детство, некрасота, властолюбие, раз навсегда обиженность) — из этой смеси родился букет Спасского. Некоторые черты его почти фантастичны. Другие мрачно жестоки.

Хотелось, чтобы все было грандиозно, чтобы походило на «двор». Слуги называются министрами. Дворецкий — министр двора, ему дали даже фамилию тогдашнего шефа жандармов — Бенкендорфа. Мальчишка лет четырнадцати, заведовавший почтой, назывался министром почт, компаньонки и женская прислуга — гофмейстерины, камер-фрейлины, и пр. Существовал известный церемониал обращения с барыней: не сразу министр двора мог начинать, например, с ней разговор. Она сама должна была дать знак разрешения.

За почтой посылали ежедневно верхового во Мценск. Но не сразу, не просто можно отдать эти письма. Варвара Петровна всегда отличалась нервностью (падение ножниц приводило ее в такое волнение, что приходилось подавать флакон со спиртом). Министр двора разбирал письма и смотрел, нет ли какого с траурной печатью. Смотря по содержанию почты, дворцовый флейтист играл мелодию веселую или печальную, подготавливая барыню к готовящимся впечатлениям.

¹ «Подражание Иисусу Христу» (фр.).

Постороннему, особенно неименитому лицу не так легко было и въехать в Спасское. Еще не знаешь, въехав, куда попадаешь! Но «двор» знал. Прямо подъезжать к дому, с колокольчиками, мог исправник. А станковые отвязывали их за версту, за полторы, чтобы не беспокоить барыню. Уездный лекарь мог подъезжать только ко флигелю.

Все это еще безобидно, хотя и болезненно. Бывало и много хуже. За не так поданную чашку, за нестертую пыль со столика горничных ссылали на скотный двор или в дальние деревни — на тяжелую работу. За сорванный кем-то тюльпан в цветнике секли подряд всех садовников. За недостаточно почтительный поклон барыне можно было угодить в солдаты (по тем временам равнялось каторге).

Тургенев-дитя, Тургенев времен Спасского знал уже многое о жизни. Кроме пения птиц в парке да волнующего звона стихов, слышал и вопли с конюшен, и по себе знал, что такое «наказание». Всякие деревенские друзья-сверстники подробно доносили, кому забрили лоб, кого ссылают, кого как драли. Не в оранжерее рос он. И нельзя сказать, чтобы образ правления Варвары Петровны приближал к ней ребенка, в котором жил уже бродильный грибок. Мать растила не только далекого себе сына, но и довольно устойчивого, неукоснительного врага того жизненного склада, которого страстной носительницей была сама.

ОТРОК И ЮНОША

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, купив дом на Самотеке. Летом выезжали и в имение: связь с деревней не прерывалась.

В это время Сергей Николаевич заболел каменной болезнью, и для лечения ему и Варваре Петровне пришлось отправиться в Париж, быть в Эмсе и Франкфурте.

Иван остался в Москве, в пансионе Вейденгаммера (а старшего сына Николая отдали в артиллерийское училище в Петербурге). У Вейденгаммера провел Иван года полтора, потом на несколько месяцев попал в армянский пансион (впоследствии Лазаревский институт восточных языков) и, наконец, оказался еще в новом, у Краузе.

Его можно представить себе изящным и благовоспитанным мальчиком, хорошо учившимся, несколько чувствительным и нелишенным высокомерия. Неудивительно, если он тяготеет к аристократическим знакомствам в пансионе, к князьям и графам.

Столь же неудивительно, что с глубоким вниманием слушает пересказ губернатором «Юрия Милославского», восхищается им, помнит наизусть и бросается даже бить товарища, помешавшего слушать. Так же понятно, что Тургенев-пансионер, увидев после игры в лапту, во дворе под кустом сирени скромного юношу с немецкой книгой, мог не без надменности спросить: «А вы читаете по-немецки?» И когда оказалось, что тот не только читает, но и гораздо лучше его самого, и любит поэзию — то с ним-то как раз барчук, дороживший светскими друзьями, и сошелся. Мало того, просто подпал под его влияние.

С пансиона идет начало тургеневских юношеских дружб, отмеченных восторженностью, не надолго удерживавшихся, но возникавших всегда на почве «высшего»: томлений по красоте, истине, пытания загадок мира и т. п. Это было вообще время романтических привязанностей, раскрытия душ, откровенностей, заходивших иногда очень далеко. Можно и улыбнуться на такую «патетическую болтовню», кончавшуюся иногда тем, что прежние друзья становились смертельными врагами. Но не всегда так бывало. Случалось и надолго сохранить память о чудесном пламени молодости, да и само такое пламя разве уж не имеет никакой цены? Разве плохо — сладостно волноваться, когда «друг» читает вслух стихи? (Теперь уже Шиллера, не Хераскова.) Разве плохо — выйти потихоньку с ним ночью в пансионский сад, когда все уж заснуло, сесть под тем же кустом сирени, где впервые они познакомились, и который полюбили, ощущать дуновение ночного ветерка, сквозь листву видеть милое московское небо в звездах (с Арктуром, зацепившимся за крест соседней церковки), шептаться, мечтать... А когда друг, взглянув на небо, «тихо» восклицает:

Над нами
Небо с вечными звездами
А над звездами их Творец...

— вновь испытать «благоговейный» трепет и «припасть» к плечу?

Однако отрок Тургенев приближался к возрасту, когда другое начинало волновать его. Романтические дружбы пришли и ушли с юностью. Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы.

В ранней молодости любовь предстала Тургеневу сразу в двух видах. Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно — явились они раздельно, и так разделенными остались навсегда.

«Простонародная» Афродита связана с крепостным бытом и

укладом. («Помещицье» вкушение от древа познания.) У Варвары Петровны служила горничная, «красивая, с глупым видом», и глупость эта придавала ей нечто «величавое». Разумеется, она была старше и опытнее его — ему исполнилось тогда пятнадцать лет. Он приехал в Спасское на каникулы.

Полный сил юноша бродил однажды в сыроватый весенний день в парке. Близились сумерки. Дрозды перепархивали в яблонях. Иволга заливалась. Березы спасской рощи были в зеленом, клейком пуху. Афродита предстала ему со своим «глупо-величавым» видом. Его раба, крепостная. Но и властительница. Она взяла его за волосы на затылке и сказала:

— Пойдем.

А вечером, в непроглядную темень, он крался к ней на свидание, в пустую, заброшенную хату. Перелезал через канавы, падал в крапиву, пробирался по меже с горькою серебряной польниною, под теплым, накапывавшим дождичком, от которого так зеленеют всходы. Сова кричала в парке. Может быть, и Сергей Николаевич отдавался той же ночью зову любви.

В жизни Тургенева-сына этот опыт не оставил следа. Исчезла деревенская богиня! Даже имени ее не сохранилось.

Первая истинная его влюбленность прославлена им же самим. Испытав полуробенком чувства высокие и блаженно-мучительные, в зрелости создал он из них лучшее свое произведение. Толстой и Достоевский могут завидовать «Первой любви» — явлению Афродиты-Урании в жизни пятнадцатилетнего юноши.

Повесть известна. С детских лет видишь и как бы насквозь знаешь парк с домом Зинаиды, соседки по даче с Тургеневыми в Нескучном (под Москвою). И ее самое знаешь, всегда в таинственной прелести, в печали и ослеплении любви, и мучительно-сладкую любовь мальчика — его мечтания, надежды, слезы, ревность, подозрения. В судьбе Тургенева-сына важно, что первая же его встреча с истинной любовью была встреча безответная. «Неразделенная любовь» — так началась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника.

Ему предпочли другого. В загадочно-волнующем впечатлении, остающемся от этой истории, имеет большое значение, что «другой» оказался отцом.

Сергей Николаевич Тургенев появляется здесь портретно. Сын-писатель не возненавидел отца. Наоборот, был им побежден, изображает почти влюбленно. Такому сопернику не грех уступить. Это не есть беда и ничтожество. Как легко ходит отец, как он изящно одевается, как он «изысканно-спокоен», холоден и нежен, как замечательно ездит верхом... И он умеет хотеть! Когда хочет, ни пред чем не останавливается. «Я таких любить

не могу,— говорит Зинаида,— на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил». Мог ли сломить ее мечтательный мальчик, благоговевший пред отцом и боявшийся его? Он все мечтал, мечтал... а тот действовал.

Тургенев-отец вложил в этот роман всю силу натуры. Соседка не была для него лишь приключением. Он завоевал ее, взял, но и сам много поставил на карту. Оттенок трагедии сразу лег на их любовь. Пронзительна знаменитая сцена прогулки верхом у Крымского брода, когда Зинаида сошлась уже с отцом и живет в маленьком мещанском домике. (Сыну надоело стеречь лошадей и он подсматривает Зинаиду и отца, который, стоя у окошка домика, где сидит Зинаида, разговаривает с нею, ссорится и ударяет хлыстом по обнаженной ее руке. Она целует этот рубец. Отец в ярости врывается в домик.)

Сын отбегает вновь к реке и лошадям... На отца «находили иногда порывы бешенства». Бил ли он Зинаиду, не желавшую уступить, или не бил — сыну казалось, что бил... и что же он сам делал? Сидел на берегу реки и плакал. Он обожал отца и безумно его боялся. Обожал Зинаиду, но не двинулся, чтобы помочь в беде — пусть даже и воображаемой.

Это уже вполне Тургенев. Не Сергей Николаевич со своими русалочьими глазами и непреодолимой силой мужчины, а будущий знаменитый Иван Сергеевич.

Роман Сергея Николаевича с соседкой-княжной имел трагический оттенок — на своей страсти не смогли они основать жизни. Получилось в духе Тургенева-сына: он не любил семьи, не пожелал любимым своим героям полнеть в тепле и уюте. Он для них приберег смерть. Дон Жуана ранее она настигает; Зинаиду позже. Но любовь их уходит неувыдшею.

* * *

Первый свой студенческий год Тургенев провел в Москве. Учился хорошо, но особого действия Университет на него не произвел. Осенью 34-го года отец перевел его в Петербург. Там удобнее было жить с братом Николаем, поступившим в гвардейскую артиллерию. 30 октября Сергей Николаевич скончался — он давно страдал каменной болезнью. Умер довольно молодым, сорока одного года. Так что действительно не надолго пережил свой роман с Зинаидой, и правда, жизнь его оказалась кратка и непокойна.

Теперь у Ивана Тургенева оставалась только мать, жившая далеко, пока что не стеснявшая его молодости в Петербурге.

Как принял он смерть отца? Некое благоговение, ведь, у него к отцу существовало, он как-то преклонялся перед ним. Но вряд ли очень страдал, потеряв его. В Тургеневе всегда была прохлада. Он жил собою. Не было глубоким чувство к отцу — хоть эстетически он и пленял его.

Тургенев вообще легко забывал. Впечатлительный, и впечатлительности быстрой, текучей, он легко поддавался текучести жизни, неудержимости ее потока. Такой он юношей, такой и в зрелости. Встречал нового человека, мог его обласкать, наговорить много доброго и приветливого, пообещать немало — и в данную минуту искренно — а отойдя, так же искренно и позабыть о нем. Он романтически увлекался отцом. И тотчас же забыл его по смерти.

Жизнь же в Петербурге сложилась неплохо. Большой интерес к «наукам и искусствам» — и осведомленность в них. Тургенев-студент Петербургского университета не просто хорошо учится: он сугубо жаден до познаний. Все хочется узнать — и латинский язык, и классиков, и побывать на выставке Брюлловской «Помпеи», и посмотреть Каратыгина, и попасть на первое представление «Ревизора», и поглядеть Пушкина.

Подходила пора и самому превратиться в «сочинителя кантов». И хотя он не «пьяница горький», не «круглый дурак», все же занялся этим странным делом.

В Петербурге, в том же самом Университете, нашел он сочувственную душу из старших. Петр Александрович Плетнев, профессор, тихий и спокойный старичок, читал русскую словесность. Это уже не Пунин со своим Херасковым. Плетнев талантами не выдавался. Но был другом Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя. Обладал хорошим вкусом. Находился в верной литературной линии — пушкинско-гоголевской. Значительность ее не все еще чувствовали — Тургеневу совсем недавно нравился Марлинский, да и Бенедиктов. Тут Плетнев в известной степени ему помог.

В начале 1837 года Тургенев представил ему первую свою поэму «Стено» — вещь полудетскую, подражательную, под «Манфреда». Со стороны артистической ничто, но как свидетельство о молодом Тургеневе важно. Разумеется, Байрон был молодой. И Пушкин, и Лермонтов через него прошли. Все же душевной червоточине Тургенева, сказавшейся уж очень рано, байроновский звук подошел и получил у него свой оттенок. Он подражал, — но не случайно выбрал предмет подражания.

Плетнев добросовестно, подслеповатыми своими глазами прочел «Стено» и забраковал. На лекции — не называя Тургенева, разобрал поэму, осудил, но с благодушием. И выходя из Уни-

верситета, подозвав к себе красивого и взволнованного третьекурсника с прекрасными серыми глазами, все же ободрил его. «Сочинитель кантов» настолько осмелел, что дал ему несколько стихотворений. Плетнев взял два из них для «Современника» и через год напечатал. Не знаю, что давал ему Тургенев. Но выбрал Плетнев спокойное и описательно-элегическое стихотворение «Маститый царь лесов» — как бы подсказывая путь ясный и трезвый. Кроме того — пригласил его к себе на литературный вечер.

Первый вечер начинающего, первая встреча с писателями! Можно себе представить, как трепетал Тургенев, направляясь по морозным улицам Петербурга к Плетневу, в скромную квартиру где-нибудь на Васильевском острове!

Первый, кого он встретил в передней, был Пушкин, ни более, ни менее — живой облик того пути, который подсказывал ему Плетнев. Встреча эта оказалась мгновенной — как молния сверкнул ему Пушкин — Плетнев не успел даже их познакомиться. Человек в шляпе и шинели звучным голосом воскликнул: «Да, да! Хороши же наши министры, нечего сказать!» — и вышел. Остались в памяти живые глаза, столь быстрые! — да белые зубы.

В гостиной Тургенев робко жался среди литераторов — взрослых и настоящих. Тут находились Воейков, Гребенка, князь Одоевский, и еще один смиренный человек, в длинном двубортном сюртуке, с лицом русского мещанина, почтительно слушавший, но когда его попросили прочесть свои стихи — покрасневший и замахавший руками: «Что вы, после Александра-то Сергеевича!» Это был Кольцов. Воейков читал стихи Бенедиктова. Жена Плетнева, болезненная, тихая дама заведывала своим нехитрым салоном, где о политике говорить побаивались, держались более верных берегов — литературы, и судить о ней могли просвещенно. Беседовали до полуночи. Барич Тургенев, уходя, подвез в санках покашливавшего воронежского прасола в длинном его сюртуке, шейном платочке бантиком, с голубой бисерной цепочкой часов и очень умными и очень грустными глазами. Кольцов простился с ним морозной ночью и ушел куда-то. Никогда больше они не встречались.

А Пушкина он увидал еще однажды — за несколько дней до дуэли, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Пушкин стоял у двери, скрестив руки, хмурый и мрачный. Тургенев кружил как влюбленный, рассматривал и так, и этак. На этот раз запомнил все: и темные, раздраженные глаза, и высокий лоб, и едва заметные брови, и курчавые волосы, и бакенбарды, и африканские губы с крупными белыми зубами.

Ничего не было общего в темпераменте, складе души у изящного, слегка уже отравленного юноши с этим действительно страстным «африканцем», которому через несколько дней предстояло — корчась на снегу с простреленным животом — целиться в противника. (Представить только себе Тургенева на дуэли!) Но в слове, в духе искусства были они родственны — два русских аполлинических художника. В сердце Тургенева Пушкин остался навсегда. Он стал для него даже некоей пробой: если что-нибудь против Пушкина, наперекор ему, значит плохо. Если за, то хорошо.

Тургенев кончил Университет столь успешно, что ему предложили при нем остаться. Может быть, он и остался бы. Но, уехав на каникулы в Спасское, так увлекся охотой, что диссертации не написал.

ЧУЖИЕ КРАЯ

В мае 1838 года Варвара Петровна провожала сына Ивана из Петербурга за границу. В детстве она его собственноручно секла. Теперь рыдала, сидя в Казанском Соборе на скамеечке, во время напутственного молебна. (Но если бы можно было, то отрыдав сколько полагается, при случае вновь бы его высекла.) Сын уезжал в Германию на пароходе, шедшем прямо в Любек. Оттуда сухим путем должен был добраться до Берлина, продолжать учение.

Прощались горячо — среди суматохи последних минут на пристани. Варвару Петровну под руки отвели к карете. Пароход удалялся, неловко лопоча колесами, дымя темным дымом. С Варварой Петровной сделался на обратном пути обморок, ей давали нюхать соли и натирали виски одеколоном. Сын ее стоял в это время у борта и глядел, как удаляются берега. Ему было двадцать лет, он был красив, богат, впереди, за хмурыми волнами новый мир, новые встречи, наука, быть может — любовь... Вряд ли он думал о матери. И мало огорчался, расставаясь с ней.

Пароход «Николай I» по тем временам мог считаться большим, теперешнему взору показался бы игрушкой. На нем ехало много русских. Отцы семейств, мамыши, нянюшки и дети, детские колясочки и настоящие экипажи для путешества по чужим странам — все это сгрудилось тут. Молодой Тургенев, тщательно выбритый, в модной «листовской» прическе, с галстухом, завязанным в виде шарфа вокруг шеи, очень скоро почувствовал себя на свободе, и эту свободу сколь мог использовал: при-

страстился к карточной игре в общей каюте. Это было тем увлекательней, что мать взяла с него слово именно не притрагиваться к картам. Но соблазнил ехавший из Петербурга картежник. Как и полагается, новичку повезло, он выигрывал, сидел красный от волнения, перед ним лежали кучки золота. Хорошо, что Варвара Петровна не видала его за этим занятием! Туго бы ему пришлось.

Впрочем, и без вмешательства матери игра кончилась очень печально: недалеко уже от Любека, в самый разгар ее в каюту вбежала запыхавшаяся дама и с криком: «Пожар!» — упала в обморок на диван. Все повскакивали с мест, деньги, выигрыши, проигрыши, все позабылось. Бросились на палубу. Из-под нее, близ трубы, выбивалось пламя, валил темный дым. Суматоха поднялась невообразимая. Тургенев пал духом. Он бессмысленно сидел на наружной лестнице, брызги обдавали ему лицо. Сзади гудело и бушевало пламя, выгибаясь сводом. С ним рядом оказалась богобоязненная старушка, кухарка одного из русских семейств. Она крестилась, шептала молитвы и удерживала юношу — он пытался (или делал вид, что пытается) броситься в воду. Тургенев и сам признавался, что отчасти он тут играл перед нею... как бы то ни было, минуты страшные. Обоих их извлек оттуда матрос. Прыгая по верхам экипажей, стоявших на палубе и уже загоравшихся снизу, они добрались до носа корабля. Там столпились пассажиры. Спускали шлюпку.

Тут-то Тургенев и предложил от имени матери матросу десять тысяч, если тот спасет его.

Матрос его не спасал. Крикнул юноша эти слова в тоске и отчаянии. Спасся сам, благодаря тому, что пожар начался недалеко от берега, капитан направил пароход к суше и он успел сесть на мель вовремя — пассажиры попрыгали в шлюпки и в мелкую воду, промокли, иззябли, наволновались, но трагедии не произошло. На Тургенева же пала некая тень. Он вел себя не весьма мужественно. Ему страстно хотелось жить. Он впервые встретился со смертью. Принять, понять ее никогда и позже не мог. Она была для него врагом, ужасом, бессмыслицей. Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово — это острое чувство бытия, верный спутник избранности и крикнуло его устами:

— Не хочу умирать! Спасите!

Крика о помощи ему не забыли во всю долгую, славную его жизнь. Корили в молодости, вспоминали и тогда, когда уж был он знаменитым стариком, перевирая, искажая — показали себя во всей человеческой прелести.

Берлин тридцатых годов был небольшой, довольно тихий и довольно скучный, весьма добродетельный город. Король смиренно благоговел перед Императором Николаем, немцы вставали в шесть утра, работали целый день, в десять все по домам и одни «меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитались по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец брел из Тиргартена, и у Бранденбургских ворот тщательно гасил свою сигарку, немея перед законом».

Но процветала наука. Берлинский университет был хорошо поставлен, привлекал юношей издалека, между прочим и русских. Существовали еще романтические отношения между учащими и учащимися, вроде наших «интеллигентских»: профессор считался учителем жизни, как бы ее духовным вождем. Возможны были поклонение, восторг. Выражалось это, например, в обычае серенад. Студенты нанимали музыкантов, вечером собирались у дома любимого профессора и после увертюры пели песни в честь науки, университета и преподавателей. Профессор выходил — в горячей речи благодарил поклонников. Подымались крики, студенты бросались с рукопожатиями, слезами и т. п.

Молодой Тургенев, попав в Берлин, занялся наукой основательно, не хуже Петербурга. Слушал латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока, а на дому зубрил латинскую и греческую грамматику — подготовки Петербургского университета не хватало. Главное же, изучал Гегеля. Гегель-то и привлекал более всего в Берлин русских. В Тургеневе была складка усидчивости, он мог одолевать и латынь, и греческий. Берлинский университет дал ему знание древних языков — он всю жизнь свободно читал классиков. Но Гегель завладевал душою и сердцем русских в ином роде. В Берлине в эти годы находились Грановский, Бакунин, Станкевич, зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов. Гегелевская философия оглушала и пронзала их, подымала самые «основные» вопросы — академически относиться к ней они не могли. По русскому обыкновению Гегеля обратили в идола. Поставили в капище и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. «Абсолютная личность», «перехватывающий дух», «по себе бытие» — из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой. Книжонки и брошюрки о Гегеле зачитывались «до дыр, до пятен».

Тургенев погрузился во все это раздутое кипенье. «Кружки»

и ночные споры на себе изведal. Знал, что такое — собираться по вечерам, в студенческой комнате, где подают чай (а к нему бутерброды с ломтиками холодной говядины) — и до утра кричать о Гегеле. Бывал и на серенадах, и сам в них принимал участие.

Особенно любили студенты Вердера, гегельянца, излагавшего учителя в возвышенном и патетическом духе, нередко применяя к жизни его учение. Вердер был молодой, верующий человек, большой душевной чистоты и доброты, друг нашего Станкевича. Тургенев слушал лекции Вердера и очень его почитал, как и Станкевича. К «кружкам» же, спорам и восторженному общению молодежи относился сдержанно: любил и ценил некоторых участников, но лично, вне собраний. Был ли слишком вообще одиночка? Или слишком *уже* художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, *изображал*. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству.

В Берлине он не только много учился, не только видел привлекательных и духовно-высоких немецких людей, но встретился и с замечательными русскими, оказавшими на него влияние.

Со Станкевичем познакомился осенью 1838 года — благодаря Грановскому. В начале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел и в *воздух* Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе — всегдашний полет, которые для Станкевича характерны. Да, Станкевич создал свой «кружок». К нему принадлежали Грановский, Неверов, Тургенев и другие. Но сам он как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни пред кем не блистал. Действовал тишиною и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах — Станкевич просто излучал нечто, и этим воспитывал.

Среди тургеневских червоточин была одна, очень его мучившая — он заметил ее за собою еще в детстве: неполная правдивость. Живое ли воображение, желание ли «блеснуть», «выказаться», текучесть ли и переменчивость самой природы, но он иногда бывал лжив. Это отдаляло от него многих... Создавало впечатление позера и человека, на которого нельзя положиться (на него и действительно нельзя было положиться! Но он и действительно обладал даром прелщения).

Станкевич, как позднее Белинский, *принял* Тургенева, любил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого,

живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей, его перевоспитывал. При нем студент Тургенев не мог так распускаться. Правдивость, простота Станкевича и пафос его истинный — влияли.

Вместе со Станкевичем посещал он довольно замечательный дом, литературный салон Фроловых. Н. Г. Фролов, человек малозаметный, перевел «Космос» Гумбольдта и издавал «Магазин землеведения и путешествий». Жена его, немолодая, болезненная, очень тонкая и умная женщина, являлась центром дома. Вела разговор, вносила в него умственное изящество, высокую просвещенность. У нее встречались Александр Гумбольдт, Варнгаген Фон Энзе, Беттина Арним. Вершины Германии видел двадцатилетний Тургенев в этом русском семействе. Гумбольдт был уже знаменитым ученым. Варнгаген писал по-немецки о Пушкине. С Беттиной входило в жизнь Тургенева веяние Гете.

Одним словом, как это всегда случалось — где бы он ни поселялся, всегда попадал в кристаллизацию умственных и духовных верушек — а позже и вокруг себя кристаллизовал кого надо.

Но не только наукой, не только тяжеловесным и серьезным занимался он в Берлине. Любил бывать на гуляньях, маскарадах. Катался довольно много верхом — в Тиргартене. Охотничьей страсти здесь не предавался и не пил. Однако, заходил в погребок, где некогда пьянствовал и разносил филистеров романтик Гофман. Много посещал театр: черта вполне тургеневская — и впредь так будет.

С ним жил дядька, Порфирий Тимофеевич Кудряшев, человек довольно милый и не без замечательности, домашний лекарь-самоучка Варвары Петровны, ее секретарь и министр. Но главная его особенность состояла в том, что он приходился сводным братом своему молодому барину, берлинскому гегельянцу. Знали Иван Тургенев, что отец его крепостного Порфирия все тот же Сергей Николаевич Тургенев? Наверно, нет, по крайней мере в те годы.

Порфирий состоял при нем как бы секретарем — писал иногда Варваре Петровне. Он был несколько старше своего барина-брата, но отношения у них сложились приятельские, и нередко они занимались вполне детскими делами: воспитывали случайно попавшую к ним собаку, притравливая ее к крысам. Играли в солдатики. А потом Тургенев-младший строчил старшему по-немецки любовные письма.

Сам же переписывался с матерью довольно неудачно. Как жаль, что не сохранились его письма! Но ее послания уцелели. Они прелестны. Без них Варвара Петровна казалась бы просто самодуркой-крепостницею. А это далеко не так.

Когда умер Сергей Николаевич, вся ее любовь перешла на сына. («Иван мое солнце. Когда оно закатывается, я ничего больше не вижу, я не знаю, где нахожусь».) Роман с сыном оказался столь же мучительным, как и с отцом. Сын тоже не любил ее. Ему трудно с ней переписываться, он пишет мало, вяло. Просто ему неинтересно — самое ужасное для любви слово! Забывает отвечать (по лени), иногда вдруг обижается, молчит подолгу.

«...А! Так ты изволил гневаться на меня, и пропустил пять почт, не писав. Извольте слушать, первая почта пришла — я вздохнула, вторая — я задумалась очень, третья — меня стали уговаривать, что осень... реки... почта... оттепель. Поверила. Четвертая почта пришла — писем нет! Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить. Нет! Ваничка болен,— говорила я.— Нет! — он опять переломил руку... Словом, не было сил меня урезонить. Вот и пятая почта. Все перепугались... Думали, я с ума сошла. И текущую неделю я была как истукан: все ночи без сна, дни без пищи. Ночью не лежу, а сижу на постели и придумываю... Ваничка мой умер, его нет на свете... Похудела, пожелтела. А Ваничка изволил гневаться...»

Времена, когда Ваничку просто можно было высечь, прошли. Но, быть может, тогда она его меньше и любила. Он же, конечно, тогда особенно нуждался в ласке и любви, а сейчас уходил от нее, начинал широкую и славную свою, взрослую жизнь.

Сколько страсти, блеска, кипения в ее письмах! Какой темперамент! Гибкость, острота слов, чудесная их путаница, огонь, и как мало это похоже на всегда ровную и круглую прозу, прославившую сына. Ее писание — монолог, без всяких условностей, из недр, из «натуры».

«...Моя жизнь от тебя зависит. Как нитка в иголке; куда иголка, туда и нитка. Cher Jean!¹ — Я иногда боюсь, чтобы тебя не слишком ожесточить своими упреками и наставленьями.— Но! — ты должен принять мое оправданье. Век мой имела я одних врагов, одних завистников».

Вот это «Но!» с восклицательным знаком,— где, в чей прозе виданы такие вещи — и как очаровательно выходит: нервно, властно, капризно.

Вовсе не дикая степная помещица писала из Спасского двуликому гегельянцу. Варвара Петровна и сама путешествовала, и была довольно просвещенной, и любила читать, читала много — преимущественно по-французски. Русской литературы

¹ Дорогой Иван! (фр.).

почти не признавала. Вообще к литературе, как и к религии, ее отношение — сплошь противоречие. Писатель как будто и *gratte-papier* (писец), но вот сама она охотно читает, и образована, и латинскую поговорку приводит сыну, и укоряет свекровь, что та умеет только в карты играть. И главное, она сама — почти писатель. Как описывает свой день! Как изображает пожар! Всюду в ней артистическая натура, *талант*. Вот слово горькое и радостное, неожиданное для такой Салтычихи¹, какую подавали нам ее.

«...Опять повторяю мой господский, деспотический приказ.— Ты можешь и не писать.— Ты можешь пропускать просто почты,— но! — ты должен сказать Порфирию — я нынешнюю почту не пишу к мамаше.— Тогда Порфирий берет бумагу и перо.— И пишет мне коротко и ясно — Иван Сергеевич-де, здоров,— боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно *Николашку* высеку; жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик, и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости...»

Довели ли Тургенев с Порфирием ее до «такой несправедливости»?

Ясно лишь одно: всегдашняя прохлада Тургенева к матери. Внимания, дружественности к ней у него нет. Варвара Петровна, например, просит его присылать из Берлина цветочных семян (в конвертах писем) — она цветы всегда очень любила, да и эти семена казались ей связью с сыном. Он иногда посылал, иногда нет, смотря по настроению. Просто он не думал — ни о ней, ни о ее желаньях.

Любви нельзя заказать: явись! У Тургенева к матери этого чувства не возникло. Он имел большие основания ее *не* любить. И все же его равнодушие рядом с ее пламенем не выигрывает. Она нередко грубо упрекала его (в эгоизме, расточительности) — но в своей иступленной любви, в страданиях, бессонных ночах и «несправедливостях» возбуждает она сочувствие.

* * *

А он в это время *жил*. Писал стихи, но прятал их, не печатал. Главное — рос, вбирал, что можно, начиная с лекций Вердера и до катаний в Тиргартене с Бертой, до ухаживаний

¹ Салтыкова, знаменитая по зверству крепостница. (Примеч. авт.)

еще за некой девицей. Видеть, жить, обогащаться можно было еще столько, еще так он молод! А мать в какой-то Орловской губернии...

Старый дом Спасского сгорел майским вечером 1839 года, и мать картинно изобразила, как уехали гости, как она легла на патэ (диван), вокруг возились дети, она начала «с Лизетой о чем-то спор», и вдруг в окне пролетела искра, за ней горящий отломок, и сразу весь сад осветился заревом. Варвара Петровна убежала в церковь. Мычали коровы, вопили женщины, мужики довольно бестолково толкались с ведрами и баграми. Деревенский пожар — ужас и беспомощность... в багровой иллюминации с розовыми клубами дыма, где носились перепуганные голуби, к полуночи от старого гнезда ничего не осталось, кроме бокового крыла. Варвара Петровна перебралась временно во Мценск.

Может быть, гегельянец в Берлине и вздохнул, и задумался, но — все это дальняя Скифия, страна рабов, владык: мелькнуло и ушло. Гумбольдты же, Станкевичи, Вердеры — живое, окружающее.

В конце года Тургенев съездил, однако, в эту Скифию, побывал в Петербурге, а в начале 1840 года через Вену попал в Италию. Рим сороковых годов! — Трудно сейчас даже представить себе его. Карнавалы на Корсо, альбанки цветочницы на Испанской лестнице, бандитские шляпы, абруцские бархатные корсеты на женщинах, ослики, папская полиция, коровы на Форуме, полузасыпанном вековым прахом — и тотчас за ним начинающаяся Кампанья, луга там, где сейчас Суд, рогатки по вечерам на улицах... и несмущаемое веянье поэзии, терпкий, живоносный воздух Рима.

В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника. Ему нашелся превосходный сотоварищ, друг и вождь — тот же Станкевич. К Риму идет тонкий, изящный профиль Станкевича, с длинными, набок заложенными кудрями, с огромным поперечным галстухом, благообразным рединготом. Станкевич жил на Корсо. В маленькую его квартирку сходились Тургенев, Ховрины, Фролов. Недалеко гоголевская *Strada Felice* (ныне *Via Sistina*). Вероятно, часто заседали в кафе Греко, на *Via Condotti*, знаменитом еще со времен Гете. Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели. «Царский сын, не знавший о своем происхождении» (так называл друга впоследствии Тургенев), доблестно водил его по Колизеям,

Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи «Афинской школы» и «Парнаса» Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидел, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда на этом патриции.

Станкевич был болезнен,— чахоточный. Может быть, это обостряло, утончало его. Придавало некую пронзительность. Тургенев вздыхал по старшей дочери Ховриных, Шушу, но довольно безболезненно. Поляк Брыкчинский, тоже туберкулезный, угощал их музыкой. Тургенев собирался брать уроки живописи, да так и не собрался. Впрочем, рисовал разные шуточные рисунки, вроде карикатур. Пожалуй, это первые черты позднейшего тургеневского сатиризма,

Рим склонен располагать к меланхолии, но прозрачной, творческой. В Риме человек чувствует и свою бренность, и свою вечность. Гете, Гоголь многое в Риме создали. Тургенев учился. Станкевич заглядывал уже в бездну. Вот он подымается на четвертый этаж к Ховриным, читает стихи Пушкина и вдруг, задохнувшись, останавливается, кашляет. На поднесенном ко рту платке кровь.

Или они с Тургеневым возвращаются в коляске из Альбано, по Аппиевой дороге. Близки сумерки. Прозрачно в воздухе, справа немеют под небом Сабинские горы, вершины их тронуты розовым. Акведуки, стада, все замолкшее, закаменелое. Пастухи в кожаных штанах и безбрежный купол св. Петра, и налево, к Остии, тихое полыханье заката, уходящего в море, прорезанного одинокой башней.

У высокой развалины, обросшей плющом — они идут по обеим сторонам дороги — Тургенев остановил экипаж, высунулся, крикнул:

— Divus Caius Julius Caesar!¹

Эхо ответило каким-то стоном. Станкевич, дотоле веселый и разговорчивый, вдруг побледнел, поник острым подбородком в свой огромный галстук.

— Зачем вы это сделали? — спросил он, когда коляска тронулась. И до самого Порта Сан-Себастьяно был молчалив. Наступал вечер. Древняя земля Кампаньи дышала прахом.

Его предчувствия сбылись. Расставшись поздною весной с Тургеневым, он больше с ним не встретился, скончался летом

¹ Божественный Гай Юлий Цезарь (ит.).

в Нови, на руках Дьяковой и Ефремова. Тургенев находился в это время в Неаполе. А возвращался в Берлин через Геную.

Смерть Станкевича очень его взволновала, но не могла остановить. Может быть, сквозь вуаль искренней слезы острее воспринимался самый мир. Пешком путешествовал он по Швейцарии, в костюме туриста, с палкою и ранцем за плечами. Проезжая через Франкфурт, влюбился во встреченную в кондитерской красавицу-девушку (Джемма из «Вешних вод» — только была она еврейка, а не итальянка). Чуть во Франкфурте из-за нее не застрял — но не его судьба, конечно, прикрепиться к захолустной булочнице. Добравшись до Берлина, написал прекрасное письмо Грановскому о смерти Станкевича.

Станкевич был залетный гость, русский Новалис. Прилетел голубем, оставил во всех, знавших его, след чистый и нежный — и унесся. Для чего-то был нужен Тургеневу. Для чего-то оказался нужным и другой человек, уже не голубь и не залетный, с которым тоже свела его судьба. Он познакомился с Михаилом Бакуниным через месяц после смерти Станкевича. Даже поселились они вместе, быстро сблизились, целый год прожили душа в душу. Новый друг только то имел общее с прежним, что был гегельянцем. Здоровенный, красивый, шумный, речистый — сплошной натиск, командование. Что-то, однако, прельщало в нем Тургенева. Обратное Станкевичу — не широкая ли поза, «вдохновенность», кудри, сила? Молодому Тургеневу и «такое» очень нравилось. Совсем недалеко время, когда он увлекался Марлинским и Бенедиктовым. Портрет (редчайший) начала сороковых годов, дает Тургенева с довольно «роковым» поворотом головы, взором не без вызова, с романтическими кольцами кудрей — очень красивый и замечательный молодой человек, но уж конечно не без позы. Перед Станкевичем ему таким не пристало быть. Перед Бакуниным — как раз впору. Оба высокие, оба красивые, видные, Тургенев и Бакунин представляли отличную пару, выделявшуюся и на лекциях, и на разных собраниях. Анненкову бросились они в глаза в известном берлинском кафе Спарньяпани, где получалось много иностранных газет и журналов: разумеется, русские барчуки-гегельянцы украшали собой это учреждение.

При всем своем шуме и грохоте Бакунин в то время вовсе не «разрушал основ» — напротив, с русскою яростностью защищал и оправдывал все существующее, как разумное, доводил Гегеля до последнего предела. Тургенев и тут держался тише — никогда к крайностям пристрастия не питал.

И быть может, кроме идейной близости, просто удобно и приятно ему было жить с этим жизнерадостным барином, с

какого-то конца «своим». От жизни их остались некоторые свежие следы. Могли бы они вспомнить хорошие минуты, «ночные бдения», как говорил Бакунин, в их комнате — Тургенев у любимой печки, Бакунин на диване. Вечера у сестры Вареньки, где слушали бетховенские симфонии, пили чай с копчеными языками, пели, смеялись, спорили... Или визиты к фрейлейн Зольмар (молоденькой актрисе) — Тургенев в зеленом бархатном жилете, Бакунин в лиловом. Да и то же кафе Спарньяпани...

Кажется, эта полоса Тургенева, берлинско-итальянская, — из лучших его полос.

В РОССИИ

Он вернулся на родину нарядным и блестящим юношей. Любил франтить — носил лорнет, щеголял разноцветными сюртуками и жилетами — панталоны тогда шили узкие, со штрипками, и очень нежных цветов. Любил поболтать, пустить пыль в глаза. Разумеется, прихвастнуть. Внешний его облик довольно долго еще не совпадает с тем, чем надлежало ему быть в действительности. Многих это обманывало. Уже позже, встречая на Невском высокого, красивого юношу, очень изысканно одетого, Панаев не думал, что это поэт, философ — принимал за светского барчука. Не так ли франтил в свое время Петрарка в Авиньоне? Только моды были иные: итальянский поэт занимался правильностью кудрей, обрамлявших лоб.

Тургенев жил летом в Спасском, зимой в Москве с матерью на Остоженке, в доме Лошаковского, занимая комнаты в мезонине — теплые, уютные, с нерассказуемой прелестью старинных московских домов, запахом вековой мебели, легких курений, с лампадками в углу, засохшими вербами перед иконами. Он много выезжал. В московских салонах часто появлялся — там же, где блистал прежде Пушкин, Грибоедов, где можно было встретить Гоголя и Хомякова, Аксакова, Чаадаева. Думал сдать магистерский экзамен, получить кафедру философии. Ничего из этого не вышло. Так и остался Тургенев того времени маменькиным сынком, молодым человеком с поэтическими устремлениями.

С матерью уживался еще очень прилично. Она была счастлива, что сын вернулся. В Спасском закармливала его любимым крыжовенным вареньем. А он стрелял дупелей, рассказывал, валяясь на огромном диване-патэ, сказки маленькой Варе Житовой, воспитаннице, и иногда с ней же делал набег на знаменитый бакалейный шкаф Спасского, находившийся у входа в каменную галерею, уцелевшую от пожара — там помещалась

библиотека. Этим шкафом заведывал камердинер покойного Сергея Николаевича — глуховатый и слегка полоумный старик Михаил Филиппович. Тургенев с Варей забирались туда — барин уже взрослый, запретить ему нельзя! — опустошали «добро» и сласти. Старик ужасался, страдал... но ничего не мог поделать. С грустью докладывал потом Варваре Петровне: «Опять все изволили покушать! Да ведь у них так-то и желудочки расстроятся!» Конечно, убивало и то, что вот истребляется это самое хозяйское «добро».

Но Варвара Петровна *за это* на сына не нападала.

— Ну, ничего, Филиппыч, придется отправить подводу в Орел, или во Мценск.

Идиллия нарушалась, однако, темным бытом. Варвара Петровна умела портить жизнь. Дворецкого Полякова она очень ценила. Смиренную Агашу, его жену, просто любила... и когда у той появилось дитя, рассердилась. Во-первых, ребенок пишит. Второе — отвлекает мать от забот об особе Варвары Петровны (в священности своей она была глубоко убеждена).

— Если у тебя дети при тебе, ты не можешь служить мне как надо!

И распорядилась услатить дитя в деревню Петровское, там воспитывать. Агафья много терпела, долго. Но тут не покорилась. Ребенка не услали, держали тайно в Спасском, устроив как бы заговор против барыни. Дворня держалась стойко. Агафью и Андрея уважали и не выдали. Но родители вечно дрожали. Однажды крик грудного младенца чуть его не выдал — отцу пришлось зажать ему ротик рукою. Все это тянулось долго. Закончилось в Москве, позже, когда Агафья осмелилась наконец сказать прямо в лицо госпоже, что детей (еще двое родились позже) она в Москву взяла — вопреки барской воле. Что за сцена произошла, нетрудно вообразить. Агафью разжаловали, наказали, но дети все-таки остались в доме: их вновь спрятали.

Тургенев был уже не мальчик. В Москве к нему приезжал Грановский и они горячо рассуждали в верхних комнатах о крепостном праве, об освобождении крестьян. Он не мог терпеть таких историй, как с Агашей — вмешивался, мучился, иногда успевал, иногда не удавалось: во всяком случае, под приличную внешностью — внутренне отношения с матерью портились.

Среди этой сытой, широкой барской жизни вновь появляются, как уже однажды раньше, дела любовные.

Афродита-Пандемос снова предстала в виде рабском, вновь на тучных нивах Спасского — скромная Афродита-швея, тихая блондинка. Он завоевал Авдотью Ермолаевну без усилий. Она робела пред ним и трепетала перед барыней. Вероятно,

последнее и было самым сильным ее чувством. Ему же внушила известную нежность. Конечно, был он с нею так ласков, как никто в ее быту. Она покорно отдала ему и молодость свою, и девичество, как существу высшему. Связь оказалась простой, несколько грустной, человеческой... и неинтересной.

Разумеется, Варвара Петровна узнала обо всем. Авдотью Ермолаевну из Спасского изгнали. Тургенев поселил ее в Москве, на Пречистенке — там сняла она квартирку из двух комнат в первом этаже небольшого дома, и занялась рукоделием.

Что-то безответное, скромно-покорное остается от неяркого образа Авдотьи Ермолаевны. Орловская Дунечка, не посмевшая не ответить на случайный пыл барина. Не эту ли Дунечку, смиренно-пришедшую, вспомнил он стихотворно в сорок третьем году?

Открытое окно, сад «огромный, и темный, и немой». Они сидят у этого окна, он гладит ее распущенные волосы, она «с улыбкой томной» смотрит в сад. И соловей спасский, все дыхание тех мест, и луна.

И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!»
Я отвечать хотел, но странно замирая,
Погасла речь моя... Томительно немая
Настала тишина...
В больших твоих глазах слеза затрепетала,
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.

Была ли, не была в этой нехитрой молодой связи частица поэзии, во всяком случае орловская Дунечка не так уже бесследно ушла из жизни Тургенева: в мае 1842 года родила она ему дочь. Ее назвали незаметным, мещанским именем Пелагеи, а таинственная рука судьбы навсегда увела ее впоследствии из Орла и Мценска, русскую Полю пересадила в Париж, обратила в Полину и ввела в чуждую ей французскую семью иной, блистательной Полины — Виардо. Но пока молодой гегельнец ничего этого не подозревал. Дворовый Федор Лобанов выплачивал Авдотье Ермолаевне ежемесячную сумму. Тургенев же вел в это время другой роман, смутно-интеллектуальный, рудински-разговорный и обставленный всем изяществом утонченного дворянского быта.

* * *

Странная русская семья жила в имении Премухино Тверской губернии, на берегах прохладной речки Осуги. Бакунины —

отец и мать, и целое племя детей, больше девиц, но среди них и тот самый Михаил Бакунин, «Мишель», с которым молодой Тургенев прожил в Берлине целый год. Из-за Мишеля стала семья исторической, но она была, конечно, любопытна и сама по себе. Это как бы девическое царство — в нем господствовал, однако, и вел всех за собой Михаил. Сестры его, определившие «климат» Премухина — Любовь, Варвара, Татьяна и Александра Александровны. Со старинных изображений глядят эти лица, не совсем правильные, иногда (как у Варвары) вовсе некрасивые, иногда типично русские (Татьяна), но все с отпечатком незаурядности и некоего беспокойства. Во всех них, как и в брате Михаиле, вечно кипело, сгорало что-то, вечные порывы и терзания, восторги, отчаяние. Варвара в ранней юности отличалась иступленной религиозностью, пережила мучительнейшие сомнения, доходя иногда почти до безумия. Пятнадцати лет, со стиснутыми зубами и обливаясь холодным потом, доводилось ей кататься по полу, заглушая страшный внутренний вопль. («Бога нет, Бога нет!»). Старшая сестра Любовь была несколько тише, с огромным обаянием, но с такой же внутренней восторженностью, как и младшая, Татьяна. Все они с детства знали по несколько языков, музыку, зачитывались немецкими романтиками — Новалисом, Жан-Поль Рихтером. Прodelали весь философский путь брата — то Фихте, то Гегель владели ими.

Барская жизнь того времени оставила нам хорошие архивы. Через сто лет многое можно прочесть из переписки энтузиасток с братом, между собою и другими. Есть в этом особый «премухинский» стиль: все всегда свято, небесно, вечно, всегда сердце и ум направлены или на Бога, или на добро, любовь, человечество. Или собственная душа усовершенствуется, или даже надо спасать и «просветлять» человечество. Средних нот нет. Всегда «по звездам». Если любовь, то это парение, слияние двух душ в одну сияющую вечность и т. п. Прекраснодушие — искреннее, иногда глубокое, иногда с несколько напыщенным оттенком. Влюбленности, слезы, много томлений и много страданий в этой семье — и замечательной, и очень несчастной. Особенности девушки привлекают и необычных друзей: «премухинским» захвачены люди как Станкевич, Белинский — у всех них сложные и запутанные сердечные дела с обитательницами Премухина. Сам Мишель тоже, разумеется, влюблен (в Наталию Беер), но и к собственной сестре Татьяне питает чувства довольно странные — ревность входила в них большой дозой. Он «духовно» и «патетически» был чуть ли не влюблен в нее. Ее переписка с ним местами похожа на роман.

В это Премухино и попал Тургенев в июне 1841 года, когда уехал от «Мишеля» из Берлина. Он уже встречался с Бакуниными (с Варварой, вышедшей замуж за Дьякова — за границей. Не совсем ясно, где познакомился с Татьяной, видимо, в конце 1840 года). Еще менее ясно, когда возникло между ними то, что продержало его при ней почти до самой Виардо. Но трудно представить себе июньские дни 1841 года вне завязки романа. Слишком все подходяще.

В Премухине был дом с колоннами у балкона, увитыми хмелем. С боков кусты сирени, жасмина, почти заглядывавшие в окна. Перед балконом цветники. Конечно, парк. Замечательная церковь, екатерининских времен, классического стиля. Извилистая Осуга, луга, поля и перелески. Вся прелесть русского июня предстала Тургеневу в это его посещение. Еще соловьи не отошли. Кукушки кукуют, ночи коротки и звезд мало, это не звездный август. Зато чудесно благоухают луга, полные звончиков, медвяной «зари», всяких кашек, цикориев. Скоро покос. Нежны июньские вечера. Ливни сияют сквозь солнце и радугу. Молодые ржи наливаются — колос еще сизо-молочный, и как пахнут они после дождя!

Кто знает, о чем и как говорили Тургенев с Татьяной на балконе, или в беседке, под дубами Премухина. Были сладкие и нежные минуты в обрамлении типического «тургеневского» романа. Именно так, как впоследствии будет в его повестях. Тургенев играл как бы собственную пьесу. На прогулках по рощам и в ночной тьме на балконе, после сыгранного в зале Бетховена, при бледных звездах говорилось, разумеется, немало романтических заоблачностей. «Святая дружба», вечная любовь, небеса души и многое в подобном роде — вздохи и загадочные взгляды, чувства и некая игра в них, поза, все перемешивалось и создало туманно-бродящий напиток, опьянявший — но в разной мере — обоих. Тургенева он целиком не захватил. Истинный его час еще не настал. Сердце оставалось прохладным, и он довольно точно изображал себя, когда позже писал Татьяне: «Я никогда ни одной женщины не любил больше вас — хотя не люблю и вас полной и прочной любовью». Там же называет он ее «сестрой» своей и «лучшей единственной подругой». Вот именно сестра и подруга... Но она не владела им. Не плен это, а тот поэтически-эротический трепет, в котором почти постоянно Тургенев жил. На этот раз предметом его стала Татьяна. Он не лгал, говоря, что «ни одной женщины не любил больше»: сравнивать еще не с кем. Юная влюбленность в Зинаиду, правда очень острая, все же детская болезнь. Нехитрую связь с Дунечкой вряд ли можно вообще считать — это пока весь и любовный опыт Тургенева.

Татьяна же поддалась вполне. Когда-то писала она Мишелю: «Ты хорошо знаешь, что человек, которого я могла бы полюбить, который должен наполнить все мое сердце, все мое существо, существует лишь в моем воображении. Может быть, я встречу его лишь на небе». Она ошиблась. Встретила и на земле, и хотя была, разумеется, величайшая фантазерка и всякие чувства наряжала в романтику, все же влюбилась по-настоящему.

Роман протекал и в Москве, и в Премухине, и в Шашкине, орловском имении Бееров, друзей Бакуниных. Яркую и страдательную роль играла в нем Татьяна. По духу своего премухинского дома, внесла в него всю силу, восторженность и беззаветность души. «Христос был моей первой любовью. Как часто, стоя на коленях у Его Креста, я плакала и молилась Ему. Вы, мой друг, вы будете моей последней, вечно искренней, вечно святой любовью». Татьяна не могла бы сказать, что любит Тургенева «неполно», или раздвоенно.

Любила всячески, и уже тогда чувствовала в нем великого художника. А у него в мае 1842 года пицала девочка от Авдотьи Ермолаевны. Но «душевный» роман с Татьяной еще продолжался. Она все более убеждалась в неравенстве ролей и безнадежности своего положения. Сколько бессонных ночей, слез, мучений! Но уж так полагается в Премухине, да впрочем, и во всякой большой любви.

«Вчера вечером мне было глубоко, бесконечно грустно — я много играла — и много и долго думала.— Молча стояли мы на крыльце с Alexandrine — вечер был так дивно хорош — после грозы звезды тихо загорались на небе, и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу — и хотят, чтобы я надеялась и я как будто прошалась с землей и жизнью — и жаль мне было ее — жаль мне было вас всех — я хотела удержать вас в руках моих — мне грустно было оторваться от вас — ведь жизнь не повторяется и смерть отнимает не на один миг, а навсегда...»

Тургенев уходил от нее, чем далее, тем больше. Тому, кого любила она чуть ли не как Христа, чье предчувствовала огромное назначенье, судьбу блестящую, приходилось ей писать: «Я знаю, вы сами мне сказали, что я вам чужая, что я вам ничто».

Но любовь сдается не сразу. Не так легко сердцу признать свое поражение, смириться. Оно ищет утешиться. Иной раз мелькает для Татьяны это утешение в самоотречении и покорности воле Божией. «И если бы я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного, святого, великого, если бы я могла умолить Бога дать вам все радости, все счастье — мне кажется, я бы позабыла тогда требовать для себя самой».

А рядом с этим великая горечь «непрощенной», «ненужной» любви, такое унижение любить без ответа... Иногда она «готова ненавидеть» его «за ту власть», которой сама же и покорилась.

Все это терзало и раздирало Татьяну не один месяц. В них проходит весь 42-й год. Жизнь Тургенева видимо принимает свое, с ней несвязанное течение. Человеколюбия в любви не так-то много. Тургенев вряд ли мучился ее страданиями.

Летом 43-го года наступил полный и окончательный разрыв. Внутренно он был готов давно, внешний повод — история с деньгами для Мишеля. Михаил Бакунин попал в затруднительное положение с деньгами в Берлине — задолжал издателю Руге 2800 талеров. Татьяна просила Тургенева заплатить за брата, обещая, что отдаст ему впоследствии семья. Тургенев просьбу ее исполнил, хотя и с опозданием. Но тут он нечто написал Татьяне, очень ее задевшее. Письмо это не сохранилось. В ответе на него Татьяны говорится о желании Тургенева оскорбить ее, о «сухом и презрительном» тоне письма, чего она никак не ожидала. Уцелело еще одно, прощальное письмо ее, помеченное августом 43-го года. На нем кончается и переписка, и роман.

Что такое мог написать Тургенев? Ничего особенного. Особенное для нее была прохладность, равнодушие... Он уже не взволнован ею. Может быть, даже самая восторженность Татьяны стала ему надоедать. Этого — раз появилось — скрыть нельзя. Отсюда и тон *sec. Mergisable* она сама определила, приписав холоду презрительность.

Такова генеральная репетиция взрослого Тургенева в любви. Он победил там, где это не было для него важно. Победа не дала ему ни радости, ни счастья. Татьяне принесла страдания.

Роман отозвался в двух-трех его стихотворениях. Потом он помянул его — жестоко и неудачно — в «Татьяне Борисовне и ее племяннике». Напрасно пылала Татьяна! Тургенев несмешно посмеялся над ее восторженностью, над всем «премухинским». Зачем это понадобилось ему? Понять не так легко.

* * *

За эти годы не одною, однако, любовью занимался он. В Берлине писал стихи (не уцелевшие), продолжал их писать и в России. Это уже не «Стено» — литература, настоящая поэзия. Позднейшее его описание заслонило ту полосу. Обычно знают лишь Тургенева прозаика. Но уже пора правильно распределить планы, отдать должное его молодости. Стихи исходят, разумеется, из Пушкина. Музыкальны, однако, у них есть и свой оттенок — некоей медлительности, волнообразной плавности.

Будто хорошо плыть ему по спокойной, элегической реке. Тут, конечно, темперамент Тургенева. Это не удивляет. Не удивит и живопись в стихах — эти краски, как и манера, хорошо известны по его прозе. Мотив любви — тоже Тургенев. Но из-за музыки, живописи и пейзажа выступает, как некогда в «Стено», облик горький, уязвленный. Совсем нет в тургеневской лирике и юных поэмах прекраснотушия премухинских барышен! Многие он любит, но над многим посмеется, многое осудит. Смирной восторженности в нем не надо искать. Он бывает холодноват, язвитель. У него срываются иногда тяжкие слова.

Вот говорит он о толпе. Кто из поэтов любил толпу! И Пушкин ее громил. Но не пушкинские строки заключают эту вещь:

И я тяну с усмешкой торопливой
Холодной злости, злости молчаливой,
Хоть горькое, но пьяное вино.

Жизнь, люди, мир... это еще должно быть оправдано. А то вот:

...Женился на соседке,
Надел халат,
И уподобился насадке —
Развел цыплят.

Вердер Вердером, Станкевич Станкевичем, и премухинские излияния Татьяны — это один фасад, но есть и другой, горестно-иронический. Не зря мальчик, написавший «Стено», воскликнул:

Но я как неба жажду веры!!

Она не пришла, как не пришла и полная, осуществленная любовь. Если бы была вера, и такая любовь, как у Татьяны (или позже у его же собственной Лизы из «Дворянского гнезда»), не было бы холодной и презрительной тоски. Странно сказать, но молодой Тургенев хорошо чувствовал дьявола — вернее, мелкого беса, духа пошлости и середины. Бесплодность, испепеленность сердца оказались ему близки.

В 1843 году он написал поэму «Параша», первую вещь, обратившую на него внимание. В ней есть чудесная помещицья деревня, девушка, первый трепет любви — опять все «тургеневское». Есть и герой (сосед помещик), родственник Онегина, но с несколько иным оттенком. Нет, однако, ни Ленских, ни дуэлей... Все благополучно, и все страшно потому, что так благополучно. Поэту и хотелось бы, чтобы была трагедия. Пусть

бы коснулась героини «спасительность страданья». Но вот не касается. Что-то мелькнуло прекрасное и поэтическое в их первой прогулке — вечером, в помещицьем саду. Будто начало «большого». Но это только кажется. И уже над ними тень насмешки, предвестие будущего.

Что если б бес, печальный и могучий,
Над садом тем, на лоне мрачной тучи
Пронесся — и над любящей четой
Поник бы вдруг угрюмой головой?

Бесу есть над чем пораздумать. Сосед женился на Параше. Отец «молодым поставил славный дом», племянник Онегина в нем поселился с милою Парашей... вероятно, стали они толстеть и разводить индюшек.

Поздравляю
Парашу, и судьбе ее вручаю —
Подобной жизнью будет жить она,
А, кажется, хохочет сатана.

С ранних лет невзлюбил Тургенев брак, семью, «основы». В горечи и пошлости жизни особенно ненавидел «мещанское счастье». Кто знает, если бы женился на Татьяне и развел бы по-бакунински семью, может быть, и сам бы стал иным. Но вот, не женился, ни теперь, ни позже... Во всех противоречиях его облика есть одна горестно-мудрая, но последовательная черта: одиночество, «несемейственность».

«Параша» появилась весной 1843 года, когда он попробовал уже (по настоянию матери) службу — служил у Даля, известного этнографа и знатока языка, в Министерстве внутренних дел. Служба его не заинтересовала. И ничего из нее не вышло, как и из профессуры. Славный его путь заключался уже в книжечке «Параша».

«Парашу» прочла Варвара Петровна и — к удивлению — одобрила. Это было первое писание сына, которое она как-то признала. «Без шуток — прекрасно. Не читала я критики, но! в «Отечественных записках» разбор справедлив и многое прекрасно... Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все реальное любим. Итак, твоя «Параша», твой рассказ, твоя поэма... пахнет земляничкой».

Так писала она сыну в Петербург. Он только что познакомился там с Белинским — знакомство тоже роковое, прочно прицеплявшее его к литературе. Уезжая весной в деревню, Тургенев занес Белинскому «Парашу», не застал хозяина и, оставив экземпляр, уехал. В Спасском получил тот номер «Оте-

чественных записок», о котором говорит мать. Белинский поместил в нем подробный, очень сочувственный разбор «Параша».

Молодой автор, в деревне, о нем появилась первая хвалебная статья... Как ясно можно представить себе Тургенева, разрезающего страницы Белинского! Волновался, то прятал, то клал книжку на видное место. Делал вид, что ему все равно, а в действительности трепетал. Приезжали соседи, смотрели, ахали... Мать что-нибудь острила, будто бы пренебрежительно — но на этот раз тоже с гордостью — «пахнет земляникой!»

Чудесное время. Май, Спасское, молодость. Только что отошла тяга. Быстро июнь пролетит. И к Петрову дню закатится Иван Сергеевич Тургенев, полный ощущения таланта своего, успеха своего, куда-нибудь за утками и дупелями, может быть вдале, в Жиздринский уезд Калужской губернии, к разным Брыням, Сопелкам, на паре в бричке — там болота знаменитые: в его времена прямо кишели дичью.

ВИАРДО

Полина Виардо была дочерью знаменитого испанского тенора Мануэля Гарсиа. Мать ее, Джоваккина Сичес, тоже пела, как и старшая сестра Мария, по мужу Малибран — прославленная певица. Полину с детства учил властный и суровый отец. Первые уроки — на парусном судне, шедшем в Мексику, — с голоса, без рояля. Ноты писал сам отец. Она пела с ним по вечерам, на мостике, «к большому удовольствию всего экипажа».

Эти удивительные уроки в океане, под открытым небом, связаны с артистическими странствиями отца: он пел и в Европе, и в Америке. В той же Мексике приходилось семье Гарсиа путешествовать на лошадях по диким лесным дорогам. Отец и брат скакали верхом рядом с экипажем женщин, по временам слезали, расчищали бурелом, нарывали цветов для дам — ехали дальше.

Полина с детства знала театр, слушала оперы, росла среди артистов. У нее оказался отличный голос. Судьба ее определилась.

Она рано начала выступать. Впервые в Брюсселе — в 1837 году, шестнадцати лет. Затем в Лондоне и Париже — камерною певицей. В Парижской Опере дебютировала в 1839 году, в «Отелло» Верди, успех имела огромный, и с этого времени начинается ее известность. Ее пригласили в итальянскую оперу. В 1841 году она вышла замуж за директора этой оперы, г. Луи

Виардо — вряд ли по любви, скорее для жизненного укрепления. Виардо был на двадцать лет старше ее, по-видимому, человек смирный, просвещенный, малозаметный — муж знаменитости.

Начались ее странствия по столицам и полустолицам Европы: Лондон, Мадрид, Милан, Неаполь, Вена, Берлин — всюду она выступала, всюду покоряла. Обладала удивительным голосом, гибким, могучим, столь разнообразным, что она пела и высокие колоратуры, и партии драматического сопрано, и даже контральто (Фидес в «Пророке», Орфей Глюка). Сценическая ее выразительность была столь же высока, как и умение петь.

Красотою Виардо не славилась. Выступающие вперед губы, большой рот, но замечательные черные глаза — пламенные и выразительные. Волосы тоже как смоль — она зачесывала их гладко на пробор, с буклями над ушами, они очень блестели и лоснились. Любила носить шали. В разговоре жива, блестяща, смела. Характером обладала властным — в отца. Насквозь была проникнута искусством — искусство это опиралось, разумеется, на страстный женский темперамент.

На сцене она воспламенялась. И сквозь некрасоту лица излучала свое обаяние.

Древняя кровь, древние страсти таились в ней. Малибран считали более лирической певицею, Виардо трагической. Гейне ощущал в ней некую стихию, саму Природу: море, лес, пустыню. Может быть, и действительно, сберегла она в себе первозданное. Может быть, странствия юности, океаны, леса Мексики, плоскогорья Испании навсегда оставили на ней отпечаток. Гейне, человек эротический, боялся ее улыбки, «жестокой и сладостной», и чувствовал в ней экзотику. Он находил, что когда она поет, то внезапно на сцене могут появиться тропические растения, лианы и пальмы, леопарды, жирафы, «и даже целое стадо слонят».

Такова была молодая звезда, облетавшая Европу, всюду побеждавшая. Россия находилась далеко, но слава ее шла и на Запад: Император, двор, Петербург, фантастические снега, фантастические гонорары. Направляясь туда, вероятно считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов. В действительности — попала в пышный императорский Петербург 1843 года, со всей тяжеловесной и великолепно придворной жизнью, с русским барством и блестящими театрами. Ведь это — время высшей силы Николая II Фридрих Вильгельм склоняется пред ним, вся Европа трепещет.

Виардо не ошиблась, конечно, в расчетах (она вообще отлично понимала жизнь): прием оказался редкостным. В Петербурге итальянскую оперу только что возобновили, после многолетнего

перерыва. Певица открыла гастроль «Севильским цирюльником» (Розина), и успех имела протрясающий. По окончании первой же арии все в зале неистовствовало, кричало, стучало, хлопало — пронеслась буря, вроде тропической, хоть и под северным небом. Одна экзотика встретила другую. После спектакля толпа ждала певицу у выхода. Растаскивали цветы из букетов, целовали руки, провожали карету до дома — все, как полагается в «дикой» стране.

Среди энтузиастов оказался и один молодой человек, очень образованный и речистый, красивый, элегантно одевавшийся, будущий владелец пяти тысяч «рабов», а ныне, из-за ухудшившихся отношений с матерью, ведущий жизнь весьма тесную — Иван Тургенев. В литературе за ним числилось несколько стихотворений да «Параша». В жизни — два-три неопределенных романа и кое-какие случайные влюбленности.

28 октября, в день своего рождения, он охотился где-то под Петербургом — с гончими, или облавой на волков (последнее вероятней). Некий майор Комаров, маленький и смешной человек, познакомил его на охоте с г. Луи Виардо. Очевидно, Тургенев произвел хорошее впечатление. 1 ноября, утром, тот же майор представил его уже самой певице, в квартире ее против Александринского театра. Тургеневу только что исполнилось двадцать пять лет, Полине шел двадцать третий. В то туманно-белое, мокрое петербургское утро с летящим снегом юная знаменитость ласково-равнодушно принимала у себя русского медведя. С ним только что познакомился муж. Его преподносили как «молодого помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого стихотворца» — за восторгами таких медведей она сюда и приехала. Могла ли подумать тогда, что этот «молодой помещик и плохой стихотворец» станет русским классиком и в славе своей далеко превзойдет ее? Что на сорок лет будет он прикреплен к ней? Что ее собственная жизнь переплетется с его жизнью? Что г-ну Луи Виардо так до конца дней своих и охотиться с этим помещиком и мирно беседовать с ним о разных домашних делах?

Тогда, между двумя репетициями и каким-нибудь новым выступлением, среди ежедневных визитов таких же, или гораздо более знатных поклонников, Полина Виардо-Гарсиа просто улыбнулась бы, если б какая-нибудь цыганка нагадала ей подобную судьбу. Может быть, улыбнулся бы и сам Тургенев.

Но вот именно его судьба, больше всего его собственная, свершилась в двадцать пятый год его рождения и в утро начала ноября.

Началось знакомство. Он стал посещать их. Началось время,

для него и сладостное, и нелегкое. Сладость заключалась в том, что он полнотел. Что опьянение владело им — сдержаться он не мог. Не только он бывал у них, и конечно, часто, но обратился и в завсегдашняя оперы, где она пела, хлопал, вызывал, неистовствовал. Повсюду ее превозносил. Говорил о ней много, жадно — злые языки утверждали, что слишком много. Быть может. Но что поделать, он ею заболел. Нравилось произносить самое имя ее. Незаметно для себя стремился навести разговор на нее — и навел. Ядовитая дама Панаева высмеивала его за это... Ничего не осталось в истории от ее шипения, а о любви Тургенева пишутся и будут писаться книги.

Трудность его положения заключалась в неравенстве сил. Он влюблен...— она «позволяет себя любить». Для нее он один из многих, ею восхищавшихся, многих, с кем она вела легкую словесную игру.

Выделяла ли она его? Вначале, по-видимому, средне. То, что впоследствии он изучил основательно: ревность — с этим встретился сразу же. За Виардо много ухаживали. Ее посещали и люди высокого общественного положения, и артисты, и молодежь. Муж в счет не шел. Луи Виардо безмолвная фигура, «полезное домашнее животное». С ним, будто бы, иногда приходилось Тургеневу беседовать уединенно, в кабинете, об охоте, и еще, пожалуй, о рыбной ловле, о земледелии и скотоводстве, пока Полина принимала у себя более видных гостей. Или же такая картина: огромная медвежья шкура в гостиной, распростертый русский зверь, с позолоченными когтями лап. На каждой из них по поклоннику, а королева на диване — это ее маленький двор, ручные преданные звери. Виардо смолоду взяла венценосную позу — очевидно, имела на то данные, да и характер подходил: не из смиренных же она была!

Среди придворных, на соответственном, не очень важном месте, и Иван Тургенев. Являлся еще молодой человек, тоже, конечно, элегантен — Гедеонов, сын директора Императорских театров и сам драматург (в духе Кукольника) — фигура для иностранки довольно видная. Виардо благоволила к нему. Тургенев много менее. Кроме того, что заседал на золоченых лапах и соперничал с Тургеневым, написал Гедеонов пьесу «Смерть Ляпунова». В 1846 году Тургенев длинно, основательно и по заслугам разгромил это ходячее создание в «Отечественных записках».

Тяжело давалось ему, конечно, и безденежье. Мать очень его прижимала. Чтобы посещать Виардо, приходилось быть хорошо одетым. Иметь возможность подносить цветы. Больше, и еще горше: чтобы в театре слушать ее, надо платить за место.

Барский тон Тургенева известен — с отрочества еще сказался. Тут, перед любимой женщиной, конечно, хотелось предстать и понарядней, и блестящей. А у него в то время иной раз на еду не хватало. Питался он кое-как. И случалось пускаться на ухищрения. Недоброжелатели сохранили всякие рассказы о том, как он, сидя в райке и спускаясь в антрактах вниз, объяснял будто бы свою позицию тем, что нарочно сидит там с «клакерами». Или что устраивался не совсем лояльно в ложе знакомых. Два простых слова, однако, все оправдывают: любовь и бедность.

Так или иначе, он за эту зиму очень с Виардо сблизился. Она его выделила из «молодых людей». Когда весной уехала, он уже писал ей. Одно письмо — тотчас по ее отъезде — уцелело. Там есть указания на довольно большую близость. Не просто «знакомый» мог написать: «Я хотел заглянуть здесь в наши маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет». По первому впечатлению это даже слишком. Ни о каких «наших» комнатах в прямом смысле не могло быть речи — дело касается все того же дома Демидова против Александринского театра, где они познакомились. Почему «маленькие»? Квартиру, наверно, она снимала хорошую. Но мог быть маленький будуар, где она принимала его наедине, показывала какие-нибудь фотографии, говорила о своей жизни, детстве — где, может быть, впервые обменялись они нежными взорами и словами. Во всяком случае, такое письмо мало порадовало бы г-на Виардо. Опасался ли он, страдал ли от возникавшей близости между молоденькой женой и русским «помещиком»? Кто знает! Его роль predetermined. Муж знаменитости должен быть терпелив и покорен, подавать ей утром в постель кофе, собирать статьи, рецензии, давать советы об ангажементах. И ничему не препятствовать.

Зиму 1844/45 года Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась и «дружила» с Тургеневым. Летом он ухитрился уехать за границу, разумеется, в Париж, и разумеется, из-за нее. Тем же летом гостил в Куртавенеле, парижской «подмосковной» Виардо. Это и были первые шаги по пересадке нашего писателя на иноземную почву. И в истории его любви, и в истории писаний Куртавенель сыграл роль большую. Уже в письме 21 октября 1846 года (в Берлин из Петербурга), Тургенев вспоминает о Куртавенеле, говорит, что много думал о нем летом, спрашивает, построена ли оранжерея. Начинаются те милые, столь для него впоследствии драгоценные подробности о «подмосковной», которых в дальнейшем будет еще больше. Переписка не совсем налажена. Виардо пишет неаккуратно, он упрекает ее: «А знаете, что большой жестокостью с вашей стороны было не написать ни слова из Куртавенеля».

Возможно, Полина ленилась. Да и не так еще прочно вошел он в ее жизнь, но, может быть, и муж делал попытки (безнадежные) сопротивления. В более позднем письме Тургенев пишет (вновь в Берлин из Петербурга): «Адресую на ваше имя, так как не знаю, находится ли ваш супруг в Берлине» — как будто он должен писать на имя мужа, тот за всем этим следил. Впрочем, тут же сказано: «Обещайте написать мне на другой же день после первого немецкого представления... Я же, со своей стороны, теперь, когда плотина прорвана, намерен затопить вас письмами».

«Плотина прорвана», значит, она воздвигалась... со стороны ли г-на Виардо, или самой Полины, неясно. Видно лишь, что не все шло гладко. Но теперь, в ноябре, затруднения устранены. Открывается многолетний ряд тургеневских писем Полине Виардо, точные записи и мелочей жизни, и важного, и о куртавенельском кролике, и о Кальдероне — некий преданный дневник, направляемый к «прекрасной даме» — с лирическими свирелями по ее адресу. Можно по-разному это оценивать. Может быть, письма любви и вообще не подлежат оглашению: их звук хорош для двоих, чужому они кажутся преувеличенными, чрезмерно умиленными. Во всяком случае в письмах Тургенева много золотых подробностей, сорвавшихся невзначай слов, милых, иногда чудесных блесков. И в приведенном письме, сквозь тон преданности и полного подчинения видно, что писал начинавший созревать Тургенев, человек очень просвещенный, знающий и театр, и музыку, на искусство имеющий свой глаз. Она пела в Берлине «Норму». «Вы достигли (он пишет на основании отзывов немецких газет), теперь и того, что усвоили себе элемент трагический (единственный, которым не владели в совершенстве)». Советует внимательно перечитать «Ифигению» Гете (в этой опере она должна была выступать в Берлине), вдуматься в нее как следует: «Вам предстоит иметь дело с немцами, которые почти все знают «Ифигению» наизусть». (Да и сам он знал Гете отлично — много лучше, чем она.) Предупреждает, что хотя она хорошо выговаривает по-немецки, но иногда преувеличивает ударения, чего надо избегать.

Так что, если все это пишет и верный, пристрастный, уже «свой» человек, все же нельзя обходить его мнения, не считаться с ним: из заседавших на золоченых медвежьих лапах в доме Демидова оказался он умственно и духовно наиболее ей по плечу. Любила ли она его? В изяществе, уме, красоте молодого Тургенева было много привлекательного. Конечно, ей это нравилось. Еще нравилось — его любовь к ней. Но она не болела

им. Он не имел над ней власти. Она не мучилась по нем, не страдала, не пролила той крови сердца, которую требует любовь.

* * *

Кто был он сам к этому времени? «Параша» окончательно ввела его в литературу. Аплодируя Виардо в театре, рассказывая о ней и восторгаясь ею по знакомым, иногда рисуясь и «играя» (молодой Тургенев терпеть не мог быть «как все», что вело его иногда на невыгодные пути), жил он и подземною жизнью художника, далекою от фатовства и позы.

Издали, с расстояния чуть не столетия, облик Белинского не кажется уж столь заманчивым и привлекательным. Но в «становлении» Тургенева Белинский роль сыграл — и немалую.

В Тургеневе противоречий было достаточно. Одно из них: не будучи энтузиастом, часто энтузиазм высмеивавший (и вообще очень склонный к иронии), он питал слабость именно к энтузиастам. О Станкевиче и Бакуanine упоминалось. Теперь Белинский занял место вдохновителя при Тургеневе.

Главное сближение с Белинским произошло после «Параша», летом 1844 года. Белинский жил в Лесном, под Петербургом, Тургенев в Парголово, неподалеку от Лесного. Каждое утро он приходил к Белинскому, уже больному, чахоточному, с лихорадочными глазами и холодными руками, подолгу и трудно кашлявшему, и они вели длиннейшие, возбужденнейшие разговоры... о Боге, назначении человека, Гегеле, о справедливости в устройстве общества и т. п. Ходили вместе гулять. Среди сосонников и ельников тех мест, где много всякой ежевики и брусники, земляники, в пригретом, иногда душном, но всегда благоуханном и целительном северном лесу продолжали те же бесконечные разговоры.

Очевидно, были они как-то нужны Тургеневу. Жена Белинского, дома, всячески уговаривала мужа помолчать, не кипятиться — конечно, это приносило ему вред. Но на то и звали Виссариона неистовым, что остановить его, распаленного, с прилипшей прядью волос, в поту, кашляющего — не так-то легко. Острая душа билась в нем. Прославлены его слова оголодавшему Тургеневу:

— Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть!

Тургенев с одинаковой увлекательностью мог спорить о Гегеле, обсуждать бытие Божие, интересоваться изящным обедом (не у Белинского, конечно), прихвастнуть и высказать какое-нибудь странное мнение. Денежно ему приходилось очень туго,

но он не сдавался, вертелся как мог, занимал, где мог, под будущее наследство, вообще вел жизнь избалованного барчука в тесноте. Белинский его любил — всего, зная и силу его, и слабость. Иногда его бранил, осаживал. И все-таки любил, и вот являлся же к нему Тургенев за пять верст, по утрам! Но тот же самый Тургенев, который уже писал влюбленные письма Виардо, который витал с Белинским в разговорных заоблачных, оказывался способен на такую, например, штуку: вдруг он стал говорить, что у него в Парголово превосходный повар — и пригласил к себе обедать шестерых друзей, среди них Белинского и Панаевых. Те наняли коляску и к одиннадцати утра явились в Парголово. Душно, жарко, все устали и проголодались. Дача Тургенева совершенно безмолвна. Их удивило, что хозяин не вышел встречать. Но... никакого хозяина и вообще не оказалось! Белинский вскипел. У выскочившего из ворот мальчишки узнали, что барина дома нет, а повар сидит в соседнем трактире. Пришлось Панаевой купить у хозяйки дачи молока, яиц, хлеба, и кое-как подкормить приглашенных. За поваром послали мальчишку. Повар явился.

— Заказывали тебе обед на сегодня? — спросили его.

— Никак нет!

До Тургенева все-таки добрались. Он сидел в гостях у священника (по словам Панаевой, «ухаживал за его дочкой»). Общество, позавтракав, отправилось к озеру. Туда явился, наконец, и бедный хозяин. На упреки Белинского отвечал, что обедать звал их на завтра. Никто этому не поверил, но тут же Тургенев так мило стал уговаривать их остаться, обещая все же накормить обедом, что они и правда остались. Повар бегал куда-то за курами, а хозяин развлекал гостей, устроил стрельбу в цель, так смешил и забавлял их, что в конце концов победил. Много смеялись, и он сам над собой смеялся, и рассказывал, как боялся идти к озеру от священника. Обед как-никак они съели — правда, в шесть вечера, вместо полудня, и уж конечно, обед оказался самый обыкновенный — пострадали старые, тощие парголовские куры.

Но пока веселился Тургенев, быть может, и вправду ухаживал за поповной, в промежутках словопрений с Белинским и вздохов по Виардо, успевал очень много читать, и сам писал. «Андрей Колосов» лежал уже у него на столе, в рукописи, во время удивительного обеда. Пробовал он и сценические вещи («Безденежье»), написал очень серьезную статью о «Фаусте», опять стихи, и накопились рассказы: «Бретер», «Три портрета» (из семейной хроники, но уже с большим знанием жизни и горестных обликов ее). Быть может, задумывался и «Петушков».

Белинский дружественно следил за тургеневским писанием, но нельзя сказать, чтобы оказался очень внимательным. Было что-то покровительственное, несколько «свысока» в его отношении к Тургеневу. Тургенев беспредельно выше его, и образованнее, и талантливей, а занимает место вроде ученика. Позднее Белинский верно угадал в «Хоре и Калиныче» и во всем начале «Записок охотника» поворот к новому. Но весьма похоже, что нравилось ему тут больше народолюбчески-общественное, чем поэзия, чем собственно литература.

Разумеется, и крепостное право, и несвобода тогдашней жизни немало обсуждались в Лесном. Так что «борьба с крепостничеством» Тургенева и все «аннибаловы клятвы» весьма коренятся в Белинском. Крепостному праву подходил конец. Рушить его надлежало. И все-таки, Тургеневу было чем заняться и помимо этой борьбы.

Белинский находил, что у Тургенева мало «творческого дара», сближал его с этнографом Далем. Тургенев интересовал его больше как союзник в некоем деле. Он рассчитывал на него как на помощника в осуществлении «честных» целей. Собственно же поэт, художник — это оказывалось для него второстепенным.

После «Параши» Белинский охладел к Тургеневу вплоть до «Хоря» — а между тем за это время написал Тургенев и «Андрея Колосова», и «Три портрета», и «Бретера», и «Жида», и «Петушкова» (1846—1847 годы). Белинский одно время, как увидим, жил за границей вместе с Тургеневым. Нельзя *утверждать*, что он знал все эти произведения, находившиеся частью в рукописях. Но более чем вероятно, что с некоторыми в рукописях-то и ознакомился (Тургенев всегда любил читать друзьям до печатания). Во всяком случае, они не могли его особенно захватить: из них мало что выудишь для борьбы с николаевским режимом. И если к Пушкину Белинский в это время изменился, то куда уж Тургеневу...

А между тем, эта холодность так на Тургенева действовала, что одно время он собирался даже отойти от литературы. Вот удружил бы нам Белинский!

Итак, Тургенев жил разными своими слоями — и франтил, носил лорнеты, козырял,— и сочинял совсем нелегкомысленные вещи. Устраивал мальчишеские выходки и сердечно вздыхал по Виардо, писал ей об «Ифигении», Куртавенеле и прочих высоких предметах. Может быть, в «студенческих» прениях с Белинским оказывался моложе себя самого — того Тургенева, который наедине с собой задумывал произведения много постарше Белинского.

Хотя Варваре Петровне и очень понравилась «Параша», все-таки сыном она не могла быть довольна: из профессорства его ничего не вышло, из службы в министерстве тоже. В сущности, что же он делал? Сидел в Петербурге, водился с разными литераторами, писал стишки и рассказы, которыми почти ничего нельзя было заработать. Это ее раздражало. Не нравилось и увлечение Полиной. Прослушав однажды Виардо в концерте, она сказала известную фразу о хорошо поющей «проклятой цыганке» — в самом сочетании слов не выразила ли, бессознательно, тревогу перед судьбой?

Но недовольство свое тотчас же переводила на житейское: прижимала сына денежно. Не хочешь делом заниматься — ну и подголаживай. Разумеется, сын принимал это тягостно.

Еще давние, детские воспоминания восстанавливали его против крепостничества. В молодых годах рядом стоял образ матери — очень живое воплощение строя. Появились и петербургские литераторы, тот же Белинский (позднее Панаев и Некрасов) — другой мир, другой полюс жизни. Гегельянцу Тургеневу, поклоннику просвещенной и могущественной Виардо, невместно радоваться рабовладению. Начинающему писателю не могла доставлять удовольствия цензура. Европой Тургенев оказался отравлен довольно уже давно, а своя страна, особенно на верхах, давала мало хорошего.

Уже немолодым, говоря о первом длительном своем уходе из России, Тургенев подчеркивал, что делал это из протеста, из невозможности принять тогдашнюю русскую жизнь и из желания бороться. Тут есть и правда, и преувеличение. Думал ли он уж так много, уезжая в январе 1847 года, о сражениях с «проклятым режимом»? Вернее — за парадной и словесной стороной была и другая. Ведь вот не в Париж, тогдашнее горнило всяческих «течений», направлялся он, а в Берлин. С Западом у него издавна связывались хорошие воспоминания. Всегда приятно было жить среди культурных, просвещенных людей. Языки он знал в совершенстве.

Главное же: в королевском Берлине пела в январе 1847 года Полина Гарсиа-Виардо.

ФРАНЦИЯ

Новая фигура появляется в жизни Тургенева — Павел Васильевич Анненков, один из немногих его друзей «навсегда».

В дальнейшем течении годов, странствий, в истории крупных писаний Тургенева всюду на горизонте, не выходя из орбиты, будет вращаться этот благосклонный человек, осторожно прогуливающийся вблизи русской литературы. Сам он не творец, и понимает это. Но у него великая любовь к литературе. В ее пестовании его заслуга. В его любви причина того, что имя Анненкова прочно вошло в нашу словесность.

Анненков тоже был барин, помещик, умеренных взглядов, но просвещенных. Как и Тургенев, учился в Берлине — с Тургеневым там встречался. Как и Тургенев, любил путешествовать, жить культурно, посещать театры, музеи, галереи, лекции.

Ближе сошлись они в Петербурге. В 1847 году Анненков выехал в Германию. Туда же отправили лечиться Белинского.

Тургенев попал в Берлин в феврале, слушал Виардо и в конце апреля уехал за нею в Дрезден, где она выступала. В это время Белинский тоже оказался в Дрездене. Разумеется, Тургенев решил познакомить его с Виардо. Эта встреча довольно комична. Выдающийся, самолюбивый, больной русский литератор и европейская дива... Тургенев условился встретиться с супругами Виардо в галерее. Он и привел туда Белинского, заранее раздражив его тем, что Виардо все знает, и отлично покажет им лучшие картины. Белинского стесняла его неказистость, несветскость, скромность одежды. Главное же, он не владел французским языком. Для людей гордых и застенчивых такие положения трудны. Виардо знала, что у него чахотка. Она обратилась к нему и спросила, лучше ли он себя чувствует. Белинский ничего не понял. Виардо повторила, он окончательно смешался и опять не понял — теперь уже просто от смущения. Тогда она заговорила по-русски, очень смешно, и сама хохотала. Белинский не сумел обратить все это в шутку. Оправившись, ответил на «подлейшем французском языке», «каким не говорят и лошади» — и расстроился.

Виардо хохотала, объясняясь на невозможном русском. Мало веселился Белинский, ощущая свою «необразованность» рядом с блестящей испанкой. Вероятно, за все это пришлось бы расплачиваться впоследствии Тургеневу. Во время дрезденской встречи он находился в большой дружбе с Белинским. Нельзя сомневаться, что позже их пути разошлись бы. Если бы в 48-м году Белинский не умер, то в шестидесятых громил бы Тургенева. И в разгром этот вошел бы, конечно, «подлейший» французский язык дрезденского знакомства.

Но в те времена «классовые противоречия» не обострялись еще между ними. Они мирно поселились на июнь втроем в Зальцбрунне — Тургенев, Белинский, Анненков.

Белинский лечился. Тургенев ничего особенного не делал, кое-что писал из «Записок охотника». Анненков ухаживал за ними обоими, оберегал, слушал, записывал, запоминал. Вероятно, здесь определялось уже его положение при Тургеневе — ближайшего критика, опекуна, исполнителя поручений.

В этом же Зальцбрунне Белинский и Анненков на себе испытали характер Тургенева. Они жили совсем неплохо. Никаких следов ссор. Считались даже друзьями. Как будто, могли рассчитывать на известное отношение к себе Тургенева.

И вот, получив некое письмо, он заявил, что должен ненадолго съездить в Берлин — попрощаться со знакомыми, уезжавшими в Англию. Часть вещей оставил на квартире, взял с собой лишь необходимое.

Они с тем и проводили его, что через несколько дней вновь увидятся.

Тургенев уезжал к Виардо. Вероятно, расставаясь с приятелями, и вправду думал, что скоро вернется. Но за Виардо он отправился в Лондон, из Лондона во Францию, а друзья сидели в Зальцбрунне и недоумевали, что с ним. Он просто сгинул. Не то, что изменил свой план — забыл о них. Искренно любил Белинского — и так же искренно вычеркнул его из памяти. Анненкову были поручены вещи. Что с ними делать, куда девать? Неизвестно. Ни Анненкову, ни Белинскому не написал он ни строчки. Будто умер. Совершенно так же поступил Санин в «Вешних водах» и Литвинов в «Дыме». С глаз долой — из сердца вон.

Верный Анненков заявился осенью в Париж с чемоданами и бельем Тургенева, передал их, наконец, по назначению. Владелец оказался жив. Анненков спросил, в чем дело. Тургенев, как всегда в таких случаях, имел вид неуверенный, даже смущенный, и только плечами пожал: да и сам, мол, не знаю! Уж так вот и приключилось.

Впрочем, мог он в свое оправдание привести одно слово, краткое, но значительное: любовь. Он входил, видимо, в полосу наибольшей близости и наибольшей «удачи» у Виардо. Три зимы в Париже, три лета в Куртавенеле...

Куртавенель, куда он попал летом 47-го года — имение Виардо, километрах в шестидесяти от Парижа, на восток, близ городка Розе. Старинный замок, времен Франциска I. Массивный, с пепельно-серыми стенами, большими окнами, замшелой крышей, он окружен рвами и каналами с водой — по ним ездили даже на лодке. Перед главным фасадом чудесные цветники. Каштаны, тополя. С другой стороны парк и оранжерея. А вокруг мягкий, разнообразный пейзаж средней Франции, не поражаю-

ший, но уютный и благородный. Большая прелесть заключалась для Тургенева в Куртавенеле. Очень это ему подходило. Самый воздух Иль де Франса, голубая дымка полей — именно для него. И как хорошо, что жил он в комнате с зелеными обоями. Ветер нес ему запах сирени, лугов, полей. Шмель гудел где-нибудь в занавеске. На столе деревенские цветы. По обоям кружочками солнце сквозь каштаны — может быть, не зря многообразная Полина выбрала для него такую комнату — тут писал он голубоватые «Записки охотника». Прохладно, нежно здесь. Да и не только в доме. Изящество, любовь разлиты и по парку, и по цветникам, каналам: все это мир Полины и Тургенева. Что-то напоминающее «Месяц в деревне». Видятся медленные, несколько *важные* их прогулки, шляпы с лентами Виардо, букли над ушами, летние платья в талию с воланами, чинная и благоговейная галантность Тургенева. Где-то на горизонте и Луи Виардо — но только на горизонте. Может быть, он иногда уезжает в Париж, или часами удит рыбу в канале. Не до него, не до него!

Явно, что и рояль звучал в замке, и немало. Полина пела — навсегда запевала в свою власть северного медведя. Ее сердце приоткрывалось ему...

Он обожал Куртавенель. Говорил позже, что когда к нему подъезжает, всегда чувствует острое замирание сердца — в нежности. Плохо ему тут не приходилось. Он называл Куртавенель «колыбелью своей славы», и это верно, конечно. (Самые русские «Записки охотника» принадлежат Франции!) О том, что это колыбель его любви, не упоминает — о ней он не высказывался, но это, конечно, так. Она сама сочится из строк позднейших писем — пронзил его Куртавенель и то, что там происходило. А происходило многое, важнейшее в любви. «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на небо, спокойное, сквозь золотистую листву осин?» Вспоминает о дороге, обсаженной тополями и ведущей вдоль парка в Жарриэль. «Я опять вижу золотистые листья на светло-голубом небе, красные ягоды шиповника в изгородях, стадо овец, пастуха с собаками и... еще много другого». Неизвестно ничего об этом «другом», что испытал он. Это его тайна, его счастье — счастьем ярким, удовлетворенным чувством, хоть и кратким, обит Куртавенель. Здесь, по-видимому, сближение произошло полное.

В Париже жили в то время Анненков и Белинский (до конца сентября). Тургенев изредка туда наезжал — это было целое предприятие, с ездой на лошадях, в дилижансе до ближайшей станции железной дороги.

Тут и случилось, что Тургенев забыл попрощаться с Белин-

ским, уезжавшим в Россию (навсегда! там и умер). Про эту минуту он сказал впоследствии Огаревой:

— Стихии управляют мной. Когда Белинский, умирающий, возвращался в Россию... я не простился с ним.

— Знаю, Иван Сергеевич: вас отозвала Виардо.

Но Виардо нельзя упрекать: она сама уезжала в начале октября в турне по Германии. Без Тургенева в Куртавенеле скучно. Да и последние дни хочется провести вместе. А Белинский... этот чахоточный литератор, нервный, раздражительный, который двух слов не умеет связать по-французски?..

Белинский был отчасти «персонаж из Достоевского» (которого, конечно, никто тогда не знал). Но самый этот дух Виардо не любила.

По ее отъезде Тургенев перебрался в Париж.

* * *

Все складывалось особенным образом для него в эти годы. Они оказались расцветными, и события, внутренние и внешние, ткущие наши судьбы, слагались именно так, как нужно, чтобы выдвинуть, вознести. Не зря встретил он Виардо. Не зря уехал к ней за границу. Не зря попал там в нелегкое материальное положение. И не напрасно в Петербурге именно к 47-му году возник журнал «Современник» — его ведут Некрасов и Панаев, но в устройстве его самое близкое участие принял Тургенев. «Современник» издавался и ранее — принадлежал Плетневу. Но теперь новые люди приобрели его, и все пошло по-иному. Не только для художественной жизни самого Тургенева, но и вообще для русской литературы оказался нужен некий центр. Накопились силы — им надлежало выступить. Такие писатели, как Тургенев, Толстой, Островский, Некрасов, Гончаров, должны же появляться вместе — они и появились. У них и критик оказался собственный — Белинский, правда, скоро умерший, однако, он печатал много в «Современнике».

Для Тургенева этот журнал связан с блистательной страницей его художества — там стали появляться «Записки охотника». В первом же номере — «Хорь и Калиныч», донине открывающий бесчисленные издания знаменитой книги. Рассказ вышел скромно, в отделе «Смеси»! И подзаголовок («Из записок охотника»), прибал Панаев, редактор, «с целью расположить читателя к снисхождению». Успех «Хоря» оказался огромным. Приятели типа Белинского и Панаева прозрели, а Тургенев, ничего особенно не соображая, ничего сознательно не делая, на самом деле повернул на очень свежий путь, на путь нужный, важней-

ший: пора было дать просто, поэтично и любовно *Россию*. Россию барско-крестьянскую, орловскую, мценскую, с разными Бежиными лугами, певцами и Касьянами с Красивой Мечи. Изображалось тут и крепостное право. Но главное — любование нехитрыми (нередко обаятельными) народными русскими людьми, любование полями, лесами, зорями, лугами России. («Записки охотника») поэзия, а не политика. Пусть из поэзии делаются жизненные выводы, поэзия остается сама по себе, над всем. От крепостного права следа не осталось. Художество маленьких тургеневских очерков не потускнело.

Вот уж подлинно — из отдаления лучше он ощутил родину и посозерцал ее. За три года в Париже и Куртавенеле, под крылом Виардо, написал Тургенев пятую часть вообще всего своего творенья — а работал срок лет!

Итак, Виардо уехала в турне по Германии — пела в Дрездене, Гамбурге, Берлине. Тургенев поселился близ Пале-Рояля (позже жил на углу rue de la Paix и бульваров, снимал комнату. Смотря по денежным своим делам — то в верхних этажах, то ниже.)

Одинок и наполненно жил. Вставал рано, занимался до двух. Нередко отправлял в «Современник» объемистые пакеты.

То это «Малиновая вода», то «Бурмистр», «Льгов».

Но не только он пишет. Так как Виардо родом испанка, то безответный Луи Виардо переводит «Дон Кихота» на французский, а молодой Иван Тургенев изучает испанский. Учителя его звали сеньор Кастеляр. С этим Кастеляром работал он усердно, не хуже, чем некогда в Петербурге и Берлине. Зимой читал уже в подлиннике Кальдерона, «Поклонение Кресту». Особенно восхищала его «Жизнь есть сон».

Католицизм вполне, конечно, ему чужд. Но цельность, мощь его у Кальдерона поражали. Он завидовал этой цельности. «Величайший драматург из католиков, — отозвался о Кальдероне; — как Шекспир самый человечный, самый антихристианский драматург». Шекспира он любил, по Кальдерону тосковал. И даже не уединенно тосковал, а как представитель эпохи. Время свое ощущал «критическим», а не «органическим», и все более «отвращался» от него, находил в нем «мало прелести». Это говорилось и думалось чуть не сто лет назад!

«В переживаемое нами переходное время все художественные и литературные произведения представляют собою самое большее отдельные мнения, индивидуальные чувства, неясные и противоречивые размышления.; жизнь раздробилась; теперь нет более общего великого движения, за исключением, может быть, промышленности».

Так писал он Полине, певшей в Гамбурге, в одно из морозных парижских утр — 25 декабря. (На Рождество! И во всем длинном, важном письме нет ни слова о Рождестве — след безрадостного детства.)

За приведенными идут милые в старомодности своей строки: «А потому самые великие поэты нашего времени это, на мой взгляд, американцы, которые *собираются прорыть* Панамский перешеек и обсуждают вопрос о проведении электрического телеграфа через океан. А раз социальная революция совершится — да здравствует новая литература!»

И старомодно и современно. Бутоны его времен распустились на наших глазах.

В два часа отправлялся к татап, г-же Гарсиа (матери Полины). Там встречался с веселым Ситчесом (братом татап) и его женою — с ними пришлось ему позже жить вместе в Куртавенеле. В эти дневные посещения испанцев вновь упражнялся в благородном *lingua castellana*¹. Потом шел гулять. Любил Тюильрийский сад. Любил веселых, скакавших там детей, зарумяненных морозцем, важных нянек, краснеющее сквозь каштаны закатное солнце, гладь и спокойствие вод в бассейнах, серую громаду дворца. «Все это очень нравится мне, успокаивает, освежает после работы целого утра. Там я мечтаю...»

В юго-западном углу Тюильри, недалеко от оранжереи и Площади Согласия, на террасе вдоль Сены стоит каменный лев — Бари. Он наступил на змею, жалящую его в лапу, искажился весь от боли, извивается, и не то он ее раздавит, не то сам погибнет, неизвестно. Тургенев очень любил этого льва. Каждый раз в саду заходил к нему. Ясно видишь его высокую фигуру, с палкой, вот прогуливается он в одиночестве по террасе — за рекой дымно розовеют облака, ползут по воде баржи. В вечерующем небе сквозь тонкие и голые ветви каштанов сухо, изящно вздымается купол со шпилем Инвалидов, темнеет благородный фасад Бурбонского дворца.

Он мог пройти вдоль Сены по террасе этой, до теперешнего avenue Paul Deroulède, и если бы это было на несколько лет позже, то на углу его увидел бы на постаментах двух небольших сфинксов. Туловища львиц, головы и груди женские. Хвосты свиты кольцами, загадочно могут они ими похлопывать, как бичами. Быть может, приостановился бы Иван Сергеевич Тургенев, призадумался бы. «Петушков» лежал у него в столе. Собственный сфинкс распевал за границей.

Тургенев был человек легкой эротической впечатлительности.

¹ кастильском языке (*исп*)

В отсутствии Виардо мог любезничать и с другими. Но главная дорога вела в Гамбург. По долине был он одержим.

В синюющем вечернем Париже с первыми фонарями выходил из Тюильри аркадами на rue de Rivoli. Направлялся в свой «Пале-Рояль». Там при газовом рожке читал что-нибудь сногшибательное в газете — вроде того, что собираются соединить телеграфом Европу с Америкой...

У Вефура обедал. Сейчас Вефур тихий, устарелый ресторан¹ с венецианскими зеркалами — такой же немодный, как и весь Пале-Рояль — меланхолически запущенные портики с магазинами орденов крестов, пустынные, дети, играющие среди небогатой зелени. При Тургеневе все это было оживленнее, но все же главная слава Пале-Рояля уже отошла. (Наши ветераны войн 1814—1815 годов, встречаясь с кем-нибудь, вернувшимся из Парижа, неизменно спрашивали: «А как поживает батюшка Пале-Рояль?»).

Вечерами Тургенев дома не сидел. Ходил с Анненковым в театр, иногда вновь отправлялся к тапан Гарсиа. Случалось, что с Манозлем «придумывал всякие шалости», смехотворные выдумки. Не знаю только, весело ли веселился. В нем не было истинного юмора — смех его не всегда смешон. Он любил острить, рассказывать анекдоты, вообще забавлять. Быть может, в более молодые годы — в Берлине, юношеском Спасском, Лесном, веселье его было здоровее. Но уже в Париже он производил иногда странное впечатление.

Когда приехала (несколько позже, в 1848 году), из Рима семья Тучковых, Анненков тотчас явился к ним (и тотчас, как ему полагалось, стал помощником, гидом и т. п.). Он привел и Тургенева. Тот стал бывать. Тут же, вблизи, жили Герцены — обе семьи дружили. Тургенев попал в огаревско-герценовскую среду, но пристроился более около женщин. Заходил к Огаревым часто. Там встречался с несколькими дамами и барышнями, — больше сидел и разговаривал с Н. А. Тучковой, молоденькой девушкой, ничем особенно не отличавшейся. По-видимому, он ей нравился. До известной границы — так как и впоследствии она его не возненавидела. Наверно, ей казалось, что и он к ней тяготеет... именно казалось! Но во всяком случае Тургенев читал стихи, рассказывал о писаниях своих, приносил даже духи «Гардени» — его любимый запах. И удивительно бывал он переменчив! То приходил очень веселый, то угрюмый, капризничал, иногда вдруг вовсе не желал разговаривать. И у Тучковой устраивал всякие «штуки»: просил позволения кричать

¹ В 1930 г. он еще существовал. Теперь его нет. (Примеч авт.)

петухом, влезал на подоконник и замечательно кукарекал. Наталия Герцен слегка сопротивлялась.

— Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете,— говорила она,— да, пожалуй, и напугаете меня.

А он просил ее бархатную мантилью, драпировался в нее «очень странно» и начинал представление — изображал сумасшедшего. Всклокачивал себе волосы, закрывал ими лоб и даже верхнюю часть лица. Огромные серые его глаза сверкали, он изображал «страшный гнев» — все это делалось для того, чтобы кого-то позабавить (да и себя развлечь?). «Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело».

Наталия Александровна просто даже недолго любила Тургенева. Его неврастенические выходки, странности действовали на нее нехорошо. «Станный Тургенев!» — считала она. И находила в нем нечто холодное, нежильное. А при всем том: «Человек он хороший!»

О, Тургенев вовсе не так ясен и покоен, как привыкли о нем думать. И кто знает, что он чувствовал, возвращаясь домой один после театра с Анненковым! (Анненков-то, конечно, мирно надевал колпак и культурно спал, а Тургенев, наедине со своими «Записками охотника», да испанскими учебниками, да неуверенными нежностями к Виардо — в одиноких стенах комнаты близ Пале-Рояля...)

И не одни «Записки охотника» писал он в это время. 47-м годом помечен и «Петушков». Напомню — только напомню — содержание этого мало прославленного рассказа.

Ленивый и вялый, благодушный офицер Петушков, холостяк, сходится с молодой булочницей Василисой, в глухом городишке. Привязывается к полнотелой дуре и... погибает. Он очень просто и обыкновенно погибает, от любви. Только тут нет поэзий и романтизмов, а страшная сила женщины и невозможность освободиться. Сам Петушков по внешности из гоголевского репертуара. Он дышит еще воздухом «Ревизора» (в городке наверно живут Сквозники-Дмухановские и Земляники). Но сердцевина у него уже тургеневская. Это первый «тургеневский» человек, первый из слабых, погибающих от любви.

Василиса заводит себе друга. Петушкова выживают. Но он уже обречен. Без глупой Василисы жить не может и идет на все унижения. По незлобному сердцу Василиса даже сама плачет над ним — да что поделаешь. Из милости позволяет ему пристроиться на облучке своей жизни, сама выходит замуж еще за третьего. Петушков покорно спивается в небольшом чуланчике, у ног Афродиты-Урании.

Это несколько не похоже на блистательную певицу и классика русской литературы.

Но... если бы находился Тургенев в восторге, пламени крепкой, надежной любви, стал ли бы заниматься таким Петушковым?

Он сам рассказывал о горьких минутах своей парижской жизни. Например: сидит дома, и вдруг напала на него такая тоска, деваться некуда. Стены в комнате раскрашены, разные фигуры изображены, узорные, очень пестрые. Он смотрит-смотрит, потом подымается, отрывает стену, делает из нее длинный колпак, аршина в полтора. Становится в нем носом в угол и стоит. «Тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец, мне стало весело».

Может быть, так же «весело» бывало и у Тучковых? И не в такую ли приятную минуту задуман «Петушков?»

Вот вам и голубоватые «Записки охотника»!

* * *

Десять лет назад были иные времена, он жил в Берлине и учился одному. Теперь в Париже, из-за Кальдеронов, из-за личной жизни, из-за «Касьянов» и «Радиловых» выдвинулся и общий, всеевропейский (если не всечеловеческий) план бытия. Через Париж в то время шел большак Истории. И разумеется, русские тотчас оказались у этого большака. С самых ранних шагов была призвана Россия — тогда еще крепостная! — принять участие в надвигавшейся драме. В 47—48-м годах появились в Париже, кроме Тургенева, Анненкова и Белинского, Герцен и Бакунин. Судьбы этих людей различны, но все они находились в нужную минуту там, где надо. Белинский просто умер в разгар революции 48-го года. Герцен проделывал сложный и глубокий путь, изгнанником остался, и изгнанником сошел в могилу. Анненков все добросовестно запомнил — записал. Бакунин был уже не тем, что в Берлине (т. е. темперамент тот же, но иное устремление) — он кинулся, очертя голову, на рожон. Тургенев — одиночка, странник, наблюдатель — все впитал, взял, что нужно. Этим как бы закруглил, сложил свой облик окончательно.

«Мир в муках рождения,— писал он в январе 48-го года, по поводу речи Монталамбера против Конвента.— Париж в продолжение нескольких дней был возбужден».

«В муках рождения!» Рождалось современное общество, с парламентами, пролетариатом, машинизмом. В бутоне, но уже можно было разглядеть все слагаемые «нашего» мира, со всей его пестротой — культурой и озверением, высотой и низостью, обольщениями и ядами.

В Париже революция, тоже «предварительная», тоже «удачная» произошла тоже в феврале. Дня и часа ее, разумеется, тоже никто не знал. Тургенев находился в Брюсселе. Настал день, когда вдруг не пришли газеты из Парижа. Все волновалось, на улицах, на площадях народ. 26 февраля! Тургенев в шесть утра лежал еще в постели, когда с шумом отворилась дверь номера и кто-то крикнул:

— Франция стала республикой!

Гарсон ветром несся по коридору, распахивал по очереди двери и сообщал новость.

Тургенев никогда воинственностью не отличался. Но тотчас бросился в Париж. Не закреплять, разумеется, завоевания революции, а смотреть. Это он всегда любил: знать, видеть...

Революция шла по всем правилам. На границе рельсы сняты, пришлось нанимать повозки, ехать в них до Дуэ. В Понтуаэ прибыли к вечеру. Под Парижем путь тоже оказался разобран. Два облика революции увидел он в тот день: вот пронесся паровоз с вагоном первого класса — поезд «чрезвычайного комиссара» республики. С ним соответственные театру персонажи, махавшие трехцветными флагами. Сам комиссар, огромного роста, высунулся из окна и тоже приветствовал... мир? «Всех, всех, всех?»

Конечно, в вагоне Тургенева именно все и были воодушевлены (он сам тоже) — только седенький старичок, забившийся в угол с самого Дуэ, шептал про себя:

— Все пропало, все пропало!

В Париже сразу он попал в лихорадку. Вооруженные блузки разбирали камни баррикад. Всюду пестрели трехцветные кокарды. Очевидно, как и всегда в первые дни революций, заниматься будничным было нельзя. И вот начинаются весенние скитания Тургенева: то он в Пале-Рояле за чашкою кофе прислушивается к разговорам политическим (Пале-Рояль оказался местом почти «на крови»: в февральскую революцию как раз между ним и Лувром впервые пролилась кровь). То идет с демонстрацией работников к Временному правительству из-за выступления «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров), то попадает в толпу, шедшую мимо Мадлэн штурмовать Палату Депутатов.

Герцен, Гервег, Бакунин жили в это время в Париже. С Бакуниным он встречался (после Берлина) еще в 47-м году. Бакунин сильно забирал влево, и за речь полякам был выслан, жил в Брюсселе. После февральских дней, разумеется, вернулся. Теперь от берлинского Бакунина осталось мало. Он поселился в казарме с рабочими, охраняя «революционного префекта по-

лиции» Косидьера. Это уже настоящий большевик. Тут-то, по-видимому, и разошелся с ним Тургенев. В апреле 48-го года Бакунин уехал в Германию, в начале мая устроил восстание дрезденских рабочих. Пруссаки взяли его в плен и чуть не расстреляли — он попал в тюрьму.

В Париже революция шла медленнее, но шире, показательней. Тургенев прожил нервную весну. Виардо по-прежнему распевала вдали. Треволнения политики, тоска, любовь... Чтобы освежиться, выезжал он иногда из Парижа. Вот, например, Ville d'Avray, 1 мая: «Я более четырех часов провел в лесах — печальный, растроганный, внимательный, поглощающий и поглощенный. Впечатление, которое природа производит на одинокого человека, очень своеобразно. В нем есть осадок горечи свежей, как благоухание полей, немного ясной меланхолии, как и в пении птиц...»

Париж кипел и волновался. Тургенев одиноко бродил в лесах под Парижем... Кто из переживших грозные годы в деревне русской не помнит этого ощущения в вечеряющих полях, при высоких, пурпурно-зыблющихся, затянувших небо мелко-волнистой скатертью облачках: безмерность, вечная тишина природы... а «там» — История, Война, Революция.

В этот майский день он не обошелся без слова «меланхолия» — о, сколь тургеневского слова! — и чем дальше, тем чаще оно у него встречается. Некий холодок шел уже на него из «пустой беспредельности» — он называл так небо. При подобном ощущении мира, конечно, ближе ему «влажная лапка утки», или «капли воды, падающие с морды неподвижной коровы», чем голубая безбрежность. Если Бога нет и небо пусто, то уж уютней с уткой и коровой.

Он писал, разумеется, и всякие нежности Виардо: в любовь светлее, легче уходишь, чем в коровью морду.

А «жизнь как она есть» — революция — двигалась. Ее смысл был такой, что республика не очень-то удовлетворила рабочих. Национальные мастерские провалились. Их закрыли. Безработицу не сумели одолеть. Это дало повод революции забирать все влево, влево. 15 мая чуть не была взята Палата Депутатов. В июне настроение получилось такое, что все понимали: без крови не обойтись.

«Ga а commencè!»¹ — сказала Тургеневу прачка, утром 23 июня, принеся белье. Она утверждала, что на бульварах построили уже первую баррикаду. Если бы при барине был, как в берлинские времена, дядька-брат Порфирий Кудряшов, или

¹ «Это начало!» (фр.).

сама Варвара Петровна, разумеется, они его не выпустили бы на улицу. Но теперь он уже взрослый, любознательный человек и приятель известных эмигрантов. Усидеть дома не мог.

Он отлично описал пестроту, нарядность Итальянского бульвара, июньское солнечное утро, раскрытые окна, откуда выглядывали женщины в чепцах, белых и розовых лентах. Видишь движение omnibusов и карет, переливы шелковых дамских платьев, летний трепет листвы на тополях («деревья свободы», разумеется).

Около Порт С.-Дени Тургенев наткнулся уже на баррикаду, по которой прогуливались блузники. Красное знамя ядовитым язычком загадочно на ней поколыхивалось. (Этому знамени предстояло проделать многолетний, кровавый путь по Европе... и в России прославиться. *Тогда* вряд ли думал об этом Тургенев.)

Он стоял на тротуаре, под окнами Жувенской фабрики перчаток, когда подошла колонна войск. Инсургенты неожиданно дали залп сквозь жалюзи окон занятой ими фабрики. Тургенев и другие случайные фланеры поспешно «отступили» на rue de l'Écliquier — попросту спаслись бегством. Еще бы Тургеневу драться! Если б он и захотел, судьба бы не дала ему. Странник и зритель, призван он был видеть, накоплять, и самому слагаться: но не действовать.

Эти страшные июньские дни, когда резня шла на улицах Парижа, пришлось ему просидеть дома, в адской жаре, в том нервном, мучительном состоянии, как в революциях полагается. По электрическому воздуху неслись грозные вести. В один из вечеров мягкосердный Тургенев впервые услышал «всереобразные залпы»: это по мэриям расстреливали инсургентов.

Жара, кровь, пушечные выстрелы, убийства заложников, атаки, баррикады...— репетиция Коммуны разыгрывалась. От «бескровной» февральской Тургенев проделал с городом Парижем всю кривую революций. Он навсегда вынес глубокое к ним отвращение, что и характеру его отвечало. Труд, творчество, медленное созидание, так известное каждому художнику, каждому строителю, все это враждебно ядовитому язычку красного знамени, вышющему над баррикадой.

* * *

Жизненно Тургенева могла тревожить только мать, да Россия. Терпению Варвары Петровны подходил конец. До революции она держалась, но когда император Николай издал манифест 14 марта 48-го года, приглашавший «каждого верноподданного бороться с мятежом, возникшим во Франции», она стала на-

стойчиво звать сына домой. Делала в Спасском даже некоторые приготовления к его приезду, пыталась обласкать тех дворовых, к кому он благоволил — но время еще не пришло, не хотелось сыну бросать Францию, Виардо, Куртавенель. Варвара Петровна перестала высылать ему деньги. Он остался на одном заработке в «Современнике» да на авансах у Краевского («Отечественные записки»). Лето 48-го года провел в Куртавенеле, с Виардо — отдыхал после революции. Осенью ухитрился съездить на юг Франции, побывал в Тулоне, жил в Иере. Пейзажами тех милых мест, дождями сквозь тишину и радугу можно любоваться в его октябрьском письме к Виардо.

Зимой поселился в Париже на rue Tronchet, № 1 — дом этот и поныне имеет приятный, старомодный вид, и когда проходишь мимо, радостно вспомнить, что вот за этими жалози восемьдесят лет назад сидел, писал, любил, тосковал наш Тургенев. Виардо тот сезон проводила тоже в столице, он постоянно посещал ее. Видался часто с Герценом, у Герцена же, весной 1849-го, заболел острым желудочным расстройством.

Произошло это так: в Париже открылась эпидемия холеры. У Тургенева в мае кончался срок квартиры, и он должен был уехать. В один из последних дней решил переночевать у Герцена — ночью у него сделались спазмы, тошнота, он разбудил Герцена, сказал:

— Я пропащий человек, у меня холера!

По всегдашней мнительности, он очевидно, преувеличил. Но действительно, проболел десять дней. Герцену пришлось отправить семью в Ville d'Avray, и когда Тургенев оправился, то самому туда перебраться — в Париже стало очень плохо. Надвинулись июньские жары, город покрылся трупами. Любопытно, что эмигрант Герцен, «страшный» Герцен вспомнил в Париже 1849 года холеру в Москве 1831—1832 годов с чувством уважения к России, к толковости ее правительства, деятельности, отзывчивости общества. В Париже не принимали никаких мер — не оказалось ни мест в больницах, ни перевязочных средств. Трупы лежали в домах непогребенными по два-три дня...

Что Герцен остался с больным Тургеневым, которого не так особенно и любил — свидетельствует о его мужестве. Но где Виардо? Может быть, уже в Куртавенеле, может быть, и в Париже... при Тургеневе ее не видно. Возможно, она его навещала (только следа от этого не осталось!), но если и не навещала, не надо этому удивляться. Пожалуй, даже больше подходит, чтобы не навещала. Она была женщина крепкая и расчетливая, очень разумная, ложных шагов не делала.

Оправившись, он уехал в Куртавенель — третье, последнее лето Куртавенеля. Виардо отправилась петь в Лондон. Он остался один, прожил до сентября.

Нет в этой куртавенельской его жизни событий, но она замечательна. Деревня, свобода, мечтательность, творчество... — удивительно все перемешано. Спит Тургенев до десяти часов, завтракает, играет с веселым Ситчесом на бильярде, потом у себя в кабинете в течение часа *ищет сюжет*, читает по-испански, пишет полстраницы... А там обед, прогулка одинокая, прогулка с Ситчесами, и уже опять устал: спит до девяти вечера... Но сколько успевает и сработать!

В промежутках: деревенские гости (всегдашние разговоры о сельском хозяйстве), ужение рыбы, катание в лодке по каналам. Сам очищает эти каналы от камышей, засоряющих их. Забавляется кроликами — на последний франк покупает их у крестьянина, кормит молоком, листьями латука. И все ходит, все смотрит, высматривает природу, хоть и галльскую, не орловскую, а и здесь он любит — и трепет листы в тополях, и цвет отдельных листиков на розовом небе, и какую-то березу в Мезонфлере, которую назвал Гретхен. И дуб — имя ему дал: «Гомер».

Ситчесы уезжают, он остается совсем один, во всем огромном доме. Его общество — садовник, да старуха, готовящая ему, да разные кролики, собаки, козы, деревенская птица, рыбы, парк, каналы. Денег нет, он целиком на иждивении виардовской кухарки. Много (и прелестно) пишет самой барыне. Еще бы не любить, еще бы не мечтать в такой раме!

Ночью бывает одиноко, жутко в куртавенельском замке. Глубокую грусть, почти страх вызывают звезды — беспредельность миров («пустое небо» *Ville d'Avray*). Иногда странные испытывает чувства — возводящие к позднейшим, таинственным его произведениям.

Он сидит один в гостиной — вероятно, читает, или раскладывает пасьянс. Близка полночь. Лампа под зеленым абажуром. Пес Султан давно заснул. Вдруг слышит он два глубоких, совершенно ясных вдоха — как дуновение пронеслись они в двух шагах. Он подымается, идет с лампой в руках по коридору. Спина его холодеет — знакомое всякому ощущение ужаса мелкими мурашками проползает вдоль хребта. Что если сзади кто-нибудь положит на его плечо руку?

И в таком настроении как раз хочется обойти весь дом, осветить бедной лампой все потаенные его углы, в чем-то убедиться, может быть, с этим маленьким светом попытаться проникнуть во всю бездну окружающего. Иной мир, иные су-

щества... «Могут ли слепые видеть приведения?» — спрашивает он себя. Мысль направляется все к одному.

Или в другой раз, выходит на двор, тоже вблизи полуночи, прислушивается, и как чудесно «подслушивает» ночную жизнь!

Кровь шумит в ушах, и неумолкаем шорох-лепет листьев. Рыбы всплескивают на поверхности прудов — точно поцелуй. Серебристый звук падающей капли. Цикады. «Тончайшее сопрано комара». И конечно, над всем этим — звезды, нежная музыка миганий их...

Немало снов видел он в Куртавенеле, и позже. (Виардо иногда в снах Тургенева играла роль грозную.) Вот сон о птицах: сам он кажется себе птицей. Берет себя за нос, чтобы высморкаться — оказывается, это клюв. Начинается полет, безумный, фантастический, над морем. Видит каких-то невероятных, черных рыб, всплывающих со дна, их надо съесть. И таинственный ужас сковывает его. Чем это не полет с Эллис? Чем не воздух рассказа «Сон»?

* * *

Следующая зима оказалась последней для Тургенева во Франции. Провел он ее в Париже. А весной решил съездить в Россию.

Франция дала ему много. Он встречался с замечательными людьми — Жорж Занд, Мериме, Шопеном, Мюссе, Гуно. Жил в воздухе высокой культуры. Сам много работал — написал большинство рассказов из «Записок охотника», «Дневник лишнего человека», комедии, среди них «Месяц в деревне». Можно сказать, что «первый» Тургенев (до романов), с глубокою поэзией и неоспоримостью своих писаний сложился при Виардо, в Париже и Куртавенеле. Когда в июне 1850 года он покидал (надолго!) Францию и женщину, которую любил, это был уже почти зрелый Тургенев, познавший искусство, познавший любовь; видевший вблизи движения и падения обществ, знавший уже не романтическую тоску юноши, а спокойную печаль взрослого.

Он оставляет свои сердечные дела в неясном, как бы неразрешенном состоянии. Было некое счастье в Куртавенеле, но не изменило круто ни его жизни, ни жизни Полины. Она продолжала оставаться женою Луи Виардо, и даже не видно драмы между ними. Ничего *решиительного* с Тургеневым! *Ça ne sert à rien*¹ — и только. Так, или иначе относилась она к

¹ Ничего не будет (фр.).

нему, полулюбила или, отдаваясь, лишь «принимала» его любовь (уступала временной женской слабости), — во всяком случае была права, не созидавая на нем нового и «основного». Тут она вкусом женщины сильной, неколеблущейся, ощущала, что при всей своей любви Тургенев не муж, не каменная стена, не опора. Он — неясно-поэтический туман, вздох, томление, петраркизм... но если бы она сама глубоко его полюбила, стала женой и родила ребенка, кто знает, как могло бы обернуться все...

Занимая некую царственную позицию, удерживая его при себе как вздыхателя и прославителя, поступила она очень мудро.

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Нельзя сказать, чтобы жизнь Варвары Петровны сложилась удачно. Счастливой она не была — ни в детстве у пьяного Сомова, ни в замужестве с Сергеем Николаевичем, ни как мать. Сыновья доставляли ей огромное огорчение — и сама она все делала, чтобы их отдалить и против себя вооружить.

Сын Иван занимался недворянским делом, жил то в Берлине, то на три года заехал во Францию, завел там себе странную привязанность «ни то, ни се», и очевидно набирался завиральных идей. Писал ей мало, неохотно, вообще, видимо, уходил. Сын Николай сошелся с некоей Анной Яковлевной Шварц — этот союз Варвара Петровна отрицала, сколь могла: он был и незаконен, да и Анна Яковлевна не принадлежала к «их кругу». Николай же Сергеевич проявил известное упорство. Он крепко, на всю жизнь полюбил эту Анну Яковлевну, поселился с нею в Петербурге, служил, давал уроки, кое-как перебивался — предпочел жить в бедности, но так, как хотел. Варвара Петровна раздражалась на него не меньше, чем на Ивана. В 1845 году она чуть не совершила из-за него преступления.

Вот как это произошло. Зная, что у сына в Петербурге некая сердечная история, она захотела все выяснить, проверить. Для этого послала в Петербург дворецкого Андрея Полякова, мужа Агашеньки. Поляков побывал у Николая Сергеевича, видел его трудную жизнь с Анной Яковлевной — пожалел молодого барина: в Спасском, вернувшись, доложил, что тот живет один, холостяком. Но нашлись в Петербурге «доброжелатели», которые сообщили все в точности, как оно и на самом деле было. Письмо пришло вскоре после приезда Полякова. Варвара Петровна до того взбеленилась, что схватив тяжелый костыль покойного Ивана Лутовина (которым он постукивал по мешкам

с деньгами в кладовой), замахнулась им на Полякова — и могла бы на месте его уложить, если бы не схватил ее вовремя деверь, Николай Николаевич. В ярости, в изнеможении она упала на диван, а Николай Николаевич поскорей выводил помертвело Полякова.

Бедный Поляков заплатил за свою мягкость ссылкой в дальнюю деревню — и дал проявиться еще новому узору души барыни.

Агашенька, беременная, в тоске и разлуке с мужем прозябала в Спасском, страдала и только молилась, с великой кротостью (вообще эта женщина из народа, крепостная, раба — удивительный светоч и заступница за нас всех). Близилась Святая. В Великий Четверг Варвара Петровна была в церкви. Вдруг, перед самым причащением, с той же внезапностью, как и заносила костыль над Поляковым, вышла, села в карету и поехала домой. Как была, в шубе, не раздеваясь, прошла к себе в уборную, где находилась Агашенька — грохнулась ей в ноги.

— Прости меня. К празднику твой муж будет здесь.

Обнимались, плакали, а потом она поехала причащаться — и никто не мог бы сказать, что произойдет на Пасху следующего года, какой новый поворот она сделает.

Произошло следующее: в Светлое Воскресение 1846 года Варвара Петровна проснулась крайне раздраженная. В церкви звонили — она отлично знала, что на Пасху всегда бывает радостный звон. Но велела позвать «министра».

— Это что за звон?

— Праздник, сударыня, Святая неделя.

— Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе Святая неделя. Я больна, огорчена, эти колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать.

И колокола умолкли — весь пасхальный парад в доме, праздничный стол, куличи, пасхи — все отменено, вместо праздника приказано быть будням, и сама Варвара Петровна три дня провела в комнате с закрытыми ставнями. Их открыли только в четверг. Пасхи в том году в Спасском просто не было. Зато еще в другой раз она отменила церковный устав об исповеди: приказала оробевшему священнику исповедывать себя публично, при народе.

Можно ли было такому характеру ужиться с сыновьями — людьми уже новой, европейской складки?

Варвара Петровна знала, что Николай едва изворачивается, что Иван живет в Париже и Куртавенеле без гроша, и очень хотела видеть обоих. Но Ивану, вместо нужных ему шести тысяч на расплату с долгами и на возвращение выслала шестьсот

рублей — он едва заткнул ими насущнейшие дыры. То же и с Николаем. А рядом с этим — сентиментальные мечтанья... Надеюсь, что сыновья прилетят как-то сами, по воздуху, она велит заново отделять флигель. В огромных зеленых кадках расставляют вокруг балкона померанцевые деревья из оранжереи. По другую сторону дома испанские вишни и сливы ренклюд вынесены из грунтовых сараев и накрыты сеткою от воробьев.

— Ванюшка очень любит фрукты. Он будет есть их с деревьев, а я из окошка полюбуюсь на него.

Ванюшка в это время занимал в Куртавенеле по несколько франков у Ситчесов — но она непременно должна любоваться, как он будет есть сливы (а в оранжереях готовили ему и персики). Или — Варвара Петровна катается в коляске. Проезжая мимо оврага, заросшего травой и окаймленного тополями, вспоминает, что здесь некогда был пруд, и сыновья катались по нем в особенном ботике. Велено немедленно расчистить овраг (очевидно — и вновь его запрудить), и на стороне к большой дороге поставить столб. На нем крепостной живописец Николай Федосеев изобразил указательный перст, а с другой стороны вывел надпись: «Ils reviendront»¹.

Все это пропало даром. Лишь весной следующего, 1850 года Варвара Петровна, сама заболев серьезно, приняла меры не сентиментальные, а действительные: послала Ивану Сергеевичу в Париж достаточно денег, чтобы он мог тронуться.

Ехать Тургеневу не хотелось. Но раздражать мать он считал опасным. В мае прощался с Куртавенелем (Виардо пела в Германии), 17 июня в последний раз виделся с Полиной, а 24-го направился из Парижа в Петербург. Он называл тогда Россию «огромным и мрачным обликом, неподвижным и туманным как Сфинкс». Полагал, что Сфинкс смотрит на него тяжелым взглядом и поглотит его.

* * *

В том сне, которым по Кальдерону (и Тургеневу) является жизнь, есть своя связность, но не так легко ее открыть. Все ясно в прошлом и неразлично в будущем. Садясь в поезд, думал ли Тургенев, что покидает Запад, Париж, Виардо на целых шесть лет? Ему казалось, что вот устроит он свои дела, вернется, потом, быть может, будет вести жизнь кочевую (то тут, то там), и уже во всяком случае не так, как получилось.

Он возвратился из парижского «пленения» более милым и

¹ «Они вернутся» (фр.).

очаровательным, чем когда-либо. Его знали уже и ценили в России, как писателя, автора «Записок охотника». Ему шел тридцать второй год. В темных, густых волосах, несколько вьющихся, появилась проседь. Прекрасные задумчивые глаза. Руки большие — холеные и красивые. Он имел успех, его приглашали, баловали.

Но в Москве, у матери, тотчас пришлось ему погрузиться в тяжелые дела, далекие от поэзии и любви.

Еще осенью прошлого года Варвара Петровна до известной степени примирилась с сыном Николаем. Она разрешила ему жениться на Анне Яковлевне, настояла, чтобы он бросил службу, переселился в Москву и занялся управлением имениями. Обещала купить дом в Москве. Он вышел в отставку. Дом (на Пречистенке, недалеко от ее собственного на Остоженке) был присмотрен, но по-человечески Варвара Петровна ничего не могла сделать. Она тянула, томила, купчую совершать не торопилась: даю, но жди и трепещи. Николай и потрепетал. Дом все же купили, он в него переехал, но жить было нечем. Варвара же Петровна как бы и виду не показывала. Анну Яковлевну не принимала, с Николаем Сергеевичем создала отношения загадочные — нельзя понять, друг она ему или тайный враг. Что-то и тянуло ее к нему, но и раздражало — вот он все-таки не так женился, как она хотела, недостаточно перед ней сгибается. Николай же Сергеевич, в душе хозяин, помещик, человек не такой блестящий, как брат (но тоже красивый) — был все-таки тоже Тургенев: сгибаться мог лишь до некоторого предела.

Иван Сергеевич встретился с матерью хорошо, но попал в нервный воздух. Он и Николай были уже вполне взрослые, наследники большого состояния — и в то же время полунищие. Николай распродал последние свои вещи, вывезенные из Петербурга. Ивану приходилось занимать направо и налево. У дворовых — управляющего Леона Иванова, у сводного брата Порфирия добывал он по тридцати, пятидесяти копеек.

Братья решили действовать. Обратились к матери: в самой почтительной и мягкой форме просили определить им какой-нибудь, пусть и небольшой, доход, только бы иметь необходимое для жизни и не беспокоить ее по мелочам. Варвара Петровна не возражала. Как будто отнеслась даже сочувственно. Обещала исполнить просьбу, и как всегда — не торопилась. «Томление» сыновей продолжалось. Наконец, приказала Леону Иванову написать две дарственные — одно имение, Сычево, отдается Николаю, другое, Кадное — Ивану. Но... дарственные эти она не оформила. Они не имели законной силы, и в любой момент

могла она их отменить. Однажды утром позвала сыновей и прочла им черновик.

— Довольны ли вы теперь мною?

Иван Сергеевич ответил за себя и брата: да, довольны, если она придаст законную силу этим бумагам. Варвара Петровна надулась, но велела вечером вновь явиться, дарственные будут переписаны набело, в окончательном виде.

Братья ушли. И от того же Леона Иванова узнали, что старостам обоих «подаренных» имений послан уже приказ немедленно продать весь хлеб, в гумнах и на корню, по какой угодно цене, лишь бы скорее! Управляющий Спасского должен был наблюдать за этой продажей и деньги перевести в Москву, Варваре Петровне.

Значит, она просто их разоряла. Лишала даже зерна для посева на следующий год.

Вечером того же июльского дня в доме на Остоженке произошла тяжелая сцена. Варвара Петровна вновь позвала сыновей. Она сидела в гостиной, тасовала карты для пасьянса. В соседней зале за чайным столом — Варя Житова, воспитанница, и г-жа Шрейдер. Иван Сергеевич сел в гостиной по одну сторону матери, Николай по другую. Им подали из залы чаю. В огромном зеркале видела Варя изящные руки Варвары Петровны — она раскладывала теперь пасьянс. Сыновья помешивали в стаканах ложечками. Варвара Петровна заговорила о различных сортах чаю. Потом еще о разных пустяках. Наконец, сказала слуге:

— Позвать Леона Иванова!

Когда тот явился, коротко приказала:

— Принеси!

Через несколько минут Леон Иванов подал на подносе два конверта. Она взглянула на них, один дала Ивану, другой Николаю.

В доме мертвенно-тихо. Только шуршит бумага в руках у читающих.

— Ну, благодарите меня! — она протянула им руки для поцелуя.

Николай Сергеевич наклонился, молча поцеловал протянутую руку матери. Иван встал, прошелся взад-вперед, сказал: «*Вонне nuit, papa*»¹, и вышел, поднялся к себе в комнату. Варвара Петровна молчала, но руки ее вздрагивали — гнев пробивался в них. За Иваном поднялся Николай и тоже ушел наверх. Там они совещались. Так как дарственные в окончательном виде были те же, что и черновики, то решили их не принимать, ни

¹ «Спокойной ночи, матушка» (фр)

в какие переговоры с матерью не вступать, в имения не ездить, а предъявить требование о наследстве отца.

Варвара Петровна отлично поняла, как они приняли ее «подарок». На другой день вызвала Ивана для объяснений. Тут он многое высказал ей — не только о себе, но и вообще о её жизни и правлении. В конце разговора Варвара Петровна закричала:

— Нет у меня детей! Ступай вон!

Иван Сергеевич попытался увидеть ее на следующий день. Когда Варя доложила: «*Jean est venu*»¹, она вместо ответа схватила юношеский его портрет, изо всех сил швырнула на пол. Стекло разбилось, портрет отлетел далеко. Горничная бросилась было поднимать, но Варвара Петровна запретила трогать — не только сейчас, но и вообще: портрет пролежал на полу до октября.

Иван и Николай Сергеевичи уехали в отцовское Тургеневое. Варвара Петровна в день разрыва лежала в нервном припадке. Но отлежавшись, ничего в решении не изменила.

Лето она провела в Спасском. Сыновья жили неподалеку, в Тургеневе, но их будто и на свете не было. Она их отвергла вовсе. К себе не допускала, не отвечала на письма. Почувствовав себя однажды с утра плохо, быстро собралась и в одиночестве уехала в Москву. Через два дня, дождливым вечером, в большую балконную дверь постучали. Варя Житова и г-жа Шрейдер кончали ужин в спасской столовой. Блудный сын, Иван Тургенев, стоял на балконе с ружьем, патронташем, сеткой для дичи, весь промокший: зашел справиться о матери, узнав, что ей плохо. Он поужинал с ними, при единственной свече. Под шум осеннего дождя спрашивал о последних днях.

Этот огромный, деревенский Тургенев в высоких сапогах, охотничьей куртке, с обветренным лицом, усталый, мокрый после скитаний по тетеревам, так живо видится в сумрачной столовой — русский аполлинический Немврод с зыбким сердцем, «Записки охотника», только что бродившие с каким-нибудь Ермолаем или Касьяном.

Хотел он повидаться с матерью, да не вышло. Это было последнее ее путешествие. С Остоженки она попала лишь в могилу. Она хворала тяжело, мучительно. Лежала на постели красного дерева, велела приделать сбоку полочку во всю длину кровати. На полочке, как и раньше, валялись *feuilles volantes*², она коротала предсмертные часы, записывая разные свои мысли,

¹ «Иван пришел» (фр).

² листки бумаги (фр).

делая заметки. Кротость, смирение не пришли к ней. Только 28 октября (день рождения Jean'a) дрогнуло ее сердце. Она велела поднять с пола его портрет. А в дневнике ее прочли: «Ma mère, mes enfants! Pardonnez-moi. Et vous, Seigneur, pardonnez-moi aussi — car l'orgueil, ce pêchè mortel fut toujours mon pêchè»¹. Этот pêchè mortel² мешал ей примириться с сыновьями. Задыхаясь от водянки, она не сдавалась.

Все-таки, в последние дни Николай Сергеевич проник к ней. Она его не оттолкнула. Исповедавшись и причастившись, потребовала сына Ивана. Но тот находился далеко. Его известили с опозданием. Так уж и суждено было закончиться его печальным отношениям с матерью: он приехал из Петербурга, когда Варвара Петровна лежала уже в земле Донского монастыря.

Глубокую грусть вызывает повествование о ее судьбе. Смолodu нечто искалечило ее. Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своеволия и самовластия и губила себя им. Будучи госпожой рабов, заставляла их трепетать, но и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их. На что нужны были ей деньги за предательски проданные посевы Сычева и Кадного? Денег у нее и без того было сколько угодно. Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену. Она умирала одна. Может быть, лишь смиренная Агашенька, столько от нее претерпевшая, пожалела ее и помолилась о ней искренно. Варвара же Петровна и в последние, грозные часы осталась Варварой Петровной: после исповеди и причастия, когда начиналась агония, велела в соседней зале оркестру играть веселенькие польки — чтобы легче было отходить.

* * *

Пока Тургенев жил во Франции, в Спасском подрастала его дочь. Когда он возвратился, ей минуло восемь. Ее держали в черном теле, среди дворни, на попечении какой-то прачки — Авдотью Ермолаевну Варвара Петровна к себе не пустила. Девочка росла Сандрильоной. Лицом очень походила на отца. Ее за это дразили. Называли барышней и взваливали непосильную работу.

¹ «Матушка, мои дети! Простите меня. И ты, Господи, тоже прости меня, ибо в гордыни, этом смертном грехе, была я повинна всегда» (фр.).

² смертный грех (фр.).

Осенью 1850 года Иван Сергеевич писал из деревни нежные и грустные письма Виардо. Среди меланхолических воспоминаний о том, как семь лет назад они познакомились, как он по ней скучает, как «часами целует ее ноги», есть упоминание и о «маленькой Полине». Он кратко, но искренно рассказал о приключении молодости (тут же, рядом со строками романтического благоговения к Виардо, есть и язвительные о Варе Житовой). Виардо предложила взять девочку и воспитывать наравне со своими детьми. Он горячо ее благодарил. В октябре Поля отправлена на «дальний запад», чтобы стать французенкой и никогда более не увидеть России.

Тургеневу же смерть матери приносит свободу, независимость, богатство. Он получает Спасское. Раздел с Николаем прошел легко. Иван Сергеевич ни на чем не настаивал, везде уступал — это всегдашняя его черта. Не изменил и вольнолюбиво своему. Дворовых отпустил, крестьян (кто того хотел) перевел на оброк. По закону 1842 года мог бы их всех освободить от «крепости», но этого не сделал: пока не было общего освобождения, отпускаемые попадали в худшие условия, чем те, кто оставался при своем прежнем (и порядочном) помещике.

Так началась для Тургенева жизнь барина и известного писателя, та жизнь, которую легко могла ему доставить мать — для этого не нужна была ее смерть. Но вот она поступила по-другому...

Он жил теперь в Петербурге и Москве, широко принимал, давал обеды, вращался и в среднем кругу, и в высшем. Выступил как драматург на сцене. Шла его комедия «Холостяк», позже «Провинциалка» со Щепкиным. Успех был большой. «Меня вызывали так неистово, что я наконец совершенно растерялся, словно тысячи чертей гнались за мной».

Радостно было писать в Париж, Полине, о победе. Радостно было прибавить строки: «В момент поднятия занавеса я тихо произнес ваше имя: оно мне принесло счастье».

Щепкин, знаменитый актер, с которым Тургенев сблизился по театральным делам, повез его к Гоголю. Гоголь жил у гр. Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызина. Этот старинный барский дом покоем, с обширным двором и сейчас цел в Москве — сколько раз приходилось проходить мимо него, сидеть на скамеечке бульвара, вспоминать Гоголя, тяжелые последние дни его жизни!

Гоголь Тургенева знал. Считал первой величиной молодой словесности. Тургенев благоговел пред ним и описал в воспоминаниях. Вот стоит Гоголь с пером в руке у конторки, в пальто, зеленом жилете, коричневых панталонах. Острый про-

филь, длинный нос, губы слегка припухлые, неприятные зубы, маленький подбородок уходит в черный галстук — глаза небольшие и странные, как и весь он странный, болезненный и «умный». В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах — затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного — вот чего никогда не было у этого поразительного человека.

Тургенев приблизительно так его и принял. Гоголь чудесно говорил о призвании писателя, о самой работе, удивительно читал и изображал, но нелегкий дух владел им.

Знакомство было беглое. Да Гоголь находился уж и в тяжелом состоянии. Известно, как ужасны были его последние месяцы. Он умер в феврале 1852 года. Для Тургенева радости, огорчения литературы никогда из жизни не удалялись. Смерть Гоголя он принял остро, как впоследствии восхождение и победу Толстого. Он написал о Гоголе статью, пытался напечатать ее в «С.-Петербургских ведомостях», но цензура (та самая, которою так восторгался покойный) не позволила. Тургенев выказал упорство — отослал ее в Москву Боткину и Феоктистову. Те напечатали в «Московских ведомостях».

Непонятно, чем она огорчила власть. Восхвалялся Гоголь как писатель. И только. Никого Тургенев не задел — даже отдаленно. Но вот показалось обидно. Как так, хвалит какого-то писателишку! «Лакейского» писателя, как выразился гр. Мусин-Пушкин. Да еще иметь дерзость напечатать в Москве, когда в Петербурге уже запретили!

Тургенева арестовали. Посадили, по распоряжению государя, на съезжую, т. е. при полицейской части: высидеть предстояло месяц. Сидение не оказалось ни страшным, ни даже неудобным. Ему отвели отдельную комнату, отлично кормили, к нему ездили друзья, он много, по обыкновению, читал, написал «Муму». Конечно, самый воздух участка ни для кого не сладок. Рядом с приличным тургеневским помещением наказывали провинившихся дворовых — их крики мучили его. Досаждала жара. Иногда он нервно шагал взад-вперед по камере, высчитывая, сколько сделал верст...

Восемнадцатого мая его выпустили, обязав уехать в Спасское, где и жить под надзором полиции. Но все это делалось не очень строго. Он побыл еще в Петербурге, его принимали, ухаживали за ним. Он читал «Муму» на вечере у А. М. Тургенева. Была весна, сирень цвела, черемуха. Вероятно, он чувствовал себя довольно празднично. В Спасское попал лишь в начале июня.

ССЫЛКА И ВОЛЯ

В большом доме Спасского, где некогда проходило его детство, жили теперь супруги Тютчевы — Николай Николаевич управлял имением. Тургенев поселился отдельно, во флигеле, состоявшем из нескольких комнат. Началась его идиллическая ссылка. Она состояла в том, что барин ездил на охоту, читал умные книжки, писал свои повести, раскладывал шахматные партии, слушал бетховенского «Кориолана» в исполнении Александры Петровны Тютчевой с сестрой — и по временам подвергался наездам станового. «Ссылный» не принимал его. При Варваре Петровне такого станового, если он без достаточной почтительности въехал бы, с колокольчиками, прямо в усадьбу, пожалуй, и вытолкали бы. Иван Сергеевич высылал ему в прихожую десять рублей. Представитель могущественнейшей Империи низко кланялся и отступал, пожелав барину «продолжения его благополучия и успехов во всех желаниях и начинаниях». Другой «наблюдатель» иногда следил за ним в разъездах, на охоте — тоже, очевидно, маленький и скромный: однажды он надоел преступнику и тот побил его хлыстом.

Первое лето и осень целиком ушли на охоту. Тургенев неутомим в своем занятии, в своей страсти — эта страсть прошла чрез всю его жизнь, охота связала его с Виардо, охота питала и литературу.

Вокруг Спасского, в Мценском уезде, особых охотничьих мест нет, это полистый край, не найдешь ни вырубков по большим лесам (для тетеревов), ни хороших болот. Перепела в овсах, коростели в сырых низинах, кое-где по лугам дупеля, бекасы, утки в озерах да несколько тощих тетеревиных выводков по опушкам каких-нибудь «егорьевских кустов» — это не могло насытить Тургенева. Осенью попадались пролетные вальдшнепы, он подымал их, возможно, у себя же в парке из-под опавшей, благоуханной листвы в прозрачный сентябрьский день. Весной стаивал на небогатой тяге, вслушиваясь в удивительное хорканье, но самое раздолье, самая охотничья благодать — засесть в тележку, или в тарантас, со своим кучером, со своим охотником (каким-нибудь Ермолаем-Афанасием) — закатиться в западные уезды Орловской, или близлежащие Калужской губернии — Жиздринский, Козельский. Ездил и в Брянский, Трубчевский. Сколько давали такие поездки! Не одной только дичи: пейзажей, мест, нравов, встреч с разными мельничиками, запахах полей, лесов, овсов. Ночлегов на сеновалах, привалов в лесу, когда после долгой ходьбы по тетеревам так блаженно-вкусной кажется простая краюха ржаного хлеба. Сколько всякой снеди таскали

за ним в погребцах верные слуги! Тут он плавал в простом русском народе, всех видел и знал, вслушивался в оттенок речи калужского и орловского мужика, наслушивался бесконечных рассказов где-нибудь в лесной сторожке, когда вдруг зарядит дождь, и не только что по выводку, а и носу не высунешь.

Из таких блужданий рождались «Поездка в Полесье», «Постоялый двор», «Затишье» — да вообще сквозь все тургеневское западничество его любовь к русской земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может подняться черныш — чудесный, краснобровый! — вся эта любовь стихийная питалась, взращивалась охотничьими скитаниями. Тургенев был западником, смолоду несколько отошел от России и в спорах со славянофилами часто Россию ругал — умом, «либеральной» своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, — весь в России, и без того славой нашей не стал бы. Он мог бранить сколько угодно отсталость и некултурность жизни, и писать в то же время чудесных Касьянов и очаровательных «рабынь».

Осенью сообщил Аксакову (с которым гораздо ближе был по делу охоты и рыбной ловли, чем в рассуждениях о России) о плодах своей войны: всего 304 штуки — 69 вальдшнепов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатка, 16 зайцев и т. д., вплоть до бедного куличка, и того записал. (Но это уж болезнь — безумие охотника, только охотнику понятное.) Аксаков ответил, что это, конечно, недурно... сам же он взял 1200 штук.

Из всех этих поездок возвращался он в не совсем пустой и одинокий флигель Спасского. Там с весны жила последняя в его жизни Афродита-Пандемос, некая девушка Феоктиста, горничная его двоюродной сестры Елизаветы Алексеевны Тургеновой.

Эту Феоктисту, или Фетистку, как ее звали, впервые он увидел у кузины в Москве еще в 51-м году. Фетистка была черненькая, тонкая, довольно миловидная девушка, изящно сложенная, с небольшими руками и ногами. Она сразу ему понравилась. Слабое его сердце поплыло. Виардо далеко, в неопределенных западных туманах, трудная, сложная. Маленькая Фетистка тут рядом и никаких сложностей нет. Впрочем, они возникли с кузиной. Елизавета Алексеевна, девица бойкая и жизненная, сообразила, что Ивану очень понравилась ее горничная, и когда он захотел выкупить ее, заломила соответственную цену. Это не остановило Тургенева. Варвары Петровны в живых не было, власти над собой он не чувствовал, деньгами

обладал немалыми. И выкупил Фетистку. Надарил ей всякого добра, платьев, шалей и т. п. — и привез в Спасское. От барыни Фетистка перешла к барину, стала его любовницей, нарядней одевалась и сытнее ела, жизнь вела бесцветную. Скучала и даже раздражалась при его попытках сколько-нибудь ее просветить — научить чтению, дать какое-нибудь образование.

Наполнить человеческим своим существом флигель Спасского Фетистка не могла. Женская ее природа была нужна Тургеневу, но как некогда и с Авдотьей Ермолаевной, связь с нею прошла для него вполне по поверхности.

Его «внутренность» поглотилась литературой. И сама зима оказалась полезной. Она наступила на редкость рано, в первых числах октября, занесла, запушила все Спасское, завывала метелями, наносила сугробы, каких Тургенев давно не видывал. Он обычно жил в деревне летом и осенью — а зимой в столицах. Но теперь ссылка прикрепила его к Спасскому. Дала чудесную нашу зиму ощутить и пережить. Поднесла в виде особенно ярком, сказочном. Зима в деревне для писателя всегда полезна. Она сгущает его, уединяет, очищает. Именно так и жил Тургенев. Во флигеле он писал, читал, занимался шахматами, в большом доме слушал музыку Тютчевых и вел разговоры для Фетистки недоступные. Шахматы, музыка, зимнее уединение — что может быть лучше для поэта? Размышляя над шедеврами Морфи, Андерсена, занялся он в рождественские метели писанием романа.

В ссылке Тургенев написал несколько общеизвестных вещей — «Постоялый двор», «Два приятеля» и кое-что из мелочей. Это не так много прибавило к его созданию. С внешней стороны ничего не прибавил и роман — он не попал даже в печать — но это крупное, важное упражнение перед «Рудинным» (без него и «Рудин» не написался бы), а кроме того и автобиография.

Работал он над романом так горячо, как только может трудиться полный сил человек в дивных условиях зимы, барства, одиночества и обеспеченности. Форма ему еще не далась. Друзья, которым он к весне разослал копии рукописи, забраковали ее. Роман оказался наполненным биографиями, описаниями, рассказами, но все это не приведено в движение. Изображалась властная и тяжелая, с самодурскими чертами барыня, в дом которой попадает маленькая лектриса. С нею-то и возникает сердечная история у сына помещицы Дмитрия Петровича — человека двойственного, слабого и капризного, обладающего нравственным чувством и от него отступающего, как будто и озлобленного тяжелым детством и самого себя не весьма уважающего. По природе застенчив он, а бывает почти грубым. Капризно влюб-

ляется, вызывает чувство ответное, но все это непрочно, ничего *основательного* в любви не создается, по вечной зыбкости природы. И как капризно влюбился, так же капризно впоследствии и ненавидит.

Все это очень знакомо, и очень ясно. Тургенев мог называть своего героя каким угодно именем — получился портрет некоего лица в некую полосу его жизни.

Из романа остался отрывок «Собственная господская контора». Все остальное дошло из вторых рук. Но руки Анненковых, Боткиных, Аксаковых — надежные.

* * *

Первое время разлуки с Виардо он писал ей много. Нежная меланхолия — вот тон его писем, преданность, любовь, тонкая чувственность. *Theuerste, liebste, beste Freundin*¹ — он любил эти немецкие интимные вставочки. Осенью 1850 года вспоминает семилетие их первой встречи. В Петербурге идет «взглянуть на дом, где семь лет назад имел счастье говорить» с нею. Тою же осенью приписка, в другом письме: «Und Ihnen küsst ich die Füße stundenlang»². 5(17) декабря в полугодовой день разлуки: «Сегодня шесть месяцев, как я видел вас в последний раз. Полгода! Это было — помните ли вы? — 17 июня...» В том же письме: «Если бы я мог видеть вас во сне! Это случилось со мной четыре или пять дней назад. Мне казалось, будто я возвращаюсь в Куртавенель во время наводнения. Во дворе, поверх травы, залитою водою, плавали огромные рыбы. Вхожу в переднюю, вижу вас, протягиваю вам руку; вы начинаете смеяться. От этого смеха мне стало больно...»

И вот идет время. 51-й, 52-й годы. Письма становятся реже. И тон меняется. Они очень дружественны, тоже нежны, почтительны и нередко меланхоличны. Но некая вуаль на них. Нет немецких приписок, нет *stundenlang* и *beste, liebste*... Довольно много о своей жизни, занятиях, книгах, но прохладнее, спокойнее. Какая бы ни была Фетистка, сколь бы поверхностно ни задевала, все-таки она тут, рядом, и писать о ней он не мог. Неизвестны ни письма Виардо, ни она сама за эти годы — ее жизнь... Чем *она* тоже жила при ее страстности и темпераменте? Стариком мужем?

Весной 1853 года Виардо приезжала в Россию петь. Тургенев достал паспорт на имя какого-то мещанина и ухитрился съездить в Москву. По-видимому они виделись — но тайно, скрытно: грозила все же полицейская опасность.

¹ Самый дорогой, самый любимый, самый лучший друг (*нем.*).

² И Ваши ножки целую без конца (*нем.*).

Неизвестно, как они встретились. Вернувшись в Спасское из Москвы, он опять куда-то уезжал, не вдаль, и возвратившись, получая дальнейшие письма, отвечает 17 апреля: «Оба ваши письма чрезвычайно лаконичны, в особенности второе, которое точно стремительный поток; в нем каждое слово рвется быть последним. Надеюсь, что когда вы освободитесь от закружившего вас вихря, то расскажете мне более подробно о том, чем вы заняты. О, милые письма, которые я застал здесь после своего возвращения были совсем иные. Да что уж!» Вот строки — обломок скрытых от нас чувств. Какие-то не столь «лаконичные» вещи написала ему Виардо, быть может, с дыханием нежности — тотчас после встречи, вдогонку, когда он уехал из Москвы в Спасское. Оживилось ли на минутку былое, куртавенельское? А затем — суэта, пение, успехи вновь отодвигают его от нее — как время, отдаление и новая связь затуманивали и ее образ для него. «Тургенев-однолюб» — и верно, и неверно. Виардо прошла через всю его жизнь, но сама жизнь прямой линией не была. В мае он пишет ей: «Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепительно ярка — такая молодость, такая свежесть, мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами аллея больших берез... В саду множество соловьев, иволг, кукушек и дроздов — прямо благодать! О, если бы я мог думать, что вы здесь когда-нибудь будете гулять!»

Полине Виардо, разумеется, было бы приятно гулять в таком саду и слушать соловьев. Но этих же соловьев слушала бы из раскрытого окна Фетистка, и она тоже любовалась бы зеленью и весной. Было ли бы это приятно Тургеневу и блистательной Полине?

* * *

Осенью 1853 года с него сняли опалу. Он мог теперь жить где угодно и что угодно делать. Вознаграждая себя за деревенское сидение, покатыл в Москву и Петербург. Началась жизнь рассеянная, среди друзей, как Анненков, Боткин, полудрузей — Некрасов, Панаев, Григорович, обеды, салоны, светское общество. Тургенев начинал уже «блистать». Голова его стала почти седая — ранняя седина, тридцатипятилетняя, но глаза живые, фигура могучая, одевался он отлично, и раскинувшись в креслах где-нибудь у графини Салиас, рассказывая своим тонким, высоким голосом — занятно и увлекательно — разумеется «украшал» гостиную: и зрительно, и духовно.

Жизнь же шла бестолково. Денег довольно много, щедрости тоже: никто никогда не укорял его в скупости. Давал он

направо-налево, без разбору. Как настоящий русский писатель был кругом в авансах, и Некрасову, денежки любившему, доставлял в «Современнике» немало огорчений. Но ничего не поделаешь. Тургенев считался первым писателем, приходилось терпеть.

Он любил устраивать обеды и устраивал их неплохо. Крепостной Степан, красивый и здоровенный малый, настолько влюбленный в своего барина, что, когда тот предложил ему вольную, он отказался — этот Степан проявил чудесный поварской талант и украшал своим художеством стол Тургенева. Сам барин на обедах бывал мил и весел, и только когда Анненков с Гончаровым приближались к муравленному горшку со свежей икрой от Елисеева, он не без ужаса кричал:

— Господа, не забывайте, что вы здесь не одни.

Боткин же, на радостях от удачного соуса, требовал, чтобы хозяин позвал Степана:

— Буду от благодарности плакать ему в жилет.

Все это приятно и весело, но одновременно Тургенев язвительно и подсмеивался над многими, сочинял эпиграммы не без злости. В позднейшей ненависти к нему Достоевского отзывалась, конечно, давняя насмешка Тургенева. Вряд ли обрадовали и Кетчера такие стихи:

Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин

За это время совсем прекратилась его переписка с Виардо (по крайней мере, для нас: писем не существует.) Куртавенель временно затонул. Фетистка, правда, тоже сошла, но появилось другое тяготение — к молоденькой девушке, дальней его родственнице, Ольге Александровне Тургеневой. На этот раз место действия — окрестности Петербурга, Ораниенбаум, где она жила летом 1854 года (а Тургенев в соседнем Петергофе). Знакомство их шло еще со времен до высылки. У ее отца А. М. Тургенева, изящного и просвещенного человека, и читал Иван Сергеевич написанную под арестом «Муму».

Ольга Александровна была крестницей Жуковского, девушка тихая, кроткая, хорошая музыкантша, плоть от плоти чинной и благообразной старой Руси, нечто от Лизы Калитиной, Тани из «Дыма». Роман оказался, так сказать, «свирельный». Тургенев разыгрывал ласковые мелодии, что-то в нем трепетало. Девическую душу он, конечно, взволновал и разбудоражил, но пред решительным шагом остановился. Было настолько недалеко от брака, что он говорил об этом со стариком Аксаковым, когда

весною был у него под Москвой в Абрамцеве. Тот гадал ему даже на картах... Но Тургенев остался Тургеневым. Брак — не для него. Томления, мечтания, нежные разговоры в отсутствие куртавенельского сфинкса это одно, перелом жизни — другое.

Он одержал над Ольгой Александровной, как некогда над Таней Бакуниной, ненужную победу. В обоих случаях главенствовал, и это его расхолаживало. Ни та, ни другая не имели над ним власти, и большой роли сыграть не могли. Но Ольга Александровна оставила более мягкое и светлое воспоминание. В «Дыме» (Таня) он помянул ее добром. И вероятно, был перед ней вообще как следует виноват: Ольга Александровна так тяжело переносила неудачу, что заболела, долго не могла оправиться.

А Тургенев... по-видимому, он так же внезапно уехал от нее, как в свое время из Зальцбрунна от Белинского и Анненкова. Нельзя даже сказать, сам он уехал, или некий легкий ветер унес его. Хорошо, или плохо он сделал, но это по-тургеневски. Ответ за характер придется еще держать, но позже. А пока что была еще Россия, надвигавшаяся Крымская война, литература, творчество.

Война никак не отразилась на Тургеневе. Молодой Толстой хоть побывал в Севастополе, повоевал. Тургенев несколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало.

Зато настало ему время пожать плоды упражнений в ссылке. Тогда написать романа не удалось. Летом 55-го года, в том же Спасском, засеv, он в семь недель закончил «Рудина», вещь в некоем смысле дебютную и блестящую. «Рудиним» открывается полоса тургеневского романа и тургеневской наиболее широкой (но не всегда глубокой) славы. Может быть, «Рудин» как роман и не весьма ярок, не вполне удачно построен, все же сам Рудин до того русская роковая фигура, что без нее Россия не Россия (как и Тургенев не Тургенев). Все «лишние люди», все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи пошли от Рудина, и так как Тургенев очень много своего вложил в эту фигуру (хотя и предполагал написать Бакунина), то получилось очень хорошо. Смесь донкихотства со слабостью, фразой, неудачничеством — единственна. Способность зажечь сердце девичье — и не удовлетворить его — как все это знакомо! Хорошо оказалось для литературы, что автор незадолго сам пережил роман — пустоцветный и, может быть, полный для него укоризны, но позволивший многое написать в любовной стороне «Рудина» по свежим следам.

Есть в этом произведении еще черта трогающая: отзвуки

тургеневской молодости, Станкевича, энтузиазма, студенческих «ночных бдений» над неразрешимыми вопросами. Чуть не через двадцать лет отозвался в его писании Берлин, и многое, что складывало самый облик Тургенева.

«Рудина» он привез из Спасского в Петербург. Тут, как полагается, без конца его читали приятели, советовали, хвалили, «указывали на недостатки», и как всегда Тургенев почему-то слушался их, волновался и покорно «исправлял».

Среди этих занятий приобрел он одно замечательное знакомство: в ноябре приехал из Севастополя в Петербург молодой артиллерийский офицер, граф Лев Толстой. Этого Толстого Тургенев уже несколько знал по литературе. «Кстати, не правда ли, какая отличная вещь «Севастополь» Толстого?» — писал летом Дружинину. Теперь «Севастополь» явился в Петербург лично. Привез с войны всю свою угловатость, темперамент, страстность и чудный дар. От него пахло пороховым дымом, ложементами, солдатскими словечками — как ранее полон был он Кавказа и поразительных его дикарей. Что читать мог он там? Каким нежностям и томлениям предаваться? Это был застенчивый, гордый, безмерно самомнительный и гениальный артиллерийский офицер с некрасивым и грубоватым лицом, небольшими, глубоко сидевшими серыми глазами величайшей остроты и силы. Великорусский тяжелый нос, способность вспыхивать и безумно раздражаться, желание всегда быть особенным, ни на кого непохожим, всегда противоречить — особенно известным и видным — все оценить по-новому, исходя не из знаний, а из силы натуры. Таким можно себе представить Толстого — уже замеченного «талантливого» писателя, но еще экзаменующегося, аттестата зрелости не получившего.

Что может быть противоположнее Тургеневу? Представишь ли себе Тургенева на Кавказе, или на Малаховом кургане? Без каких-нибудь дам или барышен, пред которыми он блистает, и не может, даже не должен *не* блистать: он не был бы тогда Тургеневым. Или Тургенев без книг, театра, среды литераторов? Без многолетней и глубокой, тонкой просвещенности?

Он сразу понял в Толстом писателя — да еще какого! Для него этого достаточно, чтобы за приезжего ухватиться: Тургенев очень и жизнью интересовался, а уж литературой — исключительно. Получилось даже так, что Толстой поселился у него на квартире.

Первое время все шло отлично. Всякому старшему писателю приятно опекать младшего. (Тургенев был на десять лет старше Толстого.) Но — при условии послушания и почтительности. Толстой очень ценил некоторые черты Тургенева — ум, доброту.

Многое высоко ставил и в «Записках охотника». В общем же... его невзлюбил. И уж никак не мог держаться скромным учеником. Да и Тургенева чем дальше, тем больше Толстой коробил. Даже жизненные привычки были у них разные. Тургенев изящно одевался, любил порядок и опрятность, от него пахло духами, он носил тонкое белье. Выезжая в общество, надевал отличный фрак. Обедать любил вовремя и был гастрономом. Понимал в вине, но никогда не напивался. Сидел в салонах и беседовал с дамами, но не катал по кабакам, не любил троек, цыган, кутежей.

В комнате Толстого пахло табаком, все было разбросано, и сапоги могли стоять на туалетном столике, брюки валяться на рукописях, или рукописи на брюках, нередко возвращался он на рассвете, вставал Бог знает когда, полдня ходил по квартире немытый, угрызался за «недолжную» жизнь, и тотчас начинал громить первого встречного, ел Бог знает что, на ходу, решая вопрос о правде в человеческих отношениях и чаще всего находя, что все неправда, и хорошо бы вообще весь мир переделать сверху донизу.

Разумеется, хозяин и гость не могли двух слов сказать, не заспорив. Тургенев жизнь окружающую признавал, считая, что ее надо улучшать. В Толстом сидело и тогда зерно всеобщего разрушения и постройки всего заново. Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедывал, и не особенно моралью интересовался. Толстой все это бурно переживал. И так как был малообразован, но безмерно самолюбив и силен, то ему доставляло наибольшее удовольствие оспаривать неоспоримое.

Литературный круг Тургенева в то время составляли Некрасов, Панаев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков, Писемский, Гончаров. Толстой бывал также на этих собраниях. Он играл на них роль *enfant terrible*¹. Ему казалось, что Тургенев слишком красноречив и «фразист», сам он перегибал в другую сторону, но желанная, столь великая простота, естественность, не так-то легко давалась: тут приходилось бы уж подыматься к Пушкину — толстовское же стремление к угловатости, «корявости», конечно, простотою не было. Разве простота вся та известная сцена, когда Толстой, возражая волнующемуся Тургеневу, заявил:

— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими

¹ О человеке, смущающем всех своей прямоотой, необычностью суждений (*фр.*).

убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

Ни с каким кинжалом нигде Толстой не стоял, собственную жизнь прожил в огромных противоречиях с этими самыми «убеждениями», и в некотором смысле показал себя вовсе не сильным человеком — так что выпады вроде приведенных меньше всего правдивы и просты. В них есть театр, подмостки (чего не лишен был и Тургенев, но в другом роде. Тургеневский театр условен в «изяществе», толстовский в «простоватости».)

Но Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор. Поэтому, в некотором смысле держался проще Толстого. Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества.

Из личного знакомства этих замечательных людей не вышло ничего. Но странные, болезненные и тяжелые отношения тянулись всю жизнь, то обостряясь, надолго вовсе прерываясь, то возобновляясь.

СУМРАК

И вот, прошло шесть лет как покинул Тургенев Францию. Шесть очень важных лет. Из бедствующего литератора в не ладах с матерью он обратился в первого писателя страны, признанного всеми, имеющего связи и в свете, и в среднем кругу, человека с хорошими средствами и вполне независимого. Слава шла к нему по заслугам. «Бежин луг», «Певцы», «Касьян с Красивой Мечи» углубляли «Записки охотника». «Фауст» вводил в таинственного Тургенева. «Рудин» показал в нем романиста. Блестящий, удачливый, красивый Тургенев... Как будто все, что нужно.

Уже с 53-го года прекратилась его переписка с Виардо (или почти прекратилась) — вслед за весенней встречей в Москве. Вряд ли встретились они плохо. Скорее наоборот. Но что-то начало удалять их друг от друга. (Не освобождая вполне.) Сказал ли он ей о себе? Дошли ли до нее вести об Ольге Александровне? Почувствовал ли он в ее жизни нечто иное? Во всяком случае, к концу этого шестилетия некое беспокойство стало точить Тургенева. Не так проста была его история с Виардо. Приходилось все досказать, дожить, доиспытать. Его вновь потянуло на Запад. Осуществить это стало легче — Крымская война кончилась.

Как раз в то время Тургенев познакомился с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт — женщиной тонкой и умной,

мистического склада, глубоко верующей. Часто навещал он ее в Петербурге на Фурштадтской, сживал наедине в уютной комнате с иконами, книгами, вел те беседы, на которые был великий мастер: что-то изливал, о чем-то вздыхал, в чем-то искал (и находил) сочувствие. Графине открыл он свои сердечные дела. Началась между ними и переписка.

Связи в свете у Елизаветы Георгиевны были большие. Он перед ней за многих хлопотал, и ему самому, видимо, помогла она в 1856 году с выездом за границу (не так охотно, все-таки, давали разрешение). В майском письме 1856 года из Спасского он благодарит ее «за участие», которое она оказала ему в Петербурге. Приоткрывает это письмо и кое-что в нем. «С тех пор, как я здесь, мною овладела внутренняя тревога... Знаю я это чувство! Ах, графиня, какая глупая вещь потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!»

В июне поездка совсем налаживается.

«Позволение ехать за границу меня радует... И в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». (Т. е. быть *при* Виардо, не свивая «гнезда».)

А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на *счастье* для себя, т. е. на счастье в том опять-таки *тревожном* смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею».

Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица...

Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время — свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки... грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной, *некрасивой* Полины Виардо.

И он тронулся — 21 июля 1856 года на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб

в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штосс он играть мог бы, да не хотелось — зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо, и на все будущее свое...

Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо, замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток. Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить эту осень за дни былых куртавенельских радостей!

Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна — с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот туманный, мечтательный друг появляется... Началось что-то новое.

Нет сомнения, что вернувшись, он увидел такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал *точно*. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Ари Шеффера, близкого человека к Полине — он писал и ее портрет.

Тут и оказалось, что пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой *жизненно* не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что *его* дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.

Как раз тою же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в Куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал. В расстройстве чувств забыл — и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле,— и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось нелегко. Все-таки, он провел здесь несколько дней.

Некоею своей аляповатостью, видом армейского офицера *endimanché*¹, несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках, произвел он впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запирался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось — не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но быть может, Фет — в другом смысле — попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имению и художеству.

Тургенев многое ему рассказал — горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и больную минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):

— Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!

Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев — на *rue de Rivoli*, (а с января нанял квартиру 11, *rue de l'Arcade*). Много стонov мог бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы все тут соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.

Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных квартирах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания — открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему всегда наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».

Тургенева лечили, прижигали, мучили... Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.

С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб» — зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиной Виардо она не ужилась, да, может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку,

¹ в парадном мундире, прифранченного (*фр.*).

английскую даму Иннис, и втроем поселились они на rue de l'Arcade.

Больной, раздираемый любовными страданиями отец, подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу — из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка — невеселое сообщество.

На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеко, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет»... — значит и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку!»

Зима 1856/57 года, редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще больше угнетало.

И Париж, и парижская жизнь, и литература — все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился». «Французская фраза мне так же противна, как и вам — и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно; но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т. е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!». «Причина этого настроения вам известна: я об ней распространяться не стану. Она существует в полной силе — но так, как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».

Тургенев поступил разумно — из Парижа весной уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии, и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн — все это очень тургеневское, и вероятно очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена — действительно, налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноград-

ники и т. п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Эта вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному *краснощекому* баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице» и т. д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется — ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного — это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову ополшить, принизить («краснощекий лейтенант...»)

Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые, неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол.)

Он провел в Зинциге весь июль. Графине Ламберт так писал: «Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда — не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».

Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Evviva! Zito!»... и даже восклицание по-старокельнски, по-арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.

Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 года. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го — ровно девять месяцев тому назад... Дальше все тайна. Поль мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.

* * *

В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем — Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище — в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой

ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек — знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».

Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («... Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себе не следить за женой».)

Тургенев в Италии уже бывал — давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все — впереди. Теперь он — человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.

Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили чрез Porta del Popolo. Тургенев остановился в Hôtel de l'Angleterre, на via Bocca di Leone — там они и обедали с Боткиным.

Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота». Вилла д'Эсте, книги, классики...

Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями — Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава — и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечно-зеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! Я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой». Как так стряхнуть, если сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму — вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.

Но он сам понимает, что нечто надо закончить: «В челове-

ческой жизни,— пишет графине Ламберт,— есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать — и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».

Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельшения. Осень была чудесна. Все синееющие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita dei Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли — все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томилась. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.

Это видно в самом его творчестве. Очень важно, и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частью написал) «Дворянское гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастью, его не принял. Но с любимую героинею по нем шел, значит как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил. Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливый мальчиком лет двадцати трех,— еще неостывшее личное. По напряжению, резкости, эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже унижены (там «краснощекий баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнест). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянной загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна, и судорожно зевая, восстанавливая воображением весь свой позор, просидел до утра... это еще все не смирение. Но эпизод потонул — в другом. Общий тон — Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.

«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией.

Приближались шестидесятые годы. Пора было прощаться с ней — Тургенев распрощался щедро, всеми средствами таланта зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой, в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастья» и как бы обрекал себя на бесприютную художническую жизнь. Рим и Италия помогали ему в этом.

Но не один Рим, и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось не быстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.

Весной 1858 года он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лейпциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем и в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.

На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтично-охотничий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные бары и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой — Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например, днем из Спасского, вечером в городишке Болхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубульке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нее быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков — уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам, как куры в курятнике — там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палят из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!) и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дрови. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевеловником — лишь в таком виде можно довести их домой.

Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под березами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на

сеновалах, утром умываются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирает целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»... Россия дышит на них дыханием лесов, полей, всей страшной силой необъятности своей.

В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении созревает «Дворянское гнездо».

Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, отворяет его. Они ночуют, среди безмолвия, глубокой тишины, зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики, в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой.)

В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением — Италией и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа...

Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по-детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы — Тургенев горд, что идет быстрее «несчастливого толстяка с кавалерийскою походкой» — на десятом кругу обгоняет Фета на полклумбы. Или: Фет читает ему свой перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «о, разорвись!» — Тургеневу не нравится. Фет пускает вариант: «о, лопни!» — Тургеневу опять не нравится. «Тогда,— говорит Фет,— как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: «Я лопну!»

Тургенев, прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол, кричит и ползает, как ребенок, от восторга.

Дело происходит у Фета в имении — на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке, под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи — Лаврецкий, вкусивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни *со счастьем* для него быть не может.

В это время с особенной остротой переживал, *пережевывал* Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» — первое,

временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 года скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти.)

Осенью он повез роман в столицу. Успех, на этот раз, оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.

Соперников Тургеневу в *литературе* не было.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

...Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России — деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западником. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России — ее религии — почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце, по временам, давало удивительные образы Святой Руси). Он Гоголя мало знал лично. Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве, конечно, разошелся бы. Славянофилов всегда не любил. Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях — правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцево, тяжелые вещи: он казался ей не духовным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По ее взгляду, он и искусство чувствовал физически — вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.

В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубоко-христианским складом. Тургенев несколько иной — прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна неправа, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.

Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «дельных»

и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно себя украсил.

Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили шестидесятые годы, сменялось царствование императора Николая более мягким — Александра II. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на Французской революции и европейском позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двулика и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены — другой, внося яд мелких идей, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, «время великих реформ» — и оплевания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.

Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор, и одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда, в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художнически невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.

Первый его «общественный» роман — «Накануне», вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигательностью. «Тургеневская» девушка выходит, наконец, из «гнезда», бросает дом, родителей и увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.

Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь нигилистом, воображала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.

Главные огорчения ждали его, однако, не справа, от графини, а слева, от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе — маленьким, бесталанным Белинским. Удивительное дело: они появились в том самом «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов — замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживший нечистую

жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек которого первые люди времени называли «мерзавцем» — и автор «Власа», «Рыцаря на час»... Нет в русской литературе фигуры, более дающей облик славы и падения, возношения и презрения.

Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело «Накануне» — будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-барином. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева — тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.

И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигабельностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском вестнике» у Каткова). Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барственностью, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким пришепетыванием — может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов — один из наиболее порядочных среди них — мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», — встал и перешел на другую сторону комнаты.)

«Накануне» появилось в январской книжке «Русского вестника» 1860 года — и тотчас начался обстрел в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской — насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окарикатурил Бакунина в «Рудине».)

Нравы юмористики того времени невысоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику — Фетом, балетом, паштетом и вновь — Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели» смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овалы на подмостках провинциальных театров

за границей». К концу года они так осмелели, что в объявлении о подписке на «Современник» 1861 года заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман и т. п.!) И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61-м году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в том же «Русском вестнике».

В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы *писал* Печорина, Печорин сам *всплывал* из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый — глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.

Роман получился замечательный, но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)... и ни тепло от него, ни холодно. Вернее — прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.

Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современнику» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» — с бранью на Тургенева.

Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взращивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от влажного, женственного в литературе — истинно-тургеневской стихии.

* * *

Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрин, в замужестве за блестящим адъютантом молодого Наследника — гр. Иосифом Ламбертом) — появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов в самое трудное для него время.

Известно о ней мало. Виардо много знаменитее ее, да и то

виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева (к ней). Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит, и как говорит — косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.

Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой, довольной? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову, писал он самые душевные о себе вещи еще из Италии, в 57—58-м годах. В Петербурге (тогда же, и в шестидесятых годах), часто бывал у нее на Фурштатской — целыми вечерами сидел в будуаре и беседовали они — об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт — всегда с присутствием грусти. Женщина с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинаково томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастья» — вечный и безнадежный вопрос! — но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложною внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была временами прорваться и в большее: но не встречала ответа.

Близость душевная была довольно большой. «Помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю это вовсе не для того, чтобы подтрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог. Не слезы ваши меня трогали, а то, что вы могли и не стыдились плакать» — светская женщина, очень чинная, при нем, однако, плакала. Это писано в 1859 году, когда сам он, отмучившись первыми горькими страданиями из-за Виардо, все-таки никак смеяться не мог.

Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).

«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить нынешнею зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно — как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».

Значит, не всегда, было «тихо и спокойно»? Он как будто сам чувствует смелость фразы и добавляет: «Я хотел только сказать, что вы моложе меня».

Это письмо как раз из Куртавенеля. Там он созерцал гроб своего прошлого. «Не чувство во мне умерло, нет, но возможность его осуществления. Я гляжу на *свое* счастье, как я гляжу на *свою* молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, а все это там; и между этим *здесь*, и этим *там* — бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям и, главное — по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока...»

Вот что в нем было, когда задумывалось «Накануне», когда близились шестидесятые годы, освобождение крестьян, осуществление его же собственных надежд и когда начинался весь шум его романов с «общественным» содержанием.

В октябре того же 59-го года получил он в Спасском от графини письмо более нежное, чем обычно. («Какое странное, милое, горячее и печальное письмо — точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе, еще более томится и млеет»). Здесь же — первый упрек (вернее — мягкое указание), что он начинает с нею скучать. Тургенев это отвергает. Нет, не скучаетнисколько. И не может так быть, ибо есть на свете только два существа, которые он любит больше, чем ее: «Одно потому, что она моя дочь, другое потому... Вы знаете, почему».

Переписка оживает, разрастается. Вот остановился Тургенев в Москве, у приятеля своего Маслова, в Удельной конторе на Пречистенском бульваре (чудесный особняк!). Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце... Он захворал, у него горло простужено. Маслов почтительно за ним ухаживает. Конечно, Тургенев мнителен и избалован — так ясно чувствуешь все эти пледы, в которые он кутается, туфли, микстуры, все его страхи, томные жалобы, возню с докторами. Видны и завсегдагаи: Фет, Борисов, Николай Толстой. В промежутках успевает он познакомиться с двумя-тремя дамами («два, три интересных женских существа»). Держит корректуру «Накануне» — это январь 1860 года. «Я вас не забывал все время — и все-таки не писал вам. Примиряйте, как умеете, это противоречие». В сущности, графиня не могла жаловаться. Он и с Виардо иногда так поступал: помнил, но не писал. Правда, за это и поплатился.

Из Москвы вернулся он в Петербург, и все кашляет, все хандрит, возится с докторами, не может приехать к Ламберт — не выпускают на улицу; переписывается с ней записочками — не без элегии и кокетливости. Она рассказывает ему о своих снах, называет балованным ребенком... а он успел уже познакомиться «с одной молодой милой женщиной восемнадцати лет, русской, рожденной в Италии, которая плохо знает по-русски» — и сейчас же предложил ей читать вместе Пушкина. (Очень вообще любил читать вслух дамам.)

Но в Петербурге долго не засиживается — опять Запад — Париж, Соден, Висбаден. Виардо все время в тени, за сценой, все время больное место. Тургенев совсем не на якоре, его покачивает на зыби,— один ветер тянет туда, другой сюда, ветры несильные и никак его не задевающие. Но главное направление (лишь *дружеское*), все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая «одну даму» в Швальбах, заехал в Висбаден. Дама эта — писательница Марко Вовчок. С нею он тоже, конечно, немало разговаривал и читал.)

Так и следишь, живешь двумя ушедшими жизнями. Одна в другой отражается. Вот опять зима, начинается Париж, всегда для Тургенева тяжелый, незадачливый. Растрavляется сердце, вновь близок источник страданий, вновь горечь, глубокая грусть и серьезность. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но расставшись с ним, я увидел, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания» (декабрь 1860 года).

Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 года) — то, из-за чего давал Тургенев некогда «аннибалову клятву». Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» — уж действительно «для себя», не для публики: вовремя вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.

Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил он ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой, (не

знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.

«Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то... И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть».

Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастья есть несомненность Истины.

* * *

Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от «рабыни», девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток — все это считал «долгом»: так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешни, ничем не согреты. А потому бесполезны.

Подрощи, Полина маленькая стала ревновать отца к Полине взрослой. Его это раздражало. Он писал ей ласковые письма, в которых не так много ласки, и нередко — упрек. Графине же Ламберт признался, что между ним и дочерью («хотя она и прекрасная девушка») мало общего. Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, и он относится к ней, как к Инсарову: «Я ее уважаю, а этого мало».

Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева — в этом грехе он держался безупречно... но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.

В мае 1861 года гостил у Тургенева в Спасском Толстой. (Друг друга они не любили, но и влекло их друг к другу.) Собрались в гости к Фету, незадолго пред тем купившему именье Степановку — там выстроил он новый дом и обзаводился хозяйством. Приехали в добром настроении. Отправились с хозяином в рожицу, лежали на опушке, много, оживленно разговаривали. Затем пили чай, ужинали — все, как полагается. Остались ночевать. Фету с женой пришлось даже потесниться: дом был невелик.

Утром вышли Тургенев с Толстым к чаю, в столовую... быть может, встав с левой ноги (оба и вообще-то капризные). Уселись — Тургенев справа от хозяйки, Толстой слева. Бородатый, загорелый Фет с узкими глазами, полный посевов, забот о

вывозе навоза, о каких-нибудь жеребятах — на противоположной стороне стола. Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу Иннис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.

Толстой сразу рассердился.

— И вы считаете это хорошим?

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.

В Толстом именно в эту минуту, в свежесрубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь — это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.

Дальше все поразительно — для Тургенева, мягкого, светски-воспитанного почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).

После возгласа:

— Я прошу вас об этом не говорить!

И ответа Толстого:

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден! — Тургенев в полном бешенстве крикнул — не дворецкому, а будущему «великому писателю земли русской». — Так я вас заставлю молчать оскорблением!

Ноздри его раздувались, он схватил голову руками и «взволнованно зашагал в другую комнату». Через секунду вернулся и извинился пред хозяйкой за «безобразный поступок», прибавив, что глубоко в нем раскаивается.

Бедный Фет попал в переделку. Оба знаменитых гостя считались его друзьями. За минуту все было мирно, весело, майский ветерок похлопывал парусиной на террасе, яровые лоснились за окном, грач ухабами летел против ветра... Вышли бы на воздух, посмотрели бы коров, телят. А теперь... слава Богу, что не зашло еще дальше!

Тургенев уехал тотчас. Толстого пришлось отправлять отдельно. Лошадей не было, экипажа тоже. Но это, конечно, мелочи. Их нетрудно преодолеть. Хуже получилось по существу.

Два лучших русских писателя рассорились на семнадцать лет, обменялись оскорбительными письмами, дело чуть не дошло до дуэли... из-за чего? Бедная Поля встала между ними, разделила так: Тургенев по внешности оказался неправ, но внутренне его позиция гораздо лучше — он вскипел, сказал ненужное и извинился. Сам страдал из-за своей резкости. В положение праведника, не вызывающего сочувствия, попал Толстой, требовавший дуэли после извинения, вообще «удовлетворения» своим интересам — слава Богу, он его не получил.

Из Богуслава, где остановился на ночлег, выехав от Фета, посылал Толстой домой за ружейными пулями. Предлагал Тургеневу дуэль «на ружьях», чтобы она кончилась непременно, как следует. Тургенев принял дуэль только на европейских условиях, т. е. на пистолетах. Тогда Толстой написал ему грубое письмо. В дневнике же записал о Тургеневе: «...Он подлец совершенный, но я думаю, что со временем *не выдержу и прощу его*».

В то самое время, когда Тургенев грыз себя за несдержанность, а Толстой восхищался своей добротой, некрасивая Поля Тургенева разрисовывала во Франции какие-нибудь благонамеренные кипсеки, помогала бедным, училась петь, подчинялась добродетельной г-же Иннис, ненавидела Виардо. Никак не могла она думать, что из-за нее в той России, которую она совсем забыла, отец так взволновался. Толстого она вовсе не знала. Ее гораздо более занимало то, пустят ли ее потанцевать на бал или нет.

* * *

Тургенев отписал о ссоре графине Ламберт. Он признавал свою вину. Дело же в целом объяснял давней нелюбовью, отталкиванием от Толстого. Неизвестно, что отвечала графиня. Но их отношения вообще несколько менялись. Она сама переживала тяжелые потрясения: смерть единственного сына, смерть брата, собственные болезни. Раньше она являлась «утешительницей». Теперь ее самое надо было утешать и поддерживать — что Тургенев с дружеской добротой и делал. Но ей все казалось, что мало. Что он начинает с нею скучать, что ее печаль «стеной стала» между ними. Сама она замыкалась, уходила в религию. Он казался ей «преисполненным земной жизнью и преданным ей». Тургенев отвечал, что если не успел прикинуть к неземному, то земное все давно ушло от него. (По крайней мере, так ему казалось.) «Я нахожусь в какой-то пустыне, туманной и тяжелой».

К неземному приникнуть, как графиня, он и вообще не мог. Не был верующим и скорбел об этом, именно теперь, видя, с каким достоинством переносит свои беды графиня (в человеческом, однако, утешении тоже нуждавшаяся). К христианскому ее смирению относился почти благоговейно. Но себя христианином не считал. Или, вернее, не называл. Христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал. «Имеющий веру имеет все, и ничего потерять не может; а кто ее не имеет, тот ничего не имеет» — это слова Тургенева. «Ничего не хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать другому — это и есть настоящая святость». Не видя последнего в себе, он чрезвычайно ценил его в графине. Это и ставило его в положение скромности.

Ему самому смирение было необходимо. Трудности шли отовсюду. Нападки за «Отцов и детей» превзошли все возможное. На Тургенева действовали они болезненно. Свою правоту он знал. Характером же достаточным не обладал, как-то поддавался, падал духом. Будучи избалованным, слишком любил любовь и поклоненье. Пробовал возражать. Кажется, не всегда был достаточно тверд с молодежью. В общем же ему казалось, что он устарел, что новое поколение не признает его и ненавидит. В награду за труды, седины, годы, получал поношенья. Ему хотелось тишины, мира, света — и не хотелось России. В эти годы он сильно отходил от Родины.

А с другой стороны: прежнее, куртавенельское с Виардо ушло навсегда. Надо было свыкаться с иным. Здесь он, по-видимому, успел больше, чем в литературе. Та струйка смирения, что впервые открылась в год «Дворянского гнезда» через Лизу, ширилась — может быть, и не без влияния графини Ламберт. Разумеется, до того настроения, в котором писала она ему из Тихвинского монастыря, он не доходил. Но одно то, что мог написать: «Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною, как будто бы я был современником Сезостриса» — уже говорит нечто. Многие в нем менялось. Что-то он мог принять, что-то простить... Сердце растоплялось. Но Виардо еще вдали. Писем от нее нет. Ее самое он видит, но как-то урывками.

А в России шел праздник. Священники читали с амвонов: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ» — слова освободительного манифеста. Многие, среди них сам Тургенев, могли с радостным волнением повторять «Ныне отпускаеши» — сбывалось то, из-за чего давались «аннибаловы клятвы». И хоть сбывалось неукложе, тягостно, шершаво, иногда

с насилием, неодобрением и даже противлением, все же шла новая Россия. Александр II знал и ценил Тургенева, зачитывался «Записками охотника». Доля Тургенева в освобождении рабов бесспорна. Освобождавшуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом.

БАДЕН

К концу пятидесятых годов у Полины Виардо стал пропадать голос. В глюковском «Орфее», которого она некогда создавала, теперь ей больше приходилось играть, чем петь. Это кажется странным. Виардо не исполнилось еще сорока. При силе ее натуры, при всем правильном, спокойном складе бытия она довольно рано выбывает из строя. Как женщина, долго еще хранит обаяние. Как мать — щедра, плодovitа: к этому времени у нее четверо детей — Луиза, Клавдия (Диди, любимица Тургенева, но вряд ли его дочь), Марианна и сын Поль, родившийся летом 57-го года. Может быть, у ней появилась седина. Но женщина, о которой в шестьдесят лет говорили, что в нее можно еще влюбиться, в глубокой старости не потерявшая бодрости, живого блеска выпуклых, черных, редкой красоты глаз, раньше всего сдала именно в искусстве. Она чуть не на тридцать лет пережила Тургенева и мужа... и так рано отцвела в пении.

Она встретила судьбу мужественно, играть в прятки не стала. В унижительное положение себя не ставила и свистков не дожидалась. Пока могла — гремела славою. Когда инструмент ослабел, отступила. Что при этом переживала — понятно. Но вряд ли ныла, плакалась. Действия Полины Виардо были всегда разумны, ясны и решительны.

Оставаться в Париже, видевшем ее триумфы, не хотелось. Если меняется жизнь, пусть изменится место, люди, даже язык.

Она выбрала Баден. Был и хороший предлог бросить Францию: она не любила Наполеона, отрицала его режим (как и муж, как Тургенев), могла объяснять переезд преимуществами Германии. В небольшом, изящном городе-курорте можно жить тихо, но среди светского общества. Зелень, музыка, чудесные окрестности — для людей, перешагнувших некий возраст, очень подходяще. Полина верно рассчитала: светские и просто зажиточные девицы, съезжавшиеся со всей Европы, будут дорого платить за уроки.

Все же сначала предприняли как бы разведку: в 1862 году семья Виардо жила в Бадене еще в наемном помещении. Через

два года Полина прощалась с Парижем, пела в Théâtre lyrique¹ знаменитого «Орфея». Одновременно купили в Бадене виллу и переехали окончательно — устроились широко и удобно.

Вилла стояла на прекрасном месте, Thiergartenthal, у подошвы лесистой горы Зауерберг. Просторно, зелено, благородный и мягкий пейзаж с невысокими холмами, луга...

Теперь Тургеневу приходилось выбирать: жить ли по-прежнему в Париже с дочерью, возвращаться ли в Россию, переселиться ли в Баден. Россия казалась враждебной. В Париже пусто. Оставался Баден. Тургенев тоже сделал разведку: осенью 62-го года в Бадене у Виардо погостил. Жил там хорошо. Встречался со старинными приятелями, охотился, серьезного ничего не делал. Местность очень ему понравилась. Радовался он солнцу, чудесным осенним дням — и, очевидно, у Виардо вновь пришелся ко двору. Что-то вновь между ними произошло — сблизило. Годы, его великий ум, великая любовь превозмогли многое. Как будто бы увенчивалось его терпение.

Весной 1863 года Тургенев снял квартиру на Schillerstrasse в Бадене и покинул Париж. Этот шаг его оказался очень удачным. Как в свое время Куртавенель, Баден тоже ему подходил: благородством своим, зеленовато-золотистым покоем, природой мирной и мягкой, голубыми горами на горизонте. И Тургенев подходил к Бадену. Его здесь полюбили. Ему удобно и покойно было тут работать. Своей седою, барской фигурой украшал он скамейки близ Конверсационсгауза, под столетними деревьями, одно из которых называлось «русским». Живописно слушал музыку, живописно прогуливался по Лихтенталевской аллее, раскланиваясь с принцессами и герцогинями. И даже те самые русские студенты (из близкого Гейдельберга), которых издали считал он врагами, нередко почтительно окружали его на гулянье.

Той же весной заканчивал он «Призраки» — вещь, ничего общего не имевшую с общественными его романами. Он задумал ее давно, еще в 57-м году. Но вплотную принялся только после «Отцов и детей». Современность, новые люди, общественность, шум — от всего этого захотелось уйти. Вновь как в «Фаусте», тронуть таинственное. (Эта линия, «Фаустом» намеченная, «Призраками» укреплялась. В дальнейшем ей предстояло расти.) Загадочная Эллис летала с ним по миру, показала (всю печаль, всю брренность)... сама кровью его напиталась. Муза? Так некоторые думали. Вряд ли тут было что-то определенное. Но вряд ли не испытывал он живости, остроты, изображая, как кровь его уходит, выпитая женщиной.

¹ Лирический театр (фр).

«Призраки» поместил Тургенев в журнале Достоевского. Их не поняла публика, как и позднейшее «Довольно», где он как бы вообще прощался с литературою. Шедеврами эти произведения не были. Но для истории души Тургенева значение их огромно.

* * *

В первый же год баденской жизни с ним случилась неприятность, довольно неожиданная. Еще в Париже, перед отъездом в Баден, получил он через посольство предписание явиться в Петербург: его обвиняли в сношениях с эмигрантами, врагами правительства — Герценом, Бакуниным и Огаревым. Он должен был дать объяснения. В противном случае грозили конфискацией имущества.

Тургенев отправился к послу, лично ему знакомому. Удивил его решительным заявлением: в Петербург он не поедет.

— Очень вероятно, что все это кончится вздором. Но я старик больной: пока я оправдаюсь, меня там затаскают.

«Старику» было сорок пять лет. У него, правда, начиналась подагра, все же он много разъезжал, любил общество, музыку, охоту — стрелял фазанов и куропаток. Отговорка, разумеется, неосновательная. Но это говорил Тургенев, прославленный писатель и такой же барин, как сам посол. Посол посоветовал ему написать личное письмо Государю.

— Государь вас любит, как писателя. Напишите прямо к нему совершенно откровенно.

Он так и сделал. Все это его тревожило, при живом воображении казалось очень мрачным. Но Государь, действительно, отнесся мягко: Тургеневу предложили ответить на опросные пункты.

В ответе частью воскрешается молодость его, дружба с Бакуниным в 40-м году в Берлине, их философские беседы и увлечения, знакомство с Герценом и Огаревым в Москве 42-го года — времен романа с Бакуниной и премухинских заоблачностей. Тургенев взял тон спокойный и достойный. Выходило так: да, с этими людьми он не только знаком, но с Бакуниным даже и дружил — когда тот еще не отдавался революции. Далее они расходятся. (Что впоследствии он высылал деньги жене Бакунина для возвращения из Иркутска, Тургенев не отрицал.) Герцена тоже знал близко. В 48-м году Герцен еще не был решительным революционером, и даже в 56-м, когда Тургенев вновь появился в Париже, а Герцен издавал «Колокол», критика его была умеренной. Дальнейшему его пути Тургенев не со-

чувствовал... «Герцен перестал отрицать и начал проповедовать преувеличенно, шумно, как обыкновенно проповедуют скептики, решившие сделаться фанатиками». В последние годы он все меньше и меньше с Герценом виделся. А после «Отцов и детей» отношения прекратились и вовсе: Герцен счел Тургенева «охладевшим эпикурейцем, человеком отсталым и отжившим» (как раз то же говорили тогда более левые о самом Герцене).

Герцена Тургенев, действительно, знал близко, и в 48-м году постоянно посещал его. Но «приятельства» особенного между ними не вышло — тут Тургенев несколько сгустил даже, из добросовестности. Не мог он и вдаваться в подробности: в то, как медленно, но основательно они расходились. Герцен относился почти мистически к народу русскому и общине, Тургенев все это отрицал. Для Герцена Запад болен, Россия может показать невиданную самобытность. Тургенев считал, что Россия должна проделать путь Запада или погибнуть в варварстве — спор давний, до наших дней дошедший.

В конце концов свое положение Тургенев обозначил так: с революционерами в молодости дружил, в среднем возрасте водил знакомство, иногда по человечеству оказывал услуги, помощь, но в «заговорах» участия не принимал, за последние годы идейно спорил и разошелся... Хотите судите меня, хотите нет.

Сенат этим не удовлетворился. Предстояло ехать в Петербург. Тургеневу не хотелось. Сколько мог, он оттягивал, ссылаясь на болезнь. Наконец, в январе 1864 года пришлось выехать.

Поездка эта, вполне бессмысленная для русского государства, оказалась первостатейной в другом роде: ею открылся новый ряд писем к Виардо, свидетельство о новой, удивительной полосе его любви.

Двадцать один год! Влюбленность, горячая близость, разлука надолго, связь во время этой разлуки, увлечение, чуть не женитьба. Встреча, страдания ревности и расхождения, годы мучительного томления, сложный и горестный путь примирения; годы «утешительных» встреч и переписки с другою изящной душой; и вот, на сорок шестом году жизни, этот «старик», которому трудно доехать в первом классе от Бадена до Петербурга и остановиться в хорошем отеле у Полицейского моста — он-то и пронизан (вновь!) чистейшим, возвышеннейшим Эросом. С Полиною, будто бы, все выяснено, все досказано. Еще три года назад казалось, что прошедшее «отделилось окончательно», что сердце умерло и он живет в окаменении — и даже если бы возродилась надежда возврата, она «потрясла бы окончательно».

Но вот возврат произошел! Неизвестны его подробности — тайна, незачем и касаться ее. Новая ли это *связь*, или новая форма влюбленной дружбы? Одно ясно: есть пафос, расцвет, восторг... «Баденский» период любви — «по-своему», или по-настоящему — но счастливой!

Тургенев выехал в Петербург. Всего только еще Берлин. Но как бы и не уезжал. «Все время я точно во сне; не могу привыкнуть к мысли, что я уже так далеко от Бадена, и все, люди и предметы, проходят предо мною как будто не касаясь меня». Он сидит один в гостинице, ждет вечернего поезда в Кенигсберг, но ни Кенигсберг, ни Петербург, где его будут судить, нисколько не интересны. Интересно, пленительно только то, что происходит в Бадене. Как Полина сидит в гостинице, играет на рояле и поет романсы — собственного ли сочинения (она занялась этим в Бадене) или, может быть, Шуберта, например, тот, редко исполняемый, который он так любил: «Wenn meine Grillen schwirren»¹. Виардо — муж «дремлет у камелька». Дети рисуют, особенно Клавдия отличается, «Диди», его любимица.

Наконец, Петербург, «Hôtel de France» — красная бархатная мебель, почтительные лакеи, старые друзья Анненков и Боткин, близкий суд. Но *через два часа* по приезде, снова вечером, он уже пишет в Баден: «Не хочу лечь, не начав этого письма, которое кончу и отправлю завтра».

На другой день дел много. Во-первых, заезжает к «преступнику» председатель той самой сенатской комиссии, которая будет его судить. Затем, толчется вообще всякий народ. Но самое главное — и об этом подробно отпишет он Полине в тот же день — видел он Антона Рубинштейна. Не только видел, но Рубинштейн успел (не для Виардо же, в самом деле) сыграть все пятнадцать романсов Полины на слова русских поэтов, успел одобрить их, и многие его «поразили» (слава этих романсов так и погребена в письмах Тургенева). На следующий день обещана встреча с издателем, «и тут уж мы насыдем на него вдвоем» — издателю явно не отвертеться. А за всем тем... «как только я остаюсь один, на меня нападает страшная тоска. Я так хорошо приспособился к тихой, очаровательной жизни, которую вел в Бадене... Все время думаю о ней, не в состоянии не думать, и то впечатление — будто я во сне — ...не покидает меня.

Чувствую, что буду счастлив и доволен только, когда вернусь в благодатный край, где я оставил лучшую часть самого себя.

¹ «Всегда мои сверчки стрекочут» (нем).

С завтрашнего дня начинаю ждать писем от вас. О, как я буду радоваться им!»

И вот начинается петербургская жизнь: обеды с Анненковым и Боткиным, театры, посещения графини Ламберт, Филармоническое общество, где Рубинштейн дирижирует, заседания Комитета помощи литераторам, званый вечер у итальянского посла. Князь Долгорукий беседует с ним, князь Суворов «в высшей степени любезен», один из будущих судей его, «толстый Веневитинов, которого вы знаете, объявил мне, что дело мое пустяшное». И вообще все это пустяки, шумный и пестрый сон, а важно то, что «я почувствую себя счастливым только когда вернусь в мою милую маленькую долину». Важно то, чтобы не запоздало и не пропало письмо от Полины. А Петербург, мягкая сыроватая зима, бал в Дворянском собрании, где присутствует Государь и у всех дам волосы напудрены или просто распущены по плечам и связаны только широкой лентой, сборище, где больше красивых туалетов, чем лиц, нарядный Петербург, задающий тон модам — тоже случайное, тоже сон.

В конце января решалось его дело. О нем он ни слова не писал Полине. Но вот что интересно: Виардо выступает в Карлсруэ («Орфей» для провинции), так пусть она не забудет сообщить о дне спектакля. Не хотелось бы возвращаться в Баден, когда ее там нет. «Надо, чтобы мне дано было счастье видеть вас на вокзале — ведь вы, надеюсь, встретите меня! Das Herz mir im Leibe hupfen...¹ Не хочу об этом много думать; это такое огромное счастье, что я, наверно, буду мучиться предчувствиями и страхами, что оно не сбудется... Но нет! Бог добрый, и Ему приятно будет посмотреть на человека, обзумевшего от радости...»

Наконец, «суд» состоялся. Тургенев приехал (вероятно, в карете), в Сенат. Чинные служители, пристава, письмоводители. Молчаливая зала — светлая и парадная. За зеркалом важные старики в мундирах, генералы, сенаторы — все знакомые. Перед подсудимым извинились, что не могут его посадить — и боялись его больше, чем он их. Задали несколько мелких вопросов. Потом провели в отдельную комнату, посадили, дали толстую переплетенную тетрадь.

— Видите, где заложено бумажками, дело вас касается. Присоединяю к делу письмо, где вы ответили.

Он ответил, и с таким же парадом уехал, в великолепной шубе, с палкой, кутая зябнувшие ноги в теплом меховом одеяле. Вечером ужинал, опять с кем-нибудь из судей. А Полине писал

¹ Мое сердце скачет в груди (нем.).

так: «Не умею сказать вам, до какой степени я постоянно думаю о вас. Сердце мое положительно тает от умиления, как только ваш милый образ — не скажу: является мне мысленно, так как он не покидает меня — но как будто приближается».

Далее не выдерживает, переходит на немецкий язык: всегда у него признак глубокого волнения! «Все время чувствую на своей голове дорогую тяжесть вашей руки и так счастлив сознанием, что принадлежу вам, что хотел бы изойти любовью, непрерывным обожанием».

Суд вынес решение 28 января. Тургеневу разрешили выехать за границу — обязали только немедленно явиться в случае вызова. (Окончательно оправдан он был позже, 1 июня.)

В марте возвратился Тургенев в свой Баден.

* * *

Ясно, он пускал тут корни. Хотелось осесть, как в Спасском. Хозяева дома, где он жил, любили его, но считали неосновательным, *kindisch*¹: у немолодого, знаменитого писателя на дверях припилена, например, записочка: «Г. Тургенева нет дома» — тщетная защита от посетителей. Herr Turgeneff постоянно ходит к Виардо, а если у ней малейшее нездоровье, или Диди лишний раз чихнула, то тревожится безмерно, навещает по несколько раз в день, посылает записки. Все это «несолидно».

Тургенев и сам чувствовал, что пора устроиться удобнее (и еще ближе к Виардо). Он решил строить дом.

Место выбрал рядом с виллой Виардо — десятины полторы земли с фруктовым садом и старыми, вековыми деревьями. Очень нравились они ему мощью своею, зеленью. Даже кора деревьев была покрыта изумрудным мхом. Особенно же восхищал родник в саду — чудесная ключевая вода, крепость, прозрачность, холод...

Дом строил архитектор-француз, в стиле Людовика XIII, с башенками, аспидной крышей, просторными светлыми комнатами, огромной театральной залой, стеклянными дверями на полукруглую террасу. Нужны были деньги — и немало. Спасским управлял в это время дядя Тургенева, Николай Николаевич, бывший блестящий офицер, ныне опустившийся неряшливый старик, склонный к плотоугодию и хозяйство ведший неважно: Иван Сергеевич и половины не получал того, что следовало бы.

Дядя вечно кряхтел, жаловался на огромные траты и вместе с Фетом осуждал расточительность Тургенева (а Тургеневу не

¹ ребячливым (*нем*)

нравилась дядина бестолковость, что и привело к тягостному разрыву).

Постройка шла медленно, более трех лет. Пока же тургеневско-виардовская жизнь сосредоточивалась в доме Полины.

Романсы ее в Петербурге напечатали, и вероятно, кем-то они пелись. Но сама она не только сочиняла их: в Бадене создала изящный музыкальный центр. В саду у ней был павильон с роялем, висели картины, собранные мужем. По воскресеньям здесь устраивались музыкальные утра. Пела хозяйка, пели ее ученицы, выступали известные музыканты. Все это — очень модно, блестяще, с избранной публикой.

Позже, когда заканчивался дом Тургенева (1867—1868 годы), собрания перенесли в его театральную залу: там все получилось еще наряднее. Мудрая Полина придумала удачную вещь: чтобы давать возможность ученицам исполнять легкие партии, ставила небольшие оперетки. Тургенев тут оказался кстати — некий русский Бембо при дворе герцогини урбинской сочинял текст. Поэт, слава которого продвигалась уже в Европу, писал для спектаклей Виардо фантастические безделушки: «*Le dernier des sorciers*», «*L'ogre*», «*Trop de femmes*»¹ — музыку к ним сочиняла Полина. Пьески содержали много женских ролей. Сама Виардо пела какого-нибудь принца, ученицы — гаремных жен, и т. п. Людоеда, колдуна, пашу изображал Тургенев. Выходило тонко и художественно. Король Вильгельм, королева Августа, великий герцог баденский, принцы, принцессы, дамы общества, знатные иностранцы, артисты, русские князья, развлекавшиеся в Конверсационсгаузе и гулявшие по Лихтенталевской аллее — все это заседало в зрительном зале. Утра проходили успешно (одно представление перенесли даже в Веймар, в настоящий театр — как бы восстанавливая времена Гете. Музыка Полины обрабатывал Лист). Попасть на эти собрания — честь. Послушать Виардо, светских девиц — приятно. Поглядеть известного русского писателя, некоего белого медведя в роли колдуна — забавно.

Награда Полины, кроме рукоплесканий и рекламы школы — королевские подарки. Она получила, например, браслет. Луи Виардо прекрасную вазу. Тургенев наград не получает. Иногда ему весело, смешно. Всегда радостно содействовать успеху Полины. Но случается, что и тоскливо. «Должен сознаться, что во мне что-то дрогнуло, когда я в роли пашы лежал на полу и заметил легкую усмешку презрения на неподвижных губах вашей надменной кронпринцессь».

¹ «Последний колдун», «Людоед», «Слишком много жен» (фр).

Но тут же прибавляет: «При всем том, наши спектакли были очень милы и приятны».

* * *

В первом же письме Тургенева графине Ламберт из Бадена есть опасения, что их переписка и дружественные отношения могут прерваться. Он оказался прав. Различия во многом между ними ширились. Писание в духе «Отцов и детей» мало графине нравилось, хотя по-другому, чем молодежи. Ей хотелось, чтобы он дал «простую и нравственную повесть для народа». (Тургенев блестяще защищал свою художественную вольность: пишу, о чем хочу — куда клонится сердце — это сущность искусства.) Казалось ей, что он отходит от родины. При ее мистическом настроении — что он слишком далек от веры, главное, удаляет от нее дочь. Насчет родины Тургенев признался ей сам: «Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней». Против упреков насчет дочери возражает — и не без горячности: «Я не только «не отнял Бога у нея», но и сам хожу с ней в церковь... И если я не христианин, то это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье».

Но главное, конечно, в том, что изменилось у него с Виардо. Что нашел он некий способ нежного «вблизи-бытия», и вновь загорелся. Правда, говорит он об этом скромно: «Оттого ли, что мои требования стали меньше, оттого ли, что там (в Бадене) мое настоящее гнездо, только я замечаю, что с некоторого времени счастье дается мне гораздо легче». Но ведь не мог он описывать графине слишком ярко, как он любит Виардо.

Во всяком случае, утешительница, теперь не нужна. Никогда графиня Ламберт не могла соперничать с Виардо — даже в самые трудные времена. Теперь победа великой, двадцатилетней любви над чувствами смутно-тонкими — окончательна. Письма становятся реже. Попадают фразы: «Из некоторых ваших выражений я должен заключить, что вы сами почли за лучшее умолкнуть». И далее, уже в 64-м году: «Я вам очень благодарен за ваше письмо, хотя вы и браните меня, и прощаетесь со мной».

Грустно следить за умиранием долгих, чистых и прекрасных отношений. Переписка увядает — ничто не восстановит уже ее. Утешительница необходима, когда Тургенев одинок. Но с приближением Виардо не нужна. В одном из «предсмертных» писем предлагает он графине сделать так: если она, после глубоких потрясений, ее постигших, хочет совсем покончить с прошлым, где одна горечь: пусть ему не ответит — он поймет.

Он хотел бы весьма скромного: не поднимая ничего «со дна», установить простой обмен дружеских писем, освещающих жизненные события.

На этом удержаться было нельзя. Графиня умолкает. Быть может, в своей печальной и холодноватой чистоте она и недовольна несколько Тургеневым. Переделать его, обратить — не удалось. Она навсегда сошла с его пути. Нигде далее нет о ней ни слова. Но ее облик навсегда с ним связан, сквозит в каждом письме его к ней.

Мы знаем о ней лишь еще то, что Тургенева она не пережила: скончалась в 1883 году.

* * *

Итак, Виардо рядом — Виардо в хорошей полосе, как-то «отвечающая», как-то «позволяющая» себя любить. Природа, леса, зелень. Довольство, охота. Медленно возводящийся, но, наконец, готовый собственный дом. В нем бывает прусский король. Есть и верные друзья — Полонский, Фет. Есть и немецкие: Людвиг Пич, литератор, критик, восторженный обожатель Тургенева. Он нередко гостит в Бадене — дружит и с Виардо. В новом доме всегда ждет его комната: «la chambre de Pich vous attend»¹. В саду, у любимого ручейка, небольшой павильон. Там утром можно пить чай с тем же Пичем, любоваться видом гор, заросших лесом, зелеными лугами Тиргартенталя. Где-нибудь вдалеке руины древних замков — Иффецгейма, еще иных. Тургенев много и добродушно рассказывает — он в домашнем костюме, несмотря на западничество свое — иногда в русской косоворотке, сверх нее сюртук. Пич слушает с благоговением. Для честного, немудрящего немца каждое слово Тургенева — золото. Говорят об искусстве, России, литературе. Перед завтраком обсуждают трудные места переводов — «Дыма» ли, других ли произведений. Завтрак в столовой, отделанной деревом — окна глядят на простор, зелень. Кабинет с картинами старых голландцев. Библиотека — не такая, как в Спасском, но все же библиотека. За садом и за забором дорогие соседи. Туда в второй половине дня направляется Тургенев, иногда в той же косоворотке запросто, как домой. Опирается слегка на палку, поправляет седые кудри, на ногах его мягкая обувь: начинается подагра, иногда мучит его. За ним лохматый Пегас. Старик Виардо что-нибудь работает — знаменитый друг обрусил весь дом: Полина сочиняет романсы на слова русских поэтов,

¹ «Комната Пича вас ждет» (фр).

Луи переводит на французский русских авторов и самого Тургенева. Девочки уже большие. Поют, рисуют. Диди может прекрасно изобразить ко дню рождения Тургенева Св. Семейство. В доме постоянно и «чужие» девицы: их обучает Полина пению. Есть иностранки, есть русские. Из Карлсруэ приезжает с мамашей молоденькая русская графиня, одна из богатейших невест Европы — за большие деньги берет уроки (певицы из нее не вышло, но Виардо в ней след оставила). Полина седовата, но жива, бодра, черные ее глаза сияют. Если графиня не разучила каких-нибудь упражнений, она недовольна, глаза неласковы.

— Я не могла, мадам Виардо... мне не удастся... это трудно. Девушка робеет и стесняется.

— Еще раз. Прodelаете еще раз.

— Это, кажется, мне не по голосу.

— Нет, это вам по голосу.

Полина Виардо знает, что говорит. И опять начинаются упражнения.

Иногда осторожно отворяется дверь, на пороге огромный Тургенев. Он придерживает своего Пегаса. Виардо смотрит на него тоже не без строгости. На лице его слегка виноватое выражение. Она продолжает свой урок.

— Только, чтобы ваш Пегас не завыл. Уж пожалуйста.

Тургенев садится покорно, скромно. Грозит Пегасу. Тот усаживается у его ног, высовывает длинный, розовый язык. Дышит часто, оттягивая назад брыли, умными глазами глядит на графиню, иногда слегка повизгивает. Хозяин испуганно зажимает ему рот, отрываясь от палки, на которую опирается.

— Ну вот, вы видите, теперь у вас понемногу налаживается. Не думайте, что искусство простая вещь. Везде нужна воля, надо преодолеть себя. Тогда и выйдет. То, что я говорю вам, вы должны исполнять. И все будет хорошо.

Если месяц этот август или сентябрь, то Тургенев с Луи Виардо могут и закатиться на охоту. В Бадене не то, что в Спасском: Афанасия и Полесья нет, но есть отличные фазаны, куропатки. Охотники наезжают нарядные, титулованные, с титулованными собаками. Но тургеневский Пегас тоже на высоте. Например, под Оффенбургом, выходит линия охотников из леса на опушку. Впереди поле. Пегас прямо тянет на купу земляных груш. Соседние собаки ничего не чувуют, а он ведет — как бы не осрамиться — вдруг окажется жалкий зайчишка. Но Пегас ведет уверенно. Стойка. Два чудесных фазана вырываются из-под нее. Тургенев дуплетом кладет обоих — и счастлив. Зато какой ужас, когда смажет! Немолодой, громадный человек бросается на землю, кричит:

— Нет, после этого жить нельзя!

По вечерам ходят они с Пичем к Виардо. Там серьезная музыка: Бетховен, Шуберт, пение хозяйки, долгие разговоры. Раньше часа, а то и двух, не расходятся. Бывает, что вернувшись, Пич беседует с Тургеневым еще в саду — в лесу аукает сова, ручей тургеневский журчит. Грушевые, ореховые деревья чуть шелестят. Пегас прислушивается. Что-то чует, ворчит, фыркает. Над дальними лугами бледно-романтический туман, звезды на небе, безответная луна, восторженный Пич.

Мир и идиллия. Казалось бы, вот жизнь полная, мудрая, среди поэзии, любви, искусства, книг — далекая от шума и базара.

Но у ней есть и другая сторона. Не один блеск звезд и мелодии Шуберта доходят в Бадене до Тургенева. Есть и «действительность». Есть накапливающийся горький о ней опыт. В том же сердце живут яды, его отравляющие.

После «Отцов и детей» нет покоя душе Тургенева. С Виардо так ли иначе налажено, с Россией, литературой разлажено. Трудно забыть оскорбления — и они все растут. Число недругов не убывает. Не только Некрасов и «Современник», но и Катков со своим «Русским вестником» оказываются врагами. Само то, что в России делается, и радует, и раздражает.

Нелепое чванство молодежи, разгул «левизны», нигилизма, готовящаяся нечаевщина... А на другом конце — «свет», чиновничество, мракобесие: тоже не лучше.

Из сложных и горьких чувств возник «Дым» — главнейшая вещь баденской полосы. В нем давняя черта, еще молодого Тургенева — холодная насмешка и пренебреженье, яд, хуже того: брезгливое презренье к обществу и людям. Всем досталось, генералам и политикам, Губаревым и молодежи, болтунам и лжепророкам. Одно вознесено: любовь. Она одна священна, написана полным тоном. И это любовь-страсть, разрушение, любовь-беда, болезнь. Ирина и Литвинов — лишь вокруг них кипит пламя — остальным нет пощады. «Добрый» Тургенев, умевший и обласкать, и помочь, очаровать — тут жесток. В «Дыме» мало человеколюбия. Надо прибавить: именно это язвительное, нечеловеколюбивое и не удалось ему. Гоголь стоял на великом сарказме, трагическом. Насмешка Тургенева вышла некрупной — не идет в сравнение с *любованием* лучших его вещей.

И все же «Дым» замечательный роман, двусторонний, двухстворчатый, неудачно-удачный, окрыляюще-пригнетающий. Отразил он создателя своего, двуликого Януса. В воздухе «Дыма», в душевном настроении: «все дым», все белые клочья, летящие

из трубы паровоза, безвестно развеивающиеся — жил одной стороной своей баденский Тургенев. Как связать это с высочайшими, нежнейшими чувствами к Виардо?

В 67-м и 68-м годах он вновь ездил в Россию — по делам Спасского (денежным). Был опять и в Берлине, и в Петербурге, видел немецких художников, петербургских Анненковых, мценских Борисовых и орловских купцов, купивших у него рощу (из этой рощи и начал он «откладывать на приданое Диди»). Прошло двадцать пять лет, как он познакомился с Виардо, и вот что он ей пишет из всей пестрой сутолки путешествия: «Пожалейте вашего бедного друга — в особенности, за то, что он расстался с вами. *Никогда* еще разлука не была так тяжела: я ночью плакал горькими слезами». «Ах, мое чувство к вам слишком велико, могуче. Я больше не могу, не в состоянии больше жить вдали от вас»... «День, когда мне не светили ваши глаза, для меня потерянный день».

Опять то же, что было и в 64-м году: жизненные дела, счета с дядей, школа, устроенная на его средства в Спасском, мужики, «запах дегтя от смазных сапогов двух попов из Спасского, которые пришли навестить меня» — все это пустяки, скучно, ненужно. А вот, в Петербурге: «Я с нежностью прохожу мимо дома, где вы останавливались, когда были в Питере. Сколько воспоминаний! Так давно это было — четверть века, а я так живо все помню... Это потому, что эти воспоминания связаны с другими, которые продолжают и поныне почти без перерыва...» Горькие годы забыты? Забыты страдания Куртавенеля, стенания в письмах к графине Ламберт? А осталось такое: «Незачем и говорить вам, как много я думал и думаю о Бадене. *Буду счастлив только когда вернусь туда*».

Точно бы две половины, два мира. В одном Некрасовы и Губаревы, Катковы, Суханчиковы и Бамбаевы. Газеты, денежные дела, семейные, ссоры, политика, может быть, даже «прогресс», может быть, родина. Здесь всегда можно ждать оскорблений, непонимания. Вечно надо что-то устраивать: добиваться от дяди побольше доходов, выдавать замуж дочь, выслушивать истерические нападки Достоевского (посетившего его в Бадене, безумно раздражившегося барством Тургенева и тем, что был должен ему, и западничеством «Дыма»), и каретой Тургенева). Этот мир точит, мелочит, разжигает тщеславие.

В другом мире — «только у ваших ног могу я дышать» — Полина Виардо, Ирина, безмерность любви, горы, зелень, родник, птицы, звезды над Баденом. Любовь и природа — это действительно его животворило.

Одной ногой здесь, а другой там, пред зрелищем последней

тайны: Смерти, все упорнее заглядывавшей в глаза, и жил Тургенев в Бадене. Быть может, он не прочь был и закончить дни свои на берегах Ооса, в германской светло-зеленой стране, наподобие Гете, Петрарки в Воклюзе, Бембо близ Падуи.

Но все вышло иначе. И мирное житие кончилось, и любовь еще раз обманула.

КАТАСТРОФА

«В человеческой жизни Бог волен,— и если бы я внезапно окоцурился,— то ты должен знать, что оставленные у тебя на сохранении акции мною куплены для моей милой Клавдии Виардо — и потому должны быть — в случае какой-нибудь катастрофы — доставлены г-же Полине Виардо, в город Баден-Баден». Так писал Тургенев приятелю своему Маслоу, верному исполнителю поручений, в июне 1870 года.

Письмо это помечено Спасским. Тургенев часто ездил летом в Россию — всегда теперь за одним: продавать какую-нибудь рощицу, «землицу» и т. п. Для широкой жизни в Бадене деньги необходимы. Невредны они и для семьи Виардо — девушки подрастали, приходилось думать и о приданом. Вот деревенская жизнь Тургенева: «Я здесь работаю двояко: по части литературы — переправляю и перепахиваю мою повесть... — и по части финансов — продаю клочки земель и вообще стараюсь извлечь как можно больше «пенензы».

В Спасском в это время хорошо. Солнечные пятна в парке, благоухание покоса, пчелы, земляника. Горлинки курлыкают, шмели гудят. «А кругом двести десятин волнующейся ржи! Приходишь в какое-то неподвижное состояние, торжественное, бесконечное и тупое, в котором соединяется и жизнь, и животность, и Бог».

Повесть, которую он перепахивал, была «Степной король Лир» — вновь родная земля, воспоминания юности, поля, чернозем, тень Варвары Петровны — на сей раз не грозная. Баден далеко. Виардо тоже. Нельзя сказать, чтобы все было мирно с Полиной — некие тучи появились... И писем из Спасского в Баден за этот приезд не видно. Все-таки и особого мрака в Тургенева не заметно. Он мирно трудился и «торговал», может быть, стрелял первых уток по болотцам, и вероятно, не весьма следил за газетами. А между тем, на любимом его Западе нарастали события. Пока в Спасском шумели ржи, в Париже, Эмсе, Берлине совершались между Наполеоном III, герцогом де Граммоном, Бисмарком и тем самым королем Вильгельмом,

который слушал на вилле Тургенева оперетки — дела тайные, первойшей важности. Об этих делах «мы» узнаем лишь когда раздадутся выстрелы.

Окончив деревенские свои занятия, Тургенев как обычно выехал в Петербург. И пока обедал у Анненкова в Лесном, дружественно беседовал с многословным Полонским, французский министр иностранных дел нажимал на Пруссию с ультиматумами. Нельзя было пустить немудрящего немецкого принца на испанский престол (предлагавшийся ему как удобное «место» с хорошим окладом). Тургенев читал друзьям в Петербурге повесть, а самоуверенные французы упорствовали, Вильгельм не очень-то желал войны, Бисмарк же и Мольтке именно ее желали (и не зря) — хитрили, вызывали. И вызвали.

Революцию Тургенев некогда, в Париже, пережил. Для заполнения опыта настигала его теперь война.

Он попал в Берлин из Петербурга чуть ли не в мобилизацию, во всяком случае, в предвоенную суматоху и, вероятно, не без труда добрался до Бадена — сделал это, все-таки, вовремя, ибо скоро поезда вовсе прекратились (для частных лиц). Все заняла война.

Иначе и быть не могло. Немцы вели большую игру. Выступить против Франции это не то, что воевать с австрийцами или датчанами. Франция считалась первой военной державой. Но немцы верили в свою молодость, силу, дисциплину и на этом отыгрывались. Их мобилизация шла безупречно. Дороги работали как на маневрах. Армии сосредоточивались и развертывались быстрее, точнее французских — наступательный порыв тоже на их стороне: война начиналась удачно.

В Бадене Тургенев застал положение сложное. Луи, Полина Виардо — французы, «враги». Правда, они Наполеону не сочувствуют, в некотором смысле «пораженцы» — все же представители враждебного народа. Рядом с этим, в последнее время стал завсегдатаем дома полный приятель Полины, баденский доктор, немец. Он очень близко вошел в ее жизнь, так близко, что надо было быть стариком Виардо, чтобы терпеть это — да Тургеневым, тоже ко многому уже приученным. (Его сопротивление могло быть лишь пассивным — вот и не писал он писем из Спасского.) Так что теперь оказались одновременно в Бадене Франция, Россия, Германия. Все были в волнении. Запутанность семейная, разноплеменная, натянутость между мужчинами, война — все тревожило. Оседлость перестали ощущать. Баден недалеко от границы. Как война сложится, толком не знали. Но слава Франции была велика, и нашествия опасались. Очевидно, жили «на сундуках». «Мы на все готовы,— писал

Тургенев Милютиной 20 июля 1870 года, — и в случае нужды уедем в Вильдбад — в каретах, так как все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю: «мы, т. е. семейство Виардо и я; я с ними не расстанусь».

«На первых порах в успехах французского оружия сомневаться невозможно. Лишь бы пожар не охватил всю Европу!» Так что Тургенев и Виардо предполагали бежать из Бадена «в каретах» от французов, от «тюрокосов», которые якобы перейдут Рейн.

Но война развилась явно не так, как думали мирные артисты. Немцы сразу захватили инициативу и повели наступательную кампанию. А французы оказались столь же неподготовленными, как мы в Крымскую войну. Войсками командовали неспособные генералы. Армия была плохо снабжена, плохо вооружена, плохо маневрировала. События пошли очень быстро. Неправильно сосредоточенная французская армия натыкалась отдельными корпусами на превосходные силы немцев и терпела поражения. (Мак-Магон под Фрейшвиллером, Фроссар под Форбахом.) Главнокомандующий Базен стал отступать в районе Меца, на Верден. 18 августа разыгралось — неизвестно даже, хотел этого или не хотел загадочный Базен — большое сражение при Гравелотте под Мецом. Французы были попросту разбиты (обходным движением саксонцев). Теперь нечего было беспокоиться за Баден Тургеневу и Виардо. Французы отступали, в Бадене радостно звонили колокола, возвещая победу. Базена заперли (с целой армией) в Меце, началась осада Страсбурга. А 2 сентября произошел величайший скандал войны — сдача под Седаном, где французы попали прямо в ловушку. В плену оказался сам Наполеон.

Тургенев и оба Виардо вначале были вполне на стороне немцев — по нелюбви к французскому режиму. Седан встретили одобрительно. Однако, у Тургенева в самом этом одобрении была уже тревога. («Я не скрываю от самого себя, что не все впереди розового цвета — и завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища».) Бомбардировка Страсбурга совсем его не радовала. В сентябрьском письме Пичу говорится ясно: «Падение империи было большим удовлетворением для бедного Виардо. Конечно, теперь сердце его обливается кровью, но он сознает вполне, что все это — заслуженная Францией кара. Что касается меня, то я, как вам хорошо известно, настроен совершенно, как немец. Уже потому, что победа Франции была бы гибелью свободы. *Вот только не следовало жечь Страсбурга.*»

Подходило время и тургеньевскому сердцу обливаться кровью:

разорjali Францию, родину Полины. Громили тот самый Куртавенель, где столько было пережито. Если плох Наполеон, то противен и Бисмарк со всей прусской военщиной, тупой и грубой. Тургенев любил Германию. Но Германию «Аси» и Гейдельберга, Бадена, гетевского Веймара. Эта Германия в победоносной войне кончилась. Машина, дух которой впервые почувствовал он некогда в Париже, читая в Пале-Рояле об успехах Америки, теперь выступила и в Европе. Машина разгромяла старую, пусть и порочную, но артистическую Францию.

Завещая Маслову акции для Диди, Тургенев думал о собственной смерти — эту катастрофу имел в виду. Жизнь преподнесла ему другую.

В доме Виардо работали для немецких раненых, театр войны удалялся, кареты в Вильдбад были не нужны. Но все же Луи и Полина Виардо — французы. В известный (и быстро наступивший) момент им пришлось Баден покинуть. Мирно идиллическая жизнь кончилась. И не только покинуть, но и потерять достояние. Виардо собрались и уехали — так спешили и так, очевидно, были подавлены, что многого не доглядели: например, того, что таинственный доктор в суматохе похитил у Полины все письма Тургенева, с 1844-го по 1870 год.

Сам Тургенев несколько запоздал — из-за болезни (в эти годы подагра уже мучила его). Но одному в Бадене не усидеть. В конце октября он укладывается, а в ноябре уже в Лондоне. Там и семья Виардо.

Мрак, туман Лондона, холодная квартира, болезни, полуэмигрантская жизнь... Полина дает уроки, выступает кое-где публично. Держится бодро, мужественно. Все на ее плечах. Имя и жизненность выручают: уроки по-прежнему ценятся высоко — 100 франков в час — семья не опускается.

А во Франции продолжается война, формируются армии и в провинции, Париж осажден, взят, торжество немцев полное.

Зимние месяцы Тургенев провел в Лондоне. На февраль — март выехал в Петербург — снова за деньгами. Теперь трудно приходится не только Виардо, но и собственной его дочери (вышедшей в середине шестидесятых годов замуж за французского коммерсанта Брюера). Вероятно, в связи с войной Брюеры на краю гибели. Вновь появляется приятель Маслов. «Любезный Иван Ильич! Анненков прислал мне письмо моей дочери, которое состоит из одного вопля; если она в скорости не будет иметь 40000 франков, то она с мужем погибла» — и далее ясно, что, продавая имение Кадное, можно «уступить две-три тысячи рублей» — лишь бы продать.

Это посещение Петербурга тем лишь отличается от прежних,

что все — и дружеские, и светские встречи, и обеды, и выступления идут на фоне войны. (Русское общество за Францию. Жалеют взятый Париж, ужасаются условиями мира, контрибуции и т. п.) Обо всем этом пишет Тургенев Полине в Лондон. Пишет спокойно, сдержанно, совсем не в тоне писем в Баден отсюда же, в шестидесятых годах. Нет прежнего раскрытия сердца, восторга... Не зря таинственный доктор сидел ежедневно перед войной у Полины. Пусть сейчас его нет в Лондоне — все же он был, довольно долго, упорно — увез *всю* прежнюю переписку Тургенева: в сущности, похитил целую жизнь!

Эти петербургские письма (февраль — март 1871 года) — последние к Виардо. Из них можно узнать многое о настроениях столицы, о концертах, Рубинштейне, композиторе Серове, Антокольском, об успехе «Степного короля Лира», о великой княгине Елене и т. п. — только не о сердце Тургенева: оно как бы завешено легкой, но горестно-непроницаемой вуалью.

Он вернулся в Лондон весной. Франция была в отчаянии. Недостаточно свергнуть Наполеона. Тяжкие чувства поражения искали еще выходов, более кровавых. Коммуна в Париже продолжила тот же 48-й год, который пришлось ему некогда видеть вблизи. Париж бунтовал, бушевал. Немцы злорадно взирали на братоубийственную брань — теперь Тьеру и версальцам приходилось усмирять, с высот Сент-Клу, обезумевший город. До Тургенева, в Лондон, как и до Флобера в Руан, доносились лишь стоны этой новой войны. Впечатление от нее, даже издали, было ужасное (так же чувствовал и Флобер). Тургеневу просто казалось, что от Франции остается «мокрое пятно».

Но ни Франция, ни Париж не пропали. Тьер пролил море крови, чуть не все рабочее население города погибло (одолела Франция крестьянская и мелкособственническая), но Париж уцелел, хоть и пострадал в бомбардировках и боях. Кровь быстро замывается. Погибших забывают, дома застраиваются, мостовые чинят... жизнь идет. Мир заключен. Начинают — без особых затруднений — платить контрибуцию. Скоро страна, против всяких ожиданий, зацветет вновь. Виардо временно возвращается в Баден. Там распродают, что можно. Продал заодно и Тургенев свой дом, над которым столько трудился, где, может быть, собирался кончать дни. И великий Париж, оживающий, вновь всасывает эту странную русско-французскую семью. В декабре все уже на рю Дуэ.

Чужие беды мало задели Тургенева. На «события» французские он никак не откликнулся. Внутренняя жизнь, шла своими, особенными путями. На новом месте, после мытарств, изгнания, потрясений написал он (быстро и оживленно), пос-

ледную свою повесть о любви *здесь* — «Вешние воды», столь же не имевшую связи с войной, как «Первая любовь» с освобождением крестьян. Вспомнился давний Франкфурт, кондитерская, прекрасная еврейка (обратившаяся в итальянку Джемму), и еще раз явилась «роковая женщина». Еще раз показана «страшная» сила любви, владычество женское, слабость, позор мужчины. Некогда Петушков погиб у булочницы. Потом «Алексей Петрович» поддался ничтожной танцовщице, Литвинов бросил невесту для Ирины — а теперь в «любовь-болезнь» попал Савин. Основная черта все еще не изжита...

«Вешние воды» вещь глубоко тургеневская, фатальная, очень значительная. Она рождена важными душевными событиями. Недаром писал он из Петербурга Полине о только что привезенном в Эрмитаж сфинксе: «Я бы очень хотел, чтобы Виардо посмотрел на этого сфинкса».

Сам он рассмотрел на него в жизни достаточно.

ПАРИЖ

Может быть, легче перенес Тургенев немецкого доктора, чем в свое время Ари Шеффера (и первый уход Полины). Все-таки военный разгром баденской жизни совпал с внутренним. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще раз приближаться к Полине: ему шел пятьдесят четвертый, ей исполнилось пятьдесят, но чувствовал он себя много старше. И когда в Лондоне заболел, а Виардо уехали, всей семьей, по делам, оставив его одного, вряд ли представлялся себе молодым и любимым. «Несомненно на земле только несчастье», — писал некогда графине Ламберт. Несмотря ни на какую зелень и свет Бадена не приходилось от слов этих отказываться. Но удалиться от Виардо внешне тоже было поздно.

И в Париже ожидала его некая торжественная усыпальница. Он поселился вновь с Полиной, на rue de Douai, в верхнем этаже особняка, стоявшего entre la cour et le jardin¹. Низ принадлежал Виардо. Большой салон, гостиная, картинная галерея — устроено все было удобно и даже с роскошью. Здесь Полина давала уроки, устраивала музыкальные вечера, принимала. Наверх вела лестница темного дерева — в четырех комнатах жил Тургенев — более скромно, но все же с удобствами. (Он любил аккуратность: тщательно убранный стол, порядок в предметах —

¹ между двором и садом (фр).

ненавидел бумажки, зря валявшиеся и т. п.) Стоял у него небольшой рояль, много книг, портреты любимых людей, картины.

А сам он теперь — исторический монумент (со всею своей славой), un ami catalogué¹, но в отставке, седовласый, покорный, раз навсегда сдавшийся. К нему подымались навверх русские друзья и просто знакомые, иногда и вовсе незнакомые. Прийти можно было и утром, и днем, пройдя внизу через контроль — не очень легкий — г-жи Виардо. Бывали писатели, и художники, бородатые эмигранты вроде Лаврова и просто неведомые личности. Одни разговаривали часами. Другие приносили рукописи. Третьи просили рекомендательных писем. Четвертые денег на революционный журнал. Ami catalogué, первый писатель России, был как бы российским послом в Париже. С его неаккуратными и часто неопрятными гостями приходилось г-же Виардо мириться, хотя радости в этом не было. И насколько никто не боялся самого посла, настолько осталась в памяти у русских седая дама в наkolке, с черными, живыми и огромными глазами, суховато распоряжавшаяся внизу.

Российский посол проявлял много терпения и грустной доброты. Никому он ни в чем не отказывал. Давал письма, покорно выслушивал разные нравоучения, покорно деньги выкладывал. Вряд ли особенно занимали его эти люди. Вернее — и утомляли, иногда раздражали. Сердца своего он им не отдавал. Но не отталкивал — силою прямого отпора не обладал, прохладность же его, шедшая с давних лет, как и меланхолия, были все те же. Впрочем, кое-что и наблюдал он в пришельцах — наблюдательность никогда его не оставляла, но это верхний слой Тургенева (касалось внешнего). Жил же он собой, а не людьми — своими чувствами, воображением, размышлениями, «горестными заметами» души. Люди вокруг — обстановка. (Искренние его друзья — Полонский, Анненков, хорошо понимали свою роль.) Кроме стареющей Виардо ему по-настоящему никто и не был нужен. (Но Виардо и ее семья стали уже частью его самого. Все же превратности любви — восторги, унижения — все это прошлое.) А вот, например: Герцена знал он с молодости, очень близко. Правда, к концу жизни стали они дальше. Все-таки, незадолго до смерти Герцена Тургенев у него обедал, был шутлив, мил, весел... А когда тот умер, как-то вышло, что Тургенев и на похороны не попал (хотя и мог приехать. Как не попал, некогда, и на похороны собственной матери). Если бы Герцен к нему явился и просил о чем-нибудь,

¹ преданный, закадычный друг (*фр.*)

он, не задумавшись, все сделал бы. Занят же Герценом не был никогда.

Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургенева достойна всяческого уважения черта *сочувственности* к людским бедам, *не отталкивания*. Уже одно терпение, с каким он слушал! То, что находил время поехать, попросить и поклониться. Что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебницы, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утрама в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку¹ — не так уж это мало, и не так похоже на писателя «европейского».

А вместе с тем, именно европейским писателем он и был — теперь чуть ли не французским. Правда, сердился, когда спрашивали: верно ли, что по-французски и рассказы свои пишет? Тут Спасское, Мценск, Орел пробуждались в нем. «Нет, нет, всегда по-русски!» (Он французский язык не очень-то и любил, хотя знал превосходно. Был к нему не совсем справедлив.)

В парижскую же литературную жизнь вошел сильно и след оставил.

С Жорж Занд (которую очень ценил) и с Мериме знакомство его давнишнее, счастливых времен Куртавенеля. А в начале шестидесятых годов познакомился с Флобером — и сдружился. Настолько он к Флоберу привязался, что считал, — только и было у него два друга настоящих: Флобер да Белинский (в юности).

Кроме Флобера «широко» встретился с французскими писателями тоже в шестидесятых годах, на обедах в ресторане Маньи, куда ввел его Шарль Эдмонд. Там бывали: Сент-Бев, Теофиль Готье, Флобер, Гонкуры, Тэн, Ренан, Поль де Сен Виктор и др. Тогда Тургенева знали во Франции только как автора «Записок охотника», но писатели встретили как «своего», равного по чину — почтительным приветствием на первом же обеде.

Ближе и прочнее сошелся, однако, с более молодыми (Золя, Доде, Мопассаном) — в семидесятых годах, когда основался в Париже совсем.

Добрый духом и «гением местности» тут являлся Флобер. И нельзя, говоря о парижских годах Тургенева, не помянуть этого рыцаря французской литературы.

Когда вспоминаешь Флобера, он представляется в неких латах — не подымая забрала, проходит сквозь жизнь, в оди-

¹ Всем известную Тургеневскую. Она погибла во время последней войны — немцы вывезли ее. (Примеч. авт.)

ночестве, честном труде, отбиваясь от пошлости, разя глупость, широко дыша ветрами морей, пустынь и звезд, тая сердце мужественное, глубоко раненное, навсегда. Флобер-пустынный, в глухом своем Круассе рыкающий металлической прозой, ритм которой похож на громыхание кареты по мостовой, Флобер, не ждущий кресла в Академии, ни пред кем не склоняющийся, суровый и добрый, вслух читающий собственные черновики, громовым голосом, слышным с улицы, Флобер всегда заслоняемый от толпы, сумрачный, грозный, подвижнически преданный своему искусству — образ «монаха от литературы». Он так же болезнен и меланхоличен, как Тургенев — впрочем, рано, и, кажется, навсегда вырвал из души любовь к женщине: заменил подвигом искусства. И как женствен, двойствен, переменчиво-капризен, ласково-прохладен рядом с ним Тургенев! Он незащищен. Ни лат, ни власяницы. Ни в жизни, ни в литературе нет у него закала. В юности он немало страдал от женской своей колеблемости, легкомысленной лживости. К старости многое в себе преодолел. В семидесятых годах не могло с ним случаться того, что бывало в сороковых. Но мужественной прямоты Флобера, его крепости, смелости появиться не могло. Флобер никого не боялся: ни холеры, ни смерти (хотя не был верующим), ни публики, ни критики. Его жизнь цельна и стройна — хотя недооценка и торжество пошлости мучили его немало, и как всякий нуждался он в утешении (тот же Тургенев и утешал его). Флобер больше Тургенева *создавал* свою жизнь. Никакие ветры никуда не могли занести его. От любви в молодости тоже много претерпел, но история Виардо-Тургенева для него невозможна. Правда, и натура его менее богата эротическим, чем у Тургенева. Более властен он и в искусстве. Его проза прокованной, мужественной, совершенной. Перевод Тургеневым «Юлиана Милостивого» (при огромных достоинствах *богатства* языка) не вполне дает флоберовский звук.

Но следует восстановить равновесие: и Флобер не мог состязаться с Тургеневым в вольной простоте речи, ее круглости, естественности, как раз *незакономерности* — дающей более места дыханию жизни.

Флобер и Тургенев действительно дружили. Тургенев ездил к нему в Круассе, встречался в Париже на обедах, посещал и на улице Мурильо, близ парка Монсо.

Квартира Флобера, небольшая, но изящно обставленная — в алжирском вкусе — выходила окнами в зеленый парк. Восточное оружие, диваны, книги... Тургенев любил глубоко засаживаться в мягкую мебель, иногда позволял себе даже лежать — таким запомнился в день первой встречи Альфонсу Доде: при

появлении в дверях черного, лохматого провансальца, с софы поднялась, не без медлительности, «огромная фигура с бело-снежной головой».

Собрания у Флобера по воскресеньям, днем, бывали интимны. Доде, Золя, Гонкуры, Мопассан, Тургенев. Их сближала литература. Она общий интерес, общее ремесло. В Тургеневе был им любопытен еще и новый мир, экзотика. Тургенев много рассказывал о России. От него узнали они о Пушкине, о Толстом, еще об очень многом. Роли российского посла не оставлял он и в их кружке. Можно сказать при этом так: Тургенев среди них гораздо более европеец, чем они сами. Кроме французского, он знал немецкий, итальянский, английский, испанский языки. У того же Флобера, в залитой светом комнате с разными копиями и тюрбанами, пред зелеными купами парка, где бегали детишки и сидели няньки, переводил он à *livre ouvert*¹ приятелям и Гете, и Суинберна — несмотря на старость, на подагру, на скопляющуюся горечь воодушевлялся сам — и увлекал. Всегда животворила его литература. Нравилось быть со своими, среди мастеров цеха. Литература вообще самый непорочный, самый возвышенный и безупречный угол Тургенева. Как у Флобера, преданность ей безгранична. Знаний больше. Тургенев мог чему-то научить Флобера, но не наоборот. Об остальных и говорить нечего. Горячий, природно талантливый, но недалекий Доде. Весьма элементарный (с большим, но нерадующим дарованием) Золя. Холодные эстеты и снобы Гонкуры... все это не так блестяще. Но все они погружены в писание: это Тургенева прельщало. Он горячо слушал самого Флобера, когда тот читал свои произведения. Ухо Тургенева улавливало слабый образ, повторение слова на большом расстоянии. Флобера восхищала его критика. Но он и сам ценил флоберов вкус, гордился похвалами его, очень сердился, однако, что тот плохо понимал Пушкина.

Кроме собраний у Флобера учредили они известные «обеда пятерых», или «освистанных авторов» (у каждого был в прошлом театральный неуспех — впрочем, насчет Тургенева это сомнительно: он принял титул больше из вежливости).

Обеды устраивались в ресторанах — то у «Адольфа и Пелле» за Оперой, то у Комической Оперы, то у Вуазена. Все пятеро старались быть гастрономами — несколько щеголяли этим. А в сущности, провансалец Доде не шел далее своего буйабеса, Флобер — руанской утки. Гонкур находил, что «шикарно» требовать имбирного варенья. Тургенев в еде действительно

¹ без словаря, сразу (*фр.*).

понимал. Недаром работали крепостные повара у русских бар, знатоков объедального дела. Недаром был он и родом из страны, чьи осетрина, стерлядь и икра прославлены. Он любил суп с потрохами, жареных цыплят, икру. Вина пил мало.

Если бы Вера Сергеевна Аксакова, со своею возвышенностью и духовностью побывала на одном таком обеде, она бы совсем невзлюбила «освистанных», как и раньше недолюбливала Тургенева.

Собирались к семи. Платили за обед франков по сорока (по тому времени очень дорого), засиживались в отдельном кабинете до двух. Золя снимал пиджак, Тургенев кисло бранил его, что он не носит подтяжек и горячо спорил с Флобером о том, можно ли есть жареного цыпленка с горчицею или нет — до того горячо, что держали пари на дюжину шампанского и обращались к суду экспертов-знатоков (давших ответ неопределенный: не знаю, кто кому ставил вино). Это все мало походит на «ночные бдения» молодого Тургенева с Бакуниным, или на «утра» в Лесном с Белинским. Но надо быть справедливым: не об одних цыплятах говорилось. Разбирали и собственные произведения. Приносили новые свои книги. Флобер — «Искушение св. Антония», «Три повести»; Гонкур «Элизу»; Золя — «Аббата Муре»; Доде — «Джека», «Набоба»; Тургенев — «Живые мощи», «Новь». «Мы толковали друг с другом по душе, открыто, без лести, без взаимных восхищений» (Доде).

Это подымало обеды, облагораживало. Облагораживали ли разговоры о любви? Их тоже бывало много. Но тут Тургенев оставался в одиночестве, и как физически, так и духовно целой серебряною головой своей перерастал собеседников. Ибо для «натуралистов» любовь была или актом природы (как у зверей), или гастрономией. По общему мраку мировоззрения своего, признававшего лишь слепую Природу (создавшую бессмыслицу и хаос жизни), Тургенев к ним приближался. Но Любовь являлась ему мистическим просветом. Он знал о божественном ее происхождении, не любил унижения любви. Гастроном в кухне, не терпел гастрономии в любви, и за это недалекоими своими сотрапезниками почитался «отсталым». Ему, как ребенку, объясняли особенности любовной техники — люди, вероятно, кроме этой техники ничего в любви и не смыслившие. Замечателен его спор с Золя. Тот утверждал, что любовь к женщине ничем не отличается в существе своем от дружбы, или любви к родине — лишь обострена жаждой обладания. Тургенев возражал: любовь чувство совсем особое, ни на что непохожее, и загадочного характера. Вспомнив юность свою, Нескучное, и княжну-соседку, твердо стоял на том, что «в глазах любимой жен-

щины есть нечто сверхчувственное». На этом коньке был непобедим. Одолеть его нельзя было потому, что таков его *опыт*: он знал это не из книг, а из жизни. Отказаться от предельного взгляда на любовь значило бы для него отказаться от себя и своего писания. Он не только считал, что видит Божество в глазах любимой, но полагал, что любовь вообще расплавляет человека, как бы изливает его из обычных форм, заставляет забывать о себе — «выводит» из личности (соединяя с бесконечным). Не все могут любить. Есть лишенные этого дара. (Он не любил толстовского Левина — считал очень холодным, неумеющим любить, всегда лишь *собою* занятым.)

Любви же сам настолько был «подвержен», что считал — и писать-то способен лишь, когда влюблен. Может быть, преувеличивал. Но без любви жить, все-таки, не мог, как и без творчества. Это сливалось у него в одно.

* * *

Еще очень давно, молодым и счастливым, испытал Тургенев в Куртавенеле мистические, жуткие ощущения — будто сквозь обычный мир давал о себе знать и другой, таинственный и недобрый. Он чуялся ему и в звездном небе, и в ночных шорохах, и в снах — сны всегда много значили в его жизни. К ним не так просто он относился. Замечательно, что светлое визионерство дантовской, например, молодости, ему чуждо. «Любимая» не являлась обликом Беатриче, хотя в сверхчувственном понимании любви и был он с Данте родствен. Зависело ли это от того, что у Тургенева не было чувства всемогущего *светлого* Бога? Высшая сила для него слепа и безжалостна. Человек ничтожен. Прорывающееся *оттуда* нерадостно. В полном противоречии с этим был *восторг* любви — хорошо ему известный. Данте верил, что Беатриче из благодатного источника. Тургенев ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую. Это одна из болезненных его неясностей, очень тяжелых.

Его странности в доме Герцена, одинокая тоска на rue de la Raix, сумрачное (но глубоко поэтическое) колдовство «Фауста» (рассказа), ужас «Призраков», грозные сны, все это одного корня. Правда, он написал Лизу в «Дворянском гнезде». Что-то иное брезжило и ему. Но помолиться с Лизой в церкви он не мог.

С годами чувство присутствия иного мира в нем росло. Но не давало радости. О «призраках» он не только писал: он их и видел. Спускаясь по лестнице обедать, видит старика Виардо, в охотничьей куртке, умывающегося у себя в уборной. Делает

несколько шагов до столовой — там преспокойно сидит тот же Виардо, несколько не умывавшийся. В Лондоне люди раздваиваются: он говорит за столом с пастором, и кроме пастора видит его скелет, пустые впадины глаз и т. д. Или приходит к нему, солнечным утром, женщина в капоте — говорит несколько слов по-французски — не один раз приходит. Будто уже знакомая. «Странно, что по-французски. У меня никогда не было близкой женщины иностранки, из умерших, то есть... Я несколько раз видел привидения в своей жизни».

Просто ли это галлюцинации, или не просто, другой вопрос. Но они были. И раздвояли самого Тургенева, как в жизни, так и в писании.

Уже говорилось, как вслед за «Отцами и детьми» написал он «Призраки», несколько позже «Собаку». Семидесятые годы открываются как бы двойным созвучием: «Степной король Лир» — деревенский и полноживописный Тургенев мценских полей, Орла, Спасского — и «Стук... стук... стук!» («Я как раз начисто переписал эту певучую, небесно-голубую вещичку — и к величайшему моему удивлению заметил, что она похожа на ядовитый гриб».) Что в ней небесно-голубого нашел он, не знаю. В этой «студии» соблазненная офицером девушка, покончив с собой, из «того» мира зовет к себе соблазнителя — в таинственной туманной ночи, слабым стоном — похожим на то, что слышали еще мальчики «Бежина луга». Сомнений нет: «тот» мир все ближе подступает. Теперь лучшие свои вещи пишет он по «зову». «Живые мощи» набросаны гораздо раньше. Но пока был он моложе и больше погружен в «лапку утки» и «морду коровы, с которой падают блестящие капли», — Лукерья, сны ее, видения меньше его занимали. Рукопись лежала в столе, не доведенная до состояния художества. Зря, случайно? В благотворительные сборники и раньше зазывали его. Но вот лишь теперь (в 74-м году) появилась эта драгоценность литературы нашей. Лукерья такая же заступница за Россию и всех нас, как смиренная Агашенька, раба и мученица Варвары Петровны, как Лиза. Вместе с Лизой она свидетельствует и о каких-то возможностях Тургенева, не до конца раскрывшихся. О неполной власти магического.

1875 год отмечен рассказом «Часы». Автор сам находил его «странным» — во всей несколько запутанной истории простые, будто бы, часы играют роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнее следующая вещь «Сон», кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся. Затем «Рассказ отца Алексея» — тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека.

Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти *опасен* (ощущением всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, светлое мог дать художник, отмечавший в своем дневнике (1877): «Полночь. Сижу опять за своим столом. А на душе у меня темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель.— Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Дух мрака, горестного уныния знаком всякому — до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) — с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.

В те самые семидесятые годы, когда вкусно обедал он с французскими литераторами, покупал картины в Hôtel Drouot, воевал знакомство с Лавровым и давал деньги на революционный журнал, когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набиравшими свое издание — тут-то и мог *по-настоящему* писать лишь «подпольное». Тургенев дневной, общественный, «отражавший современность», не удавался уже вовсе.

«Новь» — плод сложных, долгих размышлений, наблюдений. Роман, написанный, может быть, самую зрелую техникой Тургенева, с наибольшим движением и прочностью композиции (слабые стороны его раннего писания) — совершенно погиб. Вот вещь *неблагословенная*, незадачливая в корне, ничем не овлаженная, неоплодотворенная — самое страшное для художника зрелого: будто все и на месте, и все ни к чему. Все подсушено, без живых соков (хотя имеет вид жизненности). Горькая «Новь» с изображением хождений в народ молодых, иногда трогательных интеллигентов, несчастных и гамлетизирующих, никакой истинной новью не благоухающих. Зря пропали деньги Тургенева на лавровский журнал. Ничего не дал ему и сам этот отшельник Латинского квартала со своими цюрихскими студентками.

Нет, не то мог делать теперь старый, больной, томимый чувством близкого конца Тургенев.

* * *

В «Сне» некий офицер «с черными, злыми глазами», отчаявшись в любви к нему матери лица, ведущего рассказ, прибегает к насилью. В отсутствие мужа проникает в ее спальню, набра-

сывает на голову ей подушку и т. д. Рожденный при такой обстановке сын видит впоследствии упорный сон об отце — и однажды, наконец, его встречает (в приморском городе, где живет одиноко с матерью). Отец в действительности вполне походит на отца сна (при нем некий таинственный «арап»). Снова пытается отец проникнуть к матери, на этот раз неудачно. Уезжает в Америку и гибнет в буре. Его тело прибило к берегу, и гуляя по взморью, юноша вновь видит, но уже мертвого, отца — с тем обручальным кольцом на пальце, которое он сорвал с жертвы в первое свое посещение. Юноша бежит домой, приводит мать к этим песчаным дюнам, но утопленника уже нет... так же загадочно он и сгинул.

Написан «отец» смутно, в облаке таинственности. Будто он приходил к матери *тогда* естественно (указана даже потайная дверь в стене). Но остается впечатление магнетиизирующей силы, колдовства, таившегося в черноглазом человеке с арапом — содействия сил темных.

Овладеть в отвергнутой любви силою... да еще весьма двусмысленной... В этом «Сне» есть отчаяние страсти. И — беззащитность от вторжения ее (мать не может сопротивляться вихрю, чужой страстной воле).

Воля в любви. Порабощение одного другим, предельно ли грубое, или более сложное, но не менее жуткое насылание «болезни любви», как наслала ее Мария Николаевна на Санина в «Вешних водах», — это Тургенева давно занимало. Любил он любовь и боялся ее. В «Сне» редкий у Тургенева случай, когда мужчина действует. (Обычно «берет» женщина — мужчину слабого, неволевого.)

Не знаю, как Виардо отнеслась ко «Сну». При своем трезвом и «благоразумном» настроении вряд ли одобрила. И она, и ее муж бывали строги к Тургеневу. Во всяком случае, под их кровом, в третьем этаже дома на rue de Douai, в небольших комнатах, где висел портрет Виардо, стоял ее бюст, откуда слышны были колоратуры учениц, распевавших внизу с седою, но блестяще-черноглазую прельстительницей, сочинял Тургенев такие странные, никому не близкие и не имевшие успеха вещи...

Сам он старел, Эрос же в нем не гас. Вряд ли он был теперь в Полину влюблен. Романом с ней никак не отзывает жизнь в доме *entre la cour et le jardin*. Но ее власть над ним огромна. Он как бы в тихом, заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетические глаза Полины. Достаточно ей сказать: «так» — и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме.

Баронесса Юлия Петровна Вревская — блестящая красавица, чудесный, горячий, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она очень ему понравилась. Уже весной 74-го пишет он ей из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странном, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле — робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она не устроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Многие уже видела. Многие испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить — значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на равной ноге.

На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебристые тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал — был мил и очарователен — вечно ходил вокруг да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное свободными людьми... докончите фразу сами».

Кого можно зажечь «условными предложениями»? (Если бы, да если бы...) Но ведь это пишет Тургенев и тайком от Виардо. Полина отлично могла себе позволить баденского доктора, и с Тургеневым на этот счет не советовалась. Если бы, однако, узнала о его «отклонениях», вряд ли бы ему поздоровилось.

Тургенев виделся с Вревской вне Парижа: в 75-м году в Карлсбаде, где вместе они пили воды. В 76-м — в России. А еще через год он так осмелел, что написал ей: «С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют *une passade*»¹. Вревская раньше писала ему, что не питает «никаких задних мыслей». Он тут же прибавляет: «Я, к сожалению, слишком был в том уверен» (обычное его положение: не возбуждать страсти в женщине). Вревскую, все-таки,

¹ каприз, мимолетная прихоть (фр).

его письмо смутило. Она ответила — и в письме была загадочная фраза, над которой он «поломал голову». Но дело опять кончилось придаточным предложением из числа условных. 8 февраля он пишет: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад, *если бы Вы захотели...*»

То есть «если бы» она его взяла. Этого, разумеется, не случилось. Вревская никак не собиралась «женить» на себе Тургенева. Никаких «карьер» или «тихий пристаней» она не желала. Наоборот, неизжитые силы влекли ее вперед. Хотелось действия, притом доброго действия. Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи с Тургеневым (в конце мая, в Павловске на даче Полонского), уехала она сестрой милосердия на войну — в ту же Болгарию, куда некогда устремлялась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.

Тургенев как раз в это время начал еще новый род писаний своих, лирико-философических, назвал их «Стихотворения в прозе». О смерти ее он написал знаменитое «стихотворение» — последняя весть о Вревской, последнее ее прославление.

«...На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве — ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах — поочередно подымались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка».

Так проиграла (а вернее выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нее судьба: скорый, трагический и героический конец. Расчеты Тургенева с жизнью шли медленнее. Ничего не было в них героического.

БУЖИВАЛЬ

«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу — в трех четвертях часа езды от Парижа — я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа — но где я немедленно поселюсь... — Я езжу в Париж три раза в неделю».

Это писано летом 1875 года. «Здесь» — Буживаль, недалеко от Сен-Жермен, на берегу Сены.

Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frênes («Ясени»). С набережной ворота вели в парк. (Они и ныне существуют. На них доска с обозначением, что тут жил «знаменитый русский романист Иван Сергеевич Тургенев».) Две дороги, усыпанные песком, подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудесные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками, среди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У Тургенева небольшое chalet¹ в швейцарском духе, недалеко от дома — все в цветах, зелени. В rez-de-chaussée² столовая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из углового окна вид на Сену — на ней те же баржи, что и теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далее — тогда все было просторней, более деревенское. Еще этажом выше — спальня и комната для гостей.

Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de Douai в каретах, медленно и основательно кативших по шоссе, с сундуками, баулами, картонками — на все лето. (Как бы парижское Нескучное или Царицыно.) Лишь ноябрьские туманы загоняли в город.

Собиралась вся семья: семидесятипятилетний Луи Виардо, Полина, дочери — Клавдия Шамеро и Марианна Дювернуа, сын Поль. Приезжал — возвращаясь из Карлсбада с лечения, или из России (там бывал чуть не каждый год) — Тургенев. Случалось, что и ученицы Виардо жили тут в пансионе по соседству.

Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Тургенев, как всегда, работал. К Буживалю имеют отношение «Сон», «Рассказ отца Алексея» и позднейшие «Клара Милич», «Стихотворения в прозе», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здесь переписывалась «Новь» — и очень многие письма помечены Буживалем (Тургенев всегда тщательно означал даты и место — любил, чтобы и ему указывали их.)

Видишь его здесь полубольным и грустным, с подагрой, нередко в плеле, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие, относительно, годы, до последней болезни). Очень это непохоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.

К молодости, красоте тяготение неизменно. Вот Диди рас-

¹ дача, сельский домик (фр).

² нижний этаж в доме (фр).

ставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену, кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь — Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» — здесь пишет пейзажи, натюрморты.

Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед — летом нередко холодно — спускается он вниз, и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гартани — венгерка; мечтательная Фермерн, чудесное контральто, немка. Ромм русская. Все как на подбор высокие, стройные. В Париже, увидав их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из «Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецкому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением — это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сих? (Не то, что Виардо: от нее, случилось, плакали статные ученицы — потом мирились, целовались — до ближайшей ссоры.)

Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга...

— Господина Тургенева спрашивают...

Или:

— Приезжая дама очень хочет видеть по делу господина Тургенева.

Это соотечественники, Виардо не особенно их ласково встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый, с бородкой ключьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он относится к прогрессу?» — и заодно пожурить за «постепеновщину», за то, что в «Нови» «недостаточно выведено положительных типов» и т. д.

— В России назревают события, — осведомляет юнец. — В

Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета...

Все это Тургенев знает, но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит — громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом.

— Вы уж меня извините,— говорит высоким, пришепетывающим тенором,— за такую позу. Большой старик... Да, да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал в «Нови» промах...

Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает и собственная косоворотка, и бородка козлиная.

— Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не во вне...

Это больное место Тургенева. За «гущу», за, якобы, «измену» родине («променял на Францию»), кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!)

Может случиться, что народник вытащит-таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.

Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу — нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс... (Одна из причин нелюбви Полины к землякам.)

Или же не народник, а щербучая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах.

— Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница... позвольте представиться...— обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.

Это — в лучшем случае. А то — похлопотать за сына. Его надо поместить в гимназию, на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо... При его имени... с его известностью.

— А сколько лет вашему сыну?

Тургенев берет за перо.

— Пятый пошел.

— Ну, в таком случае не возьмут.

— Ах, знаете, я на всякий случай вперед. Нахожусь проездом в Париже, думаю: надо навестить Ивана Сергеевича, он такой добрый, а Олег подрастет, ему пригодится рекомендательное письмо. Да заодно и подпись знаменитого писателя.

Вероятно, не так уж благословлял в сердце своем Иван

Сергеевич разных мамаш и Олегов, но письма писал, пока в дверь не стучала твердая рука Виардо: конец аудиенции — «господина Тургенева ожидают к завтраку» (или к обеду, или еще что).

Вечером вист — одно из приятных для него развлечений. А 18 июля в доме праздник: день рождения Полины. (В Баден он всегда приезжал к этому времени из России. В Буживале не совсем так.)

Разумеется, делает Тургенев подарок: за несколько дней катит в карете в Париж, в Salle Drouot. Там он завсегда.

Его кличка *Grand Gogo russe*¹. Это значит, что нетрудно его облапошить — и действительно, нет ничего легче. Он разыщет какую-нибудь камею, шаль, миниатюру. Переплатит, робко свезет домой. Подарок будет принят с царственным благоволением, как самоочевидный шаг. Черные глаза лишний раз блеснут. Лишний раз поцелует он красивую некогда руку.

И анабаптисты не отстанут. К торжественному дню заказывают они в Париже огромный букет красных роз, букет-монстр, чтобы умиловить госпожу. К ним присоединяются еще две ученицы — подношение от пятерых.

Полина все-таки дает утром урок. Стучат. Въезжает целый куст роз. Она сразу понимает в чем дело, но слегка играет: хмурится, делает недоуменное лицо... За дверьми шепчутся остальные четыре девицы.

— Что такое? Откуда это?

В букете пять визитных карточек.

Она медленно вынимает их, по одной, медленно, как бы плохо разбирая, читает.

— Ну какие глупые, что это за пустяки!

Но анабаптисты уже ворвались, виснут на ней, целуют.

Разумеется, парадный обед, с шампанским, индейками, мороженым. Вечером гости. Ученицы будут петь. Может быть, и Полина вспомнит былое, остатками знаменитого голоса споет: «О, только тот, кто знал свиданья жажду...», — сверкнет непogasшими глазами, вновь одно сердце взволнует.

А потом кончится этот день. Один останется Тургенев у себя в *chalet* — как и всегда. В угловом окне, над Парижем, бледное зарево. Летние звезды в небе. Лампа под зеленым абажуром на столе. Как некогда в Куртавенеле — шум крови в ушах, шорох — неумолкаемый лепет деревьев, капля падает с легким серебристым звуком. Тончайшее сопрано комара. И — ощущение ушедшей жизни.

¹ Большой русский простофиля (*фр.*).

В полночь было страшновато в уединенном Куртавенеле, могло пригрезиться что-нибудь, почуваться. Но тогда — молодость. Хоть не надолго — да увенчанная любовь. И тот, неведомый мир, чуть приоткрывавшийся, был далеко: едва давал о себе знать. Теперь он рядом. Совсем приблизился, как кошмар «Сна». Тайные силы, грозные и недобрые, может быть и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой (в неравной борьбе) прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели — приковали к «краюшку чужого гнезда»?

Возможно, встанет monsieur Tourguéneff, в тишине ночи обойдет сад и вернувшись, запишет у себя в дневнике: «Самое интересное в жизни — смерть».

СЛАВА

С начала шестидесятых годов стало Тургеневу казаться, что он устарел, что его разлюбили и у него «все в прошлом». Отчасти это было верно.

Старая Россия, патриархальная и крепостническая, кончалась. Все благоухания полей, «Затишья», смиренность русской девушки, смиренность крепостного человека — необъятная тишина России — уходили. Тургенев много показал влаги, поэзии, красоты в этом. Но сама эпоха удалялась. «Дворянское гнездо» — последний бесспорный и глубокий его литературный успех — конец пятидесятых годов.

Водители шестидесятых сразу сказали: «Тургенев не созвучен времени» — он и действительно не очень был созвучен. Диссонансы, резкая сухость — не его область. Уже говорилось, как тяжело переносил он нападки на «Отцов и детей». Мелкие вещи проходили незаметно. «Дым» — полууспех, тоже отравленный. О «Нови» никто (почти) не сказал доброго слова. К тому же: Тургенев живет на Западе, в Россию только наезжает. Шаблон готов. Старый, немодный писатель, оторвавшийся и от эпохи, и от родины. Что может дать он?

За эти годы Тургенев и писал меньше: возраст поздний, да и настроение сгущается. Темперамент толстовский или ибсеновский только разжигался бы. Тургенева надо было любить, баловать, без этого ему трудно работать. И он все прочнее приходит к мысли, что дело кончено. «Довольно» — Достоевский злобно посмеялся над ним («Merci!»), но и вообще «люди шестидесятых годов» все возможное сделали, чтобы отравить старость Тургенева.

Правда, в Европе его переводили, о нем писали. В Париже

была у него известность личная (и то больше как собеседника) среди писателей, музыкантов при Виардо, художников, да в некоторых салонах. Книжки по-французски шли плохо. Сам он считал, что его влияние и положение во Франции малое. В Германии были верные литературные друзья (критики) — Юлиан Шмидт, Пич. Немцы писали о нем, пожалуй, больше и почтительнее всего. Некоторые удачи случились в семидесятых годах в Америке. Зато в Эдинбурге (где читает он «о никому не интересном предмете: русской литературе») — самое имя его бессмысленно искажают. И во всем там ощущает он свою ненужность.

Подошел 78-й год. Тургеневу исполнилось шестьдесят. Ничего не написал он к юбилею! Если пятнадцать лет назад сказал: «Довольно» — что же теперь? Он полагал, что умрет в 1881 году. (Перестановка цифр года рождения — 1818.) Так что о славе и поздновато думать. Но она не спрашивала его мнения, пришла сама, когда наша нужным (смерть тоже не посчиталась ни с какими цифрами).

Первый сигнал славы европейской был несилён, но хорош. На международном литературном конгрессе 78-го года в Париже Тургенева выбрали вице-президентом, он сидел рядом с Гюго и председательствовали они по очереди, оба говорили на открытии. Гюго гремел, Тургенев скромно прочел речь о русской литературе — имел очень большой успех. Серебряная голова, фрак, белый галстук, пенсне, негромкий и высокий голос, отсутствие рисовки, общее ощущение, что это крупный писатель — все до слушателей «дошло». Русская литература никогда еще не занимала такого места — ее вознес Тургенев. Морально испытание прошло отлично. Техником же вице-председатель оказался плохим (давал слово не в очередь, иногда вставал, будто бы собираясь что-то сказать и не говорил, слабо управлял звонком, а затем и вовсе его выронил). Но это неважно. Гюго делал нелепости и почище (голосовал, например, за постановление, прямо противоположное собственной речи). Важно, что Тургенева *наравне* с Гюго возвели в сан патриарха — пред лицом Европы.

России еще не было. Все еще казалась она «сфинксом». Но как раз в этом неблагоприятном году и Россия дала весть неожиданную, радостную. В речи на съезде коснулся он русской литературы скромно, но твердо («Сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете, как своих товарищей».) А за два месяца до этого получил из России письмо, сильно его взволновавшее: писал из Ясной Поляны Лев Толстой, тот самый, что семнадцать лет тому назад собирался застрелить его

из двустволки. Тургенев никаких шагов к сближению не делал: он только прославлял врага на Западе, как первого художника России. В душе же самого Толстого что-то сдвинулось. Вспомнил он теперь о Тургеневе не как о «подлеце».

«В последнее время... я к удивлению своему и радости почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадите друг другу руку, и, пожалуйста, *совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами*». Дальше вспоминает, скольким в литературной известности своей обязан Тургеневу, все доброе, что тот для него делал, и предлагает, если Тургенев может простить, — возобновить дружбу. «В наши годы есть одно только благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся».

Тургенев заплакал, получив это письмо. Ответил так:

«...С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам; если они и были, то давным-давно исчезли...»

...Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю вам всего хорошего — и еще раз дружески жму вам руку».

В Спасское Тургенев этим летом попал, и в начале августа собрался к Толстому в Ясную Поляну. Толстой выехал встретить его в Тулу — видимо, хотел обставить примирение совсем торжественно. Из Тулы вместе они приехали, очень ласково друг к другу настроенные. Тургенев гостил несколько дней, всех у Толстого очаровал смиренностью, простотой, живописностью рассказов. Видимо, был в ударе — мягкой и растроганной душевной полосе. «И вы, и я, — писал потом Толстому, — мы оба стали лучше, чем шестнадцать лет назад». Очевидно, от «прежнего» Тургенева, с некоей позой и фразой, следа не осталось. Толстой этого не вынес бы. А теперь он с ним почителен, почти нежен. Расстояние, разумеется, сохранялось. Оба держались именно так, чтобы острых углов не задевать. Тургеневу, впрочем, было и вообще не до острых углов. Другое тяготело над ним. В столовой сели за стол — тринадцать человек. Стали шутить насчет того, кому первому выпадет жребий смерти. Тургенев тоже смеялся. А потом поднял руку и сказал:

— Qui craint la mort, lève la main!¹

Никто не поднял, кроме Льва Толстого:

— Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir².

Два первых русских писателя — только они — сказали, что боятся смерти. (Софья Андреевна считает, что Лев Николаевич поднял руку «из вежливости» — хороша вежливость у автора «Смерти Ивана Ильича»!) И оба выразились по-французски.

Потом, конечно, как всегда в деревне, гуляли, любовались Козловой Засекой, милыми полями, перелесками родины. Тургеневу было не до споров, не до ссор. Последние трепетания любви, да слава оставались ему. Спешить некуда. Не о чем и волноваться. И правда, далеки нервность, бурная раздражительность времен Фетовой Степановки.

Вечером играли в шахматы. Шахматных партий из вежливости не проигрывают. Тургенев играл лучше и наверно приходилось Толстому упражнять свое смирение, проигрывая ему.

Тургенев пробыл у Толстых три дня. И гость, и хозяева остались друг другом довольны, а на зрителя двух славных жизней хорошо действует, что достойно заканчивались долгие их, сложные и драматические отношения. Тургеневу, недалеко от кончины, следовало примириться с Толстым. Не могла одна подлинная Россия (европейская) враждовать вечно с другой подлинной (азиатской).

Примирение с Толстым хорошо отозвалось и на Фете. Бородатый Фет, некогда приятель Тургенева по стихам и охотам, с 74-го года стал почти недругом.

Разводило их неодинаковое отношение к России и политике. Тургеневское вольномыслие, холодность к правительству, знакомство с эмигрантами и некоторое сочувствие революционерам раздражали Фета. Тургенева же раздражал непроходимый фетовский чернозем, возводивший чуть не к крепостному праву. Меньше он стал ценить и его стихи. Недовольство долго тлело, но прорвалось сразу. До Тургенева дошли вести, что Фет распространяет о нем нелепый рассказ: будто Тургенев старался в разговоре с двумя юношами «заразить их жаждою идти в Сибирь». Некое слово Тургенева явно было перетолковано, искажено и раздуто — привело к разрыву. Но Фет продолжал быть и соседом, и приятелем Толстого. Августовская встреча, впечатление, произведенное у Толстых Тургеневым, все это повлияло. Вернувшись в Спасское, 25 августа 78-го года, Тургенев пишет Толстому: «Фет-Шеншин написал мне очень милое,

¹ Кто боится смерти, подними руку! (фр).

² Ну и я не хочу не умирать (фр).

хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта; я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, и недаром приезжал в Россию».

Но главные, триумфальные встречи его с родиной были еще впереди.

* * *

В начале 79-го года умер в России старший брат Тургенева Николай, тот, с кем вместе воевали они некогда против матери, который по смерти ее стал владельцем огромного состояния и так всю жизнь и прожил с Анной Яковлевной (скончалась она раньше него). В свое время немало претерпел за нее от матери. Но навсегда остался под властью этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужем безраздельно, а он, по словам Ивана Сергеевича (не любившего невестку), «целовал ей ноги» — некоторым образом повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять Анну Яковлевну с Виардо, но она тоже была некрасива, тяжелого характера и бурного темперамента.

В жизни Тургенева-младшего старший почти не имел значения, если не считать приезда его в Баден в шестидесятых годах, когда Иван Сергеевич сообщил ему важные семейные тайны (о себе и Виардо, нам неизвестные). До духовного уровня младшего брата никогда Николай не подымался. Их отдаленность не удивляет. Николай был помещик, хозяин, скуповатый делец. Все это чуждо Ивану Сергеевичу.

С похоронами близких Тургеневу всегда не везло (так уж, видно, назначено было: держаться в сторонке) — не видал он в гробу ни матери, ни брата, ни Белинского, ни Герцена. В феврале же 79-го года приехал в Москву по делу о наследстве. Николай Сергеевич и в смерти остался верен памяти жены: подавляющую часть имущества оставил ее родственникам. Иван Сергеевич получил совсем мало.

Как бы то ни было, приезжал Тургенев в Россию за деньгами. Но о наследстве, неприятностях с каким-то Маляревским слышим мы лишь вскользь. О встрече писателя с Россией очень много.

Началось как будто с пустыка. Максим Ковалевский, известный ученый, барин, гастроном, человек «западнического склада», жизнь проживший широко и вольно — тогда редактор «Критического обозрения» — пригласил Тургенева к себе на завтрак. (Тургенев остановился все на том же чудесном Пречистенском бульваре, у того же приятеля своего Маслова, в Удельной конторе.) У Ковалевского собралось человек двадцать сотрудников. Завтрак был обильный, парадный. Первый тост грузный

хозяин провозгласил за гостя, «как за любящего и снисходительного наставника молодежи». Все это просто и естественно: Тургенев только что приехал — старый, знаменитый писатель... Более удивительно, что столько раз уже в жизни завтракавший, столько тостов произнесший и выслушавший, на этот раз Тургенев «не дослушал приветствия и разрыдался». Это вышло совсем не по-западному — ни у Вуазена, ни у «Адольфа и Пелле» этого не полагалось. Что-то сразило Тургенева, раскрыло «славянскую» его натуру. Позже он называл «небывалым» тот день. В действительности, ничего небывалого, разве одно: случилось это в Москве, где мальчиком он учился в пансионе, юношей ездил в университет, был влюблен в Зинаиду. Одно важно, что это Родина, что не только его не забыли, а считают наставником и любят. Что пред надвигающейся смертью может он собрать и плоды жизни.

Эти плоды посыпались со всех сторон. Приезд его обратился в триумф — хотя умысла никакого не было. Все выходило само собой.

Читает, например, старый, тучный Алексей Феофилактович Писемский главу из романа в Обществе любителей российской словесности. Чтение — в физической аудитории Университета. По давней дружественности приглашает Тургенева. Тот не сразу и соглашается (неважно себя чувствует). Но в конце концов едет. Входит чрез главную дверь, прямо против которой, совсем близко, стоял легкий белый экран для волшебного фонаря. Задевает его (по неуклюжести своей и огромному росту) — перед полным публики амфитеатром неожиданно является седая голова... Начинаются овации. Некая «светлая личность», студент Виктор, из-за Тургенева попавший в историю литературы, с хор произносит речь. О Писемском забыли.

— Вас приветствовал недавно кружок профессоров, позвольте приветствовать вас нам — нам, учащейся русской молодежи,— приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения...

Одним словом, все как полагается. В дальнейшем было и некоторое «поучение», но утонуло в восторге молодежи. Тургенев скромно поблагодарил. И быть может, скромностью еще более тронул эту нервную и горячую, иногда вызывающую улыбку, но восторженную молодую Россию. Восторг летит за ним. Студенты мчатся по коридорам, толпятся у выхода, чуть не качают его (как некогда в Петербурге Полину Виардо)... «И высыпали бы на улицу, если бы полиция не поспешила закрыть дверь, когда Тургенев вышел на подъезд».

В сущности, то же продолжается и дома, на Пречистенском бульваре. С утра поклонники: студенты, актеры, члены Английского клуба, ученицы Консерватории, художники, желающие писать портрет. Десятками надо подписывать автографы — за ними, по большей части, приходят девушки. (Эти «тургеневские девушки» так однажды насели на него, что пришлось целый день выводить свою фамилию. К вечеру он совсем замучился.)

В начале марта Тургенев переехал в Петербург. Тотчас петербургская литература устроила в его честь обед. Литературный фонд — вечер. Должен был он читать и в пользу какой-то гимназии — педагогички чуть не вынесли его на руках. Вновь, как в Москве, толпа по утрам в номере. Приносят его сочинения (опять автографы), адреса, приветствия. У Тургенева было несколько своих книг. Девушки растащили их мгновенно — спорили, кому какой том взять, рвали друг у друга книги, «кричали, как галчата перед вечером». Одна захлебывалась от радости, что получила «Новь» — Тургенев посмеивался: может быть, та же поклонница полгода назад эту «Новь» проклинала. (Но в общем у него осталось впечатление, что женщины семидесятых годов мягче и душевнее «шестидесятниц»: пожалуй, это и не только беглое наблюдение. Романтизм народничества — иное дело, чем естествознание и лягушки Базарова.)

В том же мартовском Петербурге 79-го года, среди сутолоки и шума славы завязал Тургенев еще одно замечательное знакомство.

В январе молоденькая актриса Савина поставила в свой бенефис на Александринской сцене «Месяц в деревне». Пьесу подсократили (она от этого выиграла). Савина оказалась прекрасной Верочкой — спектакль шел с огромным успехом. Она обменялась с Тургеневым приветственными телеграммами. Заочное знакомство создалось. Теперь встретились и лично: Топоров, приятель Тургенева, свел их в Европейской гостинице (где Тургенев остановился). Савина туда приехала. Седая картина и остроликая, большеглазая, тонко-холодноватая, но и пламенная насмешница. Как ни была она бойка, все же тургеневская слава волновала, подавляла ее. Ее успехи больше еще по Пензам, Минскам, он — всероссийская знаменитость. Она робела, хоть была не из робких. В последнюю минуту, от волнения, чуть было не отменила встречу.

Тургенев принял ее мило, просто, как «дедушка», как некий сказочный *Knecht Ruprecht*¹. Думал, что она играет Наталию Петровну, и удивился, что Верочку.

¹ слуга Деда Мороза (нем.).

Она пригласила его на ближайший спектакль. И лишь выйдя, сообразила, что ведь билеты все проданы. Пришлось спешно просить у директора место в его ложе. Директор дал свою ложу, что Тургеневу и подобало. Начало спектакля он сидел в глубине, в тени, его не замечали. В антракте стали вызывать «Автора!» Тогда инкогнито уж невозможно было соблести. Савина прилетела в ложу, вытащила его на сцену — театр гремел, и так продолжалось целый вечер. Тургенев раскланивался и из ложи — теперь в покое его не оставляли.

Савина торжествовала. Пьесу открыла она. Тургенева в публику она выводила: отблеск его славы падал и на нее. На другой день опять вместе с ним выступала на вечере Литературного фонда. Теперь оба должны были читать из «Провинциалки», графа Любина и Дарью Степановну Ступендьеву.

«Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец, все затихло и мы начали:

— Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?

Не успела я произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации оказались нескончаемыми...»

Так, под приветствия въезжал, под приветствия и уезжал на этот раз Тургенев из России. Видевшие его весною в Париже говорили, что он помолодел, ободрился, как бы расцвел. Являлась даже мысль переселиться вновь в Россию (вряд ли, впрочем, было это серьезно).

Шум Москвы и Петербурга достиг Запада. Оксфордский университет поднес Тургеневу диплом доктора гражданского права. «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» — писал он Маслову, будто бы удивляясь, что ему эту шапку дали. В гражданском праве ничего не смыслил, не умел заключить простейшей сделки, а попал в доктора... (Англичане считали — за «Записки охотника», за освобождение крестьян.) «Оказывается, что я всего второй русский, заслуживший подобную честь».

Тургенев «удивлялся», что его выбрали, но был очень доволен. Честь любил, к славе был слаб.

* * *

1880 год был довольно важным для русского просвещения: в Москве открывали памятник Пушкину. Подводился итог восторгам, охлаждением, вновь вознесениям дела и памяти поэта. Пред памятником споры умолкают. Художник как бы причисляется к лику святых и творения его переходят в школу, а имя «в века».

Тургенев более чем кто-либо должен был принять участие в празднествах. И не удивляет, что весной 80-го года двинулся он в Россию, с тем расчетом, чтобы к июню попасть в Москву.

Побывал в Петербурге, у себя в Спасском, заехал опять в деревню к Толстому. Толстой находился в разгаре внутренней перестройки. «О Льве Толстом и Катков подтверждал, что слышно, он совсем помешался», — писал из Лоскутной пред самыми пушкинскими днями Достоевский жене. И вот, несмотря на то, что «помешался» — опять встретился с Тургеневым ласково. Писал «Краткое изложение Евангелия» и ходил с гостем на тягу — стреляли вальдшнепов, на весенней заре, при ранней Венере, набухающих почках берез, распутившихся подснежниках, при той невыразимой нежности вечернего неба, заката, запахе прели в лесу и свежести... чего нет нигде, кроме российской тяги. Почему занимались стрельбой мирных, любовью влекомых птиц непротивленец Толстой и отдавший любви жизнь Тургенев — этого понять нельзя. Написавший Касьяна с Красивой Мечи, знавший наизусть пение всех дроздов и малиновок, трубу бекаса, воркование горлинки, мягко и грустно любивший тварь земную — находил же Тургенев удовольствие, на пороге собственной смерти убивать изящнейших птиц (в незабываемой красе вечера).

Толстой поставил гостя на лучшее место, на опушке большой поляны, а сам ушел дальше. Но вальдшнепы тянут все на хозяина, он там палит, а Тургенев с маленьким Львом Толстым-сыном только слушают. Наконец, хорканье, над макушками «тянет». Тургенев целится. Выстрел. Вальдшнеп падает в густой осинник. А уже стемнело. Сколько ни ищут Тургенев с Левушкой и толстовской собакой, не могут найти. А старый Лев все палит. И потом подходит с двумя убитыми птицами в ягдташе.

— Этот человек в рубашке родился, — с завистью говорит Тургенев. — Счастье во всем и всегда. (Сказано это о том, чья семейная жизнь напоминала *malebolgie*¹ Данте, кто счел всю прежнюю свою литературу заблуждением и временами был близок к самоубийству.)

Вальдшнепы, встречая смерть от руки Толстого, летели на призыв той самой любви, от которой и сейчас трепетало тургеневское сердце — в последний уже раз. И хотя графине Софье Андреевне и сказал он, что не пишет потому, что не влюблен, это было неверно. Прошлогоднее знакомство с Савиной даром не прошло. Как раз в это время обменивался он с нею письмами ласково-нежными.

¹ Неологизм Данте, переведенный М Лозинским как «злые щели» в восьмом круге «Ада».

Главная же цель его приезда была не тяга, а желание вывезти Толстого в Москву на пушкинские торжества. Толстой, несмотря на всяческую любезность, дружелюбность к гостю, тут уперся по-толстовски. «Это все одна комедия», — может быть, прямо он так Тургеневу и не сказал, но фраза гуляла среди литераторов. Тургенев уехал ни с чем, сперва в Спасское, потом в Москву, на празднества.

Москва готовилась к ним усердно — Москва хлебосольная, интеллигентско-купецкая, западническая и славянофильская, с интригами, тревожностями и сплетнями, но сходящаяся на Эрмитажах, Тестовых, балыках, расстегаях, цыплятах. Тут разницы между Катковым и Ковалевским не было. Съезжались депутации, писатели со всей России. (Из Петербурга дали им даже специальный поезд.) Надо их получше разместить, накормить, напоить еще до открытия. Первоклассным знаменитостям дать обеды — для людей как Вукол Лавров, сын мукомола, а ныне издатель «Русской мысли», гастроном и «широкая натура», дела оказалось достаточно. «Не по-петербургски устраивают! — писал Достоевский жене из Лоскутной гостиницы. — Балыки осетровые в полтора аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». (На своем гениально-разночинском языке добавляет он: «Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером явились две сотни великолепных и дорогих сигар».) Для Достоевского стерляди были внове, Тургенев знал все это наизусть. Достоевский высчитывал, хватит ли денег (празднества несколько оттянулись, из-за смерти императрицы), размышлял, как бы получше взять аванс под «Карамазовых», волновался и трепетал, принять ли оплату Думой трехрублевого номера гостиницы (а вдруг подумают, что обрадовался, «выскочил» и т. п.?) Тургенев спокойно поселился у своего Маслоva. Денег у него было достаточно. Его тоже, конечно, закармливали, но принимал он это без восторга.

Съезд был большой. Кроме Льва Толстого вся литература. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский, Фет, Аксаков, Майков, Григорович, Полонский, Островский, Катков, Юрьев, Ковалевский, море профессоров, представителей ученых, литературных, благотворительных обществ. Конечно, разделение. Западники — славянофилы. Первых возглавлял Тургенев, вторых — Достоевский. Приглашать ли Каткова и «Московские ведомости»? Кому, что и где читать? Такими тревожностями все было полно. Мучительному Достоевскому, сидевшему в своей Лоскутной, все казалось, что его обойдут, «унизят», что

Тургенев со штабом западников на Пречистенском бульваре распорядится им для умаления славянофильства и для возвышения себя. Вообще, при могучей и болезненной его фантазии многое такое ему казалось, чего в действительности вовсе не было.

После всяческих проволочек памятник открыли, на Тверском бульваре, 6 июня. Монумент сделал Опекушин — не Бог весть что — все же задумчивый Пушкин со шляпой, в сюртуке, слегка наклонив голову с курчавыми волосами, хорошо входит в пейзаж Москвы. Представляешь себе июньское утро, благовест Страстного монастыря, толпу, трибуны, переполненные публикой, группу важных стариков во фраках у подножия памятника, пеструю тень летних облаков по ним, великолепного полицмейстера, городских, таращащих глаза, оркестр, играющий гимн. Гусарский офицер Александр Пушкин стоял тут же, будущий почетный опекун московских институток. Тогда был он не стар. Говорят, очень напоминал отца — этому веришь: даже в старике Александре Александровиче Пушкине оставалось некое веянье отца. И когда завеса упала, отец этот стал частью Москвы, гением местности, как бы покровителем бульвара, восходящего к нему, и одновременно ликом России.

Тургенев тоже находился тут, очень взволнованный. Знал он Пушкина живого, видел его и в гробу. С юности поклонялся ему, носил на себе его локон. По словам очевидицы, «стоял около памятника весь просветленный». Венок возложил в глубоком волнении.

Чисто «пушкинское» переживал Тургенев сильно. Но Тургенев Тверского бульвара — не тот, что чрез несколько часов, на обеде, дважды отказался чокнуться с Катковым, предлагавшим примирение. (Перед этим Катков очень дурно задел его в печати.) И еще третий Тургенев вечером вышел, седой, огромный, на эстраду Дворянского собрания, и высоким своим голосом, слегка пришепetyвая, стал читать «Последняя туча рассеянной бури...» — на третьем стихе запнулся, забыл. Из публики стали подсказывать. Он улыбнулся улыбкой милою, конец стихотворения прочел вместе с публикой, как поют символ веры в церкви.

Выбрав стихи эти, подчеркивал свое с Россией примирение.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Да, разумеется, вся эта «буря» прошла, слава и примирение бесспорны... но и жизнь прошла. Пушкинский праздник — речи,

обеда, чтения — для Тургенева был и высшим увенчанием, и прощанием с Россией. Он хорошо это понимал. (Оттого так и волновался.) Волновалась и публика, может быть, тоже смутно чувствовала. Когда на другом вечере произнес он первые слова «Опять на родине» («Вновь я посетил...») — слушатели вскопили, началась овация, ему не давали говорить. Все тем же высоким, тонким голосом, нараспев дочитывал он:

...А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.

Это довольно точно сказано. Он был один, по-прежнему, и как всегда. Достоевский подробно отписывал о торжествах, о своей жизни в Лоскутной, о себе самом Анне Григорьевне. Правда, делал приписки, что мучается, не изменила ли она ему? Но мало ли что можно выдумать: на то он Достоевский. И Анна Григорьевна ему не менее, конечно, часто писала. Он горячился, беспокоился о деньгах, о доме, оправдывался, что задерживается. Но было куда спешить и к кому спешить. Жизнь Анны Григорьевны тоже была в *нем*. Тургенев мог написать Савиной, любившей другого. В Париже ждал его обычный саркофаг — где место было (слава Богу) лишь для одного. И тургеневских писем о пушкинских днях, по-видимому, нет вовсе.

7 июня, в утреннем заседании Общества любителей российской словесности он произнес речь о Пушкине. Она была заранее написана. Станным образом, в ней он несколько сжался. В пику ли славянофилам, но был сдержан. Пушкина, конечно, восхвалял. «Национально-всемирным» же поэтом, типа Гете и Шекспира, назвать не решился. Что и вызвало глубокое раздражение Достоевского. На следующее утро, 8-го, Достоевский в том же Обществе ответил знаменитой речью о Пушкине, произведшей действие необычайное: все остальное она затмила.

«Аполлон» и «Дионис» встретились. Аполлон получил последнее, окончательное благословение России, непререкаемое место на Олимпе. На том же вечере, где читал «Тучу», он в конце, во главе участников, возложил на бюст Пушкина лавровый венок — Писемский же поднял венок и подержал над головою самого Тургенева, вызвав бесконечную овацию: лавровый венок *литературы* для него беспорен.

Замкнутый и сумрачный, восторженный, кипучевзрывчатый Дионис, ненавистник Аполлона, величайший честолюбец и подпольный страдалец изготовил в Лоскутной бомбу. Он хорошо начинил ее. Утром 8 июня, в начале речи она глухо шипела,

готовилась разорваться. Но к концу бахнула. Хотя говорил он о Пушкине, о литературе — и даже сочувственно помянул Лизу врага своего — все же взорвал и потряс стены Любителей не литературой. Пушкина вознес в Россию, Россию в мир, Россию как мессию представил, заклокотал, взлетел — в конце речи были в публике истерики. Пафос и иступление религии внес в свою речь этот изумительный человек, способный одновременно чувствовать Зосиму и Свидригайлова, Алешу и Смердякова, говорить о всеотзывности Пушкина и считать, сколько раз вызывали Тургенева, чьи поклонники горячее: его или тургеневские?

Торжества Пушкина имели всероссийский характер. Пушкин показал России Россию. Тургенев с Достоевским добрались до московских людей. Энтузиазм был огромный. После речи Достоевского давние враги мирились. Давались обеты «быть лучше» и т. п. Старая, милая Москва! Она расколыхалась, разбурлилась. Все эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси...

Много позже рассказывала мне пожилая дама, чистой и нежно-сентиментальной души, с эмалевой голубизны глазами, как выходил Тургенев, как у него перехватывало голос, как они плакали, — как неистовствовал Достоевский, — и у самой появлялись слезы (при воспоминании о днях высоких и почти блаженных). Да, праздник так уж праздник.

— Мы и по вечерам не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульвар, садились у памятника и поздно, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь там был... студенты, барышни.

САВИНА

Приезд Тургенева в Россию «для Пушкина» оказался и приездом «для Савиной». В феврале — марте 1880 года он встречался с нею в Петербурге довольно часто. То она к нему приезжает, то он просит билет на «Дикарку»: видимо, Савина начинает его занимать.

Разница лет между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесят два. Но это и придает некую пронзительность его к ней отношению. Если в Париже Виардо, если там будет он тих, послушен и привычен, *ami catalogue*¹, которого можно послать в аптеку или за драпировками, то здесь другое: молодость. Полине, в некотором смысле, принадлежит он *совсем*. Но обольщения юности она дать не может.

¹ закадычный друг (фр).

Сначала как бы затевает он с Савиной тонкую и нежную игру, на которую такой мастер. Как во всякой игре, тут есть свои наступления и отступления, маневры и контрманевры. Вдруг набежит прохлада — он отметит это в письме. («Стало быть, ждать мне вас завтра — в субботу — у себя в половине третьего? — Я буду дома.— *Авось величественность несколько смягчится.*») То прилив большей нежности. Ко дню ее рождения (30 марта) обращается он к ней в «превосходной» степени: «Милейшая Мария Гавриловна...» и посылает юбилейный подарок — маленький золотой браслет с выгравированной надписью: «М. Г. Савиной от И. С. Тургенева». А затем опять какне-то, как выражается он, «дипломатические тонкости и экивоки» — но вот 17 апреля отъезд в Москву, и на другой же день по приезде пишет он ей, все из той же Конторы уделов, что она (Савина), для него самое дорогое и хорошее петербургское воспоминание. А еще через неделю — «вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь».

Так что подготовка к пушкинскому празднику, Лев Толстой, тяга, разговоры с Софьей Андреевной в Ясной Поляне, это одно, а под всем этим совсем другое.

В мае Савина собиралась на юг, играть в Одессе. Тургенев жил в Спасском и писал речь о Пушкине. Но помимо празднеств, речей, литературы мечтал, как бы Савину повидать (или даже к себе залучить) — на проезде ее через Мценск и Орел.

Заехать в Спасское на этот раз она не смогла. Но они списались и 16 мая условились встретиться.

Часов около десяти вечера, на небольшом мценском вокзале, где можно съесть горячий пирожок, где барышни разгуливали по перрону, ждал в мягкой мгле мая, с цветами в руках московского поезда Иван Сергеевич Тургенев. В купе первого класса летела навстречу ему молодая звезда — предстояло ей покорять одесситов, но вот по дороге можно покорить и Тургенева. Синий вагон, солидный оберкондуктор, красный бархатный диван с несесером, книжкою брошенной, запахом духов... Худенькая Савина, огромный Тургенев целует ей ручку, подносит цветы. Поезд скорый — недолго стоит. Тургенев остается в вагоне. Полтора часа провели они в поезде, проносившемся по полям черноземным, при раскрытом окне, откуда тянуло по временам сыростью с болот и туманных речек, запахом колосящейся ржи. Может быть, мальчишки стерегли где-нибудь у костра спутанных лошадей, близ насыпи. Да и сам «Бежин луг» не так далек. Деревушки уже темны. Только искры летят. Да звезды мигают.

В Орле надо было прощаться. В последнюю минуту, на платформе у окна вагона, откуда Савина на него глядела, испытал Тургенев сильное, едва удержимое и неожиданно молодое чувство: что если обнять ее, в последнюю минуту, когда пробила третий звонок, выхватить из купе, увезти в Спасское...

Вышло, разумеется, по-тургеновски: «могло бы быть, да не случилось». Звонок пробила, поезд тронулся, а он все стоял, махал ей вслед платком.

Переночевав в Орле, уехал в Спасское. Неизвестно, о чем говорили они в вагоне — но глубокий след остался у него от этого путешествия. Вот он опять один в огромном Спасском. Сад цветет, май открывается полною своей душой. Тепло, благодать. Вечером соловьи. Станные, бурно бесплодные чувства потрясают его. Он пишет ей вдогонку: «Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к полному отданию самого себя, где даже все земное пропадает, вздор говорю, но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что этот прелестный миг потерян навсегда...

Я надеюсь, что мы будем давать весть друг другу, но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно-чудесное, захлопнулась навсегда.

...Такого письма вы уже больше не получите».

Во время, как он писал это, Савина подъезжала к Одессе. Может быть, забавлялась она, играла с ним в те полтора часа между Мценском и Орлом, но ее собственная душа полна была другим: неким Никитою Всеволожским, будущим ее мужем. Так что весь трепет Тургенева совершенно бесплоден, мог встретить лишь так называемую, так неутоляющую «дружбу». Всеволожский был молодой, гусарский офицер, редкостный красоты, владелец огромного имения Сива Пермской губернии (куда она к нему ездила). Тургеневу Савина писала одни письма, Всеволожскому другие. И уже наученный долгою жизнью (даже, возможно, и не зная тогда о Всеволожском), понимал отлично Тургенев безнадежность своего положения. Другого такого письма, как тогда из Спасского, он ей действительно больше не написал. Но отношения не прервались, тянулись до самой его смерти.

Во время пушкинских торжеств Савина за сценой, но уже в августе, в Париже они встречаются. Эта встреча на мценскую не похожа: хотя бы тем, что таинственный Всеволожский, на-

конец, появляется. И все имеет суховатый, почти «деловой» характер...

«Милая Марья Гавриловна, я недоволен нашим свиданием.— Мы и сошлись, и разошлись как вежливые незнакомцы. Я буду в четверг в Париже и найду утром около 12 часов к вам». (Тургенев находился в Буживале.) Видимо, и прощание было прохладным. «По тому, как вы пожали мне руку на прощание в последнее наше свидание в Париже я очень хорошо понял, что это — если не размолвка, то разлука...». И разлука началась, но размолвки, и правда, должно быть, не было. Просто шли жизни — одна старческая, в Париже и Буживале, другая — полная молодости, силы, зреющего и сгорающего таланта — в Петербурге. Тургенев понимал свое положение. Жизнь подсказала ему способ действий единственно возможный, единственно и достойный: длительную, дружественно мечтательную переписку «без надежд и выводов». В *этом* был он силен всегда. За зиму 1880/81 года у него наладилась такая переписка с Савиной. Интересоваться ее успехами на сцене, ее здоровьем, нервами, получать письма, где иногда вставляет она ласковые выражения — вот его скромное питание. Мысленно расцеловать «умные руки», или «облобызать все пальчики вашей правой руки» — небогато, все же несколько украшает скудное бытие. Глубоких, важных о себе высказываний, как некогда графине Ламберт, здесь нет. Скорее похоже на письма к Виардо периода отдаленности, но в ослабленном виде.

К весне придумывает он очень разумную вещь: зовет ее летом навестить его в Спасском, куда, как обычно, собирается.

* * *

Савина у него на этот раз побывала, провела в Спасском несколько славных июльских дней. У Тургенева гостил Полонский с женой — старые, верные друзья, типа Анненкова, Маслова и Топорова. Присутствие Полонских облегчало положение Савиной, приезжавшей как бы в целую семью.

Гостье отвели комнату недалеко от тургеневского кабинета — из него отворялась маленькая дверь в коридорчик, ведущий туда. Окна выходили на север. Рядом «казино». Савина отдыхала, провела четыре очень приятных дня. На пруду для нее устроили нечто вроде купальни, каждое утро плавала она в спасских водах — была отличным пловцом и (не по-деревенски) купалась в костюме. Обедали на террасе. 16 июля вдруг налетела такая гроза с градом, что во время обеда посыпались стекла. Пришлось наспех все перетаскивать в столовую, самим спастись. Но

потом опять солнце засияло,— стояла благодать, жара. Дневные часы проводил Тургенев у себя в кабинете, а к вечеру, когда становилось прохладней, выходил на балкон и звал Савину.

— Ну, пожалуйста исповедываться!

«Исповеди» в том состояли, что Савина рассказывала о своей жизни, об актерских делах, наверно, и о сердечных. Это Тургеневу нравилось: очевидно, изображала она хорошо. Настолько нравилось, что однажды он даже ей подарил особую книжку, синюю с золотообрезанными страницами: велел туда записывать, чтобы не пропадало. А самые исповеди так иногда затягивались, что уж тоненький месяц появлялся над лохматой крышей сеного сарая, сыростью с пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи на лужайке. А в столовой шипит самовар. (Июльский вечер в России, светлый, благоуханный!)

И однажды хозяин разволновался, встал, повел в сумерках молодую свою гостью в кабинет и прочел маленькое стихотворение в прозе. Оно не было напечатано, и не могло быть: по крайней своей интимности, по слишком явному стону. В нем рассказывалась «долгая любовь, непонятая любовь в течение всей жизни». Было там и о том, что когда «он» умрет, «она» не придет на его могилу (что и сбылось вполне).

В прошлом году прощался Тургенев с Россией общественной, литературной. Теперь со Спасским, Орлом, Мценском. Было время, когда мальчиком он ловил птиц в этом парке, слушал торжественную мелодию милого Пунина. Ночью прокрадывался на свидание. Теперь последние вдыхал благоухания.

Другой день и вечер савинского пребывания тоже замечательны.

17 июля Полонские справляли годовщину свадьбы. Тургенев развеселился, устроил парадный обед с шампанским, сказал в честь их спич. На этом обеде (или, может быть, на другом, в том же роде), Савина разошлась, расшалилась и, вскочивши, бросилась к нему, обняла, так нежно поцеловала, что поцелуя этого он не позабыл уже никогда.

Вечером созвали баб и девок, угощали их, те пели, плясали, водили хоровод. Полонский играл на рояле. Савина ходуном ходила, даже сам Тургенев приплясывал.

Будем считать, что в тот же именно день, поздно вечером, прочел он гостям «Песнь торжествующей любви». Он написал ее в деревне, за месяц до приезда Савиной.

Пять лет тому назад был написан «Сон». Там есть загадочный черноглазый человек с арапом — смесью силы и колдовства взял он нелюбившую его женщину. Теперь двое друзей любят некую Валерию. Фабий на ней женится. Муций, музыкант,

уезжает на Восток — возвращается через четыре года с немым малайцем, изучив тайны магии и чародейства. И вот, колдовством (теперь одним лишь колдовством), овладевает он *нелюбящею* его Валерией. В первую ночь является ей во сне — во сне она и отдается ему. Во вторую тайными своими силами уводит ее из спальни мужа в павильон парка. Оба раза, отпуская ее, играет на скрипке Песнь торжествующей любви.

Повесть замечательна ощущением тягостного восточного колдовства. Нечто завораживающее есть в ней, гипнотическое. Но — торжествующей ли любви песнь? Слушая ее в тот вечер Спасского, понимала ли Савина, понимал ли Полонский и Жозефина Антоновна, что это скорее песнь *неразделенной* любви? Незачем прибегать ни к насилию, ни к чарам, когда тебя любят. Но если за долгую жизнь скопляется вглуби чувство томления — не оно ли толкает фантазию?

Вряд ли Савина, с ее умом, лишь недавно прослушавшая и то стихотворение в прозе, не понимала, в чем дело. Разумеется, промолчала об этом — как и Полонские не могли же говорить. Говорили о другом: о поэзии, красоте произведения — о чем авторам можно говорить. «Песнь торжествующей любви», правда, всем им понравилась очень. (Удивительнее то, что она и вообще «дошла» до публики: имела огромный успех.)

И еще позже, почти на рассвете, водил гостью Тургенев в парк слушать «голоса». Может быть, это было как бы продолжением чтения. Во всяком же случае, в ночном парке Тургенев как дома. Слушали они таинственные звуки — было жутко, но и хорошо. Он называл ей всех птиц, просыпавшихся перед рассветом. Их-то песни знал наизусть.

На другой день Савина уехала. Вскоре сообщила, из имения Сивы Пермской губернии, о своей помолвке с Никитою Всеволожским.

СУДЬБА

Еще летом, в Спасском, произошли с Тургеневым некие неприятные маленькие события. Например, расстроило его известие о холере в Брянске. (Холера — его бич с давних лет.) Как всегда, стало казаться, что у него самого что-то начинается. Он мрачнел, заводил разговоры о смерти. Даже анекдоты его переходили больше на холеру.

Невесело принял и птичку, вечером с упорством бившуюся в оконное стекло его комнаты. Пошел, в фуфайке, на половину Полонских. Яков Петрович собирался ложиться, Жозефина Ан-

тоновна писала письмо. Тургенев так разволновался, что пришлось Жозефине Антоновне идти с ним. Назад она вернулась, неся птичку, черноглазую, меньше воробья. Тургенев пытался обратить все это в пустяки (сказал: «Так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному») — но все же птичка прилетала слишком уж «по-тургеневски». (Вот и к Владимиру Соловьеву перед смертью прилетала!)

Не особенно тоже хорошо, что Полину укусила в лицо ядовитая муха, да такая, что и нос распух, и сама она чуть не слегла. Из Спасского в Буживаль (и обратно) полетели телеграммы. Тургенев едва не уехал. И обернись это более серьезно, улетел бы, несмотря ни на какую Савину. Но все оказалось не так страшно и он остался. Полонский уехал раньше, Жозефина Антоновна пробыла несколько дольше, и к концу августа тронулся сам Тургенев. Не знаю, как уезжал из Спасского. Что думал, что чувствовал, когда коляска везла его среди полей с крестцами овса на вокзал во Мценск: видел он эти крестцы в последний раз.

В октябре, как вычислял по цифрам года рождения, не умер. Чувствовал себя неплохо — и опять несколько по-другому, еще из Спасского писал Савиной в Сиву: «Чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской». При Виардо он несколько перестраивался, и душевно и даже внешне. Любил, например, нюхать табак, но «его дамы» не позволяли делать этого. Так что нюхал только в Спасском — в Буживале заменял табак какой-то солью.

Но и западная, французская шкурка была ему уже привычна. «Друг», «дедушка», некая тень семьи, некая и подавленность, робость. В Буживале — спокойная осень, довольно одинокая. (Виардо раньше перебрались в Париж.) Позже, на rue de Douai, обычные рулады учениц снизу, обычные собрания со знаменитыми иностранцами (но без русских), все те же *petits jeux*¹. (Поразительно, как люди вроде Тургенева, Ренана, Луи Виардо могли разыгрывать «загадки»: *ох-у-gène*² — каждый в слова свои должен был вставлять слог, а слушатели пусть разгадывают). В промежутках кто-нибудь сыграет на рояле. Остатками голоса Полина пропоет: «О, только тот, кто знал свиданья жажду...» А потом опять: то надо выбрать драпировки, то улаживать дела пришедшей дамы с мужем, то другой даме помогать в борьбе с должником, то доктора приглашать к Диди. Или — претерпевать за забытые на извозчике ноты.

¹ салонные игры (фр).

² кислород (фр).

За всем этим, подспудно, не очень-то на глазах Полины, переписка с Савиной — мечтания, фантазии (утешения слабого). Савина в Петербурге, играет в Александринском театре. Молодость, успех, поклонники (как сорок лет назад у Полины). Но переписывается с ней не «помещик, пишущий плохие стихи», а Иван Сергеевич Тургенев — всякому понятно, что это значит: «Милая Мария Гавриловна, как мне приятно получать от вас письма! Один вид вашего почерка меня радует... Очень мне жаль, что я вас не вижу — да и не увижу скоро — не раньше марта. Вот вы мечтаете, как бы хорошо было убежать потихоньку за границу; а я с своей стороны мечтаю — как было бы хорошо — проездить с вами вдвоем хотя с месяц,— да так, чтобы никто не знал, кто мы и где мы...

И ваша мечта — и моя так и останутся мечтами — без сомненья...»

Для этих мечтаний он выбирает место классическое: Италию, ни более, ни менее. И из Италии Венецию, или Рим. Пусть представит себе она такую картину: «Ходят по улицам, или катаются в гондоле — два чужестранца в дорожных платьях — один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий — но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами... положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и т. д., обедают вместе — вечером вдвоем в театре — а там... Там мое воображение почтительно останавливается... Оттого ли, что это надо таить... или оттого, что таить нечего?»

Таить-то, вероятно, было что. Но удивительно другое. Савина была невеста Всеволожского. Тургенев знал об этом. И все-таки воображение не останавливалось...

Тургеневские мечты не сбылись — настолько странны они, что и читать о них почти тягостно. Савина же за границу попала. Еще в ноябре 81-го года она почувствовала переутомление. Театр надрывал ее — слишком много приходилось выступать. И ей удалось вырваться, сначала в Киев, там несколько отдохнуть. Но этого оказалось мало. И в марте 82-го года она уезжает за границу — в Меран, затем в Верону. Ее сердечные дела довольно путанны. Она невеста Всеволожского, но нравится ей и Скобелев (известный генерал), продолжает она нежную игру с Тургеневым. Не особенное удовольствие доставляли ему эти Всеволожский и Скобелев, но к таким положениям он привычен. Все же временами пускает «шпильки»: «Ваше описание Мерана очень подробно и мило... но я не мог не улыбнуться — правда, про себя... Распространяясь насчет красот Мерана, вы нашли возможным даже словечком не упомянуть о том изуми-

тельном воине, который такое сильное произвел на вас впечатление — и ничего также не сказали о ваших матримониальных планах».

Дальше опять тон меняется. «Намерение ваше ехать в Италию — особенно во Флоренцию — одобряю вполне.— Я прожил во Флоренции, много, много лет тому назад (в 1858 году) десять прелестнейших дней; — она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание... а между тем, я был там один... Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)...». «Если вы попадете во Флоренцию,— поклонитесь ей от меня.— Я пронесил мимо ее чудес влюбленное... но беспредметно влюбленное сердце».

В конце марта Савина приехала в Париж. Тургенев встретил ее с парадною нежностью — принес чудесные букеты азалий. — Цветите,—сказал,— как они.

Савина собиралась лечиться. У него в это время тоже были волнения и беспокойства: заканчивалась печальная, неудачная семейная жизнь дочери, Полины Брюер. Муж разорил ее, стал пьянствовать, носился за ней с револьвером. Ей пришлось бежать, а отцу — прятать ее. Затем тяжело заболел Виардо («Мой старый приятель Виардо чуть не умер две недели тому назад — да и теперь не встает с постели»). Но все это ничего. Найдется время и для Савиной, и для забот о ней, ее лечении. Устраивает он ее у знаменитого Шарко, хлопочет, чтобы устранить врача, не нравящегося ей. Словом, Тургенев на высоте. А Савина, острым своим, умным и уже ревнивым взором окинула и Виардо, и особняк на rue de Douai, и верхние комнаты Тургенева — осталась недовольна. Ревность ее не от влюбленности, а от поклонения «звезде», «картине»: так же, как у других русских, видевших его в последние годы при Виардо. Что-то в нем вызывало, разумеется, глубокое сочувствие и эту ревность: вероятно, некий тон с ним Полины. Но это и преувеличивали. Все-таки, у Полины он жил барином. Занимал в верхнем этаже четыре комнаты, обедал внизу, для приемов совместных великолепный салон. В Буживале целый дом. Внешней оброшенности тоже не было. Что знаменитая пуговица оборвалась, когда к нему зашел Кони — не за всякую пуговицу ответственна и Виардо, надо быть справедливым. У Тургенева была прислуга, он не стеснен в средствах — за что угодно, только не за материальную, житейскую скудость, можно пожалеть старческие годы Тургенева. (С другой стороны; нелепы воспоминания дочери Полины, Луизы Эритт. Там получается, что Тургенева денежно поддерживали Виардо. Это, конечно, вздор. Было об-

ратное — Тургенев дал приданое Диди, когда та выходила замуж.)

Савина пожила в Париже сколько надо, полечилась и уехала в Петербург, увозя дружественную нежность к Тургеневу и неприязнь к Виардо. А Тургенев вступил в последний, самый страшный и мученический год своей жизни.

Мог он, юношей, погибнуть в пожаре на море, и не погиб. Всегда боялся холеры и от одного воображения захварывал. Боялся октября 81-го года — и напрасно. А когда в апреле 82-го появились у него «невралгические» боли, не обратил на них внимания. Боли и боли. Неприятно, но пустяк. Шарко определил *angine de poitrine*¹ «и не велел выходить из комнаты дней десять». И ни Тургенев, ни Шарко не подозревали всего ужаса положения. Ни невралгия, ни грудная жаба. Начинался рак спинного мозга.

* * *

«Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать, или сидеть смирно: так как не только при восхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах — делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди — а там является и затруднительность дыхания», — так писал он Жозефине Антоновне, и в том же письме звал ее с мужем в Спасское: пусть собираются, не дожидаясь его, он подъедет, как только сможет. Полонских, однако, взволновала его болезнь. Да и сам он, чем дальше шло время, серьезней о ней задумывался. Как больной «просвещенный», хотел знать все в точности, и Шарко пичкал его жалкими знаниями медицины тогдашней (не умевшей определять рака позвоночника).

Якову Петровичу, в конце апреля, он мог уже подробно расписать, какие бывают *angine pectoralis: essentialis*² — от той умирают, а вот у него другая — *cardialgia nervalis*³ — от этой не умирают. Но она затяжная, хроническая. Неизвестно, когда выздоровеешь. И от этой *nervalis* ему жгли плечо, как будто дело было в бедной коже тургеневской, а не в тайном страдании позвонка. Ходить он совсем не может. А когда прибавляется еще «междуреберная невралгия с правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидеть.

¹ грудная жаба, стенокардия (фр.).

² формы стенокардии: первичная... самостоятельная, без видимой причины (лат.).

³ кардиалгия (лат.).

В таком виде — недвижимого в карете — перевезли его в Буживаль. Думали: весна, природа, воздух оживят. Но в майском Буживале, при всех бабочках, цветах, при всем дыхании голубизны и света лишь острее он почувствовал, что дело плохо. Боли росли, становились невыносимыми. «Человек я похеренный,— пишет он Жозефине Антоновне, — хотя проскрипеть могу еще долго». Надежд на Спасское и встречу с ними мало. Тургенев рад, что Полонские согласились ехать в Спасское и без него (после долгих уговоров; Жозефина Антоновна собиралась даже в Париж, ухаживать за ним).

А о себе вот что: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Полонские прислали ему в письме цветы и листья Спасского сада. (Он просил «сиреневый цветок».) А в Буживале врачи приделали ему к плечу машинку, надавливавшую на ключицу — с ней как будто легче: мог сделать несколько шагов. Но как! «Всякая черепаха меня обгонит». Еще одно нововведение: по совету другого знаменитого врача, Жакку, стали его *лечить молоком!* За все хватается измученный человек: молоко так молоко. По двенадцати стаканов выпивал он в день бессмысленного пойла. А в промежутках вспрыскивали морфий, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургенев живет — даже достойно живет. Надежд нет, но нет и озлобления (при этом человек он неверующий). Скорее смирение. Муки и безнадежность смиряли. Он даже кое-что пишет. (Из «Стихотворений в прозе», начатых довольно давно, еще в 78-м году.) Охотно переписывается — тон писем ровный, тихий, может быть, становится и несколько «надземней» (хотя сообщает он о мелочах бытия, о болезни и т. п.). Савина обвенчалась, наконец, со своим Всеволожским. За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду.) Вот, например: «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, *что я тогда перечувствовала!*» (Может быть, и плакал Тургенев, читая это...) Случалось и так: мелькнет «добрая» фраза, и сама она позабудет о ней. Он, за тысячи верст, напомнит. («Не считая меня, обожающей без границ чудного Ивана Сергеевича...») — Он, в ответ: «Вы понимаете, что за такие слова надо по меньшей мере стать на колени. Одна беда: коли вы забыли эту фразу, стало быть, писали ее не совсем серьезно». Вот это действительно беда. Но не впервые так случается с Тургеневым. Бывало, он и Полине говорил, еще в Париже, до болезни: «А помните, мы

гостили тогда у Жорж Занд, еще Шопен играл, такая же туча стояла над садом, и дождь только что отшумел...» — «Где? У Жорж Занд? Ну, как это давно было. *Не помню*». Помнил-то всегда он. А женщины, кого любил — те забывали.

Чем объяснить, что молоко, все-таки, помогло ему? Июль, август шли легче. Даже надежды появились. Мог он немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нет, а надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго. Надо пить молоко да ждать. Он ждал с терпением. И написал в этот промежуток последнюю свою истинно замечательную вещь «Клару Милич».

В ней всегдашне-тургеневское — неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама не насытившаяся любовью. Находит ее в Аратове — ему единственно и может ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его — дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает не испытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит.

Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срослись на переносице. Над губой черные усики. Голос — контральто. Она неласкова, горда, властна (может быть, и у Полины над губой был пушок). Магнетический ее взор чувствует Аратов еще на музыкальном утре, где впервые ее видит. Она не очень нравится ему — именно тем, что и трагическое есть в ней, и от «леди Макбет». (Она поет, между прочим: «О, только тот, кто знал свиданья жажду...») Но вот именно ее и сразил скромный Аратов — и сам погиб.

Повесть окончил Тургенев в сентябре. Назвал «повестушкой», будто бы «кропал» ее (обычная его манера говорить о своих писаниях) — но понимал, что дело тут серьезное. Удивительно, как сильно он боролся! Литературу никак не хотелось отдавать. Для жизни, женщины, для любви он уже «устрица, приросшая к скале». Но не для литературы. Кончив «Клару», отбирает Стасюлевичу для «Вестника Европы» те «Стихотворения», где меньше личного. Переписывается с Топоровым насчет собрания сочинений — Глазунов издает их. Из России высылает ему Топоров том за томом корректуры. И несмотря на боль в лопатке перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь). «Записки охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы, рассказы — сорок лет бытия, лучшее, что было в нем. Отказаться от этого нельзя и на смертном ложе.

Осенью жил он в Буживале один. (Виардо рано переехали в Париж... погода была скверная.) Кажется, впрочем, не так огорчился одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону (врачу, русскому), свое положение — где боли, куда перемещаются, как желудок и пр. Радовался, что по ночам спит. И с легкой, горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного: прикладывать к больным местам сырую глину. (В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его невероятно — по 10—12 стаканов в день.) И окончательно смирился: т. е. уверился в безнадежности.

Программой *taхіmum* стало: не очень страдать. А там — устрица так устрица.

Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились — без морфия не мог спать. В январе (83-го года) ему сделали операцию — вырезали «из брюха... «прескверную сливу» — врачи называли ее «невром». Почти-точно повторяет он непонятное слово, думая, что, наконец, операция и поможет. Он ошибся. Надо или не надо было его резать — дело врачей. Операция прошла успешно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с этой операции «старая» его болезнь стала расти с силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление, с силами утроенными. Теперь не только плечо и лопатка — вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение: воспаление нервных оболочек, потому так и больно.

Последние томы проходят чрез его руки — VI, IX... Еще в феврале, в письме Григоровичу, он умно, тонко разбирает «Гуттаперчевого мальчика». Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть, следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности и т. п.

Но уже это последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал.

* * *

Весна, Буживаль. Каштаны распускаются; дрозды скачут в саду. Умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из *chalet* — в весеннем солнце издали может он поклониться праху странного своего «друга», при котором прожил сорок лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина

хоронила мужа без сантиментальностей. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, глядя на его гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную?

В мае он смог еще написать Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои — да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается — страдания постоянные, невыносимые — несмотря на великолепнейшую погоду — надежды никакой — жажда смерти все растет — и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».

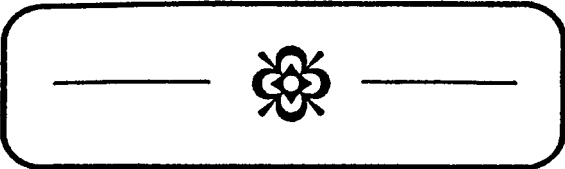
Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастью, ловил любовь и не догнал. Счастья не нашел, смерть встречал в муках: точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его мы не знаем. Мы только знаем, что это буживальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг — то казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась «леди Макбет».

А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал («которая пододвинулась к нему ближе, он вострепнулся»):

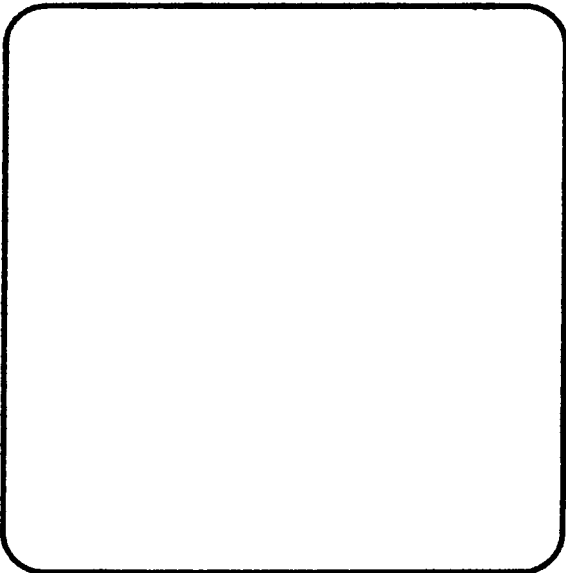
— Вот царица из цариц!

Умер он 22 августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.

Сохранилась фотография с него в гробу: действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был.



ЖУКОВСКИЙ



МИШЕНСКОЕ И ТУЛА

Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извилинами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги — светлая душа страны.

На полпути между Орлом и Калугою протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, с яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии — те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Бунину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный дом с флигелями, оранжереи, пруды, парк, роща дубовая. Недалеко сельская церковь — как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие пышные луга. Просторная, бессвязная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иваныч человек добрый и благородный, ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно просто: охота, водочка, развлечения деревенские. И слабость явная — по женской части.

Он женат на Марии Григорьевне Безобразовой. Нередкое

вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного и женщины, несущей бремя покорно и безответно, «подымающей» дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз, за короткое время, пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзанок и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь русские альманахи и журналы (какие названия! — «Приятное и полезное препровождение времени», «Распускающийся цветок», «Иппокрена, или утехи любословия»). Девицы же насыщаются и французским: «Новая Элоиза» Руссо, «Адель и Теодора» г-жи Жанлис, и в подобном роде — чувствительное и романтическое. Все с детства хорошо говорят по-французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества — то рекрутский набор, то продажа людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буниных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Иваныча, Валашка,— смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полудруг, полуслужащий, полуприживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, игравшей на фортепиано и «изрядно» певшей. Был и «управителем» богослужебного пения в доме и церкви. Этот Андрей Григорыч оказался не зря в доме Буниных. Да и русской литературе принес смиренный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иваныч полушутку: «Вот, идешь воевать, турок бить — ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе».

Война оказалась удачная. Все, что надо было забрали, что надо — сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу, при этом, перебили достаточно и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи — а было ей всего

шестнадцать лет — убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Иваныча; турчанки — собственность воителя. Но возвратившись в Мишенское с награбленным, турчанок передал он Афанасию Иванычу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном: Сальхи, молодой вдовы — «прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной» и бедной девочки Фатьмы, захиревшей и скоро умершей: Бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха же выжила. Ее сделали няней младших дочерей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно начала подниматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место — русские девушки-госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Иваныча было бы пропустить такую Сальху. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть, что и нравился. Все равно, если бы и нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком случае, так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Сопротивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле незаметно, так бы незаметно и прошла, если бы...

Одна за другой появлялись у ней девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно. Но вот 29 января 1783 года явился на свет Божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно по просьбе самого Бунина, Андрей Григорыч Жуковский, в это время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть воспитателем турецкого мальчика, крестной же матерью предлагал Варю Бунину — ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна со-

гласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее ею испытанное, была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод «греха» и обиды. Каков будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услышала. Маленький, новый, полупленный беззащитный человек... Сердце ее дрогнуло и открылось. «Безмолвно усыновила она его в своей душе».

Так все и вышло. Андрей Григорьевич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по-гречески: царь. Но по-русски звучит мягко, скорей женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреич Жуковский.

* * *

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иваныч вернулся в большой дом. Отношения их стали лучше — над чем-то поставлен крест. К Сальхе же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоговейное. Сальхою, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Варя Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругою детства Васи Жуковского, его «одноколыбельницей», как он потом выражался (маленьким он ложился иногда к ней в кровать, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо вившиеся от природы волосы, ранняя склонность

к мечтательности (несколько и рассеян) — светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный.

Выясниться это могло лишь позже. Про эти же младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и «мужественное», тоже довольно рано, в облике непривлекательном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из *портняжного заведения*, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учится он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горох), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость несвойственна. И Марья Григорьевна и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорыч пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры — с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону Божией Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу, и по-видимому удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены; крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила — у мальчика руки испачканы были мелом.

Андрей Григорыч очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая — есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с ним, отдельно от семьи, «на чердачке во флигеле». Почему вышло это — неясно. А как будто показывает, что не совсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорыча. Незаметно, бесшумно ушел он из жизни крестника. След же, конечно, оставил (благодарный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иваныч получил место в Туле. Туда переехали всей семьей, Мишенское осталось для лета. На учении мальчика это отозвалось тем, что его отдали в Туле в пансион Роде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Ивановича, в марте 1791 года. Не то, чтобы любил он его или был близок. Скорее наоборот — далек, да и неясно восьмилетнему мальчику, кто это, барин не барин, отец не отец — некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили — весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с «бабушкой» и полуплемянницей, «одноколыбельницей» Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм — первое пристанище души его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щеки. Аня достать не могла — он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки — кроме Ани — Дуня и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим «дядюшкой», который им довольно странно приходится, как бы и свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья же Григорьевна остается с частию внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

* * *

Варвара Афанасьевна Юшкова, «крестная», была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку — музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорьевиче Жуковском со скрипкою его и хоровым церковным пением.

В Туле размах оказался шире. Варвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась и сама она была направления передового — сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других того же духа. Интересовалась она и текущею литературой альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрывшемся, а в народном тульском училище.

Старший учитель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший, (сотрудничал в «Полезном и приятном препровождении времени» под псевдонимом «Философ горы Алаунской»), не приручил мальчика к науке и вообще его не понял. «Я помню,— писал старый Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой,— как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприязни».

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок своеобразный, со своими вкусами. А ему вдалбливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего не вышло, училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да и еще многому другому.

Главное же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского — сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл, или Освобожденный Рим», которую и поставил сам, к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер — играет Камилла. Девочки в белых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления — столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плошечки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес — простыня. Кулисы и декорации — мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце с лентами. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской,

но тут обращалась в царицу. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. «Познай во мне,— говорит она,— Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» «О боги, Олимпия, что сделала ты? — восклицает Камилл.— За Рим вкусила смерть!» И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор — как и многие молодые авторы — сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько же это интереснее, чем зубрить правила арифметики у философа горы Алаунской!

Выбирается произведение еще более подходящее (по духу чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернарден де С. Пьера «Павел и Виргиния». Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу «Г-жа де ла Тур». Теперь уж он опытный режиссер, труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но театр вещь коварная. Не все знаешь заранее, подымая занавес — оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплеховали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился десерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась ли Варвара Афанасьевна — был ли десерт слишком вкусен, обилен? Слишком ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? — Летописец сообщает кратко: «Актеры вышли из ролей и представление расстроилось», — разумеется, к ужасу будущего романтика занялись больше десертом, чем искусством. И насколько «Камилл» прошумел, настолько провалилась «Г-жа де ла Тур». Автор был очень недоволен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в себе. С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек («девический ареопаг», будто бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.

* * *

Может быть, частью плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полуматерински), все-таки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это

еще не имеет значения, но вот время идет, он уже автор «Камилла», вопрос должен вставать — и перед ним, и перед девочками. Кто же этот Вася Жуковский, полубратец, полудядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину-старому. Все же отрок, чья мать турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полуприслуга, полурабыня, отец же незаконный — такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковского это было труднее, в нравственном же полезнее: удаляло от кичливости, высокомерия, барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все же сидел помещик, «дворянин», от которого надо было освободиться (Пушкина — смерть и страдания ее освобождали). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененном в быту крепостничества. Не приходилось ни знатности, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из «интеллигентов» российской литературы.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась «госпожа» — он ее звал всегда: бабушка.)

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк — в нем некогда служил и Афанасий Иванович. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое-какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел Императрицу Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребяческие, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет: «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна», спрашивает о ее здоровье, говорит о своем («здоров и весел»). Описывает и свою жизнь: «Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками». (Дар располагать к себе был щедро ему дан — с ранних лет.)

«Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».

Подписывается он: «Навсегда ваш послушный сын Васинька».

В другом письме сообщает, что у них был «граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я тоже пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович».

От родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: «У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей... Всегда ваш послушный сын Васинька».

Правда, что развлечения больше в пальбе, но очевидно драматург и режиссер тульский не очень и требователен, мир же перед ним открывающийся вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол взшел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез «Васиньку» обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому — не ружейным приемам и не арифметике философа Алаунского.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАНСИОН

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор Университета Московского, основал при нем Благородный Пансион — нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, Пансион обосновался между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель — квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управлял «директор Университета» Тургенев и инспектор Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целью не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и «друга человечества».

Удивительно обучение этого Пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от закона Божия до наук военных. Но главное — литература, история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки —

русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом Пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем же — дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым был потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино де Фельтре, известный педагог, создал свою Casa Diofosa¹, учебное заведение, проникнутое духом гуманности и свободы — оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский Пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало. Среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а «бабушка». Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала никогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а «Васиньку» вести как сына.

Обещание выполнила. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по 2500 рублей, так что к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все же свои средства. Главное же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный Пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер Пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие учителя, товарищи любопытные, благочестие, литература и искусства... — можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иваныч ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из Народного Училища, но вот теперь все оборачивается по-иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе («словесное отделение» Пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурой его — поэзией.

Прокопович-Антонский, благожелательный масон, был первым председателем Общества любителей российской словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу Пансиона, а распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, уса-

¹ Радостный дом (*um*)

живали гостей и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников — литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор «Камилла» заявил себя сразу, и в 1799 году, при первом же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы — Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать — ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский помещик Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской Академии 18 мая 1799 года.)

«Председатель В. А. Жуковский» (ему шестнадцать лет) «открыл заседание речью «О начале обществ, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Потом читали стихи воспитанника Лихачева «Ручеек» — передали на отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина «Россу по взятии Измаила».

...«Председатель В. А. Жуковский назначил очередного оратора, чем и кончилось заседание».

* * *

Жуковского времен Пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень милым и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В Пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь день с большой точностью, до 9 вечера, когда «после ужина и молитвы» предписано «спать

ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в Пансионе «благопристойно»: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно — как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность, и фантазию — все учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мишенском, находился он здесь в не совсем естественном положении. Товарищи его — вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это — старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопросы материального для этих юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков, денег карманных у него мало. В этом он один из последних в Пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастью, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого Пансиона.

Духовная же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели», Додслея. «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».

Жуковский читал, значит, и сам, и другим, мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это — хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моря, красота лугов, гром и т. п. — все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что

именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души.

* * *

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Под-облачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупно-зернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путанно, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некоторый Синай, перед которым он благоговееет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатерининское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза от-ходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог сесте вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и, созерцая заход солнца, вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души — на Западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса — к великому космосу сердца — уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду свою «Благоденствие России» он читал в Пансионе в 1797 году — ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне — из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие («Зиять престали жерла медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос этот еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а

С улыбкой ангельской, прелестной,
В венце, сплетенном из оливо,
Нисшел из горних стран эфира
Сын неба, животворный мир.

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того же года, мотив и иной, совсем уж духа интимного. По форме — первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».

Бело-румяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черные ночи.

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки выются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему Творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) — но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

Жизнь, друг мой, бездна,
Слез и страданий.
Счастлив стократ,
Тот, кто, достигнув
Мирного берега,
Вечным спит сном.

В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в Пансионе на собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полуребенке легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» — стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу средь множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно...» и т. п. — но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

Тогда останутся нетленны
Одни лишь лобрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть,
Мы живы в самом гробе будем...

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

* * *

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» — там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного Пансиона. Жуковский, глава и председатель собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного Унив. Пансиона воспитанник Вас. Ж.») — все же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В Пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское — там гость и брат дорогой для всей юной женской части населения. Девушки Юшковы и Вельяминовы обожали его — десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов братьев Киреевских, писала ему в Пансион, называя «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодоушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де Сен-Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот же Пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора Университета, Ивана Петровича Тургенева, бывал Жуковский запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкой по четыре пьесы вдруг». Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в Пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом Университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром — это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистой и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от дилетанта в нем, но доброта и очарование огромные. Этот — на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг дерева — так вместе и прожили, с пансионских времен.

Через тот же Пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда же и знакомство с Дмитриевым — тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем — главнейшим в мастерстве стиха, а Карамзина «евангелистом» — этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1800 году Жуковский блестяще окончил Пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из Пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

ПОЭТ

Александра, Андрея Тургенева, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение — сразу в «архивные юноши», Министерство Иностранных дел (тогда называлось: Иностранная коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, сановничеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.

У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в «Контору Соляных дел», на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя Долгорукова, который имел уже о нем представление, как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользнула бесследно. Позже он заметил о ней кратко:

«...Я вошел в главную дурацкую Соляную контору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802». Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как приготовление, даже плодотворна. «Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью,— пишет ему Тургенев,— уединение, независимость, легкая служба... Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце — жар поэзии!»

Вне канцелярии — под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское Литературное Общество. Его столпы — Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские, и воспитанники Благородного Пансиона. Получился целый кружок — кроме главарей — братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем-то, до времени, их юное прекраснодушие обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 годов устраивались пирушки сочленов Общества — собрания, их участникам запомнившиеся по-хорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они

С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали

Все это — в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи к чему-то стремящейся, ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском Обществе от Андрея Тургенева получает он впервые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него доходившей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.

Здесь же крепнет культ дружбы — тоже для него сила огромная.

Но все это кратко. Жизнь их разводит. Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайсаров за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили «с душою прямо геттингенской». Там будут они насыщаться

германской наукой и входит в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому же неуютно в Москве, в Соляной конторе, без Дружеского Литературного Общества, с одним князем Долгоруковым и его снисходительным поощрением. До какой-то минуты все это терпится. Но для юноши «с демоном», как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы — в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гердера, Лессинга, да много другого, французского еще вроде Флориана, Жанлис — и в апреле 1802 года, по просыхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе — домой, в Мишенское. Что будет дальше, неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии.

В Мишенском многое переменялось. Старого Афанасия Ивановича давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая «бабушка». Девочки же полуплемянницы (Юшковы, Вельяминовы), стали девушками, чувствительными, изящными. Как и матери их, они образованны и начитанны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец — в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла же сбегать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых «поселян», захватив с собой Библию и Руссо: ненадолго, разумеется.)

Мишенское для «Базиля» не дурацкая Соляная контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распушенность быта мишенского — стиль Афанасия Ивановича отошел. Никаких псарей, выпивок, походов. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим — тем и живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного Пансиона читает им вслух. Как и тогда новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базиля. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому-нибудь Гремучему ключу, «сочиняет» стихи, есть даже «холм» его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.

Демон не зря уводил его из Конторы Соляных дел. Наступал час прорыва плотины — жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном Пансионе, оды на актах — это все еще полудетское. Роковое лишь начинается.

Оно состоит в том, что наконец силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно, как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, создавшийся облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С «этого» начинается Жуковский, остающийся в литературе.

Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала своего чужое — элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила — подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в не своем свое выразил.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою,
Шумящие стада толпятся над рекою,
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный.

Как будто и прежнее, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное кольхание стихов и все овеяно меланхолией чистой и прекраснодушною. На деревенском кладбище спят «поселяне», люди безвестные, но может быть и неведомые гении, так и ушедшие, не проявив себя — как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно бродящий и близ реки и близ ивы:

Он кроток сердцем был, чувствителен душою...

Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтательными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, «проливал слезы» — и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот «холм» — Парнас.

Однажды Базиль и принес с Парнаса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве «Вестник Европы», первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин — старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже «чувствительный». Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился...

Тут Базиль не мог бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девическая его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI книжке «Вестника Европы», на обложке его розовой стояло: «Сельское кладбище».

Подпись полная — уже не «воспитанник Благородного Пансиона», а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.

Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства — признан, как же не радоваться.

Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из «Сельского кладбища», как образцовый.

* * *

Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева, из легких строк молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским — Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот — вздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?

Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.

Но и собственная жизнь отзывалась. Нельзя думать, что уж так идиллически-ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но, видимо, недостаточно. Как-то с прохладцею, может быть, и снисхождением. Ему же хотелось большего.

В дневнике его, 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».

«Не был любим никем» — это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его

полулюбить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Буниными и оказалась связанной?

С матерью не совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания, не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. «Самое общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи».

Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет ему отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже сесть не может — вечное напоминанье о неправомерности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя — ранило молодое самолюбие.

Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность, все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба — все так остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно предощущает уж горести, бездны, величие бытия. Бытие же само предлагает примеры грозных своих дел.

В грусти «Сельского кладбища» многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской — все как будто раскрыто перед ним в жизни — двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. («Распотевши, поел мороженого» и через четыре дня скончался.)

«Дружба есть добродетель», — говорил Жуковский — опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснородные молодые люди, допушкинские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 году Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда, Кайсаров «обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал». Он обнимает его и *целует руки*. Тот тоже плачет и целует

Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец, Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург.)

Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно сознавался им обоим, что к Андрею у него чувство выше, глубже, необыкновеннее... «Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством... Ему подавал руку с особенным, приятным чувством». Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильнее. Заражает энтузиазмом своим, любовью к литературе, возвышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей — проживи он дольше — мог быть и в дальнейшем его «руководцем».

И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург — как же ответить на вечную разлуку?

О горе Жуковского знало, конечно, опять Мишенское, берега Оки, холм Парнас и милые девушки. Поэзия наша узнала в стихотворении «На смерть Андрея Тургенева».

В сем мире без тебя, с душою, благ лишенной,
Я буду странствовать, как в чуждой стороне...

Без друга для него жизнь не жизнь. Встретятся они «во гробе». Он ждет этой минуты, как счастья.

Надежда сладкая, прелестно ожиданье!
С каким веселием я буду умирать!

Жуковскому было всего двадцать лет, когда написались эти стихи, не лучшие у него. Последняя строка вызывает улыбку, но и сочувствие. Так ли уж, правда, приятно умирать, даже для свидания с другом, юноше, ничего еще по-настоящему не испытывавшему? Когда Жуковский — еще «весь впереди», с назначением узнать и славу, и любовь, и горе, и разлуку — писал простодушный свой стих, был он, конечно, правдив — как поэт. А большего ведь нельзя и требовать. Жизненно это значения не имеет.

Кое-что он мечтал сделать для памяти Андрея: издать его письма, которые всюду возил с собой, перечитывая в Белеве; хотел написать краткую историю его жизни. Предлагал отцу посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду — он должен был напоминать им «любознейшего человека», соединял бы всех в общем чувстве. Хорошо бы, если бы они все в этот день думали и делали одно. (О церковном поминовении Андрея не упоминается. Религиозность Базиля была еще слишком туманной и от церкви далекой. То, что заупокойная литургия или даже панихида луч-

ше соединяла бы друзей в общем чувстве, ему не приходит в голову.)

Думал и поставить Андрею памятник, на что Мерзляков, живший тогда в Москве, возражал, что лучше пусть будут они сами «могилами живому, вечно живому духу нашего друга».

В писании Жуковского незабвенность Андрея сохраняется — трогательная и преданная. Через шестнадцать лет — в стихотворении «Надгробие». Через сорок пять, на закате его самого, в полных любви строках прозы: воспоминание о кроткой, непритворной и доброжелательной душе друга, об остроте его ума, в которой ничего не было ранящего, способного кого-нибудь обидеть в беседе, ибо соединялась она с «нежностью сердечною».

Андрей был крепче, властней и сильнее, чем изображает его здесь Жуковский. Что-то он дал ему от себя. Это не умаляет любви, сохранившейся до полувека.

* * *

«Вадим Новгородский» — первый опыт Жуковского в художественной прозе. Вещь неоконченная, напечатан в «Вестнике Европы» 1803 года, с простодушным примечанием Карамзина: «Молодой автор этой пьесы и *мой приятель*, г. Жуковский, известен читателям «Вестника Европы» по Греевой элегии, им переведенной».

Не приходится скорбеть, что «Вадим» незакончен. Повесть — не мир Жуковского. Он лишен здесь главной своей прелести — воздушно-музыкального стиха. Остаются «чувствительность» и сладостность, вполне карамзинские. Карамзину должно было это нравиться. Сейчас отрывок интересен только как летопись души: введение к нему опять отзвук смерти Андрея. («Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами — но тень твоя надо мной...») и т. д.)

Это все та же, меланхолически-мечтательная линия жизни внутренней. Она сильна и бесспорна в юном Жуковском, но не одна в нем. Никак нельзя представлять его себе *только* томным певцом, героем-поэтом «Сельского кладбища», скитающимся непрестанно у «светлых вод» и развесистых ив, оплакивая себя и погибших друзей. В нем была и другая сторона. Он любил жизненность, порядок, деятельность — но разумную, недаром плохо учился в детстве и хорошо в Благородном Пансионе. Он и в Мишенском в эти годы много работал, читал, учился, переводил, сам писал.

В Москве живет Мерзляков, приятель по Дружескому литературному обществу, старше его лет на пять, уже бакалавр и преподаватель в университете. Из мишенско-белевского уединения Жуковский с ним переписывается. Мерзляков трезвый, даже не без едкости, практический человек, в литературе склонный к классицизму, с романтизмом Жуковского не мирившийся, все же принадлежавший к кругу Андрея Тургенева. Переписка живая, бодрая, есть в ней струйка, связанная и с Андреем, но вообще она очень *жизненна*: Мерзляков занят литературными делами Жуковского. Устраивает ему переводы, торгуется с издателями, зовет в Москву — «Вестник Европы» лишается Карамзина, надо работать там. Видно, что дела материальные весьма занимают Жуковского — иначе и быть не могло, хоть и в Мишенском, все же он должен жить, имея свой заработок. Для него, разумеется, важно, даст ли Зеленников за «Ильдигерду» пять рублей за лист, или больше. Правда, что занимаясь с учениками, Мерзляков представляет себе Жуковского под Белевом в виде Анакреона или Овидия, но Анакреону (на которого, кстати, Жуковский совсем похож не был) на что-то существовать надо, и он трудится неустанно. Кроме Шписа и Коцебу, («Мальчик у ручья», вышедший в 1801 году), над которыми работал и раньше, переводит — несколько позже — «Дон Кихота» в перепечатке Флориана. Этот труд уж обширный. В 1804—1806 годах «Дон Кихот» вышел в шести небольших томах. Стихи романсов и песен в нем переданы очень легко и гармонично.

В это, как раз, время ездит он летом к Карамзину, гостит у него подолгу в подмосковном Кунцеве со знаменитыми его дубами, лесами, папоротниками — перед Карамзиным благоговеет, это старший брат, друг и наставник. Мерзляков зовет его к себе в деревню, тоже гостить. Жуковский отговаривается неотложностью занятий. Но обещает все-таки приехать — тут и выясняется, что Жуковский строит себе в Белеве домик.

Это кажется неожиданным. Меланхолические певцы, будто бы, думают только о том, с каким веселием станут они умирать. Оказывается, не совсем так. Они строят и дома.

Со стороны внешней постройка белевская дело рук Марьи Григорьевны Буниной. Она настояла на том, в свое время, чтобы у «Васиньки» оказалась к совершеннолетию хоть небольшая, все же *своя* сумма денег. Со стороны внутренней — очевидно, Жуковский хотел именно своего угла *вполне*, где бы мать не была ключницей Буниных, а он был бы полным хозяином. Поэтому и начал постройку в Белеве, на Казачьей улице. С берега Оки открывался там чудесный вид на реку, луга, окрестности. Все так выбрано, чтобы нравилось поэту. Но поэт,

на время становясь строителем, вполне мог интересоваться и тем, сколько стоит какой-нибудь тес на крышу, где дешевле достать стекло. Летом 1804 года дом еще не готов. «Нам не надо,— пишет ему Мерзляков,— твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши». (Мерзляков так писал, но в конце концов ни он, ни Воейков, у которого он жил тогда в Рязани, в белевскую «палатку» не приехали.)

Жуковский же, наблюдая за постройкой, продолжал и писать. Он еще совсем одинок, единственная любовь его — Муза. Ей он и отдается. Молод, но чувствует, что дело серьезное. 1804 год заканчивается большим стихотворением «К поэзии».

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь,
О прелесть тихая, души очарованье,
Поэзия!

По словесному одеянию предвещает кое-что здесь Пушкина. По содержанию это гимн искусству вольному, независимому, вознесение поэта на ту же высоту, куда и Пушкин его поставит. Это отчасти программно. Вроде и обета поэтического.

Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой,
Презревши роскоши утех,
Пойдем великих по следам.

Независимым поэт *обязан* быть, он возжигает сердца, славит героя, украшает бытие, громит «жестоких и развратных». Награда — слава в потомстве. Дается же эта слава и свобода бедностию. Оттого и презирает он «роскоши утех». Оттого в Белеве нужен ему не дворец, а домик.

С ПРОТАСОВЫМИ

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможи в Кяхте — и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридевять земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка

подростающая не видела связи отца с Сальхою и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибири совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой. Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещицкого, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет света и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность...

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских делях, близ Китая, русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан-Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни своей была она религиозна церковно. Но, конечно, «религия души» в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась «Новая Элоиза». Это была главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника кяхтинской таможни. Знала ее чуть ли не наизусть — рядом с ней и «Адель и Теодору» Жанлис. Видимо, много и в одиночестве думала, видела жизнь сестры незадачливую — и слагалась в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколько и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сделает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помирилась, Афанасий Иваныч жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут-то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетушки, называл на вы — «Екатерина Афанасьевна». Она его — ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, Орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдалила ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд ли ей был близок — Андрей Иваныч любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды предводительские, открытый дом... — так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, а в действительности разоряясь и

залезая в долги — этого у предводителя могло и не быть. К несчастью для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Ивановича как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, разорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805), она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселямросло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьевна все приняла. Долги — так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать имения. Скоро осталось одно Муратово Орловской губернии. Но там не было господского дома — жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но по-видимому от своих она отошла сильно — да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшой дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем — религии, нравственности — выработался характер цельный, не без власти. Он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полумонашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня — этого нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает — отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны — две-три бочки с водой да какая-нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», — заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской

полиции.— «У меня нет людей». — «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но видимо не оказался расторопным. Считал ли он это ненужным, робел ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

* * *

Молодой, «появившийся» поэт Жуковский был еще появлявшимся человеком Жуковским. Он еще только слагался. Много было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших — вековечные вопросы мучают, и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере — все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные проявились у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном Пансионе. Далее — переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье — в вере в бессмертие». Это для юноши Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако, если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?»

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе... — это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительнее простой умственной философии; не только хочу; испытаю и увижу». А пока что — колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления

жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия». Это в теории. А в действительности, с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами». Так что закваска его христианская была кое-чем и отравлена.

Но вот дружба цельна, трещин в ней никаких. В дружбе — стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко — Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится и работать дома не хочется — все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 году М. Е. Свечиной — типа *amitié amoureuse*¹ — не в счет.) Никаких Лаис, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодоушием и нежностью, желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. «Спокойная, невинная жизнь». Занятия литературой. Любопытно еще в программе — и характерно для всего Жуковского: «удовольствие некоторых умеренных благодетелей» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был — в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы.

¹ Любовная дружба, дружеская любовь (*фр.*).

Это же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви и женщине, и семье — возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходяще. А сердцу пора уже было изливаться.

* * *

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разорение Андрея Иваныча было не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния — нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего — бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта — жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытей сестры, шаловливей. Везде, где проносится, — смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы — последнее даже лобит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское времен старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно — учитель есть, совсем рядом, свой же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт — уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уж готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его, Елизавета Дементьевна. Ему же удобнее было в Мишенском, из Мишенского он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть в шляпе широко-

полой, из-под которой кольцами вьются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве — там ждет строгая маменька и две тоненькие девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают же и не скучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя-юноши, юноши-поэта, который на полах плаща своего приносил в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел, и души русской — чтобы приход этот не был праздником. Это не пальцы, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры — прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в ученические тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы — нечто от своего Благородного Пансиона внес в белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При том некоторая система (для «романтика» этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, риторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подросли) — сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гете, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Кребильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афанасьевна. Частью это был надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушек, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал неблестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен и они им довольны, но о чем Машенька мечтала, оставаясь одна, ложась спать, или в звездную ночь глядя из окна девичьей своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел, в летнем сумраке Базиль со своею поэзией — этого мать не знала. Знала подушка, может быть немного сестра Саша. Но все это еще так неясно, и томно, и обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем-то эта скромная Маша — полевая кашка — предвляла и Таню Ларину, и Лизу Калитину.

В том же роде и чувства Базиля, чем дальше, тем больше.

Вот он сам говорит — ему слово: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве».

Вряд ли, записывая, угадывал, что будет для него этот «ребенок», с которым, когда вырастет она, мог бы быть счастлив — о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уж думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как мысли о ней будут оживлять его и «веселить» во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому — и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостью вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный — басни: Флориана, Лафонтена. Усердно переводит их, печатает в том же «Вестнике Европы», где появилось «Сельское кладбище». Это — скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей», нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того, что в ней особенно высоко: дружбы. («И где же вы, друзья?..») Это — мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приокского пейзажа, как бы и пропетого.

Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!..

Тихая эта гармония проникает всю элегию — «как тихо веянье зефира по водам» — может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого друга Лизы с подругою в «Пиковой даме» взяты отсюда:

Уж вечер.. облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает..

«Легковзвонность» Жуковского принимает здесь оттенок зеркально-прозрачный, отблеск солнца вечеряющего лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность.

Не для «внешней» литературы еще один слой писания его, отныне долго он будет сопутствовать, потаенно, по разным записочкам и альбомам, явному ходу поэзии. Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16 января,

альбом стихов. В середине заглавного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: «Памятник прямой дружбы». И затем, на обороте листа, четверостишие:

Мой друг бесценный, будь спокойна!
Да будущего мрак тебя не устроит!
Душа твоя чиста! ты счастья достойна!
Тебя Всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковывавшей. Знала ли об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд ли могла бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все же возжигание чувств в полуробенке. А оно продолжается. Того же октября 1806 года и другое стихотворение, ею же вдохновленное («Младенцем быть душою...»), полное того же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче. («М. при подарке книги».)

На Новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей ищет
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!

Какое может быть уж тут сомнение? Маше скоро пятнадцать. Своего полудядю-наставника знает она слишком хорошо — иначе, как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи, он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

«L'Amor che muove il Sole e l'altre stelle»¹ — любовь, все движущая и его вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы знала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских краев предстояло удалиться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше оставаться. И уехал в Москву.

ДЕЯТЕЛЬ

В конце 1803 года Карамзин отошел от «Вестника Европы» — взялся за «Историю Государства Российского». Журнал передали Панкратию Сумарокову. Тот вел его неудачно. Каче-

¹ «Любовь, что движет солнце и светила» (*ut*). Последняя строка «Божественной Комедии» Данте.

новский, несколько позже, так же не преуспел. Стало ясно, что если не принять решительных мер, дело погибнет. Вспомнили о деревенском Жуковском. И обратились к нему, как к надежде литературы российской.

Шаг оказался правильным. Для Жуковского «Вестник Европы» был колыбелью. Равнодушным к нему он не мог быть. С другой стороны — для молодого поэта предложение лестно, возбуждает, дает выход и силам, и самолюбию. (А сил было достаточно.)

В Москве поселился он, по-видимому, вновь у Прокоповича-Антонского, в доме Шаблыкина по Вражскому переулку, в комнатке белого флигеля.

Началась полоса некоторого кипения — молодому выдвинувшемуся автору на первых порах всегда интересно быть редактором, кого-то привлекать, кого-то отдалять, создавать друзей, врагов, чувствовать, что его труд нужен, даже срочен, если иногда утомителен, то и направлен к цели высокой, настоящей. Есть и ответственность, и сознание власти.

Жуковский взялся горячо. Его призвали поднять журнал, он и подымал. В 1808 году «Вестник Европы» вышел уже за его подписью. В «Письме из уезда» он дает как бы программу, свое отношение к журналистике. Оно очень серьезно и даже возвышенно. Чтение должно быть интересным, но и что-то давать. Это не просто забава. Цель журнала *осведомлять* и питать. Надо печатать произведения поэзии, своей и чужеземной, повести и романы, но серьезные, а не «ужасные» или «забавные». Философия, вопросы морали, осведомление о всем движении идей в мире, новейших открытиях («действующих на благо общества» — о разрушительных не было еще речи). «Журналист описывает новейшие и самые важные случаи мира» — служит связью с самыми отдаленными краями земли. Но только не занимается политикой. Критики тоже немного: нужно творчество положительное, не разложение (вполне Жуковский, утвердитель, а не подкапыватель). И на самое звание писателя взгляд соответственный: «Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать за собой других — вот благородное назначение писателя».

Непреренно стремиться самому к истинному и прекрасному! Задача роста, самовоспитания, самоусовершенствования. Путь в сущности религиозный. Зачаток линии Гоголя, не Пушкина.

1808 год наполнен писанием и деятельностью. Это не угашает тяготений белевско-мишенских. Маша осталась в глуши. Жить ему можно в доме Шаблыкина, а глубокою и потаенною — не

важнейшею ли — частью души находиться в белевском домике Екатерины Афанасьевны. Расстояние лишь обостряет. Маша главенствует — теперь и проза Жуковского ею проникнута. Вот ей исполнилось пятнадцать лет. Во второй книжке «Вестника Европы», вышедшей в это время, помещена повесть Жуковского «Три сестры», с подзаголовком: «Видение Минваны». Минване тоже пятнадцать лет. В день рождения своего она выходит на прогулку к реке и роще сентиментального пейзажа и там встречает трех таинственных дев, Вчера, Нынче, Завтра — от старшей, Вчера, выслушивает нежно-философические наставления, вполне отдающие молодым редактором «Вестника Европы». А затем девы, показав ей смысл прошедшего, настоящего, будущего, так же мгновенно исчезают, как явились. В «Трех поясах» — она же Людмила, скромная и незаметная, но обаятельная — берет верх над сестрами, она, цветочек «маткина-душка», становится невестой киевского князя Святослава. Ей и стихи в этой повести:

Роза, весенний цвет...

(гордая роза опалена солнцем, а маткина-душка процвела).

И «Марьяна Роща» с нежным певцом Усладом, грозным Рогдаем — и тут уже прямо Марией — внутренне устремлена к непрославленному городку Белеву (хотя действие происходит на берегу Москва-реки.) Повесть печальна. Рогдай убивает Марию из ревности, любовь ее и певца Услада перенесена в вечность, за гроб. В здешней жизни она не осуществилась.

Проза всех этих произведений не подымается над карамзинским «сладостным» повествованием. В литературе место ее малое. Это лишь история сердца.

Но стихи той же полосы, тою же любовью прямо или косвенно вдохновленные, украшают вполне «Вестник Европы». Сохраняются прочно и в словесности нашей. Кто кроме Жуковского мог написать такую «Песнь» («Мой друг, хранитель ангел мой...») — некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный, всю жизнь потом волновавший его (да и ее):

Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной.
.....
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

Любовь есть восторг, но и горечь: не зря он начинал под

знаком меланхолии. Вот послание «К Нине». Смерть — уносит ли с собою и любовь? Все ли мгновенно, погибает?

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?

В словах как бы и утешение:

О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вещает, для нежной любви.

Но тон послания остро-возбужденный, взошедший на вечной печали расставания с любимой.

Мой друг, не страшися минуты конца..
.....
Я буду игрою небесные арфы
Последнюю муку твою услаждать...

Смерть бродит около. От нее надо закрыться, ее преодолеть. «К Филалету» (Послание Ал. Тургеневу) меланхолией напое-но уже вполне. Есть в нем глухой намек на судьбу собственной любви («...И невозвратное надежд уничтоженье»). Даже отдать жизнь свою за счастье близкого существа не дано: не говоря уже о счастливом завершении любви.

(Жуковский мог только еще мечтать о браке. Ничего выяснено не было, но висела угроза: родство. Маша — дочь его сводной сестры, полуплемянница. Может ли стать женою? Благословит ли на это мать?)

Все было еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве. Среди чтения рукописей и корректур, треволений и восторгов сердечных идет медленная внутренняя перестройка по части литературной. Основная и давняя его закваска — французская. На ней взошел он. Но уже Андрей Тургенев кое-что заронил: есть и германская литература. В 1806 году просит Жуковский (Александра Тургенева) прислать «что-нибудь хорошее из немецкой философии», «она больше возбуждает энтузиазм». Гете и Шиллера знает он довольно давно, но доходят они неторопливо, как и язык немецкий. (Первый перевод его из Шиллера «Тоска по милом» — 1807 год — говорит о неполном владении языком.)

В «Вестнике Европъ» он дает все еще много места французской литературе. Печатает Шатобриана (путешествие в Грецию, Иерусалим), Жанлис, Шанфора. Как критик находится во власти Лагарпа, хотя уже и Лессинга знает. Но Германия выдвигается — для его же собственной славы и успехов. В 1808

году напечатал он балладу «Людмила», переделку бюргеровой «Леноры»: начало поэзии «чертей и ведьм». К его миру сердечному эта вещь отношения не имеет — писание чисто литературное. Бюргера ставит он еще в это время рядом с Шиллером. В гробовой и могильной балладе что-то его задело, он воодушевился, применил все к славянскому миру, соответственно облику своему кое-что и смягчил, во всяком случае, написал остро и возбужденно. Можно так или иначе относиться к «Людмиле», но считать ее вялой нельзя. В ней есть неприкрытая обветшалость, но под ветхими декорациями жива острота самого созидания. Написавший ее писал рьяно. И как с Жуковским часто случалось, менее удержавшееся в потомстве более шумело при жизни. «Людмила», конечно, имела успех: ярко, эффектно, ночная скачка с женихом-мертвецом, церковь, петухи, вместо свадьбы могила и брачное ложе со скелетом — читателям нравилось. Но во всяком случае хорошо было то, что Жуковский, хоть и через Бюргера, несколько аляповатого, подходил к германской поэзии, где для души его нашлась истинная родина. Скоро появятся уж и Гете, Шиллер, среди всего этого один лишь француз — Мильвуа с «Песнью араба над могилою коня». Здесь блеснул Жуковский двустилишем-рефреном:

Сей друг, кого и ветер в полях не обгонял,
Он спит, на зыбкой одр песков пустынных пал...

— шестистопный ямб летит молнией самого коня, мчащегося в пустыне (благодаря пеонам, слогам без ударения, убыстряющим ритм: радость поэтов русских в ямбе, чем и Жуковский и позже Пушкин так упивались).

Надо считать, что двухлетие это в Москве, когда он редактировал «Вестник Европы», было для него успехом. Он много работал: поэт, новеллист, критик, статьи о театре, частью публицист и философ. Журнал на всем этом выиграл. Те, кто Жуковского из деревни вызвали, не ошиблись. Но если они думали, что так навсегда и засядет он за гранки, корректуры, чтение рукописей, исправление переводов и возню с типографией, то тут не угадали. Молодого поэта редакторство может увлечь, но лишь временно, новизной, знаком успеха, материальной удачей. Жуковский при всей и мечтательности своей и полете всякое дело исполнял добросовестно. Литературное же и подавно. Как кормчий «Вестника» был на высоте. Но не вечно же этим заниматься. Тем более, что тянуло в края белевские.

В 1810 году он Москву покидает — вновь для деревни.

СНОВА ПРОТАСОВЫ

Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась — решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.

Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготовил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой — вот, ему нравилось заниматься и такими делами.

Для себя же купил небольшое имение рядом с Муратовым, некий поэтический *Tusculum*. Деньги — все то же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок — любимые черты жизни для него. Много цветов. Перед окнами целые их террасы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке, «едва приметным склоном». Мельница «смиренна» шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.

Мелькает над рекой
Веселая купальня

— он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Живо изображает швабского гуся, который домик свой

На острове, под ивой,
Меж дикою крапивою
Беспечно заложил.

Здесь поселяется Жуковский, один — вроде гуся этого, но «вблизи» кое-кого. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей более не дает, но конечно, все с нею и связано, если бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратове.

Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или пуста. В Тускулуме своем он непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений», занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать Наследника. Этим всем хочет восполнить образование — сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое полюбительски и продолжает. Берется за древность — латинский

язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, «маткина-душка», которую опекает сурово сибирская мать — вот она и рождает в нем «звуки небесные», подземно дает славу.

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы о тебе?
Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима (стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).

Он же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: «То была поэтическая жизнь и только тогда я был поэтом». Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомненья нет.

Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.

Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо — совсем по-другому.

Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам — играет на виолончели, сам сочиняет немного. По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему-то «Нина»), поет отличным голосом романсы — среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.

К ним ездил Жуковский за сорок верст, как домой. Там любили его. Там он меньше стеснялся, чем с Екатериной Афанасьевой в Муратове. Дом Плещеевых — пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосам сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр — сам писал и комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы,

фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично читал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что-то в нем чувствовалось приятное, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл «черная рожа», «мой негр»), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге, при неравном богатстве: уравнивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский — надежда, чистая восходящая звезда России.

Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по-русски, негр отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло — дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось.)

В это время он написал «Громобоя», романтическую поэму по повести Шписа «Двенадцать спящих дев».

«Громобой», как и «Людмила» — то писание Жуковского, которое теперь читается исторически. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие в грамматику примерами, в общем же наивно, простодушно и полно ужасов, не ужасающих.

Однако, чрез «Людмилу» и чрез «Громобоя» должен он был пройти. Если бы они пропали, как шуточные стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался бы прорыв.

К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренне: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В «Жалобе» это просто стон по «маткиной-душке»).

Именно теперь некоторый кинжал пронзает ему сердце.

Маше семнадцать лет. Ему самому двадцать семь. Между ними уже все ясно — в светлом и высоком духе. Дело идет к соединению жизней. Однако, не может быть речи о браке, пока не благословит мать.

По-видимому, первое объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной произошло в 1810 году. Ссылаясь на близкое родство, она заявила, что брак невозможен. В благословении отказала ему начисто.

* * *

Год рождения Маши (1793) был годом Вандеи, разгара французской революции. Ее раннее детство, как и юность Жу-

ковского, проходили в гигантской Скифии, еще сумрачно по-малкивавшей, защищенной лесами, равнинами, морозами. Для европейского человека это страна царя и рабов. Запад кипел уже. Громы, паденья царств, молния Наполеона пронзали его. Россия все еще отсиживалась дома. Выпустила, правда, и свою молнию, Суворова. Позже тоже посылала свои войска на Запад, медленно, на чужой земле начала проливать кровь своих сынов — и неудачно.

Гроза нарастала. Жизнь же в России шла по-прежнему. В Белеве, в Москве и в Муратове Жуковский писал стихи, Маша училась, молилась, мечтала о любви и наконец полюбила, и весь тон, весь дух и цвет жизни их, мирных и поэтических, так далек был от надвигавшихся событий! Да и понимали ли они в них что-нибудь? Маша читала и Гете, и Шиллера, и многое другое, о Наполеоне слышала, конечно, как о чуде, но вот именно в дали неизмеримой — в другом мире. Какое он имел отношение к ее жизни?

Жуковский был более ответвен: писатель, одно время и редактор. Но и он в этих делах не много смыслил.

«Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел». Ивику надлежало петь бесхитростные песни, возвеличивая любимую, меланхолически мечтая и тоскуя. Он так и поступал, однако и он, в 1806 году, когда Россия воевала еще на чужой земле — написал «Песнь барда», отклик на современность.

Но это еще все далеко, глухо. «Нас не касается» — Эйлау, Фридланд, очень тягостно и кроваво, но где-то в Восточной Пруссии, там же Тильзит, два молодых императора о чем-то сговариваются, празднуют, заключают мир, навсегда маленький городок прославивший, но никакого мира в мир не принесший.

В то самое время, когда Жуковский помогал Екатерине Афанасьевне строить в Муратове дом, когда писал «Громобоя», просил руки Маши — тут-то для родины назревало... В 1811 году людям, следившим за политикой, было уже ясно, что война неизбежна. И война страшная. За Наполеоном Европа, он действительно властелин, это борьба за Россию. Но Жуковский, даже когда занимался журналом, политики сторонился. Теперь, в Тускулуме, и того менее. 1811 год шел для него под знаком неудачи объяснения с Екатериной Афанасьевной — и еще печаль постигла его в месяце мае. Закончилась давняя, путанная, греховная — в общем же приведшая не ко греху история с его собственным появлением на свет. Скончалась Марья Григорьевна Бунина, его воспитательница и «просветительница», а чрез двенадцать дней и мать настоящая, Елизавета Дементьевна, некогда девочка Сальха из Бендер. Странно скрестились эти жизни.

Началось с горя, прошло чрез рождение светлого дитяти, через примирение «соперниц», из которых одна — барыня, а другая рабыня. Кончилось тем, что рабыня-соперница как бы не смогла даже пережить смерти барыни — привязанность взаимная существовала между ними уже давно. 12 мая 1811 года скончалась Марья Григорьевна, 25 мая того же года Елизавета Дементьевна.

Эти уходы по-разному отзывались в Жуковском. Марья Григорьевна уже легенда, миф детства, величественное и далекое, с жизнью его теперешней малосовместимое. Нечто и благосклонное, но связанное с тяжелым в самом основном. Существо, к которому отчасти питал он благодарность, отчасти боялся его, отчасти пред ним благоговел. Любил ли просто, по-человечески?

В матери настоящей ничего жуткого, никакого смущения перед высшим, начальственным. Но и любви недостаточно — надо бы больше. Он и сам угрызался, а любовь не являлась. Можно быть и почтительным, и послушным, но... «Я люблю ее гораздо больше заочно, чем вблизи». Это его томило. Чувств к *родителям* по-настоящему он не знал, ни к матери, ни (тем менее) к отцу. Прямо высказывал горечь, завидовал тем, в чьей жизни родители что-то значили.

Все-таки, с этими женщинами уходило нечто от детского и дорогого.

Жил же он настоящим. Настоящее это Муратово, Маша и Александра, сестра ее, да и сама Екатерина Афанасьевна. К ним прирастал он кровно.

Основное светило Маша. Но как раз к этому времени из младенчества переходит к юности и младшая сестра, Александра, та, что наполняла дом шутками и проказами, брила кошкам усы, хохотала, играла, пела.

Маша *Penserosa*¹, Саша *Allegro*² — так он их называет. *Allegro* он очень любит, совсем по-другому, чем Машу, она будет милым домашним гением его, светлым видением, оживляющим все вокруг. Будет ему верным другом, поклонницей и переписчицей.

Разумеется, все о томлениях его с Машей ей известно. Это союзная и родная душа. Блеск жизни ее только еще начинается, и вот входит она уже в русскую литературу — более даже открыто, чем Маша. (Ее незачем скрывать.) Ей посвящен был «Громобой» — с особым двенадцатистишием. Теперь появилась «Светлана». Это гораздо больше. «Светлану» он тоже ей по-

¹ Задумчивая (*um*).

² Веселая (*um*).

свящает, но тут связь с нею гораздо глубже, она сама как бы Светлана, баллада ею вдохновлена. Саша Протасова живет в хореях этих, ее свежесть, ясность, жизнерадостность брызжет из каждого стиха, несмотря на «жуткие» сцены с завыванием метели, с женихом-мертвецом.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

Во всем легкий мороз, крепость, даже суховатость, редкая у Жуковского, и непобедимо-мажорный тон. Страшно только приснилось. Это не трагедия, как у Людмилы, а тяжкий сон — пред зеркалом, в гаданье видит его Светлана, мучась в разлуке с женихом, а с пробуждением ее, в том же русском святочном морозе, с колокольчиком, сквозь туман и блеск солнца на снегу в санках подкатывает настоящий жених: вернулся.

Ты, моя Светлана,—
Будь Создатель ей покров!
.....
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Точно бы светлая стихия Светланы оказалась тут сильнее самого Жуковского. Он ей поддался и написал один из ранних шедевров своих, весь проникнутый свежестию ключа. «Светлана» — удача художника. Остро и сдержанно, немногословно и — поэзия, порождено вдохновением и одето ризами неветшающими — чего большего может желать поэт? Самой Саше Протасовой дано как бы новое крещение, в литературе... С этого времени входит она в жизнь Светланю: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и светоносного имени, как бы еще ее возносящего.

А времена были грозны. Ночью комета блистала хвостом своим, «зверь из бездны», над которым не один Пьер Безухов ломал голову, собирал рать многоплеменную, на самых уже границах России. Александр молчал. В молчании этом нельзя еще было разгадать будущего упорства, желания идти до конца. Гений действия, победы жег Наполеона. Гений охранения, сознания великих тайных сил страны владел Александром.

В начале лета 1812 года французские войска перешли Неман. Война началась.

Первое время она заключалась просто в движении войск на восток. Витебск в июле — решающая минута. Наполеон оста-

новился. Мог бы и зимовать, все наладить с продовольствием армии, ее устройством, ждать весны для похода на Москву. Все так и советовали. Поколебавшись, он двинулся дальше. 5 августа был под Смоленском, с боем взял его. Можно думать, что Россия поражена страхом нашествия, горестью и тревогой. Несомненно, все, что близко было от смоленской дороги, старалось бежать. Но немного в сторону — та же глушь и ширь, годами налаженное мирное житье. Муратово Екатерины Афанасьевны в Болховском уезде Орловской губернии, Тускулум Жуковского, Чернь Плещеевых под ударами не находились — это южнее, в стороне, все-таки от Смоленска не более двухсот верст. Тут все по-прежнему. Война войной, жизнь жизнью. 3 августа день рождения Анны Ивановны Плещеевой. По тем временам (и тем движениям сведений), в Черни, наверно, не знали, что Смоленск уже в опасности. Война далеко, Бог с ней. Пока что — семейный праздник с угощениями, театром, танцами, чтением. Все муратовские барышни тут, другие соседи, соседки, Жуковский из Тускулума своего.

Торжество проходило блестяще. В августовской ночи летели падающие звезды. «Негр» распоряжался, успевал всюду. Красавица-рожденница сияла. Рядом с фейерверком, в ее честь возносившимся, поэт устроил и свой собственный, к ней не имевший отношения: в этот день нашел подходящим прочесть свое стихотворение «Пловец» — Плещеев написал к нему музыку, Жуковский собственно «пел».

Буря занесла пловца («в океан неисходимый»). Мрак, бездна, ветры... Челн погибает. Пловец в отчаянии, совсем пал духом. Но «невидимой рукою, сквозь ревущие валы» Провидение ведет его и не дает погибнуть. Мрак вдруг исчезает и

Вижу райскую обитель,
В ней трех ангелов с небес ..

Они его и спасают. Он же ничего не хочет для себя.

Дай все блага им вкусить
Пусть им радость, мне — страданье,
Но . не дай их пережить.

Что Маша была для него ангелом, самоочевидно. Светлана-Александра легким гением — понятно. Но Екатерина Афанасьевна? Он ее очень почитал, частью души и любил, все же натяжка героична. Наверно, хотел тронуть, расположить. Действие получилось обратное. Екатерина Афанасьевна просто разгневалась — нет, это уж немножко слишком! Быть влюбленным в близкую родственницу это его личное дело. Но на людях 'и

прозрачно выставлять все, подчеркивать, вовлекать девушку в неосуществимые фантазии...

Бедный пловец. Объяснение вышло бурным. Известий о нем нет, но на другой день Жуковский должен был оставить Муратово: она просто изгоняла его.

Надо думать, что еще ранее, в июле, когда обнародован был манифест о создании новых военных сил, Жуковский уже собирался на войну. Возможно, кому-нибудь в Москву и писал. Теперь же, во всяком случае, мгновенно собрался и вылетел из своего Тускулума — время самое подходящее.

12 августа он уже поручик Московского ополчения. Враг занял Вязьму и наступает на Можайск.

А в Орловской губернии Екатерина Афанасьевна, прежде чем отбыть с детьми в Муратово, объявила девицам Юшковым, племянницам своим, о любви Жуковского к Маше, его намерениях и о своем отказе.

Про Машу, конечно, они давно знали. Базиля обожали, все горой за него стояли и на тетку обрушились. Тотчас рассказали об этом Плещеевым. (До Маши дошло все это позже, чрез тех же Плещеевых.)

А Жуковский со своим ополчением выступил навстречу неприятелю. Дошли до самого Бородина.

Миловидный поручик с прекрасными мечтательными глазами провел ночь 25 августа лицом к лицу с Наполеоном — в кустах, в резерве армии Кутузова. Ночь эта, перед сражением Бородинским, была тиха, довольно холодна, небо в крупных звездах. Сначала раздавались единичные выстрелы (звук — точно рубят в лесу деревья), потом и это утихло. Заснули все, тишина неизмеримая. Только небо да звезды. Спал ли поручик, и если нет, то о чем думал?

Утром грянула пушка, начался бой. Ополченцы стояли на левом фланге, неприятель напирал здесь всемерно, добиваясь прорыва. Фланг медленно гнулся в течение дня, но известно упорство войск русских под Бородиным: ни прорвать фронт, ни обойти французам не удалось. Ополченский резерв медленно отодвигали. В бой не вводили. Артиллерийскому же обстрелу он подвергся — снаряды падали в его расположении. Были потери.

Жуковскому участь князя Андрея не назначалась — не ходил он взад-вперед, ошмурыгивая сухую полынь, дожидаясь роковой бомбы, волчком перед ним взывшей. Но весь грохот боя слышал, облака дыма, к вечеру свившиеся в сплошную тучу, видел. Страду русского солдата пережил. Не так, разумеется, как толстовские герои. Зло и трагедии, малые или

мировые — не его мир. Это от него отскакивало, никак не проникало, как и он в них не входил. Наполеон мог укладывать тысячи людей, ясности Жуковского не затмевал.

Ясность страшного дня затмилась ночью. Кончилось все ничью. Но с этой ночи Жуковский со своими ополченцами и остатками армии неуклонно откатывался, отступая на Москву. Наполеон вскоре ее занял. А потом наступило затишье. Наполеон сидел в Москве, русская армия множилась и укреплялась. Жуковский успел слетать на несколько дней в родные края.

Очевидно, не так уж велик был разрыв с Екатериной Афанасьевной. Слишком эта семья своя. Слишком он врос в нее, чтобы из-за «Пловца» разойтись. Все-таки ему было предложено смирение — являлся он не победителем. Нелегко было, но явился: ибо здесь для него жизнь. И только здесь.

А Наполеон выступил из Москвы в обратный путь. Напирая, тесня, мучая двинулись за ним, так же неотвратимо, как отступали, русские преследующие войска. Жуковский укатил в армию — опять объяснения с Машей остались сзади. В Муратове Маша тосковала, он в раннем осеннем холоду шел за Наполеоном. На одном переходе случайная встреча: Андрей Кайсаров, времена Университетского Пансиона, Дружеского общества...— встреча имела последствия. Через брата своего, полковника Паисия Кайсарова, Андрей устроил его в штаб Кутузова.

У генерала Скобелева, квартиргера Кутузова, Жуковский писал приказы по войскам. Скобелев срывал даже успех его трудами, Кутузову нравилось красноречие скобелевских приказов и реляций. А тот не стеснялся Жуковским пользоваться. Так было и под Вязмой, и под Красным.

Но это все еще не литература. Военная литература вторглась в этого неподходящего человека незадолго до Тарутина.

Жуковский написал теперь не канцелярскую бумагу возвышенного стиля, а произведение поэтическое, войной вдохновенное, вроде поэмы: «Певец в стане русских воинов».

Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, все-таки от Державина очень далеко.) Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередуя четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. «Хор воинов» подхватывает последнее четверостишие, как бы «гремит славу» героям. Есть места блестящие. О родине сказано «навсегда», и с детства запало всем («Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия...»), есть

строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и не идущие к мечтательному поэту. Но нежное утро — вполне Жуковский, как и строка: «Есть жизнь и за могилой».

В целом же это произведение «на случай». Нет самого в поэзии важного: бесцельности. Тут все имеет цель, все «нужно». Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отошла минута, дело отгремело и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.

«Певец в стане» дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша «маткина-душка». Белевская Лаура! С ней он безвестно изнывал бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего *нужное* в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом «Певце в стане русских воинов».

Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала бы иметь их написанными рукою автора — Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет...»

В конце 1812 года «Певец» появляется в «Вестнике Европы», в январе 1813 года выходит отдельным изданием, а в мае того же года, по желанию императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России.)

И все-таки военная поэзия, да и вообще «военное» — случайность в жизни Жуковского.

Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном Пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. («Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел».) И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав «Певца» и (после Красного) «Вождю победителей», Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось горячкой. Было ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампания во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.

Его отпустили с миром, в январе он возвратился уже домой.

Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых — да теперь и сам он не скрывал. «Пловец», внезапный отъезд в армию... — вряд ли и тогда она не угадала. Теперь все было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год — даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.

Жуковский чувствовал себя остро-возбужденно и непрочно. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий славный Базиль, с детства в доме произраставший полубрат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).

Ее взгляд был ясен: она *знает*, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.

Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, неправедным. Казалось формализмом — тем в быту христиан, что он праведно не принимал. Он близок к счастью, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа: ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.

Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходил 1813 год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: «Тургеневу» («Друг, отчего печален голос твой...») — полно меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, дорогих друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем — это послание есть прямая летопись души. «Ивиковы журавли» более объективны. Все-таки в самом Ивике, «скромном друге богов», есть нечто знакомое. В его чистом, простодушии, в смиренной закланности узнается весьма белевское.

Муратовский поэт безответен и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного Пансиона, Дружеского общества), он вступает в переписку с прежним

приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они

Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали...

Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял себе его совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял — в конце 1813 года появился в Муратове.

ВОЕЙКОВ И ЖУКОВСКИЙ

Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им же самим приманенный. Воейков и писал, и воевал, и, выйдя в отставку, путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной — двуснастный. Мог оскорблять — и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.

Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэт его не понимал и вероятно в душе над ним зло смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.

Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело — особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрой, младшей — Светланой Жуковского. Ей восемнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бреет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, с товарищем своим у них гостящего.

Новый год очень весело встретили. В полночь поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною — свой же дворовый изображал его. Одно лицо у него было старое, другое молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадцатый
Весельем небогатый
И очень старый год.

Потом повернулся. Теперь лицо его юно. Он продолжает:

А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча. Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть... Неизвестно, потекла ли свеча. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаяться шампанским. Янус, на кухне, освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.

Воейков записал: «181/114 г.¹ встретил Орловской губернии в селе Муратове очень приятно в доме Катерины Афанасьевны Протасовой». Перечислив присутствовавших, добавляет: «Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но... *Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?*² и я иногда задумывался, даже грустил».

Таково время. Искренно или неискренно, без сентиментализма нельзя. Отчасти же он и играл одинокого, неприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать — хозяйку и владычицу. Жуковский же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому, будет Воейков содействовать в сердечных его делах — собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.

Но это еще не сегодня, не завтра. Пока же что широкая и беззаботная жизнь помещицы продолжается.

16 января Плещеевы отвечают праздником у себя — день рождения Анны Ивановны. Негр постарался. В Черни размеры всего оказались еще больше.

Утром отстояли обедню. Затем отправились в рошу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску *à la fourchette*³, стоя, и по преимуществу чокаясь.) Прогулка по огромному парку — там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзажами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камера-обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амурсы.

¹ 1 января 1814 г.

² Где может быть лучше, как не в лоне своей семьи? (*фр.*)

³ на скорую руку, не садясь за столы (*фр.*)

Днем, вероятно, карты, для молодежи *petits, jeux*¹, вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в «Филоктете» Софокла, а затем Негр сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной («К Нине» и известное послание Жуковского). В ее честь огненные буквы *N* сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы эти горят в честь Наполеона... — Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.

Воейков во всем этом принимал участие — в играх, шарадах, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16-м января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): «Двойной праздник *fête des rois*² и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А. И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все кроме меня подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу. Горациянский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!»

Среди этих изящных дурачеств и горациянских ужинов вряд ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шуточные стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось — время же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.

31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину — за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.

Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруду был Юнгов остров, урна, посвященная Фенелону и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг, доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тургенева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеновых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному решил совершить паломничество.

В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время к

¹ петйке, салонные игры (*фр.*).

² праздник королей (*фр.*).

весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. «Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда... Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильнее всякой молитвы». Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастье — и все это чрез Машу. «Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастья!»

Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полусимвол, не Дева ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?

Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и сомнения, иногда даже противление религии — формальная сторона ее не близка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.

В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском — среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте февральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.

Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца, к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Катерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.

Смысл ее во всяком случае велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред лицом Бога, все тогдашнее высокодуховное настроение его не могло пройти даром. («Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: «Ты готовишь мне счастье, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его, как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право».)

Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким и вошел он впоследствии в Пантеон наш.

* * *

Дело, из-за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел через Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру

русской литературы — и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство...— сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастию. Вот он пишет ему в Петербург: «Твои дела идут хорошо: говорят о тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук.

Ради Бога, скажи мне, на что, может быть, тебе нужно теперь твое профессорство? Это имело бы еще смысл, если бы надежда на брак рухнула. Но как раз все наоборот. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника, когда ждет любовь?»

Жуковский иногда и сам бывал жизнен, умел считать деньги, заботиться о зароботке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснотушия. Воейкова называет «брат» (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве-сожитии с тем же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) — будут вместе трудиться, давать себе и другим счастье в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья — Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет».

У Воейкова, жениха и полупрофессора, будущего сочинителя «Дома сумасшедших», такие письма вряд ли вызывали благодушную усмешку. «Полоумный Жуковский!» Но вот он, Воейков, вовсе не такой, отлично знает, чего хочет, и своего добивается.

Александр Тургенев был в это время уже крупным чиновником. Вместе с Кавелиным кафедру Воейкову устроил. В Муратове воейковские дела тоже устраивались.

Полюбила ли его Светлана? Трудно себе это представить. И на нее, и на Машу Воейков по первому же разу впечатление произвел неважное. Но они обе жизненно еще дети. Близо знали всего лишь одного Базиля. Не по нем ли и вообще о людях судили? А Воейков друг Базиля. Разве же у Базиля может быть плохой друг? Маменька тоже к нему благоволит...

Воейков распустил хвост павлиний, писал восторженные стишки, изображал себя скитальцем и натурой загадочной, жаждащей, однако, брега тихого и светлого. Известное впечатление произвести мог. Несмотря на уродство свое, Светлану заговаривал.

Главное же, заговаривал Катерину Афанасьевну. Тут действовал сразу по нескольким линиям. Есть известие, что изобразил себя владельцем двух тысяч душ, доставшихся ему, якобы, от брата, раненного под Лейпцигом и скончавшегося. Богат, но

несчастен, ибо одинок. И вот, наконец, встретил Ангелов, они вернули его к жизни и т. п. При всем этом — лесть и поклонение безмерные. Торжественные послания Екатерине Афанасьевне, тоже какое-то одурманивание ее, даже влияние умственное: нечто от разлагающего своего духа сумел он в нее вселить. (Выросшая в церковной строгости Екатерина Афанасьевна отказывается, например, под его влиянием, соблюдать посты.) — А для Воейкова власть — блаженство. Многим он обделен. Ни славы, ни таланта, ни обаятельности Жуковского у него нет — пусть зато безраздельное владычество, хотя бы в одной семье.

Из отлучки своей он возвращается победоносно. Кафедру получил. Правда, это и осложняет: переезд всех в Дерпт. Тем не менее, он объявлен женихом — и тут совсем уже ясным оказывается, что Жуковский в виде жениха Маши никак ему не интересен, скорей вреден. Он хочет царить в этой семье один, ничего ни с кем не деля.

Теперь видит Жуковский резкую разницу отношения к нему и Воейкову. С ним холодно, за Воейковым всячески ухаживают. Он жених. Свадьба назначена на июль — о чем Жуковский узнает стороной. Все это томит, волнует.

В конце апреля он вновь объясняется с Екатериной Афанасьевной о браке, бурно и неудачно. «Она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родной ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата...»

Она отказала ему начисто. Замечательна притом двойственность положения. Жуковский считает Екатерину Афанасьевну формалисткой, законницей, не желающей уступить иоты, и сам находится на формальной почве. Закон не знает, что он сын Бунина, *поэтому* жениться можно — сам же он это знает («Я сын ее отца».)

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны? Одно ли сознание церковное ею руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии, мужа с именьями, крепостными? Жуковский, конечно, тяжело на нее негодовал. Он был чист, чистою душою рвался к счастью — своему и Машину. Счастье это отнимали.

От Жуковского идет линия осуждения Екатерины Афанасьевны. Сочувствие на его стороне, бесспорно. Тяжелого чувства к ней преодолеть нельзя. Все же дело со сватовством этим сложно, обоюдоостро, и «по-своему» в чем-то была права и Екатерина Афанасьевна (на обман священника не шла. Может

быть, следовало хлопотать в Синоде, разрешили бы? Но этого она и не пробовала сделать!) Во всяком случае, ей самой все это нелегко обходилось. «Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки».

Так писала она верному другу Жуковского, той недавно овдовевшей Авдотье Петровне Киреевской, которая еще девочкой, Дуней Юшковой, называла Базиля «Юпитером моего сердца». Эта юная, пламенная женщина — портрет показывает ее задорную, очаровательную головку с полумужской прической — она-то и умоляла Екатерину Афанасьевну согласиться на брак. Предлагала, если тут есть грех, взять его на себя — она пойдет в монастырь отмаливать.

Но характер Екатерины Афанасьевны упорен, чтобы не сказать упрям. Суровая юность сибирская, властное управление детьми во вдовстве — ни Базиль, ни Дуня Киреевская, ни другие племянницы не могли ее сломить. Намеренье насчет монастыря с ужасом она отвергает, но с позиции своей не сдвигается.

Маша верна себе: матери о Базиле все сказала, но воли своей нет. Как маменька скажет, так пусть и будет, и все так должно произойти, чтоб не нарушить маменькина спокойствия. Можно подумать, что Маша вообще тут ни при чем. Она может плакать, сохнуть — все это втайне и неважно: только бы маменька была довольна.

Жуковский же после объяснения вновь из Муратова изгнан — пока не вернется Воейков. Весь май он скитается где-то вблизи — в Черни у Плещеевых, в Долбине у Юшковых. Горек для него этот май. То кажется ему, что еще можно бороться: Лопухин напишет, Владыка Досифей Орловский разрешит: его хорошо знает друг Тургенев. Наконец, Воейков возвратится, повлияет...

А потом другое: нет, надо все принять, смириться. От своего счастья отречься, только о Маше думать, ее спокойствию, остаться братом-сестрой с любовью надзвездной. «Разве мы с Машей не на одной земле и не под одним отеческим правлением?» Бог-то их всех выше, Он и устроит, во славу любви-дружбы.

До нас дошли тетрадки, в 16 долю листа, в синей обложке: письма-дневники Жуковского и Маши — безмолвный, трогательно-нежный диалог. 21 июня передает он ей свой дневник за май. В нем ничего не записано, а письмо объясняет, почему: слишком трудно было преодолеть мрак. «Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости — и вот все. Можно ли было об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо».

Но вот теперь, в Муратове, в конце июня, с ним происходит странное. Он пишет письмо Марии Николаевне Свечиной (тоже родственнице, но не стороннице брака). Начало письма мрачное, «и мысли и чувства были черные». Вдруг останавливается «будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменился». В некой восторженности он встает, не докончив письма, идет в залу искать платка. Там встречает Машу. Она подает ему изломанное кольцо. Он дает ей свое. Все как бы в полусне, сомнамбулически. Но нечто случилось, оба понимают, что произошло важнейшее: поменялись кольцами, обручились на новое, возвышенно прекрасное, но в земном плане безнадежное. Кольцо даже не им дано ей, и не ею ему. Промысел ведет их высшим — пусть сейчас и горестным путем.

* * *

В конце июня, начале июля скитается Жуковский близ Орла. Едет вслед за Протасовыми, останавливается там же, где только что они ночевали. Маша ведет его за собой.

В Куликовке под Орлом, только печалию его и отмеченною, на постоялом дворе сидел он на том же месте, «где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя». Хозяйка знала, что одна из барышень той госпожи, что останавливалась у ней, выходит замуж. Жуковский уверил ее (да на мгновение и сам, может, поверил), что жених именно он, но не младшей, а старшей дочери.

«Вчера, подъезжая ко Мценску, я смотрел на рощу, которая растет близ дороги; погода была тихая и роща была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца». Вот рамка горя. Оно принимает оттенок просветленно-мечтательный. Оно, все-таки, не безысходно, ибо за ним возвышение души, ее возношение все той же Маше. Все для нее. Для ее счастья и радости должен он жить — это и укрепляет. О, разумеется, не всегда. Путь еще долгод, труден.

Мир, тишину русского вечера деревенского он вкусил в каких-то Сорочьих Кустах. В Разбегаевке не остановился, видел, однако, там двор, «где ночевала Маша с матерью».

«Около меня бегают три забавных мальчика, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся». Но, конечно, он их и утешил: пятак дал, а землянику вернул, между ними же и разделил. (Очень ему подходящи эти дети. Только ему, как взрослому, смиряться приходится не из-за гроша и пятака.)

В Губкине лежит в сарае, в снях на сене. Читает Виланда «Diogenes von Sinopre»¹ «и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу — даже и срисовал его».

Далее философствует. Провидение «располагает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Чтобы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ *свыше* приобрести *лучшее*. Надобно только верить».

Побывал он в летнем своем блуждании и в Орле, и у Павла Протасова, дяди муратовских барышень (тот его подбодрял, в деле брака сочувствовал).

В конце концов, 9 июня Жуковский оказался в Муратове.

Что Екатерина Афанасьевна приветствовала брак Воейкова со Светланой еще понятно. Гораздо удивительней — Маша и Жуковский одобряли его. Оба искренно, глубоко любили Светлану, оба толкали ее на несчастный шаг. Оба поняли поздно и каялись в пустой след. У обоих ошибка, по-видимому, шла от неверной оценки Воейкова — вина Жуковского больше. Со своим голубым туманом в глазах он и накануне свадьбы мог еще обнимать Воейкова, целовать его, плакать, давать «слово в братстве». Братство! Все тургеневско-кайсаровское еще владело им, сладостные слова мешали видеть. Что же сказать о Маше, которая вся была в возвышенных книгах, религии, смирения и на все смотрела глазами Базиля?

Из-за безденежья свадьбу не раз откладывали. Наконец, Жуковский продал именье свое и все отдал Светлане в приданое — денег не пожалел (жизнь его вся под этим знаком: ему Бог посылает сколько надо и он раздает тоже сколько надо).

14 июля Светлану с Воейковым обвенчали. Жуковский присутствовал, конечно. В церкви вдруг грусть напала на него. Зашемило в душе. Не уголок ли будущего проглянул сквозь торжество таинства? «Мне казалось сомнительным ее счастье, сердце мое было стеснено и никогда так не поразили меня слова «Отче наш» и вся эта молитва».

Для него самого эта свадьба тоже была переломом. К сердечным его делам будто и не имела отношения, все же нечто определила. В Муратове он не остался. Уехал к Авдотье Киреевской, в чудное Долбино, Екатерине же Афанасьевне написал длинное и возвышенное письмо. В нем закрепляется новое его положение: теперь разговора о браке нет. Привязанность к Маше он сохранил навсегда. Счастлива быть для него не может, жить

¹ «Диоген Синопский» (нем.)

надо и без счастья. Он так и надеется. Маша, как была ему другом, так и останется и навсегда будет его благодетельницей, как и была. С Екатериной Афанасьевной он, может быть, скоро увидится. Но с семьей ее и Муратовым, «моим настоящим отечеством», расстанется навсегда.

Осень проводит в Долбине, под Лихвином. Там дети Киреевской, там над бюро у него висит «милый ангел», а в «шифоньере» Машины волосы, рядом же хозяйкина печатка с вырезанным на ней четверолистником. Тут он — хоть и путник сейчас, как всегда в жизни — но поэт и дому истинный друг. Авдотья Киреевская тоже его не выдаст.

Долбина этого никто бы не знал, если б не тут изживал горести сердце своего Жуковский.

Здесь он много писал. Золотая, одинокая осень в старинном доме, с уютом, любовью семьи, прогулками по пустеющим полям, лесам звонким, отдающим охотничий рог и гон гончих... — чем не поэзия и благодать? Одного нет, очень важного: счастья. Маша вдали.

Но не зря вел он ее годами в духе религии и искусства. Теперь, в горький для нее час, она свое горе принимает с великим смирением, а его тихо, упорно толкает к творчеству. Да, он поэт. Пусть идет горным путем. «*Tu me prometteras de t'occuper beaucoup, Basile, tes compositions feront ma gloire et mon bonheur*»¹. Ее мучило, что истории с ней отвлекали его от искусства. Но вот теперь да не будет так. Он свободен и одинок — все для поэзии.

На него призыв действовал животворно. Да вообще горе животворило, не подавляло. То, чего Маша хотела от него, получалось: никогда столько он не писал, как в осенние эти месяцы в Долбине. И тотчас проступает в нем всегдашняя любовь к порядку, расписаниям. Надо приобрести полное понятие о религии — для этого чтение Священного Писания, книг моралистов, размышления, заметки. Но и непрестанные упражнения в прозе («каждый день две или три страницы»). Стихи тоже обязательно. В том же роде распоряжения и для самой Маши — чтобы и она жила если не художнической, то духовно-нравственной жизнью.

В половине сентября особенное обстоятельство его подбодрило: Екатерина Афанасьевна согласилась, чтобы он поехал с ними в Дерпт (куда назначен Воейков). Только *поехал!* В качестве просто друга. Но теперь она ему доверяет и не опа-

¹ «Ты пообещаешь мне много заниматься, Базиль, твои сочинения станут моей славой и моим счастьем» (фр).

сается. Как скромн он, как мало избалован! Чуть не счастлием кажется ему и это. И всегда, всегда завет Маши: писать.

Литературе осень в Долбине, напряженная, со сменой воодушевления и тоски, вся в остроте, на высоких нотах, дала много. Никогда столько он не писал. Исполнял ли расписание свое или не исполнял, но как раз тут дал ряд произведений первой линии, и довольно крупных: «Ахилл», «Варвик», «Эльвина и Эдвин», «Алина и Альсим», «Эолова арфа», «Теон и Эсхин».

Пронзителен для него мотив разлуки. Всюду проходит он теперь. Два сердца влекутся друг к другу — их разлучают. Смерть, веянье красоты и поэзии, стон арфы Арминиевой, повешенной певцом на дереве — в арфе звенит его душа — этим питается сейчас писание Жуковского. Над «Эоловой арфой» пролито было читателями море слез — плакать или не плакать зависит от характера, но баллада настолько, действительно, трогательна, так «легкозвонна», певуча, нежна и духовна, написана такими блестяще перемежающимися строками разного размера, что и сейчас вся поет и вся говорит во славу вечной, неумирающей любви.

«Теон и Эсхин» не менее знаменит. Может быть, даже более. Это спокойнее, не так рыдательно, дальше от ткани жизни тогдашнего Жуковского, но источник все тот же. Примирение, приятие жизни — со всеми горестями ее: для Жуковского тема основная, зрелым художником зрело выраженная. С детства и навсегда засели в нас прославленные стихи:

В скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,
Обет неизменной надежды,
Что где-то в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится?

«Для сердца прошедшее вечно» — заповедь эта проходит через всю его жизнь. Осень же долбинская и написанное в ней (под благорасположением Дуни Киреевской, истинного друга) есть истинное подтверждение того, как для художника полезна скорбь. Высота изживания скорби у Жуковского особенная: ни с кем несравнимая.

Богатство же природы проявилось еще в том, что рядом с «Эоловой арфой» написал он в Долбине и кучу стишков шутильных, для альбомов, писем — разное умещалось в нем одновременно (как бы жило в слоях души на разной глубине).

Он вступил теперь в самую острую полосу бытия своего художнического, как и в самую значительную полосу жизни. Странно связалось это с Воейковым. И замечательно разнствоование судеб их.

Воейков получил кафедру, уезжал в Дерпт с молодой и блистательной женой. Все ему удавалось. В семье он считался божком, в Дерпте должен был основать прочное и устроенное гнездо.

Жуковский после ряда просьб отброшен презрительно, не без унизости. Временами ему запрещается даже бывать в доме, который для него все. Близкие его уезжают в Дерпт. Он деревню свою для них продал. Отнята надежда на брак и на счастье, он бездомен, куда ему, собственно, преклонить главу кроме, как — временно — к Долбину. Он разбит по всей линии.

Победитель Воейков, Жуковский побежденный. Из них один пойдет под гору, во тьму и сень смертну, другой «из глубины возвах» будет восходить чистою и прекрасною стезей.

ДЕРПТ — ПЕТЕРБУРГ

Юрьев, Дерпт, по-немецки *Dorpat* — тихий городок в Эстонии, западней озера Пейпус, на речке Эмбаг: немецкая закваска в нем сильна. Город университетский, ученый, со студентами, профессорами, корпорациями — все на иностранный лад.

В феврале 1815 года попадает сюда русская дворянская семья, верней две семьи, Воейковы и Протасовы, все к Дерпту малоподходящее. Воейков должен читать русскую литературу, в университете. Светлана его жена. Екатерина Афанасьевна и Маша просто близкая родня, без определенной деятельности. Где-то на горизонте Жуковский — у этого совсем никакой роли и в Дерпт он лишь наезжает.

Из Муратова ехали долго, сложно — чуть не тысячу верст на лошадях! Добравшись, сперва поселились на постоялом дворе «в одной комнате и гадко». Но нашли, наконец, отдельный дом, куда и переехали. Светло, тепло. Все завалено посудой, книгами и мебелью — утрясется не так мгновенно. В одной половине Воейков со Светланой, в другой Маша с матерью.

Воейков со своей смесью язвительности и беспутства, надменности и самоуничтожения, с литературным самолюбием всегда ущемленным, должен стать благонравным профессором. Екатерина Афанасьевна, помещица и крепостница, глава дома целого в Орловской губернии, здесь будет примеряться к полу-Европе без дворовых и девок, которых можно бить по щекам и ссылать на дальний хутор. Для Светланы — Плещевых рядом нет, время забав и хохота прошло, нет и французских пленных офицеров. Надо быть скромной профессоршей. Она с мужем

«Eine echte Ehepaar»¹. Меньше всех, пожалуй, ощущает перемену Маша со своими книгами и вышиванием, молитвой.

Знакомятся с профессорами, ректором. Профессора являются с визитами. Чинно, скучно. «Хорошо ли чувствует себя в Дерпте госпожа надворная советница Voeikoff?» — «Благодарю глубокоуважаемого профессора — превосходно». — «Как находит она наш город в отношении чистоты и порядка?»

Тут Дерпту мог, разумеется, позавидовать родной Белев, да и Орел, Тула. Хорошая сторона города, также, музыка. Вот привозят им билеты (все здесь музыканты). Каждую неделю профессора, студенты устраивают концерт — сами выступают. Новоприбывшие, конечно, посещают их. Едут в университетской карете, «на казенных лошадях и на казенный кошт». Машу удивляет нарядность, даже блеск концертного зала. «На концерте 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала, как московская, музыка прелестная».

Мирное житие начинается, и первое время действительно идет мирно. Воейков даже находит, что просто он счастлив — еще в марте считает себя счастливым. А уж Жуковскому не терпится. В Петербурге выпал ему большой успех. Тургенев прочитал императрице Марии Федоровне послание Жуковского Александру I, с триумфом возвратившемуся из Парижа. Стихи государыне так понравились, что чрез Тургенева и Уварова передала она автору полное свое благожелание — если ему что надобно, она с удовольствием сделает. Жуковскому следовало бы сейчас же лететь в Петербург, пожинать урожай. Но он был душой в Дерпте. Туда стремился, в Петербург даже не заглянул. Императрице, разумеется, ответил («Мой слабый дар царица одобряет...»), это была верноподданническая отписка. Знакомиться не торопился. Торопился же в Дерпт — и не на радость. Там все слагалось не так, как идилично предполагал он в минуты одушевления.

Во-первых, Катерина Афанасьевна сочла, что Машу тоже пора выдавать замуж, придумала ей даже жениха, некоего генерала Красовского. Генерал Маше никак не нравился. Вся затея совсем нелепая, Жуковский от нее пришел в ужас. Его настроение было такое: да, он от счастья своего отказывается, все для Маши, и конечно, Маше надо выходить замуж, но все-таки за того, кто ей понравится, а не за первого встречного генерала. Но Красовский был приятель Воейкова и Воейков его поддерживал.

Получилось так: в Муратове у Воейкова с Машей отношения

¹ Настоящая супружеская пара (нем).

были добрые. Первое время в Дерпте тоже. Но с приездом Жуковского, и когда он увидел, что Маша к Красовскому холодна, а Жуковского любит по-прежнему, все стало меняться — резко к худшему, и с ней и с Жуковским. Видимо, Воейков и Екатерину Афанасьевну возбуждал против них — Жуковский, мол, зря тянет безнадежный роман, понапрасну вовлекает девушку в треволения. А ее просто надо выдать замуж за порядочного человека. Это повело к тому, что за Жуковским завели надзор. С Машей наедине быть нельзя, никаких разговоров и объяснений, это опасно.

Он, конечно, был оскорблен. Приехал в высоком настроении, от счастья отказался, все лишь для Маши, он *отец* ее теперь, а его подозревают в закулисных шашнях, считают чуть ли не соблазнителем. О Маше Воейков говорит теперь, что «за ноги вышвырнет ее из дому» (оберегал «честь семьи»). Заставляет присутствовать, когда «жених» приезжает, грубит ей и т. п.

Жуковский и Маша стали переписываться записочками.

Теперь только понял Жуковский Воейкова. «Человек, который имел полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удерживаться от ненависти». (Письмо Маше.)

Если уж Жуковский заговорил о ненависти, значит дело Воейкова плохо. «Дай мне способ делать ему добро и я сделаю, но называть белое черным и черным белое и уважать, и показывать уважение — в этом нет величия: это притворство перед собой и перед другими».

Так живут они, одиноко по своим комнатам, сходясь только за обеденным столом, в семье полной внутреннего напряжения, затаенных тяжелых чувств, слезки, нелюбви. Роль «отца», когда сам молод и живешь рядом с любимой девушкой, не так-то легка. Весь этот апрель мучителен. В дневнике Жуковского — «белой книге» — томления его сохранились. Да и в записочках к «ней». («Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось».)

И тут же собственный «Теон» — «все в жизни к прекрасному средство». Сколь, однако же, легче уверить себя в возвышенности жизни без счастья, чем взаправду принять жизнь такую.

И Маша, Маша. Ее надо устроить. Надо ей дать возможность жить, дать на чем стоять, перевоспитать, что ли. Чтобы любила она его не «как прежде», а как брата или отца. Она тоже должна удалить «все собственное, основанное на одном эгоизме» (т. е. любви женской). С наивностию думает он — и записыва-

ет — что ее счастье может состоять в жизни согласной с матерью и семьей, в сознании, что и он счастлив одной дружбой, работой и т. п. Да, пусть даже и замуж выходит, но не за такого же Красовского, а кто ей по душе и по сердцу — «чтобы с другим иметь то, что надеялась со мною». С полной смелостью ставит он тут героическое решение, с полной прямоотой открывает и душу свою, человеческую, страждущую, никакими Теонами, как лекарством бесспорным, неизлечимую. «Та минута, в которую для этой цели я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает и я прихожу в уныние», — вполне понимаешь, что приходит в уныние, но вот мы, через сто с лишним лет, не перестаем приходить в восхищение от смиренных слов чистого сердца, с такой безответственностью нам предложенного. «Я решился пожертвовать собой» — есть ли другой такой пример в нашей литературе?

Вышло же из этого только то, что Екатерина Афанасьевна, явно Воейковым подстрекаемая, потребовала опять, как и в Муратове, чтобы он удалился. Вновь его изгоняют. Воейков вошел в семью, он из нее вышел — таково было его мнение, очень от истины недалекое. В начале мая, ничего не решив, уезжает он в Петербург.

* * *

Вдова императора Павла, императрица Мария Федоровна жила полною, напряженной жизнью. Нельзя упрекнуть ее в бездеятельности. Приюты, институты, разные училища, благотворительность — во все это была она погружена вполне. «Ведомство Императрицы Марии» — след трудов ее остался в России до самой революции. С немецкой дотошностью занималась она институтками и сиротами, и глухонемыми, вела огромную переписку, разъезжала по благотворительным учреждениям. Да и вообще была культурна. Поддерживала знакомство с литераторами, учеными. К ней приезжали Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий — на литературные собрания в Павловске.

О Жуковском имела она уже понятие и чувствовала к нему расположение. Теперь предстояло и встретиться.

Это произошло в мае 1815 года, когда он приехал в Петербург после всех тягостей дерптской весны.

Мундира для представления не оказалось. Но были друзья, они и выручили: нужное одеяние достали. Уваров повез его во Дворец.

Жуковскому тридцать два года. Он видел и знал уже довольно много людей, разных общественных положений. Но к таким Гималаям приближался впервые. Муратово, Долбино, Дерпт — до чего это скромно-провинциально рядом со Дворцом императрицы, зеркальными полами, статуями, бесшумными лакеями.

Разумеется, ему жутко в этот майский день. Уваров ведет его по Дворцу. Пройдя небольшую комнату входят они в другую, перед дверями которой ширмы. Из-за ширм голос произнес: «Bonjour, monsieur Ouvaroff»¹, — Жуковский думает, что это придворная дама. Вошли, оказалось — сама императрица. Вдали, в глубине большой комнаты, Великие князья Николай и Михаил Павловичи. Жуковский хотел что-то сказать благодарственное, заранее приготовил, но ничего не вышло, только все кланялся. Все же разговор завязался. Мария Федоровна неважно говорила по-русски — быстро и не совсем внятно. Жуковский в волнении своем с ужасом заметил, что плохо понимает. Выручил Уваров: задал императрице вопрос по-французски. Она перешла на французский и дело наладилось. Стали вспоминать прошлое, войну, тяжелые времена. Как тогда полагалось, государыня была чувствительна: несколько раз слезы показывались у нее на глазах. Держалась, она очень милостиво и приветливо. «Беседовали» около часу. Когда гости стали откланиваться, она ласково сказала Жуковскому: «Мы еще с вами увидимся».

В словах этих оказалась половина его судьбы. Застенчивость, миловидность, то необъяснимо-светлое, что излучал он и чем покорял людей самых разнообразных, все это на нее действовало, конечно.

Выходили вместе с Великими князьями. Уваров попросил Николая Павловича разрешения представить Жуковского — и вот он пред огромным красавцем с глазами, о которых позже скажут, что в них было нечто страшное. Было ли или не было, но пред ними все потом трепетали. А тогда еще никто не думал, что этому юному гвардейскому офицеру, занимавшемуся только армией (но занимавшемуся!), предстоит долгие годы править Россией.

Неизвестно, как себя чувствовал в ту минуту Жуковский. Но будущее предстало во весь рост. От литературной своей матери получал Николай Павлович Жуковского — для семьи и воспитания ее.

Очевидно, Жуковский ему тоже понравился.

¹ «Здравствуйте, господин Уваров» (фр).

А от Дерпта все-таки не отстать. Петербург — блеск, слава, пышность, не совсем в духе его. Сердце не здесь. Оно там, где и трудно, и мучительно, но где судьба души.

Европа заканчивала страшную полосу бытия своего — 18 июня отгремело Ватерлоо, а в Дерпте никому неведомая Светлана 26 июня, ни о каких Ватерлоо понятия не имея, родила дочь Екатерину — для Жуковского повод укатить в Дерпт: Светлана его крестница, а теперь его записали крестным маленькой Кати. Значит, надо быть в Дерпте.

На крестины он опоздал, его заменял старый Эверс, профессор теологии, патриарх дерптский, будущий его друг (а Светланы уже друг).

Лето Жуковский проводит в Дерпте. С Екатериной Афанасьевой, как будто мир, но все лишь внешнее. И неестественное. Вновь живут по своим норам. Как и раньше, большое и тягостное бросает свой сумрак из глубины. Вот Тургенев зовет в Петербург в конце июля — государыня хочет его видеть. Впрочем, если «солнце» удерживает в Дерпте, то необязательно сейчас же скакать. Из ответа Жуковского видно, что «солнце» ему издали лучше светит. Вблизи много есть затемняющего. «Уехать отсюда не будет для меня жертвою; напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших своих чувств. Не говорю уже о надеждах, их нет, да оне и не нужны».

Non sine te, non tecum vivere possum — издали тянет, а вблизи мучит. Так в неестественных положениях и бывает. И пожалуй, единственное, что осталось хорошего для него от того лета, была завязавшаяся дружба со старым Эверсом, философом и богословом, в жизни тоже премудрым. Весьма мир Жуковского — одинокий, 80-летний старик, полунищий, для которого будто бы ничего в жизни нет, а вот он все ясен и светел, как вечерняя летняя заря, которую радостно ему созерцать, выходя за город на пригорок. Эверс, закат жизни, так же Жуковскому подходил, как другое существо — утренняя заря, студент Зейдлиц, с которым знакомство его с праздника корпорации, какого-то «фукс-коммерша». Эверсу жить недолго. Зейдлицу еще целую жизнь. На всю эту жизнь он пленился Жуковским и Машей, Светланой. Милой и благодетельной тенью пройдет «добрый Зейдлиц» рядом с жизнями этими. Только добро, только забота, любовь от него исходят ко всему клану жуковско-протасовскому, ему дано всех пережить и всех увековечить в жизнеописании Жуковского, первом по времени, до сих пор сохраняющем важность первоисточника.

24 августа все-таки выехал Жуковский в Петербург. Путешествие было нерадостное. Его мучили мечты и фантазии, на каждой станции он что-то писал, все Екатерине Афанасьевне. Мерещилось невозможное — вдруг в Дерпте на *все* соглашаются, вновь дружба, тихое, мирное житие... Он писал, рвал, опять сочинял. В этом полубреду въехал в Петербург «с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в моем чемодане».

В Петербурге поселился у Блудова, давнего своего приятеля еще по Москве, времен Дружеского Литературного Общества.

4 сентября был вторично представлен Марии Федоровне, в Павловске. Теперь это произошло более значительно, более и интимно. В сущности Жуковский гостил у императрицы. Прожил в Павловске во Дворце три дня, подобно поэту Возрождения при просвещенном дворе Италии. Мария Федоровна допустила его в простую домашнюю обстановку, вместе обедали и ужинали, гуляли. (Павловску посвящена «Славянка» — так называлась речка там, вдохновившая его.)

В сентябрьском Дворце, парке Павловска с тихими водами его, лебедями было нечто, как раз от поэзии. В гостиной же императрицы Нелединский-Мелецкий читал дамам стихи Жуковского. Кроме хозяйки Великие княгини присутствовали, две-три ближайшие придворные дамы. Лебеди на прудах, осенняя позлащенность берез в окнах, красные клены, мягкие отсветы паркета, слезы на глазах слушательниц от «Эоловой арфы» — все это очень Жуковский. Как всегда, скромн он и мил. Великий дар его вызывать к себе расположение тут проявляется всюю.

Он, однако, невесел. О днях во Дворце вспомнит с приязнью, но вообще ему в Петербурге нелегко. Дерпт томит. Даже в Павловске, дожидаясь с Нелединским государыни, наводит он разговор на родство с Машей. Нелединский чертит кружки, рисует древо генеалогии: на бумаге выходит будто Жуковскому благоприятное. Разговаривает о том же потом с Протасовым, братом мужа Екатерины Афанасьевны. Как и Нелединский, Протасов на его стороне. Пишет даже свояченице письмо в этом смысле. И все неизвестность: а вдруг повернется в хорошую сторону?

Так вот и колебалось в душе. Но над всем печаль. Придворный успех ее не покрывает. (Ему дали уже должность чтеца при императрице, явно прикрепляя ко Двору.) В Петербурге неуютно. Бросает «из мертвого холода в убийственный огонь». Кажется ему даже, что и поэзия отошла. «Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Долбинской роще» — дорогие, как бы

утерянные края Мишенского и Киреевских. А деятельность «около литературы» в Петербурге немалая. Начинается она в том же сентябре.

Князь А. Шаховской, довольно известный писатель тогдашний, принадлежавший к кругу Шишкова и «Беседы любителей», поставил в конце сентября пьесу «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Среди других был изображен в комедии жалкий «балладник» Фиалкин — насмешка над Жуковским.

Пьеска пустая и автор пустой. А вышло из этого нечто неожиданное и не без значения. На первом представлении присутствовал Жуковский. Друзья сидели с ним в третьем ряду кресел — граф Блудов, Вигель, Жихарев. Когда Фиалкин появлялся, публика оборачивалась к Жуковскому — разумеется, шепот, смешки, лорнетки. Сам Жуковский относился спокойно (помогал удивительный характер). Друзья-литераторы кипятились и негодовали. Пьеса имела успех, хоть и не из-за Жуковского, он же писал родным, несколько позже: «Теперь страшная война на Парнасе, около меня дерутся за меня, а я молчу».

Война состояла в том, что молодые писатели решили, наконец, выступить против старых — вечная история в истории литературы.

Уже сложились две группы: одна охранительная, сторонники Шишкова и церковно-славянской старины, другая шла от Карамзина, более современного духа. Шишков был адмирал, сандвичевский губернатор, его «Беседа любителей русского слова» — академия, с генеральским оттенком. Заседали на торжественных, скучноватых собраниях, в парадной зале. Приезжали важные старики в орденах, министры и светские дамы. Шишков поучал их тайнам собственной филологии. Ненавидя все иностранное, старался вводить «русские» слова — чаще всего коряво и безвкусно. Образцом считался церковно-славянский язык: из него исходить, им питаться. Получалось все это недаровито. И громоздко, но торжественно, как колонные залы заседаний, как кареты, мундиры, бальные платья дам. Из первоклассных бывали у них Державин, Крылов (последний по недоразумению). К ним, разумеется, принадлежал и князь Шаховской со своими «Липецкими водами».

Молодежь взволновалась, решили создать противовес. Так после премьеры Шаховского учредилось общество «Арзамас».

Граф Блудов, А. Тургенев, Батюшков, Дашков, Жуковский, граф Уваров, В. Л. Пушкин, князь Вяземский — вот его сердце. Секретарем оказался Жуковский, а позже явилось еще существо, совсем юное, лицеист Александр Пушкин. «Беседа» выросла из придворно-чиновничьего. Была парадно-скучна. В «Арзамасе»

все наоборот. Большинство его тоже были баре, но стилия хотели простого, с забавностью, шуткой, хотели быть связаны и с современной жизнью. В пределах широкой, привольной тогдашней жизни их можно было назвать богемой.

Собиралась эта богема в квартире графа Блудова. (Квартира отличная, но денег так мало, что иногда Блудов с Жуковским хлебали щи у Гаврилы, дядьки хозяина — наследства Блудов еще не получил.)

Заседали, острили, высмеивали стариков из «Беседы» (но не Державина и не Крылова), придумывали шутки и забавы. Клонилось же это все к утверждению естественного и простого, небоязни языка современного, непризнания к обыденности. Передразнивая масонские логи, завели они ритуал посвящения новых членов, насмешливый и увеселявший.

У всех были клички. Жуковский — Светлана, Тургенев — Эолова арфа, граф Блудов — Кассандра, Уваров — Старушка. Пушкин назывался Сверчком. При вступлении каждый должен был произносить похвальное слово покойному предшественнику, как в Академиях. Но никто у них еще не умирал. Покойников брали напрокат у «Беседы» и панегирики эти были, конечно, веселые.

Вообще чуть не все связывалось с шуткой, иногда совсем детской. Арзамас городок Нижегородской губернии, недалеко от Сарова. Мало чем помянешь его. Но вот в те времена славился он гусями. Литераторы молодые заводят «Арзамасскую Академию» (и в заключение заседаний едят гуся), Шаховского называют Шутовской (помирают со смеху), Блудов пишет целую статью «Видение в Арзамасе ученых людей».

Вот они принимают в сочлены В. Л. Пушкина, «дядю», и тоже поэта. Нарядили в хитон с раковинами, на голове огромная шляпа, глаза завязаны. В таком виде ведут по комнатам огромного дома Уварова, по узкой крутой лесенке сводят вниз, бросают ему хлопушку под ноги, заставляют проделывать всякие глупости, стреляют из лука в чучело, изображающее Шишкова, подносят огромного замороженного гуся и т. п. — потом кладут его, наваливают на него несколько шуб и так, лежа под шубами, обливаясь потом, дядюшка Пушкин выслушивает шутовскую речь секретаря (Жуковского: «Какое зрелище пред очами моими! Кто сей, обремененный толикими шубами страдалец?») — и т. д. — смысл, тот, что жар шуб должен омыть его от «коросты «Беседы» и тогда он невинным вступит в ряды арзамасцев.)

Все это тянулось долго и... — нравилось. Довольно удивительно, что как раз Жуковский был зачинщиком всех таких шуток. Тот, чей стих «легок и бесплотен как привидение» (Гоголь),

любил всякую острословную чепуху, шуточные стишки, выдумки, решительно никакой славы ему не прибавившие, но за которые он стоял горой. У Жуковского не было капли юмора, но он очень любил острить, сам хохотал по-детски и насколько был скромнен в большой литературе, настолько высоко о себе мнил в жанре комическом. А теперь, осенью 1815 года в Петербурге, это могло бы казаться и совсем странным: труднейшая осень, с такой внутренней тоской и все эти дурачества «Арзамаса».

* * *

Иван Филиппович Мойер был сыном ревельского суперинтенданта. Вначале изучал богословие в Дерпте, потом занялся медициной. Учиться уехал за границу — шесть лет провел в Павии, трудился под руководством знаменитого хирурга Скарпы. Работал и в Вене. Отлично играл на рояле, встречался и был знаком с Бетховеном. Кроме последней — теперь как бы легендарной черты биографии — все остальное обыденно, просто, высоко, будто и слишком добродетельно: хоть бы какой недостаток! В 1812 году в Дерпте заведует он военным госпиталем, потом работает в университетской клинике, через три года получает звание профессора.

Портрет показывает приятное, округлое и доброе лицо в очках, с мягкими некрупными бакенами на щеках, усы и подбородок бриты, шея в высоком галстуке, из-под которого торчат углы крахмального воротничка. Облик благодушия и смиренности, старонемецкого сентиментализма.

Этот Мойер лечил Протасовых и Воейковых. Летом он познакомился и с Жуковским — оба друг другу понравились чрезвычайно. А еще больше нравилась Мойеру Маша. Да и она относилась к нему с большой симпатией.

В доме же после отъезда Жуковского, стало совсем плохо — Воейков распустился до невозможности. Все у него выходило теперь неудачно. Вначале профессора приняли его хорошо, скоро, однако, увидели, что он такое. Пьянство, грубости, сцены в семье — в маленьком городе все известно. Лектором он оказался плохим, студентам из немцев и предмет малоинтересен. Посетителей у него все меньше. Он злится, завидует, срывает это на домашних.

Вот запись Маши (ноябрь) — не из веселых: «После ужина он опять был пьян. У мама пресильная рвота, а у меня идет беспрерывно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говорит, что этому причиной страсть, что я так же плевала кровью,

когда собиралась за Жуковского, что через год верно от какого-нибудь генерала будет та же болезнь».

В гадких этих намеках разумеется Мойер. Он просил уже руки Маши, но ему отказали. Теперь положение иное. С одной стороны — Жуковский произвел из Петербурга последнюю попытку воздействовать на Екатерину Афанасьевну: по его просьбе Павел Протасов написал ей еще письмо, все о той же возможности брака Жуковского. (Кажется, именно это письмо и ускорило события в Дерпте, всех растревожило.) Затем, положение Маши из-за Воейкова становилось невыносимым. «После ужина он опять пьян, грозит убить Мойера, маменьку и зарезаться... Если бы Жуковский и Кавелин могли бы видеть один из этих ужасных вечеров, они бы сжалились над нами».

Мойера он грозит убить потому, что Маша, да и Екатерина Афанасьевна решили на этот раз Мойеру не отказывать. Произошло это в отсутствие Воейкова — он уезжал в Петербург по делам к Жуковскому и Кавелину (с последним вышли у него неприятности.) И вдруг оказалось, что Мойер жених Маши. До Маши-то Воейкову дела мало, но как так решили без него, да еще новый соперник в семье, новый и сонаследник по Муратову — и во всяком случае полный защитник Маши; с госпожой Мойер не станешь уж так обращаться, как с безответной Машей Протасовой.

Маша совсем не имела к Мойеру чувства, как к Жуковскому — видимо, просто он расположил ее к себе качествами бесспорными. И не ее одну, всех располагал. В Дерпте пользовался отличной славой. Достаточно ли этого для брака, другой вопрос. Но Маша явно была в безвыходности: или продолжать мучительную жизнь при Воейкове, на замужество с Жуковским не рассчитывая, или все резко переломить. В своей тишине, в слезах смиренных приняла она решение, частью похожее на самозаклание. Но ведь вообще была из породы агнцев. «Мой милый, бесценный друг... Я не закрываю глаза на то, чем жертвую, поступая таким образом». А вот оказывается, что этим дает счастье матери и еще доставит ей «двух друзей».

В отстранении «себя», в жизни «без счастья» видна ученица Жуковского. Будто и не из сильных, но когда надо вкусить горечь, силы находятяся. Чтобы «маменьке» было покойнее, для этого и ломать жизнь.

Жуковский все это принял с горячностью крайней. Поражен, негодует. Считает, что Машу насильно хотят выдать. Не может быть, чтобы взаправду она полюбила, так скоро, так сразу забыла все прошлое. Нет, невозможно. Письмо его (25 декабря 1815) — целое произведение. И спор, и нападение, и выдержки

из ее письма, и опровержения. Ему нелегко. Возражать вообще против того, чтобы Маша вышла замуж нельзя — с ним самим брак невозможен. Он и не возражает. Но хочет, чтобы сделано было по ее воле и с известной разумностью. Пусть она пораздумает, приглядится. Против Мойера он ничего не имеет, но она почти и не знает его, для чего же спешить?

Это, в сущности, уже поражение. Уже признается, что Маша должна выйти *не* за него, а за другого, уж и другой этот не таков, каким был Красовский... — вопрос только в том, не вынуждено ли у нее решение, и если оно свободно, то пусть пройдет хоть некоторый срок. А затем, надо самому посмотреть.

В январе он опять уже в Дерпте, чтобы самолично «вложить персть», вновь вблизи перестрадать, прикрываясь возвышенным прекраснодушием и убедиться, что другого выхода нет. Лучше Мойера не найти. Мойер любит ее высокою, преданною любовью.

Вот живут они трое, бок о бок — Мойер, Маша, Жуковский, в этом немецко-университетском Дерпте. Медленно, неотвратимо уходит счастье Жуковского — в пышных и возвышенных словах, в призываниях дружбы, мира, спокойствия — именно и уходит. Теперь Екатерина Афанасьевна спокойна. Не боится уже. Жизнь Маши на рельсах. С Жуковским не возбраняется и разговаривать наедине, и гулять, все уже решено. Только Воейков беснуется: никак не может принять, что не он один в доме. И среди безобразий своих вдруг напишет чувствительное послание жене, о Жуковском отзовется превыспренно, можно подумать, что и он вот, Воейков, тоже из стана поэтов. Но никто всерьез этого не подумает, только скажет, что душа человеческая пестра и противоречива. Одной краской ее не напишешь.

В Дерпте Жуковский входит в жизнь города — университетскую, литературную и духовную. Много знакомств с профессорами типа Эверса и других, со студентами вроде Зейдлица. Поэзия германская являлась тоже: занялся он Геббелем («Овсяный кисель») — нельзя сказать, чтобы уж очень блестяще. Университет поднес ему доктора *honoris causa*¹, дело рук новых друзей, может быть, и не без Мойера. Но это все лишь поверхность. «Из глубины воззвах» этого времени надо считать «Песню»:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья
И замолчавшие мечты?

¹ Во внимание к заслугам (*лат.*).

Не все покойно в отказавшемся Жуковском. Из-под торжественного облачения душевного доходят стоны. Душа стремится в край,

Где были дни, каких уж нет,
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет

Пушкин сидел еще в Лицее, а в литературе раздавались уже звуки, которые он подхватит, вззовет, возведет в перл. Но раздались-то они у Жуковского. Он русский Перуджино, чрез которого выйдет, обгоняя и затмевая, русский Рафаэль.

В это же время написано «Весеннее чувство» («Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь...») — с той спиритуальной легкостью, которая лишь одному Жуковскому и свойственна. «Воспоминание» весомей — грусть что-то да значит («И слез любви нет сил остановить...»). Тут же и другая «Песнь» («Кольцо души-девицы я в море уронил...»).

А жизнь и события ее текли. Жуковский любил называть странствие наше ночью дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь — память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей. Свадьба Маши и Мойера (14 января 1817) была, разумеется, для него большой вехой, но, конечно, уже не фонарем, радостно что-то освещающим.

Вот как описывает он себя после ее свадьбы: «Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником».

И дальше:

«...Я не могу читать стихов своих... Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет». Он вступал в некоторый душевный туман — или оцепенение.

ПРИ ДВОРЕ

Осенью 1816 года красавец огромного роста, с которым познакомил Жуковского у императрицы Марии Федоровны Уваров, уехал в Берлин: налаживался брак его с Шарлоттой, дочерью знаменитой Луизы Прусской.

Эта Шарлотта, видная, замкнутая и просвещенная девушка, провела детство и отрочество в изгнании — Наполеон был

врагом всей королевской семьи. Они жили уединенно и бедно, пока по Европе шумел победитель. В сыром, скучном Мемеле Луиза приучила свою Шарлотту к труду, чтению, религии. Позже они перебрались в Кенигсберг. А с падением Наполеона — вновь в Берлин.

Русский Великий Князь для немецких королей находка. Николай всю осень провел в Шарлоттенбурге, где жил Двор — кроме невесты больше всего занимался парадами и военными делами. А потом уехал дальше, побывал в Англии. Но свадьба решена была окончательно и священник Музовский стал готовить Шарлотту к переходу в православие.

На следующий год, через четыре месяца после свадьбы Маши и Мойера, Шарлотта выехала уже в Россию — для бракосочетания.

Николай очень ей нравился, да и она ему. Можно думать, что просто они были друг в друга влюблены. Все-таки уезжать было тягостно. Родной мир оставался сзади — впереди гигантская и жуткая Россия.

Жених выехал встречать невесту к границам государства своего и вез ее как можно скорее, но по тем способам передвижения все же медленно, на Ригу. В дороге угощал смотрами и солдатами («Нельзя поверить, чем этот господин способен заниматься по целым дням», — записал язвительно немецкий генерал, сопровождавший принцессу). Принцесса была не очень весела: боялась императрицы, боялась перемены религии, вообще всего чужого, нового мира.

Императрица, однако, приняла ее ласково. Но тяжелого настроения не рассеяла. «С самого своего въезда в Петербург вплоть до 24 июня Шарлотта плакала, как только оставалась одна». Но потом причастилась — стало легче. Император Александр был с нею мил, со всегдашнею своей прохладной и таинственной ласковостью, под которой неизвестно что. Под руку с ним, в белом платье с крестиком на груди, подходила она впервые к св. Чаше, неверным голосом, на полужнаком языке прочитала наизусть Символ Веры и из Шарлотты Прусской превратилась в Александру Федоровну, а через неделю в русскую Великую Княгиню.

После свадьбы молодые непрерывно переезжали из дворца во дворец, главнейше же вращались вокруг Павловска, где жила императрица Мария.

Тем самым попадали в ее просвещенно-литературный круг. Александра Федоровна сама этим интересовалась. Николай больше любил военное дело, но не надо думать, что литературу не ценил — позже вслух читал жене в Аничком Дворце сам, а

теперь, в дурную погоду, в Павловске им читали Уваров, тот Плещеев-негр, что был соседом Жуковского по имению, и сам Жуковский.

Тут и произошла встреча Жуковского с Великою Княгиней, столь огромно отозвавшаяся на его жизни. Как и многим другим, он ей понравился. На долгие годы это определило его судьбу — и жизненно, и даже литературно.

К Императорскому Дому Жуковский прирастал не со вчерашнего дня, медленно, но верно. Началось это два года тому назад, с майской и сентябрьской встречи с императрицей Марией. Потом чтение ей вслух, потом стихи патриотические, поднесенные Государю, назначение пенсии (небольшой, но пожизненной). Все это внешнее. Жуковский ничего не добивался. За него старались друзья. Он же благодарил, исполнял, что полагалось, но на сердце иное. Свадьба Маши все определила. Оставались лишь воспоминания и минуты тоски, прорывавшей серость жизни его теперешней. В это именно время встретился он с юною Великою Княгиней, перестраивавшей душу для российской жизни. Может быть, с некоторого конца и подходили они друг к другу, даже друг в друге нуждались, так что не зря получил он назначение преподавать ей русский язык и литературу: труды с ней заполняли для него некоторую пустоту, дух же изящества и благородства женского его вообще воодушевлял. И вот представляется ему случай делать нечто подходящее, как-то жить.

Придворным был он, разумеется, никаким. Но ученица ему нравилась.

Он занимался с ней от всего сердца. Много вместе читали. Для нее составил краткую русскую грамматику. Изящный, тихий поэт тоже был приятен. Позже ее считали холодноватой и надменной, но в те годы, еще не отравленные болезнью, трудностями с мужем, охотно видишь в ней молодую женщину с тяготениями романтическими, склонную к поэзии — и вот встретила она в этом сумрачно-роскошном Петербурге, в блеске Двора, с душой нежной и чувствительной, с настоящим певцом. Он дает ей нечто, противоположное строгому великолепию окружающего.

Начинается взаимовлияние. В нем самом (и в его стихах), в русской литературе, куда он ее вводит, она что-то для себя находит утолительное. А его приближает к германской поэзии — все сильней и решительней — и он выходит на дорогу свою. Выпускает под ее покровительством книжечки «Для немногих» («Für Wenige») — переводы из немецких поэтов: Гете, Шиллера, Геббеля, Кёрнера, с немецким сопроводительным текстом. Изящные сборники, в художественных обложках с рисунками того

времени. В № 4 помещен знаменитый перевод «Лесного царя», всем с детства знакомый, так и оставшийся непревзойденным. Там же большое собственное его стихотворение, весьма знаменательное и имевшее отношение к его личной судьбе: на рождение Наследника.

Император Александр зиму 1817/18 года проводил в Москве, «малый двор» Великого Князя Николая и Александры Федоровны тоже. Москва оправлялась от пожара и разгрома французами. Государь хотел быть вблизи населения, воплощая величие и победоносность России. Жуковский сопровождал Двор. Жил тоже в Кремле, продолжал обучать Александру Федоровну, а в свободное время бродил с графом Блудовым, давним приятелем еще с коронации Александра I, по Москве, разыскивая уголки поэтические, восторгаясь ими по-детски.

А ученица его родила в Кремле сына. Жуковский и написал ей по этому случаю послание.

В нем есть внешнее, есть и внутреннее. Верноподданническое и человеческое — нечто от искреннего прирастания к царской семье, к самой Александре Федоровне. Она для него и Великая Княгиня, и бывшая ученица, милая знакомая. Литературное достоинство послания не выше среднего. Но некоторые общие высказывания замечательны.

Родился мальчик Александр, не простой мальчик, будущий Царь-Освободитель. Судьба его особенная.

Уже в ее святилище стоит
Ему испить назначенная чаша.

Величие этой судьбы Жуковский чувствовал. И издали, над колыбелью, в суровый век Аракчеева, будущему своему ученику дал завет нового времени — воистину Новый Завет:

Да встретит он обильный чеством век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек.

Некогда возвестил он Светлане светлую и счастливую жизнь — и ошибся. Теперь ничего не возвещает, но напутствует. Послание написано в мажорном и торжественном тоне, с любовью, но и наставительностью: так отец мог бы говорить сыну.

В некотором смысле отцом он ему и оказался. Больше отцом, чем отец настоящий. Только вряд ли скромному его взору мог примерещиться тогда, в Кремле, страшный конец императора Александра. Этого и не требовалось. Пророком Жуковский никогда не был.

В те годы ему суждена была жизнь довольно блестящая и разнообразная — внутренне же пестрая, даже противоречивая. То он со Двором в Москве, то живет в Петербурге у Блудова, позже у овдовевшего своего друга, «негра» Плещеева, перебравшегося в Петербург, то едет в Дерпт к своим «вечным»: эти уже навсегда. Но во внешнем устройении над всем Двор и ученица. Ей он предан, хоть не все в его душе открыто для нее. В глубине многое, чего не скажешь, в оде ли или послании. Это к Дерпту направлено.

И как нередко у него: шумные заседания «Арзамаса» со всякою чушью, шутивными несмешными стихами, жареным гусем и возлияниями, а тайные записи все о неугасшем, да и угасимом ли? Там цвет поэзии его.

«Протокол двадцатого арзамасского заседания» — трудно поверить, что один и тот же человек написал:

«Взлезла Кассандра на пузо, села Кассандра на пузе» — и далее нечто длиннейше-скучнейшее, над чем помирал со смеху недавно выпущенный из Лицея Александр Пушкин, также и другие сотоварищи и собутыльники — и

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездой
Ты сияешь с вышины.
Ах, звезды не приманить:
Счастью бывшему не быть.
Если б жадною рукою
Смерть от нас тебя взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце все бы ты жила
Ты живешь в сиянье дня;
Ты живешь не для меня.

Это из Шиллера. Но Шиллером проговорило сердце и Шиллер обратился в Жуковского, несмотря на неподходящее название («К Эмме»), несмотря на последнюю, третью строфу, где является Эмма и ослабляет две первых строфы.

Стихи помечены: 12 июля 1819 г. Рядом, все в том же «гробу сердца» его, другое стихотворение — «Мойеру»:

Счастливец, сю ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы твоей прекрасной,

Мне ж сердце и душа и жизнь и все напрасно
Когда нельзя отдать всего на жертву ей.

Этих стихов не знала ни Александра Федоровна, ни, вероятно, и ближайшие его друзья — Тургенев, Блудов. За них не получал он ни наград, ни пенсий. Просто в Дерпт съездив, повидав жизнь милых сердцу (в феврале 1819), написал все это летом для себя. А записалось золотом в наследие литературное, да и человеческое. (Хорошо бы найти другого русского поэта, способного сказать сопернику хоть приблизительно подобное!)

А ученица его между тем захворала. В июле 1820 года занятия с ней пришлось бросить. Но для него болезнь эта казалась и благодетельной: Александру Федоровну отправляли лечиться за границу, среди других в свиту ее был назначен Жуковский.

Много лет назад, еще во времена Мерзлякова, сын турчанки и русский европеец мечтал уже о Западе — собирался в Геттинген. Тогда это не осуществилось: не был он готов. В Отечественную войну сверстники его Европу увидели, докатились до самого Парижа. Но он заболел и не докатился. Теперь не он болен, но ему пора видеть новое. Художник созрел в нем, Лагарпы, Флорианы, Жанлис, Коцебу давно позади, близки Шиллер и Гёте. Вот теперь и пора встретить ту Германию, духовный союз с которой главенствует над всем взрослым его писанием.

В сентябре он трогается, через Дерпт и Ригу, в довольно-таки дальний путь. Это его волнует и воодушевляет. Несколько жуток берлинский Двор, он боится там скуки и казенщины, но зато Дрезден, галереи, Рейн, замки, Швейцария! И люди удивительные... (В эту поездку мельком встретился он с Гете.)

Опасения насчет Берлина не подтвердились. Наследный принц, брат Александры Федоровны, проявил себя очень приятно, оказался даже склонным к литературным интересам. Новое и замечательное увидел Жуковский в театре, Шиллерову «Орлеанскую деву» — позже и перевел ее, прославил на русском языке.

А у себя дома королевская семья устроила пышное представление — инсценировку поэмы Мура «Лалла Рук»: живые картины в духе феерии восточной, где Великий Князь Николай играл роль поэта-короля, Александра Федоровна героиню, Лалла Рук. Жуковский всюду присутствовал. Из поэмы перевел эпизод, озаглавив его: «Пери и Ангел». Вообще же состоял как бы придворным поэтом — положение не из легких.

Помогал легкий характер. Да еще то, что к царской семье привязывался он тоже семейно, по-другому, конечно, чем к

Протасовым и Юшковым, все же входил в жизнь этих частью надменных, частью и сентиментальных «верхушек пирамиды» как благодетельный и благосклонный, скромный дух. Жуковский именно «при них», и обиходный, свой, но и внешний, за ним поэзия и красота — это они, к счастью, чувствовали и понимали.

Шум, блеск Двора, сердце же закрыто. У Маши только что родилась дочь. Он спрашивает друзей о ее здоровье. А самой ей приписка: «Маша, милый друг, напиши мне о своей малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок!»

Очевидно, бесценный, раз вял с собой в европейское дальнее странствие (видимо ее «письма-дневники»).

«Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоём сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше». «Читать твою книжку есть для меня оживать. *И много милых теней восстает*».

На нескольких строках три раза слово «милый». Это Жуковский. Это нечто и от того времени. Не от Аракчеева и Бенкендорфа, а от нежных душ, чувствительных, мечтательно-меланхолических.

Так шла зима. В апреле тронулся он в путешествие по Германии и Швейцарии.

* * *

Жуковский рано начал рисовать, с детства. Занятие это очень любил, оно прошло чрез всю его жизнь. Поэт, в стихах своих музыкаю проникнутый, одухотворивший ею слово, музыки как искусства не любил. Живопись же считал родною сестрой поэзии — в собственной его поэзии эта сестра роли не играла. У него был острый и живой взор. Видел и замечал превосходно, но для стихов этим не пользовался. Весьма склонен был прославлять Божие творение. Делал это в описаниях природы (прозой) и в рисунках.

Еще собираясь в путешествие, летом 1820 года усердно рисовал виды Павловска и упражнялся в гравировании их на меди. За границу это пригодились: в Германии, Швейцарии встретилось как раз то, что его художественно воодушевляло. Он много рисовал в дороге.

Первое крупное, может быть и великое впечатление его в этой поездке — Дрезден. Подъезжал он к городу вечером 1 июля. «Вышел из своего смиренного Stuhl Wagen¹», пошел пешком.

¹ Спального вагона (нем.).

Город светился между зеленою каштанов, кленов и тополей; вблизи, между темно-зелеными деревьями мелькала мельница, за нею зеленел широкий луг, далее виден был прекрасный Дрезденский мост, над ним темные липы Брюлева сада и величественно из-за вершин древесных выходил купол церкви Богоматери и великолепная католическая церковь с высокими башнями.

Долго бродил по террасе Брюлевой; пестрая толпа сверкала на солнце под зеленою лип, и все было чрезвычайно живо: небо ясно угасало и на светлом безоблачном западе прекрасно отделялся высокий крест, стоящий на мосту: этот вид давал картине что-то необычно величественное).

Под таким углом встретился он с Дрезденом, пребывание там оказалось значительным для него внутренне.

Вот встреча с Фридрихом, живописцем, и Тиком — главой немецких романтиков того времени. Оба ему понравились. С Фридрихом отношения сохранились надолго. Тик произвел впечатление яркое, но так и мелькнул странно-таинственною звездой. Они виделись, много беседовали, Тик читал ему «Гамлета» — чтец был замечательный, но Шекспир не так уж понравился: тяжкое, сумрачно-красное и «слишком человеческое» в нем не было близко Жуковскому.

С Фридрихом он сошелся. Об этом пейзажисте и художнике романтическом без него и вовсе бы мы ничего не знали. Жуковский в нем ценил «верность» изображения природы и «человечность».

В те времена целы были еще дворцы Дрездена, картинная галерея Цвингер, терраса Брюля над Эльбой, где позже прогуливался тургеневский Кирсанов. Мирный, цветущий город, ослепительный искусством, так Жуковскому подходил.

В эти июльские дни встретился он в галерее с Сикстинскою Мадонной. Смотрел ее не один раз. Но однажды лишь, просидев перед ней час в одиночестве, ощутил как бы тайное вхождение ее, мистическую встречу. Полагал, что творение это есть *видение* Рафаэля, как бы запись посещения, и в тот удивительный, одиноко счастливый час собственной жизни пережил это видение сам. «Гений чистой красоты» — слова Жуковского, Пушкин пустил их в ход позже.

Для Жуковского в тот час встреча с Мадонною была не только встреча с красотой, но и с самим Божеством. Через картину открывался ему высший мир.

По террасе Брюля, как и Кирсанов, он гулял часто, Эльбою любовался. Как некогда Карамзин, она погружала его в мечтательные настроения. Да и родное вспоминалось — Белев, Ока, разные Темряни, Жебинская пустынь, Дураковская церковь.

Из Дрездена, все на лошадях, с товарищем своим Олсуфьевым, двинулся он дальше, через Саксонскую Швейцарию к Карлсбаду, а там на Констанцское озеро и в Швейцарию. Ехали в коляске, иногда вылезали, пешком по тропинкам сокращали дорогу. Любовались видами диких Саксонских гор, полных разных легенд.

Тут же он рисовал: все хотелось запомнить и изобразить. Близ Бастей, над Эльбою, с высоты отвесного утеса расстился перед ним Божий мир. Словами вполне живописными и взволнованными изображает он его.

«И над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить все, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась, и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба».

Та же изобразительность, если не ярче, в описании Констанцкого озера.

«... Когда озеро спокойно, видишь жидкую, тихо трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, и по ребрам их голубая пена, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными».

Так может писать только имеющий любовный, памятливы-точный глаз — мир близок и прекрасен, надо все запомнить, ничего не упустить.

Началось путешествие по Швейцарии. Подымался он на Риги-Кульм, видел Чертов Мост, Сен-Готард, спускался в Италию до Милана, назад на Женеву. Побывал и в Шильонском замке, что дало нашей литературе «Шильонского узника».

На лоне вод стоит Шильон,
Там в подземелье семь колонн...

Из Байрона взял самую не байроновскую поэму. Обратил ее в меланхолически-нежный вздох.

Вот как написана смерть младшего из трех братьев-мучеников за веру:

Смирненным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко молчалив,
Столь безнадежно — терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,

Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас.
Прекрасно гаснет в небесах...

Легкая цепь смежных созвучий в четырехстопном ямбе с неизменными мужскими рифмами — впечатление ясной и прозрачной печали, включенной в удивительную гармонию природную. Все очень трогательно, но это уж не карамзинский сентиментализм: эпоха Пушкина и Лермонтова. Ей Жуковский предтеча. Пушкин был еще полуучеником, Лермонтов вовсе ребенком. Пушкин испугался даже, увидав, что некоторые строки «Братьев-разбойников» его как бы и от «Шильонского узника». («Мицри» всей поступью своею — при полной мужественности — тотчас вспоминается, как только берешься за «Узника».)

Из Веве Жуковский проехал во Фрейбург, побывал в Люцерне, видел «Умиряющего льва», дальше путь его к Цюриху. Шафгаузенский водопад опять дал возможность блеснуть описанием (все это, как и письма саксонские, направлялось Александре Федоровне. Все было литература, вошло в собрание сочинений).

Путешествие же заканчивалось. Оно питало и укрепляло его, художника уже зрелого, в расцвете сил, силам этим давало новый уклон. Он узнал новых людей (среди них, хоть и мимолетно, самого Гёте). Видел новые страны, новую жизнь, испытал новые чувства. Осенью в Берлине оказался автором первых пьес — «Орлеанской девы», «Шильонского узника». Вряд ли в Белеве написал бы их. В альбомах сохранились и его рисунки.

Путешествием обязан он Двору. Двор его вывез с Александрой Федоровной, Двор разрешил и теперь провести остаток года в Берлине. Но никто не подумал в то время об одном странном влиянии, которое оказал Запад на Жуковского: он физически ощутил *невозможность* крепостного права. «Аннибаловых клятв» как Тургенев не давал, но вернувшись отпустил на волю своих четверых «людей». Так что и дальше не зря именно он будет обучать будущего Царя-Освободителя.

МИЛЫЕ СЕРДЦУ

В повествовании своем поворачиваю назад, снова к Дерпту. С самого переезда сюда начала Маша переписку с кузиной Дуней (Киреевской, позже Елагиной.) Эти смиренные письма сохранились, на радость литературе нашей. В них нет горизонтов.

События исторические — мимо. Лишь человек, его жизнь и томления, незаметное, как бы и бледное существование: но вот оно полно трогательности и значения.

Дуню она обожает с детства. Та живет сейчас далеко от Дерпта — в Долбине, в краях Мишенского и Муратова, туда все думы, чувства.

«Когда мне бывает грустно очень и неожиданно вдруг делается полегче, то я тебя благодарю за это; мне кажется, что в эти ужасные минуты мой ангел хранитель научает тебя за меня молиться». Дуня более бурно-пламенна. И тоже ее обожает — так всегда было. («Помнишь ли, как ты боялась, чтобы тебя не спасли прежде меня?») Быть спасенной в болезни, если бы Маша погибла, было бы для Дуни несносно. И в разгар тягостей и борьбы за свадьбу Маши с Жуковским предлагала же она — если венчаться им из-за родства грех, так она, Дуня, пойдет в монастырь, там будет замаливать прегрешение. Авдотья Киреевская такая и была. Половинчатости в ней нет.

Страстная, но и требовательная. В переписке местами есть ревность, шипы и тернии. Очарователен дух интимности. Маша называется иногда «Ге» — так прозвали ее дунины дети (будущие известные славянофилы). Вдруг появляется какой-то Клушин — будто фамилия, но это кличка, шифр выражает некоторое настроение души («У меня нынче был Клушин»).

Дуня не одобряла, что Маша решила выйти замуж за Мойера. Жуковского она возносила не менее Маши, считала, что брак с Мойером нечто «против Жуковского», вероятно, и полагала, что за свое и его счастье надо бороться упорнее — если бы с нею такое произошло, вряд ли она уступила бы. Но у Маши иной характер, с детства слишком она в руках матери и слишком вообще в жизни из обреченных, ведомых на заклятие. Да и душевно у них в Дерпте все было запутано.

Жуковский с Мойером подружились, все желали друг другу счастья и все заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице? «Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его».

Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера — это надо было придумать! И вот ровно на другой день пишет она в Долбино: «Дуняша, мне иногда, часто бывает тяжело, очень тяжело, но это пройдет». Через два дня: «А ты, моя душа, ты всегда присутствуешь в хорошем и дурном, в радости и неприятности. Ты связана со всеми чувствами и любить тебя есть то же, что дышать». (В другом месте, о своем сердце: «оно твое крепостное».)

Какой бы поток слов ни изливался, выходить замуж — хоть и за отличного человека, любя другого...

«Je t'avoue, Eudoxie, que le moment où je me suis décidé a été affreux, mais Dieu a tant fait pour moi, que je le remercie pour la résolution que j'ai prise»¹.

Это апрельское настроение. И все лето невесело.

Осенью еще хуже. Ряд писем Дуне и вовсе не отправлен, *из-за грусти*. А время подходит к свадьбе. В декабре 1816 года брак ее с Мойером открыто уже возвещается — предсвадебные визиты и развоз карточек по бесконечным родным и знакомым Мойера — 278 извещений! «Сегодня приезжают к нам отдавать карточки, а мы сидим в задней комнате и погасили все огни в гостиной». «Как я ни уверена в своем счастье, но мне так страшно, что я бы рада совсем умереть».

С этим будущим счастьем, от которого лучше умереть, поздравляет ее некто, в церкви услышавший оглашение помолвленных — оттого и решился поздравить открыто. А она чуть не заплакала от поздравления — «отчего, сама не знаю. Дунька, дай Бог мне счастья, не правда ли?» К свадьбе должны съехаться бесчисленные родные Мойера, из разных мест, даже из Выборга — кузен Тидебёль с женой и детьми, друг Цёкель и всякие еще другие. «Я готова закричать, как Варлашка?: «Боюсь!»

В январе 1817 года, чрез неделю после венчания, Маша пишет кузине, что в замужестве счастлива и для нее началась жизнь иная (преимущество перед прежней в том, что теперь рядом не сумасбродный Воейков, а тихий, ученый врач, деятель, музыкант, филантроп, но скорей «брат», чем муж: Иван Филиппович Мойер).

Они поселились отдельно. Екатерина же Афанасьевна осталась, как прежде, со Светланой и Воейковым. Воейков от брака Маши был в ярости — его не спросили, это давало ей независимость и ослабляло его долю в управлении Муратовым. Да и вообще он разыгрался. Светлана запиралась от его скандалов у себя, страдала молча. Но теперь и Екатерина Афанасьевна узнала, что такое оскорбления: напал он и на нее, требовал денег, а однажды изругал, как служанку.

Только с Машей ничего уж не поделаешь. Это его злило. Маша теперь г-жа Мойер, живет в том же Дерпте, но в надежном

¹ «Признаюсь тебе, Авдотья, что то мгновенье, когда я решилась, было ужасно, но Бог столько сделал для меня, что я благодарю его за решение, которое приняла» (*фр*).

² Воспоминание детства домашний шут у старого Буннина. (*Примеч. авт.*)

укрытии, в крепко слаженном и серьезном доме. Туда в пьяном виде не ворвешься, безобразия не учинишь.

Дом и жизнь Мойеров были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбиных. Никакого крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распушенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие... — и серость.

С утра Мойер в университете, по больным. Маша работает дома, заходит «к маменьке». В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием — дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. «Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезает рак, четвертому прокалывает бельмо и всякий кричит на разные голоса».

Между 4—5 Мойер запирается у себя «в горнице», готовится к лекциям. «В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу». Тут Маша читает — по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, все как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже мойеровского. К этому Маша привыкла с детства.

Приходит Саша, любимая Светлана, «бостон, пикет, фортепиано». Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.

В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде, он свой и любимый, как всегда «ни при чем» у чужой, как-то устроенной жизни.

Его уважают и ценят и в обществе, и в университете, и русские, и немцы (некий Зенфт выразился о нем: «Жуковский необыкновенный человек, *obgleich ein Russe*»¹ — Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залетным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.

Иногда они проявляются.

Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается — еще пять, снова уходит. Снежком заезжает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. «У меня двести рублей, а у него только десять» — возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку

¹ Хотя он русский (нем.).

к церкви. «Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтора ста, а ему какво?» Опять назад и еще пятьдесят.

Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли и Жуковский далеко ушел был в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмахер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал. Выручка нынче была несметная.

А курляндцу продолжало везти. Через несколько времени у камня его остановился другой господин, в очках, с добрыми подслеповатыми глазами, в малых бакенах, с выбритыми усами и подбородком, в высоком галстуке и солидной шубе — нечто основательно-благожелательное. Тоже дал денег, потом посмотрел на ноги, задумался.

И очень скоро курляндец оказался в лучшей дерптской клинике. Добрый Самарянин в очках устроил его там бесплатно. Вынужден был одну отнять, а другую лечил и вылечил. Его звали Иван Филиппович Мойер. Он был муж Маши и тот смиренный похититель счастья Жуковского, при котором надеялся тот создать счастье для всех троих.

Что могло выйти из этого счастья предвидеть нетрудно, но семейную и повседневную опору в муже Маша нашла.

Тем же летом и осенью много перемен произошло вокруг: Дуня Киреевская, после пятилетнего вдовства, вышла замуж за А. А. Елагина. Умерла Анна Ивановна Плещеева, жена «негра», красавица Нина, инициалы которой в двенадцатом году приняли подгулявшие помещики за наполеоновские. Воейков написал гнусное письмо Елагиным о Маше (будто она была любовницей Жуковского) и та две ночи не спала, все плакала — потом простить себе не могла, что из-за этого столько страдала. Сколько Светлана плакала за эти годы мы учесть не можем — у нее характер оказался самый замкнутый, прежнее веселье девочки заключилось теперь в строгий образ страдающей сифиды.

А Жуковский в это время то в Москве со Двором Александры Федоровны, то в Петербурге, наезжает в Дерпт. Как всегда, за парадной стороной его придворной жизни тайная и глубокая сердечная. Где бы он и Маша ни находились, чем бы ни занимались, они связаны подземно-неразрывно. Может быть, друг друга даже на расстоянии воспитывают, возводят ступеньку выше — и все идет чрез острую тоску, сменяемую воодушевлением и вновь тоской.

Дуня Елагина в 1818 году беременна и Маша пишет ей: «Благословляю твою *пузу*» — ей самой скоро предстоит то же, а пока она признается, что привязанность ее к Мойеру «не уравнивала ее чувств». Это ее «благодетель», благодаря ему обрела она некий «покой» — но не больше. Иван Филиппович этого письма не видал. Было ли бы оно ему приятно?

Но вот в следующем году самому Жуковскому Маша пишет уже в другом тоне: «Кто лучше меня познал совершенное счастье? Теперь каждое дыхание должно быть благодарность.

... Ты не можешь вообразить, как ты мне бесценен и как дорого для меня чувство, которое к тебе имею».

А через два дня к Дуне вновь по-иному. Здоровье «расстроилось», и Мойер велит ехать в деревню на поправку, но она не верит и не желает.

В первый раз слышится тут звук ее кратковечности. («Одного только желать смею; *покою поскорее*. «Une vie inutile est toujours trop longue»¹.)

Вот заехала она, наконец, и в деревню Лифляндии, на отдых. Но не радуется. Все здесь не по ней. Нет русского помещичьего склада. Девушка, молодая женщина в Муратове или Долбине занята литературой, поэзией, музыкой — так было в «их» доме. Это несколько *над* жизнью, жизненное делают за нее другие. Тут же ей приходится стряпать на кухне, ключи от погреба и амбара у нее, она «жалует» даже, что училась столько в свое время, а вот не умеет варить мыла и готовить паштеты. И вообще эта Лифляндия не по ней: скучно-немецкое и мелкотравчатое.

Странные мысли приходят теперь — о близкой кончине. Раньше этого не было. Кажется, что в Лифляндии ее позабыли, похоронили. Письма редки. Является горечь: «огорчить» бы их смертью! Но в общем покорность и смирение.

«Quand je pense que je dois mourir bientôt, je suis d'une indifférence étonnante pour le présent, il n'y a que passé qui prend tout mon coeur². Кто был так счастлив, как я? Как мне не благодарить со всяким дыханием Творца за жизнь? Правда, что она пройдет без пользы и без следов, но всякая хорошая мысль, хорошее воспоминание не есть ли крест на могиле?»

А между тем не только Дуне Елагиной, но и ей самой предстояло произвести новую жизнь. Вот конец марта 1820 года и ее слова: «Знаешь ли ты, что у меня в пузе шевелится маленькое творенье?»

¹ Жизнь бесполезна и всегда слишком длинна (фр.).

² Когда я думаю, что должна скоро умереть, я испытываю удивительное безразличие к настоящему, лишь прошлое владеет всем моим сердцем (фр.).

Все эти месяцы ожидания новой жизни переживает она в мистическом смирении. Есть нечто от святости и самоотдания в ее отношении к младенцу. Воистину благоговейно приветствует она тайну. «Я его без страха пускаю в свет, потому что есть на этом свете *Бог, его создатель, и вы, мой фонарики; вы и его жизнь осветите!* Благослови же моего малютку на жизнь и обреки ему на крест *свое сердце.*»

... Поручаю вам моего ребенка, вы отдайте его и Богу таким, как вы сами, а я без ропота, без страха отдаю себя во власть Божию. Прощай, благослови меня так, как я во все минуты жизни тебя благословляю!»

У ней такое настроение, что сама она уходит. В тихом восторге перед появляющимся существом она себя как бы отводит — ей будто и не дано жить с младенцем. Она переступает за предел. Но Жуковский, Жуковский! Этот души ее не покидает. В самые горькие минуты, когда «без ума грустно», она заберется в свою «горницу», скажет громко: «Жуковский!» — и всегда станет легче.

С юных лет он процвел в ней обликом сверхземным. Лучше нет и не может быть. Оттого само имя его магично: довольно сказать «Жуковский» и мрак уходит — с какою простотой! Лучшее в нем сияет, но все это и свое, домашнее, с детства любимое. Он для нее одновременно и Единственный и «дурачок», «рожица». («Прощай, рожица! Люблю тебя».)

В июне 1820 года, когда он собирался в первое свое странствие по Европе с Александрой Федоровной и в Павловске упражнялся в рисовании видов, а Маша приближалась к торжественному дню появления младенца, так она написала ему: «Теперь только узнала я всю прелесть жизни и всю цену любви, но теперь же научилась знать настоящую любовь к Отцу моему. Признаться ли тебе? Когда я думаю о Боге, о всей Его любви к нам (ко мне особенно), то мне трудно воздержаться *просить* Его взять меня к себе, я чувствую какую-то сверхъестественную прелесть в мысли все покинуть в ту минуту, когда жить так хорошо! Когда всякий звук есть гармония, когда ни одна печальная мысль не портит настоящего, когда в будущем ждешь и видишь одне радости! Я никогда Бога так не любила, как теперь. Получив от Него столько, мне бы хотелось в полной мере отдать Ему все.

... Младенец мой! всякое его движение восхищает, возносит душу. Мне равно хочется остаться с ним и с вами, и возвратиться к Тому, который дал мне вас и его».

Осенью того же 20-го года она написала Жуковскому же, за несколько дней до родов: «Прыгун... докладывается сильно, однако чаще приятно, нежели с болью».

Это было начало путешествия Жуковского. Направляясь в Германию он заехал по пути в Дерпт, пожил там, повидал милых сердцу.

12 октября у Маши родилась дочь Екатерина.

* * *

«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю... и как семя всходит, не знает он».

Но когда зелень появится, и колос, и зерно, тогда все ясно.

В годы Белева, Муратова Жуковский недаром учил и воспитывал сестер Машу и Александру — Светлану. Маша и Александра возрастали в духе любви. От Жуковского излучалось нечто. Он не навязывал, не принуждал. Но вот возросли два юные существа, два духовных плода-отображения Жуковского, неповторимые, но и облики родственно-очаровывающие. И Маша и Светлана каждая сама по себе. Но в них Жуковский — светлым своим сиянием. Поэтому их жизнь — и его жизнь. Их томления — его томления. Их возношения души «горе» — его возношение, как и их крест его крест. Говоря о Светлане и Маше, говоришь о Жуковском.

Жуковский был крестный Светланы, и дочери ее крестный, любил ее нежно и вековечно (по-другому чем Машу) — и пред ней все-таки был виноват: на брак с Воейковым не только мать толкала. Он и сам благословил, равно как Маша. Маша-то безответна по девическому своему неведению. Жуковский всегда людей плохо понимал, он отчасти здесь жертва прекраснотушно-мечтательного своего характера, все же он взрослый, он и ответствен.

Светлана, которой сулил он всегда свет и радость, которая и была по натуре свет-радость — ей-то и выпала тягость главная. Вот пьянство и безобразия Воейкова, его скандалы (иногда и самоугрызения), обиды Маши, оскорбления Екатерины Афанасьевны, затруднения в университете, мучения с денежными делами — легконогая, с легким дыханием дева Светлана (хоть и мать, но и дева) все несет на себе. Выезд ее к Авдотье Елагиной в 1818 году есть попытка вздохнуть. Но потом снова Дерпт — и теперь по другому. Жуковский, Тургенев устроили, наконец, для Воейкова нечто в Петербурге (службу, а потом участие в «Русском Инвалиде»). Надо из Дерпта трогаться. Но Воейковы кругом в долгах. Заимодавцы терзают, выехать нельзя. Светлана одна должна путешествовать в Москву к брату мужа за деньгами, чтоб хоть сколько-нибудь расплатиться. Кредиторы заставляют ее ехать на линейке, чтобы скорее съездила!

И съездила, все унижения претерпела, мужа, себя и детей вывезла. В Петербурге со всем гнездом своим вновь прильнула к Жуковскому — он как раз находился на отлете: только и успел познакомить ее с другом своим Александром Тургеневым.

Много лет прошло со времени Благородного Пансиона. Из юноши, читавшего товарищам стихи Державина, Тургенев обратился в видного чиновника (Директор Департамента духовных дел). Полный, бурный, подвижный, увлекающийся и добрый — странный чиновник. Как и Жуковский, всеобщий заступник и ходатай. По нежности сердца и общему расположению особый друг женщин.

Жуковский, уезжая за границу, поручил ему Светлану. Тургеневу она сразу понравилась. «Светлана его вряд ли не лучше его стихов» — Тургенев тоже считает Светлану частью самого Жуковского.

В Петербурге Светлана свободней, чем в Дерпте: горизонт шире, больше людей. Впервые видит она близ себя человека блестящего, друга Жуковского, ласкового и покорного, очаровательно преданного ей. (Ее опыт в «любви» — лишь хромой Воейков.)

Первые месяцы все идет превосходно. Переписка с Германией оживленная. Жуковский очень доволен, что у Светланы с Тургеневым дружба. Как всегда он приветствует возвышенные союзы душ, воображает то, чего хочется ему, а не то, что есть в действительности. Светлана слишком еще мало пылала. Любви не знала совсем. Тургенев знал, но слишком легко воспламенялся — бурный, полный, склонный к энтузиазму, склонен был и к глубоким чувствам. У Воейковых стал бывать постоянно. О Светлане писал, что «от Светланы светлеет душа». При ней цвету душою. Она моя отрада в петербургской жизни.

Все шло полным ходом — у Светланы по-видимому также. В начале 1821 года она ездила в Дерпт к Маше, вернувшись болела в Петербурге (болезнь эта волновала Тургенева, вызывала нежность и боль любви). Еще по более ранним письмам его Жуковский почувствовал, что одной дружбой дело его со Светланой не ограничится. И предостерегал. Тургеневу для его же счастья надо уничтожить в чувстве своем все, «что принадлежит любви». Тургенев, прочитав это, задумался, но и усмехнулся: Жуковский равен себе, судит по темпераменту собственному. Уничтожить любовь! Тогда уничтожится счастье. Да и сам Жуковский, разве мог себя одолеть? Устроить всеобщее благоденствие?

Для Светланы дело стояло еще сложнее: она мать семейства, жена. Дочь Екатерины Афанасьевны, выросла в семье благо-

честивой и благообразной. Да и сама такая. По натуре с детства резва и шаловлива, но ученица Жуковского, и рядом с проказами, смехом, записаны в отроческом ее альбоме изречения аскетические.

Значит, надо бороться. Попытки она делает (старается не встречаться с Тургеневым. Это не удастся, слишком обе стороны именно хотят видеться). Тургенев продолжает быть своим и навсегда в доме, читает со Светланой, ласкает детей. Но рядом Воейков. Отчасти он от Тургенева и зависит, тот могущественный его покровитель, но начинается ревность. По восторженному своему характеру Тургенев не всегда сдержан. Плохо собой владеет. В гостиной вдруг поправил рукой выбившийся у Светланы локон — Воейков закипел. И по городу начинают говорить о чрезмерной близости Тургенева к жене Воейкова.

Когда Жуковский возвратился из Германии (февраль 1822 года), дело было в разгаре. Он застал не то, на что рассчитывал, уезжая. Шел настоящий роман, со стороны Тургенева открытый, бурный, Светлана находилась в вечном отступлении и обороне, под перекрестным огнем. Воейков ей устраивал истории — и теперь некоторое основание имел. Мучил и Тургенев.

Жуковский сразу и довольно твердо выступил: дружба — да, любовь — нет. Убедившись же, что именно тут любовь, стал прилагать усилия, чтобы ей помешать. В глазах Тургенева вел игру против него. В этой борьбе, волнениях, иногда до пьянства — прошел год. Отношения их пребывали в хаосе. Но, по-видимому, линия «закона» брала у Светланы верх — она дочь своей матери и дитя строгого душевного воспитания. (Запись в отроческом альбоме, из немецкого мистика: «Молись и трудись. Молчи и терпи. Улыбайся и умирай».) С Тургеневым она берет иной тон, он в отчаянии, упрекает ее, упрекает Жуковского, говорит резкости — только ухудшает дело, потом умоляет о прощении.

В марте 23-го года Светлана уезжает в Дерпт к родам Маши — отъезд ее в большой мере устроен Жуковским. Тургеневу это ясно. Он пишет Жуковскому испущенное письмо. Обвиняет его в пособничестве Воейкову, в измене дружбе, предательстве, считает положение его «отвратительным» и порывает с ним: «Прости навеки».

Вряд ли когда-либо получал Жуковский подобное. Ответ его неизвестен. Последствия со стороны Светланы были те, что это лишь отдалило ее от Тургенева. Встречались они теперь редко. Но вот в доме Карамзина Тургенев стал упрекать ее в холодности, она его в эгоизме и в том, что благодаря ему положение ее у

себя дома ужасно — получилась «сцена». Кончилось же тем, что она запретила ему бывать у себя: при всей мягкости своей вдруг поступила резко.

Тургенев впал в полное отчаяние. До нас дошли некоторые его стоны. «Люблю ее неизъяснимо и люблю по-прежнему и сильнее прежнего». «У ног ее прошу прощения, если любовь может быть виновата». «Буду любить и помнить ее до гроба, любил, как никогда и никто ее не любил».

Светлана записала у себя в альбоме: «Он сделал со мною то, что судьба сделала с Максом Пиколомини. Это чувство, такое прекрасное в моей душе. Он пробудил в ней глубокое чувство. Я ему простила, это не было мое лучшее чувство». (Особенно мучило Тургенева то, что любимой женщине он не только не дал счастья, но был и причиной ее бед.)

И вот нечто меж ними произошло. Она дала все-таки знак примирения и прощения. Было это и расставание, но в мире. Ту записку ее, как и миниатюрный портрет, он носил теперь на груди.

С Жуковским же не порвалось. В начале лета 25-го года, оставив службу, Тургенев надолго уехал за границу. Перед отъездом написал два письма Жуковскому. Все в них любовь — и к нему и к Светлане. Все — просьба о прощении и забвении. («Прости мне последние два года моей жизни...») «Скажи, чтобы она совсем простила и берегла себя для детей.») И все о ней, о ней забота, о ее материальном положении, о детях, даже о библиотеке ее.

Светланы никогда более он не увидел. Считал, что любить ее будет «до конца жизни», но по-видимому ошибся. Слишком бурно все пережил. Выкипело раньше, чем думал.

Благородную же заботу о ней и делах ее сохранил до конца. Но уже «с того берега».

* * *

В начале 1821 года Маша писала своей Дуне из Дерпта: «Прошлого году, в марте месяце, приносили студенты Мойеру виват, после которого поделались им бедным неприятности» (может быть, слишком шумели, переусердствовали в овации — подробностей нет). «Два из отличнейших, которые были вожди прочих, несправедливостью ректора попали в карцер. Они так обиделись этим, что выписались тотчас из студентов и один медицинер, по имени Зейдлиц, который был ассистентом мойеровым в клинике, остался бы посреди улицы без копейки денег и не кончивши своего экзамена, если бы Мойер не взял его к себе в дом, где он и поселился в апреле прошлого года».

«Медицинер» этот был тот самый Зейдлиц, с которым познакомился Жуковский на фукс-коммерше уж довольно давно. До могилы предстоит ему сопровождать путь Маши и Светланы. Верный медицинер скажет в старости, что за всю жизнь выше и очаровательней этих сестер никого не знал. В книге своей о Жуковском прославил всех троих.

А сейчас он скромный жилец в доме мойеровом, обожатель Маши. Называет ее Mutter Marie¹ обо всем с ней советуется, делится планами, дает чинить старое белье, сопровождает на прогулках. Разумеется, он музыкант. («Заиграл мой добрый Зейдлиц *Thekla Geister Stimme*»² — это было осенью 20-го года, во время беременности Маши: навевал на мать и младенца тишину, детскость души своей.) Надо думать, что просто глубокою и чистою любовью полюбил эту Mutter Marie, прелестнейшую из встреченных им женщин.

Мойеру не очень это нравилось. Но Зейдлиц не Тургенев, иное и соотношение его с Мойером.

Когда тому пришлось на некоторое время уехать в Муратово, то, чтобы его не расстраивать и вообще из осторожности, Екатерина Афанасьевна и Маша решили принять меры: Зейдлица отправили в Ревель, на родину. Он оттуда вернулся за несколько дней до приезда Мойера. Екатерина Афанасьевна впала опять в такое беспокойство, что заразила им Машу. Та изменила обращение с Зейдлицем. Его печаль даже испугала ее. С мужем, однако, она обо всем переговорила и медицинер ничем, в конце концов, не смутил их налаженной жизни.

Да и не ему смутить. Та, вторая, невидимая жизнь Маши настолько была самостоятельна и глубока, так связана с Жуковским, что для нее Зейдлиц был, конечно, только милый ребенок.

Но другое существо появилось рядом — родившаяся девочка. Мистически переживала ее Маша, нося во чреве, мистически и теперь относилась. «Поверишь ли, я не просила у Бога Катьке долгой жизни, да и вообще ничего не просила, ни счастья, ни здоровья, а только царства небесного».

Окружающие ждали непременно сына и уже окрестили его Андрюшей.

«Все другие, кликав его девять месяцев Андрюшей, также не могут отвыкнуть. На молитве назвали ее Сашей, на крестинах Катей, а в моем сердце Дуняшей или Дашей. Когда очень

¹ Мать Мария (*нем*)

² Теклы божественный голос (*нем*). «Текла. Голос духа» — песня Ф. Шуберта на слова Ф. Шиллера.

люблю, то Дуняша, прочие же оба имени употребляются по будням и в праздники, ночью и днем, во сне и наяву».

«...Я еще ни разу об ней не молилась, мне страшно *самой* попросить что-нибудь у Отца для нее. Кажется, Ему она еще должна быть милее, как же мне сметь вступаться в Его виды? Я так уверена, что Он бы услышал всякую молитву».

Марья Андреевна Мойер, бывшая Маша Протасова, теперь не такая, как была некогда дома, в Муратове: рисунок показывает несколько располневшую женщину (она вновь беременна), спокойно полулежашую в кресле. На лбу локон, огромный узел волос на затылке, легкие кружева окаймляют шею. На ней просторное платье. Во всей позе и выражении тонкого, но и простого профиля с мелкими чертами лица (тонко рукой сестры вычерченного — Светлана отлично рисовала) — во всем спокойствие и задумчивость. «Да будет воля Твоя».

Эта Мария Андреевна читает с мужем Клопштока, беседует о нем, соглашается или не соглашается, в четыре руки играют они на рояле Бетховена — личного знакомого Мойера! Как и муж Маша за инструментом в очках. Как и он, тиха и благообразна. Но вполне ли спокойно ее сердце?

Вот Жуковскому, 1 февраля 21-го года: «Ты у меня в сердце так, как должно, в будни и праздники; но прошедшее больше бунтовало, и Катька со своими голубыми глазами не всегда могла усмирить бурю».

Авдотье Елагиной, 1 февраля 22-го года: «Жуковский возвратился... здоров и *старый*. Душа, ты можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катьку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла».

А повседневность идет. Мойер ездит на лекции, лечит больных. Зейдлиц делает люльку для сына Светланы — ожидающегося. Маша отправляет ее в Петербург сестре. А летом побывала Маша в родных местах. Это путешествие в некотором отношении замечательно.

В Белев Маша попала на рассвете — тотчас бежит к прежнему их дому. И поражена разрушением. Домик Жуковского с видом на Оку — и того хуже. Весь двор зарос крапивою, у забора ивы шумят, их она сама насадила в 1806 году. Слезы, волнение...— бросается на траву, плачет. Отворилось окошко наверху, в комнатке Жуковского: выглянул мужик — теперь помещался тут земский суд.

Она ушла, направилась к Оке, за город, где гуляла некогда с Жуковским. Подошла к самой воде. Солнце всходило, стадо

паслось вблизи, кулички низко летали над песчаным берегом. Вот она вода, Ока, бывшее! Будущего нет. Да и жизни нет, она близится к концу. «Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни — но это чувство доставит мне счастье и там. Я окончила мои счета с судьбой, ничего не ожидаю более для себя и совершенно счастлива...»

Ей двадцать девять лет, она говорит, что «стара» и близок ее конец. Откуда это? Почему еще пред рождением Кати писала она, что ей жить недолго?

Все на родине ее волновало. В церкви, где восьми лет впервые говела, она упала в обморок. В Муратове писала в комнате Жуковского, побывала в имении Плещеевых — поклонилась могиле «незабвенного друга Плещеевой» и, конечно, опять размышления о смерти. Но потом все это ушло. Побыли сколько надо в Муратове, медленно, длинно в Дерпт возвращались, и возвратились, и жили там целую зиму.

ГОРЕ

Не томи ж по Креузе утраченной сердца.
Вергиний. Энеида.

Жуковский возвратился из Германии в феврале 1822 года. Светлана встретила его радостно, почти восторженно, как и он ее. Поселились все вместе, не в Аничковом Дворце, а на Невском, напротив. Воейков получил через Жуковского выгодное место — издавал «Русский Инвалид». Материально Светлана была теперь устроена хорошо. Душевно — сложно и нелегко. Но все трудности с мужем ее и Тургеневым вывозил на своих плечах Жуковский, «украшение мира» (слова Маши). Когда он со Светланой рядом, ее дело прочно — он давал ей и легкость, и свет, и прикрытие от Воейкова. При мечтательности родственной предавались они воспоминаниям. Прошрое, молодость, Муратово, Белев...— все оживало и оживляло.

Созвездие удивительное: от Жуковского слава, художнический авторитет, Светлана — очарование женственности, изящества и привета. Завели как бы салон. Гости и друзья первостатейные: Батюшков, Гнедич, Крылов, Карамзин, Вяземский. Пушкина не хватало. В альбомах Светланы все знаменитости с автографами и стихами, но без главной: Пушкин был холодноват к ней. (Стиль Светланы слишком для него заоблачен. Его занимали женщины попроче — вроде Керн.)

Бывали и Баратынский, и Козлов. Позже Языков. Разумеется,

вечный Тургенев. Светлана всех оделяла магической своею сильфидностью, лаской и светом. Это особенно ощущал Козлов, давний Жуковского приятель, несчастный поэт, сначала лишившийся ног, а потом ослепший. В салон Светланы вкатывали его на низком кресле, он смиренно въезжал в блестяще-изысканный этот круг. Смиренно-восторженно принимал ласку Светланы. («День светлый, как душа Светланы») — строчка стихотворения его, Светлане и посвященного. Писание Козлова, возникшее из горя и шедшее на значительной духовной высоте, ею и поддерживалось, вдохновлялось. Он ее боготворил. Ангелом прошла она через его жизнь.)

Воейков, мрачный «карла», гнезвился вблизи, полный острых, мучительных чувств, то язвящий, то раскаивающийся, ревнующий, унижающийся, а то близкий к шантажу. Тайная месть сладка для таких душ. Когда на Жуковского появилась, наконец, очень злая эпиграмма, Воейков с восторгом прочел ее Жуковскому (другие считали — и это возможно — что сам он ее и написал: подпольем своим Жуковского ненавидел, конечно, как и Тургенева).

В этом 22-м году, если не считать трудностей и осложнений с Тургеневым, Жуковский жил мирно, скорей даже счастливо: так и сам полагал. Приехала из Дерпта Екатерина Афанасьевна. На лето все выехали в Царское Село, там Светлана родила сына (Андрея). Все с поверхности благополучно.

И в литературе удачно. Из Германии он привез «Орлеанскую Деву», охотно ее читал, с успехом заслуженным. (Пятистопный ямб, впервые без рифмы, был новшеством. Батюшкову, правда, не совсем это нравилось — размер находил он «диким и вялым»). Но все чувствовали, что и тон, и дух, и полнота написанного, и подходящесть сюжета — все это «чрезвычайно Жуковский».)

«Орлеанская Дева» сразу стала в первом ряду писаний его.

Но она создалась до 22-го года и за границей. В год же приезда своего, в Петербурге, Царском Селе — с осенним наездом в Дерпт — пишет он нечто иное. Из «Энеиды» берет эпизод гибнущей Трои. Конь, хитрость греков, ночное пожарище и избиение, безнадежная борьба. Вот Эней видит, что нельзя более сопротивляться, на себе выносит престарелого отца, Анхиза. С ним жена Креуза, сын. В грохоте пожара пробираются они к выходу — там, невдалеке, на священном холме собираются уцелевшие троянцы. Но вблизи ворот, в стычке с греками, Эней теряет Креузу — она гибнет. Он возвращается в город, ищет, томится... — лишь дух убитой смутно является ему среди ужаса происходящего — и напутствует нежно к уходу навсегда, с сыном и отцом, в дальний край:

О, Эней, о сладостный друг...

Долго изгнанником будешь браздить беспредельное море,
Там в Гесперии, где волны Лидийского Тибра по тучным
Людным равнинам обильно медлительным током лиются,
Светлое счастье и царский венец, и невесту-царевну
Ты обретешь. Не томи ж по Креузе утраченной сердца.

Быть при себе мне судила великая мать бессмертных;
Ты же прости, помниай о супруге любовию к сыну.

И таинственно влечется Эней далее, к приключениям, новой жизни, под знаком вечных святынь покинутой Трои. Креуза навек у него взята.

Так написал две тысячи лет назад Вергилий. А мечтательно-тихий Жуковский склонился почему-то, на границе 23-го года, вниманием и любовью к повести этой. Не разгром Трои и не убийства, пожары его занимали. Всего лучше звучит у него запредельный голос погибшей:

«Не томи ж по Креузе утраченной сердца».

Наступил Новый год. Рождение свое, 29 января, Жуковский праздновал весело, шумно, точно бы ничего и не было. Через месяц отправился в Дерпт (со Светланой, к родам Маши, но и увозя Светлану от Тургенева).

В Дерпте чувствовал себя покойно. Прежнее замирало, что-то он принял. Мойеры жили достойно, тихо. Нет волнений любви, труд, музыка, чтение вслух, ребенок. А вот-вот будет и новый. Воейковы поселились отдельно, Воейков держался довольно смиренно.

Родной уют для Жуковского: все его любят, в Дерпте много знакомых — профессора и художники, музыканты, студенты. Предвечерними зорями, уже весенними, с шоколадным снегом на улице, протыкающимся под копытами лошадей, при веселых лужах и воробьях, тучкой взлетающих с дороги, прогуливался он по мирным улицам города. Мартовский романтический закат, тихие зори. Возвратясь, мог застать Машу и Мойера за роялем, при свечах разыгрывающими сочинения мойеровского знакомого: ван Бетховена. Жуковский слушал и сам, а потом сам читал вслух.

Пригреваясь теплом милых сердцу, так вводивших в Белевский мир и Муратовский, Мишенский, он засиделся, просрочил отпуск. Надо было уже уезжать — не хотелось. Наконец, день настал, ничего не поделаешь.

Лошадей заказали давно, выезжать надо вечером, от Мойеров.

Все собрались. Вещи уложены, Жуковский в дорожной шинели, теплой шапке. Сидят, ждут. Уезжающий и накормлен, и все русские предотъездные чаи отпиты, разговоры переговорены. А лошадей нет. Начинают уставать. Рано встают, рано привыкли ложиться. Мойер зеваёт. Светлана, худенькая и некрепкая, бледнеет. Маша неестественно полна, в капоте — тоже погружается в туман.

Жуковский предложил Воейковым идти домой и проводить их. Вернулся, настоял, чтобы Мойеры шли спать к себе наверх, а он внизу подремлет. Когда подадут лошадей, зайдет проститься. Они взяли с него слово, что вот именно и зайдет.

Он уселся в шинели внизу и подремал — недолго, около получаса. Лошадей, наконец, подали. Поднялся, подошел к лестнице, скрипнул ступеньками ее и хотел было уж назад спуститься — жаль будить Машу. Но она не спала. Мойер похрапывал в своем колпаке, Маша не спала. Он вошел в комнату. Маша хотела встать, он не позволил. Подошел, поцеловал. Маша попросила, чтобы перекрестил.

Он и исполнил. А она откинулась, спрятала голову в подушку.

Вот и все. Так попрощались, так расстались. А потом темная ночь, кибитка, ухабы, запах влажного меха, в который кутался, может быть и слеза украдкой — впереди дальний, скучный путь под вековечный русский колокольчик. Ямщики, станции, вспухающие речки, сырые сугробы — начинается распутица.

Был ли он покоен? Чувствовал ли что-нибудь?

Возвратился в Петербург 10 марта. А 19-го посторонний человек сообщил ему, что в Дерпте накануне от родов скончалась Мария Андреевна Мойер. Ребенок родился мертвым.

* * *

Маша Протасова, «маткина-душка» его молодости, не была венчана ему церковью. Была, будто бы, для него «никем». Но в каком-то смысле соединена навечно. Когда Лаура умерла, Петрарка продолжал свое, только вместо «*In vita di Madonna Laura*»¹, сонеты стали называться «*In morte di Madonna Laura*»². Жуковский просто замолчал. Зейдлиц считает, что с уходом Маши кончилась лирическая часть его писания.

Если это и сгущено, все-таки почти верно. За год до ее кончины написал он о Креузе. Как теперь «томил» по «утраченной» сердце, мы не знаем. Одиноких стонов его не слышно.

¹ «На жизнь мадонны Лауры» (*ит.*).

² «На смерть мадонны Лауры» (*ит.*).

То, что до нас дошло, уже настоящий «Жуковский», непоколебленный, все принимающий и всегда светлый. «Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святыня». «Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом — религия!»

Он, разумеется, снова в Дерпте, тотчас туда кинулся. Неясно, попал ли на похороны: скорее — нет.

«Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе. В поле играл рог. Была тишина удивительная. И вид этого гроба не возбуждал никаких мрачных мыслей».

«В пятницу на Святой неделе... были на ее могиле». Стояли на коленях — мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» «Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертие стало понятней. Жизнь — не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение».

Три дня перед отъездом его провели на могиле — сажали деревья, цветы.

НОВЫЕ СУДЬБЫ

«Милый друг, Саша жива и даже не больна... мы вместе — это не утешение, но облегчение. Насчет ее здоровья будь спокоен, слезы лучше всякого рецепта. Но последнее сокровище ее жизни пропало. Этому ничто не пособит. Мы ни о чем не говорим, ни о чем не думаем, мы вместе плачем и все тут».

Так писал он Козлову вскоре после смерти Маши. Вскоре же написал стихотворение — как бы надгробный ей памятник:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай спокойна.
Там все земные
Воспоминанья;
Там все святые
О небе мысли.
Звезды небес!
Тихая ночь!..

Стихи будто оборваны. Не о чем больше говорить. Сидеть со Светланой, плакать.

Он и затаился. Продолжал быть Жуковским: все делал, исполнял, как полагается, в обществе даже бывал оживлен и шутлив. Внутренно же менялся. Как бы отходил от себя, Жуковского-поэта. Не знал еще, что предстоит, но чувствовал, что нечто уже и ушло.

Бывалых нет в душе видений
И голос арфы замолчал.

Вернется ли, и когда? Неизвестно. Но пока что — молчание, тишина.

1823 год для него полусон и неяркость, как бы летейское бытие. Наезды в Дерпт, уроки русского языка в. кн. Елене Павловне. Это и некая промежуточность. Одно кончилось, другое не начиналось. Надо влачить дни, выжидая дальнейшего, в настоящем же продолжая обычное.

Чем он далее двигался в жизни, тем обычнее становилось для него за кого-нибудь хлопотать, кого-нибудь опекать: чуть не вторая профессия. Пушкин в 20-м году через него уже прошел (и не раз предстояло еще проходить). Теперь очередь была за Батюшковым.

С Батюшковым он дружил давно. Еще в 1812 году, в мае, описывал ему в стихах собственную усадьбу, цветы перед домом, пруд, «швабского гуся» и купальню. Изящный, тонкий поэт был Батюшков. И как Жуковский предтеча: от него тоже взял каплю меда Пушкин.

В молодые свои годы Батюшков считался певцом счастья, вина, языческого благодушия, а кончил...

В 1818 году, при содействии Жуковского, получил назначение в Неаполь, в русское посольство — и уехал. В это время написал «Торквато Тассо» и уж мало радости звучало в пении его. (А истинный был певец, сдержанный, благородно-строгий.) Любил Италию, переводил Петрарку и казалось бы, в посольстве, с Неаполем, Везувием перед глазами, жить да благословлять Господа. Но его ел недуг — тяжелая душевная наследственность. Есть указания, что осложнилось это позже тем, что он узнал о заговоре декабристов. Муравьев, родственник его, будто бы и самого его завлекал в Союз. Батюшков не пошел, но нервно столь расстроился, что Жуковскому пришлось взяться за него всерьез.

В мае 1824 года он повез Батюшкова в Дерпт, к тамошним друзьям-врачам. Те посоветовали отправить его в Дрезден, в известную лечебницу Зонненштейна. Так и сделали. Все сделали

наилучше, со вниманием и любовью, Батюшкова устроили, а судьба его оказалась — долгие годы неизлечимого безумия.

В Дерпте Жуковский жил могилою Маши (его «Алтарь»). Чугунный крест был им поставлен, с бронзовым по кресту барельефным Распятием. Что особенно Маша любила в Евангелии, то теперь осеяло ее — на плите вылило: «Да не смущается сердце ваше...» (Иоанн, 14, 1) и «Приидите ко Мне вси труждающиеся...» (Матф., 11, 28).

Тихо, покойно. Цветы, скромная ограда, скамейка. Кругом деревца. Рядом проезжая дорога, а за нею поле, простенькое русское (как и «русским» кладбище называлось), с жаворонками в майском небе, со светом и благоуханием весны. Это идет Жуковскому. Уезжая из Дерпта, когда экипаж проезжал мимо кладбища, он приказывал остановиться, выходил, кланялся могиле земно, ехал дальше.

На этот раз, отослав в Дрезден Батюшкова, так же поступил. В Петербург ехал навстречу новой своей судьбе.

* * *

Император Александр слабел. Странно и загадочно складывалась судьба этого человека. Победа над Наполеоном, безграничная мощь, слава, восторг России и Европы, небывалые лавры — и медленная, отравляющая горечь, разочарование во всем, мрак, отказ от сияющего прекраснодушия молодости. Слишком ли он много видел? Слишком ли познал изнанку человеческой души — собственной в том числе?

И все в нем противоречие: религия, тоска по запредельному, путешествие на Валаам и сырая репка смиренного схимонаха Николая, а рядом в «жизни, как она есть» Аракчеев с военными поселениями, шпицрутены, Магницкие, Фотии, отставка Голицына...

Сама религия не утешала, или утешала недостаточно. Дело шло к концу, он задыхался — не так легко быть одновременно и «обожаемым» и соучастником отцеубийства.

Осенью 1824 года он уехал на юг. 27 ноября в Петербург пришла весть о его кончине. Семья бурно переживала случившееся. Мария Федоровна лежала в обмороке, ученица Жуковского Александра Федоровна на коленях перед ней, в слезах («Мама, calmez-vous...»)¹, гигант-красавец, кому некогда представлял Уваров Жуковского у этой же императрицы — дрожащими губами присягал на кресте и Евангелии, а скончавшийся

¹ «Мама, успокойтесь...» (фр)

Император из своего Таганрога порождал таинственную легенду: вовсе он и не умер — старцем Федором Кузьмичом ушел в леса и скиты, разуверившись в земном.

Это земное перешло на могучие плечи Николая Павловича. Из всех трех братьев наименьше походил он на отца — ничто от искаженного лица Павла I ему не передано. Здоровье, сила, крепость, красота... Темперамент огромный, но и великая выдержка. Велика и сила глаз — прекрасных по рисунку, но иногда страшных. (Глаз этих все боялись впоследствии, от сановников до скромного Жуковского.)

Все сложилось как надо. Не наследник Константин оказался царем (ему-то в первую минуту и присягал в Дворцовой церкви Николай), а именно Николай: Константин в отказе упорствовал.

Ни тот, ни другой к царствованию подготовлены не были. Но Николай подходил к духу времени и обстоятельствам тогдашним: мощной фигурой своей что-то выражал.

К скипетру относился мистически. Приятие царства считал крестом, великим, но и тягостным. Долго убеждал Константина, но когда выхода не оказалось, непоколебимо принял власть.

С первого же дня путь его оказался грозным. Много спокойнее и проще было бы командовать, с титулом Великого Князя, каким-нибудь Гвардейским корпусом, чем 14 декабря отстаивать на Сенатской площади свой трон, жизнь — и свою, да и семьи. Все-таки, раз уж взялся, выполнил изо всех сил.

Николая I любить трудно. Не весьма его любили и при жизни, и по смерти. Но и нелюбившие не могли отрицать, что 14 декабря показал он себя властелином. Личным мужеством и таинственным ореолом власти действовал на толпу. Он — Власть. «Это царь!» Вожди мятежников могли быть и образованней его, и многое было правильно в том, чего они требовали, но у них не было ни одного «рокового» человека, Вождя. А Николай Вождем оказался. И победил.

День 14 декабря не легко ему дался. Еще менее легко ученице Жуковского, Александре Федоровне. До вечера не знала она, будет ли муж жив. Если же нет, то и собственная гибель и гибель детей были более чем возможны.

Муж на коне свое дело делал. Она во Дворце молилась — и на всю жизнь остался у ней на лице, памятью этих часов, нервный тик.

Не меньше того, надо думать, переживал события и Жуковский, в двух планах сразу: в монархию верил священно, тут никаких колебаний быть не могло. Заговор для него безумие, а заговорщики «злодеи». (Драматическая черта: среди сообщников — Николай Тургенев, к счастью за границей находившийся,

брат покойного друга Андрея и живого — Александра. Этого уж никак он не мог счесть «злодеем» — позже за него хлопотал.)

Другой план семейно-патриархальный. С 1817 года знает он Александру Федоровну, учит ее, с ней встречается в Москве рождение Александра, с ней едет позже в Берлин — Николай, Александра Федоровна для него уже часть жизни, не как Протасовы, разумеется, но зато в сияющем тумане царственности. Мальчику Александру написал он в Кремле приветствие, писал и Александру Первому, и на случаи жизни семьи царской. В царей врос, блеском, величием жизни их и ослеплялся и воодушевлялся. Он как бы член семьи. Будто и на скромном положении, но при мягкости и очаровательности характера ему это в общем было не трудно (тем более, что ничего не добивался, ни под кого не подкапывался). Он с царями сроднился, их беда неминуемо обернулась бы и его бедою.

Николай победил, стал императором. Тик на лице Александры Федоровны остался, но она тоже стала императрицей, а ее сын Наследником.

Все это тотчас же отозвалось на судьбе Жуковского — смерть Маши и уход Императора Александра надолго определили бытие его. При Маше он был поэт, пел, любил. Хоть и говорил, что жизнь и «без счастья» прекрасна, но именно счастья и хотел. И поэзия, творчество являлись для него тоже счастьем. Он был поэт и влюбленный. Поэзия стихийно из него излучалась, как и любовь.

Но «это» кончилось. Начиналось другое. Не для себя, а для России теперь. Мальчику, тогда в Кремле появившемуся, предстояло сделаться царем. Кто будет его к этому готовить? Задача немалая. И родители, и Жуковский ее сознавали. На Жуковском и остановились. Он колебался — смущала ответственность и недостаток подготовки. Вместо себя рекомендовал он графа Каподистрию. Но Каподистрию не захотел Император. Решили по-прежнему: быть Жуковскому главным руководителем Наследника.

Значит, не для себя и литературы и поэзии, а для России. Тогда не знал еще, что обучать предстоит будущего Освободителя — будущую и жертву.

Жуковский шел на это в настроении подобном тому, как Николай принимал трон. Размеры иные, а суть та же: обязанность. Отказываться нельзя.

* * *

Печали, волнения этого времени действовали: весной 26-го года Жуковский стал чувствовать себя плохо.

Он жил теперь в Зимнем Дворце, но высоко — сто ступеней лестницы. Подымался с большим трудом, задыхаясь. Лицо его отекло, пожелтело; отекали и ноги. От геморроя, потери крови он ослабел. Неважно и с печенью — врачи предписали Эмс. В мае выехал он во второе свое западное странствие. Должен был укрепиться, принимаясь за новое.

В Эмсе поселился с ним верный Зейдлиц. Жуковский пил по четыре стакана воды в день, брал ванны, занимался этим шесть недель с большой для себя пользой. Удержаться от туризма было трудно и окончив лечение проехался он на лошадях вдоль Рейна, чтобы «любоваться утесами с козел» (все-таки был довольно слаб и пешком ходить уставал).

А в России трагическая история с декабристами завершилась. Всю весну Николай сам вел следствие, потом был суд, их осудили. Летом пятерых повесили (царская семья тяжело это переживала), остальных сослали. Осенью Николай короновался. Александра Федоровна стала императрицей. Незадолго пред коронацией Жуковский был прямо назначен воспитателем Наследника (мальчику исполнилось восемь лет).

Но жил Жуковский в это время в Дрездене, переписывался с Государыней — она и описала ему торжества коронации. Она же разрешила провести зиму за границей для восстановления здоровья.

Отношения Жуковского с Императрицей своеобразны: конечно, он от нее зависит. Он бездомный поэт, она сила неизмеримая. Но она его бывшая ученица и он много старше ее. Тон его писем почтительный, все же местами почти наставнический. Опасается, например, что для Наследника зрелище коронации, торжеств, поклонений окажется не совсем полезным. «Он мог бы легко усвоить себе незрелые понятия о величии». Ему надо внушать что «величие, чтобы не быть призрачным, должно казаться ему не правом его, а долгом, священной религией...»

В одном из дальнейших писем есть слова, особенно горестно *сейчас* звучащие: «Для Вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется религия сердца». Религия сердца! Вот о чем тогда говорили, думая о властителях. «Ему необходимо иметь высокое понятие о Промысле, чтобы оно могло руководить всею его жизнью».

Николай только что победил. В недалеком прошлом треволнения борьбы. Да, он царь, но ценою нележкой. А Жуковский пишет в это время его жене: «Власть царей исходит от Бога» — да, разумея: «ответственность перед верховным судилищем». Но *не* «мне все позволено, потому что я зависим только от

Бога» — Жуковский, конечно, и благоговел, и трепетал пред Николаем, но вот не может и себя переделать: что считает истинным, то и говорит. (Позже приходилось и еще трудней, когда просил и ходатайствовал за недругов Государя.)

В одном письме к императрице он с большой простотою дает ей поручение, как равной или даже младшей. Ему отводили новую квартиру в Зимнем Дворце. Раньше там жил Нарышкин. Так вот пусть бы Императрица понаблюдала, чтобы Нарышкин уехал вовремя. А еще интересуют его собственные вещи: Воейкова (Светлана), с которой он жил вместе, тоже переезжает, вещи останутся без призора, хорошо бы вверить их во Дворце «надзору какого-нибудь честного истопника». В конце концов, это недалеко от того, что он мог написать в Долбино Авдотье Елагиной и Светлане в Петербург!

В путешествии нынешнем ему везло на художников. Еще в Эмсе встретился он с Рейтерном, близким знакомым по Дерпту. (Рейтерн этот был офицер. Под Лейпцигом ему оторвало ядром правую руку. Он стал рисовать левой, писал и красками, добился известных успехов, женился на немке, жил теперь за границей, преимущественно в Дюссельдорфе.) Работы его Жуковскому нравились. Сам Рейтерн тоже. Но конечно, и в голову ему не могло прийти, какую роль через много лет сыграет в его жизни дом этого «безрукого красавца».

В Дрездене посещал живописца Фридриха, знакомого еще с первого путешествия. С ним едилило настроение. После смерти Маши мотивы мистически-меланхолические владели Жуковским. Это выразилось и в собственных его рисунках: могила Маши, над нею крест — не раз он изображал это. Фридриху такое было родственно, он сам писал в том же духе. В бытие Жуковского вносил ноту романтики горестно-трогательной, нечто созвучное. (Картина изображает, например, кладбище вечером. У могилы ребенка, среди шумящих сосен, фигуры отца и матери, и т. п.) Жуковскому это нравилось. Он оказался даже отчасти покровителем Фридриха, и заказчиком. Заказал и купил у него «Смерть на гробе» и «Жизнь на гробе».

Все-таки, главное его дело теперь, когда здоровье подправилося, была не эстетика, а подготовка к обучению Наследника. Начинаются всякие планы, расписания, таблицы — Жуковский верен себе. Еще в юности это любил, теперь же обучать надо не Светлану и не Машу, а будущего Самодержца Всероссийского. Вот пишет он Авдотье Елагиной из Дрездена в начале 27-го года: «Работы у меня много, на руках моих важное дело! Мне не только надобно учить, но и самому учиться, так что не имею средства и возможности употреблять ни минуты на

что-нибудь другое. Если бы вы видели, чем я занят и как много объемлет круг моих занятий, и как он должен будет беспрестанно распространяться...» — вот она, аскеза новой жизни, новое «послушание». Не до стихов, не до искусства, когда надо выработать точный план, где все сходилась бы на его лекциях. Он центр, куда все остальное устремляется. Но на нем и сторона хозяйственная. Как всегда, в этом он точен, благоразумен и внимателен. Для Наследника надо закупать книги — составлять библиотеку. Нужны и учебные пособия, гравюры, карты, планы, глобусы. Все это за границею дешевле, и вот он накупает в Лейпциге и Берлине немецких книг, а для французских и английских собирается в Париж.

Зиму же проводит в Дрездене. Тут Александр Тургенев с душевно-больным братом Сергеем, тут же Е. Г. Пушкина, наблюдающая за несчастным Батюшковым в Зонненштейне. То, что живет Жуковский среди бед людских, в них входит, сколько можно облегчает — характерно для него. Дрезденская зима тиха. Малый круг друзей, знакомых, художники, работа, попечение о Сергее и Батюшкове — весной 27-го года выезжает он с обоими Тургеневыми, больным и здоровым, в Париж, накупив в Германии книг для Наследника уже на 4000 талеров. Кроме того, составляет каталоги по истории, философии, литературе, педагогике, военному искусству, законодательству, правоведению... — вспоминаются времена Благородного Пансиона с тридцатью шестью предметами обучения.

Все это будет приводиться еще в систему, разные концентрические круги поведут маленького Александра к средоточию истины.

А пока что в мае оказывается Жуковский в Париже.

К Франции и Парижу русские писатели всегда были неблагосклонны. Отзывы их часто высокомерны, говорят и о незнании дела (Гоголь, Толстой, Достоевский. Тургенев знал, но все-таки не любил).

Сказать, что благосклонен Жуковский, было бы слишком. Но к своему полуторамесячному пребыванию в Париже отнесся он очень внимательно и добросовестно. Многим интересовался, многое видел, встречался с людьми первосортными и оставил отзыв серьезный. Народ ему даже понравился — он его находил живым, впечатлительным, хотя более мелочным, чем русские. Побывал и в Палате Депутатов. К удивлению, что-то здесь даже одобрил. После николаевского режима поражен был свободой, с которой говорили о власти да и о самой свободе — в сущности, здесь было то, за желание чего сидели декабристы в тюрьмах по Сибири. Был во французском суде, в театрах, об

Опере же сказал, что после итальянцев пение французов «кажется криком». Побывал в разных благотворительных учреждениях, но странным образом Париж художников мало оставил в нем следа.

Встречался с Шатобрианом, Кювье, филантропом Дежерандо. И довольно близко сошелся с Гизо и супругой его, также с графиней Разумовской.

Париж довольно неожиданно принял Жуковского — он нашел здесь некоторый отклик настроениям собственным: Гизо и Разумовская, Александр Тургенев — все это родственный ему воздух, тот же мечтательный и возвышенный идеализм, религиозность не совсем близкая церкви, душевная установка на тишину и примирение, на приятие и оправдание жизни и смерти.

Смерть же ходила вокруг. На руках Александра Тургенева скончался Сергей, младший брат его, именно тою весной в Париже. Смерть подбиралась и к г-же Гизо, недалеко была и от графини Разумовской, в те дни державшей еще салон на 27, rue du Vas, в местах, позже прославленных Шатобрианом и Рекамье.

След грусти оставил в Жуковском этот Париж. Ему было хорошо и легко, светло и с Гизо и с Тургеневым, Разумовской, но печать бренности, скорого навсегда расставания лежала на всем.

В июле он снова в Эмсе. Тут ждут грозные вести, все в том же роде: тяжело заболела Светлана, доктор Арендт предписал ей тотчас выехать за границу. (Светлана давно была туберкулезная — теперь болезнь ее проявилась решительно.)

В Эмсе Жуковский проделал второй курс лечения. Тут же узнал из письма Разумовской, что в Париже на ее руках и руках мужа скончалась г-жа Гизо — смерть эта была высоко христианская, в духе и тоне самого Жуковского. («Ваш благородный гений нашел бы тут вдохновение, его достойное».)

А в сентябре свиделся он в Берлине, куда нарочно для того выехал, со Светланой, проезжавшей на юг Франции. Это свидание было недолгим. Ему путь на восток, к новому своему делу. Ей на запад. Между ними ложится вечность.

СВЕТЛАНА

Было время, носилась в Муратове девочка Сашок, позже стройная девушка, облик легкости, света, милый домашний друг и летящий гений Жуковского — поклонница и усерднейшая переписчица стихов. В августе 1827 года из Петербурга тронулась за границу очаровательная молодая женщина, мать троих детей и незадачливая жена — Alexandrine Voyeikoff, «Светлана» — тяжело больная и несчастная.

Ехали в нескольких экипажах: сама Светлана с тремя детьми, гувернантка Miss Parish, слуги Лиза, Лизета, Лукьян: целый маленький двор. Путешествие медленное, для больной утомительное. До Риги десять дней, а там Кенигсберг и немецкие дороги, гладкие, обсаженные итальянскими тополями. Есть в этих странствиях и минуты поэзии: где-нибудь на мосту через Одер, уже ночью, при звездах, из воды слабо отблескивающих — запах реки, теплый ветерок с полей сжатых, благоуханных. В темноте фонарики встречных и опять сумрачная дорога, слава звезд сквозь узор листвы на тополях. Дети спят. Англичанка похрапывает. Впереди Берлин, дальше Страсбург, Лион и юг Франции: последняя ставка на жизнь.

Берлин пришел в половине сентября. В нем Жуковский! Этим все сказано. Не ошиблась Светлана — в Жуковском никто и не ошибался. Он равен себе, ласков, заботлив, показывает Берлин, возит в Потсдам и Шарлоттенбург. С ним отдых и свет. Вместо пяти дней проходит десять, но и они прошли. Путь же далек. Светлана должна уезжать.

Нельзя сказать, чтоб легко проходило странствие. В Страсбурге, в самом начале октября, заболел сын Андрюша. Скарлатина! Месячное сидение. Гостиница, неуютность, отовсюду дует, холод... — ясно видно, как «полезно» это для Светланы с кашлем ее и температурой, болями в боку. В том же роде продолжается и впредь, темный ноябрь Франции, горы в снегу, сумрак и холод, Лион (этот город Светлане почему-то понравился) — надо думать, само путешествие сократило ей дни.

Все же в начале декабря добрались до Иера, близ Тулона. Тут можно вздохнуть. По рекомендательному письму графа Строганова маркиза Борегар сдала Светлане два этажа «небольшого» своего дома (древняя римская башня) в оливковом саду, с дальним видом на горы и море, с апельсиновыми деревьями, беседкою в розах и «ясминах». Хозяева приветливые, все готовое, покой и благоденствие Прованса, тихо, тепло. Светлана выложила свои книги — Монтень, Байрон, Фенелон, Гёте, Шиллер, Шекспир... — и русские журналы, альманахи. Появился и Зейдлиц, добрый дух местности: он заканчивал за границей учение медицинское, но не мог же оставить сестру Маши в болезни и на чужбине.

Из Иера Светлана много писала на родину, матери и Жуковскому, друзьям. Тонким пером зарисовывала в альбом виды Иера. И письма ее и рисунки сохранились. Они дают ощущение прозрачной, изящной и одинокой жизни, как бы в дали опаловой, с ноткою грусти, иногда и надежды, иногда тоски и предчувствий. Прованс двадцатых годов, маркиза времен реставрации, малень-

кий старичок-эмигрант революции, благоуханье апельсиновых рощ, доктор Аллегри, лечивший Светлану тем, что спальню ей набивал пахучими травами, давал пить ослиное молоко и заставлял иногда спать в коровьем стойле — это помогает от туберкулеза... Море говорило о широте, свете, счастье. И вначале Светлане действительно стало лучше.

Но весной ни ослицы, ни коровы не помогли. Она чувствовала себя плохо. Приближались жары, угрожающие для чахоточных. Пришлось трогаться дальше: предстояла Швейцария. Пришла и она. Тот же Зейдлиц привел весь караван в Женеву, устроил и водворил. Мелькнула опять надежда: горный ли воздух, прохлада, но снова Светлане стало легче. Ее женева жизнь — проблеск. Изящество и спокойствие, книги, общение с выдающимися людьми — у нее бывали Сисмонди, старый Бонштеттен (влюбившийся в нее под конец). Вдали на горизонте Жуковский.

Но и Швейцария ненадолго. Осенью приходится отступать на Италию, опять экипажи, дети, слуги и гувернантка — под командою Зейдлица (видно, он и совсем забросил на это время учение свое).

Италия поначалу дала привет светло-очаровательный. «Дети ходили смотреть Борромейские острова, а как я еще не мастерица ходить, то я качалась в лодке, однако, в *Isola Madre*¹ взойшла до первых апельсиновых деревьев.— Вообразите вечер, как на заказ, самый бесподобный, озеро гладко, как зеркало; я лежала в лодке, Зейдлиц играл на кларнете, всю старинную, знакомую музыку! Солнце село и миллионы звезд загорелись, дети утихли и музыка тоже, и мы приехали в Арона в каком-то волшебном расположении».

Были хорошие минуты и в Милане, но и смертельная усталость. В октябре 28-го года она уже в Пизе.

Почему выбрала Светлана древний, гордый гибеллинский город, в сумрачном величии которого столько трагического? Но там жили знакомые. Хлюстина, граф Ксавье де Местр. Будто не так одиноко. Да и рок сюда устремлял, без ее ведома. Дожди зимней Пизы, сырость, холод в огромных, изящных комнатах снятого дома... И наискосок Башня голода, где погибал в тюрьме дантовский Уголино.

Тут она угасала неудержимо. В Петербурге думал Жуковский, что она вот так, светло и незаметно, подготовившись к тому миру, перейдет в него. Но в действительности было страшнее. О, конечно, как христианская душа, много и долго жила Светлана

¹ Материнский остров (*um*)

с мыслию об ином мире — с юных лет тем же Жуковским наставленная. Все его примирение и приятие крепко сидело в ней. Но она была молодая женщина, любившая жизнь и красоту, и любовь (счастья в которой так и не было ей дано). В тридцать три года медленно, непоправимо близиться к могиле — это ли не Крест! Она не роптала. Но страдать всякому позволено. «Все плачу и рыдаю, и силы пропали; особенно по ночам, ce n'est pas volontaire et cela dure des heures quelquefois»¹.

Рисунок пером, ее собственный — комната в Пизе: огромная, светлая, с хрустальной люстрой, старинная роспись стен — колонны, гирлянды, на этажерке вазы античные, статуэтки. На постели в чепце больная. За одним столом гувернантка и девочка побольше, за другим няня с маленькой. При этой-то люстре, в ночной пустыне и ждать часа последнего.

Накануне Нового года она устроила детям елку, радовалась их радостью из-за подарков, все напоминало собственное детство и Россию — это и была Россия в Пизе. Даже и гаданье новогоднее устроили. Но *тогда* гадание Светланы было только страшным сном, окончившимся блистательно. Тут жених не приехал, да и о каком женихе речь? Вылитое олово указало дальний путь. Светлана поняла и поникла.

Дело же шло все хуже. В феврале Жуковский получил весть от Зейдлица, что конец близок. Он отправил Светлане необыкновенное, но для такого человека, как он, неудивительное письмо. «...Нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?.. Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благославляю тебя!»

Благословляет на смерть. В лицо говорит о неизбежности ее. О детях пусть не заботится. И он, и Перовский, и Полина Толстая, и Государыня их не забудут. Все в порядке. В конце, снова: «Благославляю тебя, покоряясь необходимости потерять тебя».

Другое письмо, через несколько дней: «Саша, мой ангел, может быть, ты уж стала ангелом во всех отношениях... Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным звеном между здешним миром и тем».

Этих писем Светлана уже не прочла — до них не дожила. Зейдлицу он писал, в то же время: «Последний год твоей жизни есть прекрасная святая эпоха: обещание, данное Маше, верно исполнено, у гроба сестры ее ты снова с нею встретился. Вы

¹ «Это от меня не зависит и продолжается иногда часами» (фр).

оба были подле нее представителями всего лучшего; она невидимо, с того света — *на свидание*, а ты при исходе из здешнего — *на прощание*».

Из своего Петербурга он воспринимал удаление Светланы музыкально-поэтически. «Какая-то чистая музыка слышится, когда переносишься воображением в эту минуту. Для меня теперь все прекрасное будет синонимом смерти».

Нечто и жуткое есть в последней фразе, но для повседневности и весь строй чувств Жуковского в этом случае жуток. Жуковский святым не был, но приближался к той грани, которая дает *право* прямо сказать о смерти и даже благословить на нее: для этого должно существовать незыблемое и глубокое чувство *того* мира, мира духа и света, исход в который из здешнего не только не горе, но радость. (Св. Серафим «наставил» умереть совершенно здоровую молодую девушку, ибо считал, что для ее судьбы это лучше — она и умерла, очень скоро.) Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоящая родина Светланы.

Предсмертные радости ее были — письма из России, друзья здесь, да портрет Жуковского, всегда рядом на столике стоявший.

Смерть входила с великой торжественностью в молчаливый дом Пизы. (Жуковский знал, кому писал). 27 февраля утром Светлана почувствовала, что это последний ее день. В девять часов отрезала себе косу, завещая ее детям. В Ливорно послали за священником: хотела причаститься. За полчаса до его приезда велела поставить пред собой образ Божией Матери. Хлюстина читала псалмы. Дети и домочадцы стояли на коленях.

После причастия и соборования она прощалась и благословляла детей, благословила сына отсутствующего, всех родных и знакомых в России... — просто ждала уже конца. Дети приникли к ней. Она была в полном сознании, только слабела. Слышала, как пробило два часа. В руке у нее зажженная свеча, губами приникла она к образу Богоматери. В комнате сдержанные рыдания.

С этого времени стала слабеть. Дети от слез и усталости задремали. Слышала, как пять пробило. «Умру ли я через два часа?» Ошиблась всего на полчаса. В половине восьмого сказала, что ей холодно. «Укройте меня», — но от этого холода никто уж не мог ее укрыть. Через несколько минут она отошла.

Ее похоронили в Ливорно. Жуковский так написал о Машинной и ее смерти: «Гробы их на их жизнь похожи: около одной скромная, глубокая, цветущая тишина, ровное небо, дорога, вечернее солнце; около другой живое, веселое небо Италии, благовонные цветы Италии».

НАСТАВНИК

С осени 27-го года, вернувшись из-за границы, Жуковский живет в Петербурге совсем один, в Зимнем Дворце. Устроен отлично. Квартира изящна, светла, тепла. Есть в ней некоторая даже изысканность. В кабинете большой письменный стол — у него он писал, стоя — на стене бюсты царской фамилии, в углах комнаты слепки античных голов. Много картин, портретов близких и дорогих людей. В других комнатах библиотека (книг много), гостиная с большими креслами, есть где принимать друзей, устраивать литературные собрания (позже Гоголь читал у него здесь на вечерах «Ревизора». Бывали и Пушкин, Вяземский — весь блеск литературы тогдашней).

Порядок в комнатах замечательный — это всегдашний Жуковский, с ранних лет.

Сам он теперь покоен, с наклоном к тучности, с не весьма большими, но живыми глазами на лице желтоватого оттенка. Часами работает в этой просторной и приятной раме. Пишет, однако, не стихи. «Былых уж нет в душе видений» — сейчас важны не четырехстопные ямбы (в этом изощряется Пушкин), а совсем другое: планы, пособия, наблюдение за лекциями Наследнику.

Послушание принято, надо его исполнить. Жуковский намерен обучать Александра по сложному плану из трех частей. Первая — от 8 лет до 13 — «приготовление к путешествию» (все-таки *поэт* сочинял программу!) — краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, иностранные языки. Вторая часть — от 13 до 18 лет — собственно науки, излагаемые более подробно — само «путешествие», развивающее зерно первой части. Науки разделены по собственной воле Жуковского на «антропологические» (история, политическая география, политика и философия) и «онтологические», науки о вещи вне человека (математика, естественная история, физич. география, физика). Наконец, третья часть «окончание путешествия» — чтение «немногих истинно классических книг», с целью моральной — образование «совершенного человека».

Вся эта сложность и добросовестность, высокие замыслы и некоторая педантичность — опять-таки Жуковский. Нечто и от его собственной молодости, обучения в Университетском Пансионе с тридцатью шестью науками и заданием создавать «добродетельных» юношей.

Император и Императрица план одобрили. Государь внес только свою черту: велел выбросить древние языки, терпеть их не мог, в детстве сильно и бессмысленно был ими намучен.

Как некогда у самого Жуковского, день у Наследника расписан по часам. Занятия, уроки, отдых, гимнастика, вечером «обозрение прошедшего дня и ведение журнала». По воскресеньям гости — сверстники из выбранных родителями. Игры, танцы, музыка (к ней Наследник имел большое расположение).

Воспитанием заведует генерал Мердер, «воин» в духе Императора Николая, им самим и назначенный (он должен приучать будущего Императора к жизни суровой, чуть ли не походной — постель мальчика жестка, питание простое, игры чаще военные, и т. п.).

За Мердером Государь, за Жуковским виднеется Императрица — от Жуковского должна идти линия развития души, облагорожения ее высшими мирами. (Иерархически, при этом, Мердер был подчинен Жуковскому.)

Разумеется, вывезена из-за границы целая библиотека, карты, планы, глобусы, пособия. Набран штат учителей из выдающихся педагогов и профессоров. Среди них и академики, как Коллинс (математик), и впоследствии очень известный П. А. Плетнев (грамматика и русская словесность). Закон Божий преподавал выдающийся ученостию священник, протоиерей Андреевского Собора о. Герасим Павский, назначенный самим Императором.

Всем этим распоряжается Жуковский, за все ответствен. Сидит на уроках сам, входит во все мелочи. Наблюдают и родители. Императрица присутствует на ежемесячных испытаниях. На полугодовых, более торжественных, появляется и Государь. Разумеется, они отлично осведомлены о ходе обучения, воспитания сына.

Летом все в Царском Селе. Тут для детей привольнее, конечно. Александру, Константину и Марии отведен был на пруду остров. Они сами насадили там деревьев и цветов, выстроили кирпичный домик, сделали для него мебель. И уже позже, взрослым, Александр поставил туда бюст Жуковского — в воспоминание о счастливых днях детства.

Сколько можно судить, Наследник был мальчик живой, резвый, способный, иногда слишком горячий. С самонадеянностью его приходилось бороться.

Но уж если Жуковский вошел в семью, то в ней прочно и остается, покоря спокойствием своим, светом и благодушием. Теперь он вращался и в младших. Судя по более поздней его переписке со всеми тремя детьми, строившими в Царском Селе домик, он являлся для них чем-то вроде дядюшки, не по крови, не совсем настоящим. но может и лучше настоящего. С одной стороны верноподданный («верный до гроба Жуковский», «целую Вашу милую руку» — Наследнику, 1844 год), с другой

и наставник, непреложный авторитет. Того же Наследника учит, что Гоголю надо дать не 2000 в виде подарка, а 4000 в виде займа самому Жуковскому. («Видно, вы не разобрали моего письма» — Жуковский с Гоголем сам устроится, а Наследник своих денег не потеряет. Тон письма очень вежливый, но такой, что отказать бывший ученик *не* может. Об этом и мысли нельзя иметь.)

Как бы то ни было, даже пока они просто дети, заботы о них — главным образом об Александре — занимают его всего. Первые годы он ничего не может писать по своей части — тут не одна занятость, а и внутреннее изменение. Ни Маши, ни теперь и Светланы уже нет. Сам он тоже не прежний. Потяжелел, пополнил, в свободное время сидит на диване как турецкий паша, в изящной и светлой своей квартире, курит подолгу трубку, быть может мечтает. Но поэтической *остроты*, напряженности, беспокойства, стремящегося вылиться в стихи, ритм и рифму — нет. Некогда перевел он «Орлеанскую Деву» белыми стихами, но тогда писал и острое с рифмой. Теперь это ушло.

«Прощай навсегда, поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь».

Если не вся, то конечно, целая полоса жизни. В этой полосе не только не писал он, но убавил даже переписку с друзьями, просил у них дать «отпуск насчет письменного молчания».

И вот приближается 1831 год. Жуковский встретил его в одиночестве, перечитывая письма Маши. («Это писала Маша, встречая свой последний, 1823-й год».)

«Теперь пять часов, на улице все так тихо, вокруг меня все спит, мое сердце бьется, но спокойно и исполнено благодарности к Богу. Я вступаю в этот Новый год с совсем особыми чувствами. Во мне столько бодрости, как будто я должен начать сам для себя новую жизнь».

Точно бы то, что в свое время и очаровывало, и томило, мучило, но и наполняло жизнь, питая творчество — ныне отошло, как бы заключено в хрустальном саркофаге. А его путь жизненный да и творческий идет самозаконно, прежним не управляемый.

Новогодняя бодрость не оказалась бесплодной. 1831 год, по внезапному подъему творчества можно сравнить только с Долбинской осенью 1814 года. Но совсем все другое. Там острое, трогательное, музыкально-звонящее, в сложностях, блеске ритмов и рифм, здесь спокойствие. Зрелость художника уверенного, нет

за сценой и кровоточащего сердца. Творчество просто как творчество: баллады и куски эпоса, и знакомые имена («из Шиллера», «из Геббеля», «из Уланда»). Затем русские: сказки — вот это для него новость («Царь Берендей», «Спящая царевна»). *Много гекзаметра*: прощание с молодостью и рифмой. Предвестие обширных писаний типа «Ундины», «Наля и Дамаанти», впоследствии «Одиссеи».

«Война мышей и лягушек» именно гекзаметр. Вдохновенно это немецкой переделкой древне-греческого животного эпоса. «Войну мышей и лягушек» — вернее отрывок из нее — написал он с полнотою и благодушием, улыбкой и яркостью Жуковского, перевалившего за полдень. Очень хорошо и удачно, но без нее можно жить. Это не *необходимо* Жуковский. Как *не* необходимы для него русские сказки: мог написать, мог и не написать. Кажется, из всего, в 31-м году возникшего, шиллеровский «Кубок» наиболее прикреплен к его сердцу. Любви не удержишь. За кубком бросается она на гибель — звук сильный и полный, беспорная удача. В общем же в писании его теперь показан человек большого дара, ясный и покойный, но как бы наставник юношества. Сегодня это «Суд Божий над епископом» (с детства знакомое... «Так был наказан епископ Гаттон»), там будет «Царь Берендей», «Сид», «Война мышей и лягушек» — точно бы и Наследнику, когда подрастет, читать эти отлично написанные и с оттенком «для юношеской хрестоматии» произведения. Так и случилось впоследствии.

Школа — и не только Наследника — во многом завладела этими его писаниями.

* * *

С давних довольно времен Пушкин явился на горизонте Жуковского и до конца не сходил с него. С ранних лет соотношение это: ученик и учитель. Пушкин младший, Жуковский старший — разница шестнадцать лет. Пушкин-лицеист — расцвет славы Жуковского. Но довольно скоро учитель признает себя побежденным — великая скромность, ум, беспристрастие Жуковского. Однако, и ученик побаивается «случайных» совпадений — в ритмах, оборотах (он очень был на Жуковском воспитан). До конца сохранит к нему высокое отношение, хоть временами могли и срываться слова дерзкие. Как бы то ни было, замечательный образец дружбы старшего с младшим. Полная иерархичность в искусстве и никакой зависти. Иногда недовольны друг другом, но всегда чувствуют, что недовольство второстепенно. Есть нечто важнейшее.

«Ты имеешь не дарование, а гений»,— писано двадцатипятилетнему «повесе». «Что за прелесть чертовская его небесная душа»,— так повеса оценивает учителя.

К 1831 году в искусстве положение ясно: Пушкин зрелый великий художник, невероятный музыкант и волшебник слова, угнаться за ним нельзя — да и все растет он. Жуковский давно определился и входит в ровно-полуденную полосу пути. Теперь уже в искусстве нечему учить Пушкина. У него самого можно учиться, да главному не научишься. Но вот: как в юные годы приходилось обращаться к Жуковскому за заступничеством, так все и осталось. В жизни Жуковский не вышел из положения учителя, наставника до самого конца. «Талант ничто, главное: величие нравственное». Это он тоже давно Пушкину написал и на этом остался. Тут они несоизмеримы... «Предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе, есть ли с *высокостью гения* соединишь и *высокость цели*». (Он долго боялся, что Пушкин разменяется, что человек в нем не на высоте поэта. Как бы поэт не испортил.)

Для Пушкина последняя ценность — искусство. Для Жуковского и над искусством нечто.

В 1831 году оба они жили в Царском, укрываясь от холеры, встречались дружески и беседовали, даже одновременно взялись за сказки и соперничали в них. Но в жизненном Пушкин остался для Жуковского вечным учеником, за которого вечно приходится трепетать, иногда сердиться на него, чуть ли не в угол ставить. Не в 31-м году, а позже — но это не меняет дела — напишет ему Жуковский: «...Ведь ты человек глупый, теперь я в этом уверен». «Я право не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение». (Дело касается бестактного, по мнению Жуковского, поведения Пушкина с Государем — за что Жуковскому, как всегда, приходилось расплачиваться.)

Лето же 31-го года тем оказалось еще замечательно, что тут рядом с Пушкиным появляется при Жуковском новый персонаж, довольно-таки замечательный: к нему тоже впоследствии прикрепились имя «гений» и его памятник в Москве оказался недалеко от пушкинского.

Гоголь вынырнул для Жуковского из глубины своей Малороссии несколько раньше. «Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе уже совершившему полдороги на этом поприще». Произошло это, видимо, в 1830 году. «Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!» (Из позд-

него письма-воспоминания Гоголя.) Жуковский сразу почувствовал в нем необычное — уже в начале 31-го года Плетнев пишет Пушкину, обращая его внимание на Гоголя: «Жуковский от него в восторге».

Гоголь тогда почти еще не печатался, но кое-что было уже написано. Читал он вслух замечательно, занимался этим охотно. В литературном кругу кое-кто его знал. Вероятно, он и Жуковскому читал ранние свои вещи (или давал рукописи — что менее вероятно).

Во всяком случае, с начала 31-го года он печатается, а к маю у него готовы уже некоторые повести будущих «Вчеров на хуторе...» В этом же мае был он представлен Пушкину на вечеру у Плетнева.

За всеми жизненными делами Гоголя виден в это время Жуковский. Он направил его и к Плетневу и через него получил Гоголь место учителя истории в Патриотическом институте («для благородных девищ»). Жуковский же рекомендовал его Лонгиновым как домашнего учителя — Жуковский создавал ему вообще хорошую прессу, поддерживал и помогал жизненно. (В литературе наставником его, на первых порах, оказался Пушкин.)

Летом 1831 года Гоголь жил в Павловске, в скромных условиях — домашним учителем и воспитателем у Васильчиковых. Был беден, неважно одет, иногда читал свои повести приживалкам. Но не одним приживалкам! Жуковский и Пушкин недалеко — тоже, конечно, слушали. «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я», — если и не каждый вечер — то все же собирались в это странное лето, когда холера косила, когда укрывались от нее три русских поэта в тишине Царского Села и Павловска, все много работали, все были разного общественного положения и возраста, все соединены одним — искусством. Тут неважен потертый костюм Гоголя и общество приживалок. Важно, что двоим обеспечены памятники, а про третьего сказано:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...

Для Жуковского оба были «молодыми писателями», один с гениальным даром, но без всякого духовного управления, другой просто талантливый малоросс (таким казался ему), который может до слез смешить, но все-таки он «Гоголёк», пока только всего. К обоим старшим Гоголек этот почтителен. Пушкин с ним очень мил и внимателен (что не часто случалось у него с молодыми писателями), но всю сложность, и путаницу, и

трагедию будущую этого длинноносого учителя в потертом костюмчике с ярким жилетом ни Жуковский, ни Пушкин не чувствовали. В сентябре вышли «Вечера на хуторе...» Пушкин прочел, восхитился, но ничего кроме «веселости» не заметил. «Чертовский» привкус Гоголя прошел совсем мимо. Жуковский пленялся, конечно, стороной поэтической повестей этих, Малороссией и напевом их, внутренние же надломы и расщепления, терзания трагические были вообще ему чужды, как и стихия греха, зла. Правда, в Гоголе звуки такие были тогда еще слабо слышны.

Пушкин во всем этом ближе стоял к язычеству. Светлый аполлонизм закрывал от него дьявола. Жуковский, как христианин, видел дальше Пушкина — для него назначение человека, *делание* его, совершенствование и посмертная судьба самое главное. Для Пушкина человек — поэзия. Для Жуковского — Бог и поэзия.

В Жуковском совсем не было мутной и жуткой стихии дьявольской, природа его была не такая, но все отношение к жизни, искусству, религии было ближе — а впоследствии это еще усилилось — к неказистому Гогольку, чем к блистательному Пушкину. В то лето перед Жуковским предстали, в недопроявленном еще виде, два главных пути литературы российской: пушкинский, гоголевский. Художнически он ни по тому, ни по другому не пошел. Но путь Гоголя для души его был ближе, и не случайно, что начавшиеся с «рекомендаций» и «Гоголька» отношения перешли в прочную и глубокую дружбу, в связь внутреннюю.

Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видишь прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго.

* * *

1832 год — некоторая заминка в жизни Жуковского. Переутомился ли он, засиделся ли в однообразных трудах, но здоровье его сдало. Появились неполадки в печени, отозвалось и на зрении: стал жаловаться на глаза. Как и шесть лет назад, пришлось ехать за границу лечиться.

Опять Германия, воды. Теперь он настолько слаб, что выехал не как обычно на Дерпт, а морем на Любек, оттуда в Эмс. Там лечился и поправлялся, и был так еще несилен, что для прогулок завел себе осла *Blondchen*¹. А ему уж назначили новые воды, серные — в скучном Вейльбахе, близ Франкфурта.

¹ Беляк (нем.).

Туда приехал к нему, из замка Виллингсгаузена русский живописец Рейтерн с семьею — тот самый однорукий полковник Рейтерн, с которым вместе жил он в Эмсе еще в 1826 году и которому покровительствовал при Дворе (заказы, вспомоществования). Этому Рейтерна Жуковский любил, а тот относился к нему восторженно. В Вейльбахе они поселились в одном «трактире», это скрашивало Жуковскому «грустное затворничество».

После Вейльбаха ему предписали Швейцарию — лечиться виноградом. Рейтерн отправил семью назад в Виллингсгаузен, а сам вместе с ним поселился в Верне, на Женевском озере, близ Веве. Предполагалось, что оттуда Жуковский уедет в Италию. Но когда время подошло, он раздумал.

Остаться же одному в Швейцарии тоже казалось жутким. И вот Рейтерн решил вызвать сюда *всю* семью, поселиться с ним вместе. Это Жуковского чрезвычайно устраивало. Г-жа Рейтерн приехала с тремя дочерьми (старшей тогда было тринадцать лет) и сыном. Поселились все вместе «в уединении» Верне.

Эта жизнь очень подходила Жуковскому. Друзья, благообразие и тишина Швейцарии, голубой Леман, горы, прогулки... Из воспитательного «послушания» Петербурга с заботами о преподавателях Наследника, о книгах и программах он возвращался к истинному своему призванию: поэта.

Рейтерны его обожают. Милая девочка Лиза смотрит на него с благоговением. По-русски она не понимает, он для нее ein berühmte russische Dichter¹, но он-то сам уж теперь силен по-немецки — впрочем, о чем особенно говорить с ребенком — достаточно одного легкого и поэтического его присутствия.

Жуковский живет уединенно: за два месяца раз только был в обществе. Его общество постоянное Рейтерны, книги, горы, да озеро. Ежедневно уходит он в одинокие прогулки. От Верне по шоссе к Кларану, и в другую сторону к Шильону каждый из трех километров отмечен его именем — нацарапано на камне. Тут оживает в нем всегдашний Жуковский. И как в прежнем странствии живописал он словами Констанцское озеро, так теперь изображает Леман.

«День ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны...— озеро дышит. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры».

¹ знаменитый русский поэт (нем.).

Тишина. Иной раз звук колокола, но мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход, горы безмолвствуют, воздух благословенный стекает к бредущему Жуковскому — пусть будет дальний лай собаки, одинокий человеческий голос в горах — все равно, не нарушить им великой безглагольности Природы.

Она настраивает на раздумья. Жуковский всегда к размышлениям был склонен, с годами философ в нем растет — позже в направлении религиозно-мистическом, сейчас преобладает натурфилософия.

В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал, думал. История народов и история земли... И там и тут двойственно. То медленное и упорное, созидательное творчество, то буря и катастрофа. Незаметно и непрестанно произрастает нечто, а потом взрыв, «революция» и гибель. Вот видит он развалины горы — рухнув, она раздавила несколько деревень. Так случилось в плане космическом, и потом по развалинам опять порастет травка, жизнь снова начинается. Но в человеческом общезнании да не будет обвалов — пусть идет ровное, спокойное усовершенствование. «Работая беспрестанно, неумоимо, наряду со временем отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, ты безопасно, без всякого губительного потрясения произведешь или новое необходимое, или уничтожишь старое, уже бесплодное или вредное. Одним словом, живи и давай жить; а паче всего блюди Божию правду».

Эти свои настроения он назвал «горною философией» — и для внутреннего развития его, человека хоть и зрелого, но не окостеневшего, зима в Швейцарии с Рейтернами оказалась благоприятна. Он жил под благословением и в благодати. Писал же не только письма.

Занимал его Уланд, из которого он и раньше переводил. Но главное, взялся за «Ундицу».

«Ундина» — повесть Ламотт Фуке, француза по происхождению, выросшего в Германии — третьестепенного романтика, писавшего фантастические романы. Одна только вещь резко у него выделилась: «Ундина». Жуковского давно привлекало произведение это. Еще в 1817 году подбирается он к нему, но тогда ничего не вышло. В 1821—1822 годах познакомился с автором ее, но «Ундина» не двинулась: сам он еще не был готов, предстояло писать другое, по-другому жилось и переживалось.

Никогда не знает поэт, когда, как произойдет встреча. Это дело таинственного подземного развития. Повод же подается извне.

Все так слагалось у Жуковского, что острота и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебой, сложность ритмов, как и сложность жизни — все прошлое. В сущности, и сама жизнь — любовь к Маше, и смерть ее — прошлое, осталось одно воспоминание. В горных, медлительных днях Швейцарии как все прозрачно, покойно-грустно! «Унди́на», старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайный, ровно волнообразный гекзаметр несет, как во сне. А за «Ундиной» Маша — слабеющая о ней память.

В Швейцарии написалась лишь часть произведения, но конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем *вся* «Унди́на» — со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. (Оканчивал он ее позже, в России, в Эли́стфере, недалеко от Дерпта (35—36-й годы). Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы.)

Память о том, что любил, уйти не может, но вот и она меняется, меняется и окружающее:

Как нам, читатель, сказать: к сожалению или к счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здесь разумею я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе...
...Есть, правда, много избранных
Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой
Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
Все не та под конец, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много иного, чужого
Между утратою нашей и нами уже протеснилось,
Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
Нашей печали мы видим...

Да, уже новому поколению будет он диктовать свои гекзаметры. Не напрасно явилась «Унди́на» в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайна — внутренне связана с замирающей памятью о Маше. Сознавал ли тогда, в Верне, Жуковский всю важность задуманного и начатого? Как бы то ни было, за три года, что внутренне жил с «Ундиной» этой, вложил в нее столько прелести и поэзии, нежности, трогательности, столько ввел раздумий, воспоминаний, сожалений, что от бедного Ламотт Фуке осталось, собственно, название да сюжет. А от Жуковского вся полнота и обаяние произведения.

* * *

В Италию с Рейтерном он все-таки попал, уже весной 33-го года — это была первая его встреча с Италией. Пробыл два

месяца очень хорошо, возвратился в Швейцарию и тут еще два месяца в полном мире и благоденствии прожил в Верне со всей семьей Рейтернов, которые становились ему как бы своими. «Наконец, пришлось расставаться. Они улетели от меня, как светлые, райские тени».

Он обещал, перед окончательным отъездом в Россию заехать к ним в Виллингсгаузен, где Рейтерн жил с семьей у тестя своего, Шверцеля.

И заехал, провел три дня в старинном замке — они прошли очаровательно. На прощание Лиза, к некоторому его удивлению, кинулась к нему на шею и «прильнула с необычайной нежностью». Ей было тринадцать лет, он расставался с Рейтернами будто и навсегда. Рейтерн «со своею кистью должен был оставаться на Рейне и был прикован к семье многочисленной; мне указан был Двор, и вся моя жизнь была предана безусловно одному, главному; казалось, что между нами не могло быть ничего общего, так же, как Рейну не можно было никогда слиться с Невой». «Казалось, всему конец». Внезапная нежность девочки его удивила, но в душе следа не оставила.

Всей судьбы своей он тогда еще не знал. В сентябре 33-го года он был уже в Петербурге, в удобной, спокойной дворцовой квартире. Опять литературе отставка. Достаточно хлопот и с Наследником.

Приближалось совершеннолетие его и характер занятий с ним менялся. С 34-го года к нему назначили «попечителем» князя Ливена, юридические лекции читал Сперанский, по иностранной политике барон Бруннов. Теперь уже взрослые — министры, генерал-адъютанты, представители науки и литературы составляли его общество — Жуковский на первом месте, конечно.

Заботы и занятия с Наследником настолько для него возросли, что на Великого князя Константина Николаевича уже не хватало. К нему пригласили А. Ф. Гримма. (Павского же от законоучительства отстранили, по настоянию Митрополита Филарета.) Жуковский отца Герасима Павского очень ценил, как и сам император. Но с Филаретом бороться было трудно. Жуковскому пришлось уступить: Святитель обвинял Павского в «историзме» преподавания, в разных «уклончиках», неточных определениях, и т. п.

В 1835 году все это вообще кончилось. Наследник уже взрослый, обычные полугодовые экзамены миновали. В присутствии всей императорской семьи, при профессорах, генералах, разных приглашенных придворных, высокий и красивый молодой человек с крупными чертами лица, горячий и увлекающийся, с оттенком романтизма и рыцарства, с бурным темпераментом —

благополучно сдал последнее, как бы выпускное испытание. Учить его больше нечему. Жуковский остался при нем, однако, еще не один год, как бы «надзирателем за душой» — воспитателем в высшем смысле.

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

В 1831 году Жуковский написал несколько русских сказок. Писал их и позже. Одно время Гоголь вообразил, что Жуковский становится поэтом народа русского, отходя от Запада. При всем, однако, белевском своем происхождении, певцом России Жуковский не стал. Русский он, но не Аксаков.

И все-таки, весь 1837 год прошел у него под знаком именно России — не в творчестве, а в жизни. В эти месяцы ему была показана Россия в разных видах, и обширно, и глубоко, и величественно. Жизнь же его резко перегибалась к Западу.

29 января 1837 года он был приглашен на обед к Виельгорским, праздновали день его рождения. Многих пригласили. Пушкин должен был возглавлять писателей. Но приехать не смог — в этот день как раз умер. Жуковский еще накануне поцеловал холодевшую его руку. Около трех часов, в день обеда, Пушкин скончался и Жуковский долго сидел с ним мертвым, созерцая ставшее столь прекрасным его лицо.

Эта сцена прощания имеет, возможно, очень глубокий смысл. В тайне смерти в последний раз предстал Жуковскому облик России, гений ее, лучше ее. Прощай! Смотри, учись и возвышайся. «Какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, удовлетворяющее знание». Прощай!

Невеселый вышел обед. Невеселое рождение Жуковского.

А потом все, как надо: и панихиды, и отпевание, и странные похороны. Уходившей любви своей и уходившей России остался Жуковский верен: был посредником между семьей и Государем, всячески защищал и поддерживал «пушкинское», разбирал и бумаги его. 3 февраля в полночь тронулись от подъезда сани, в сопровождении Александра Тургенева увозившие гроб Пушкина в Святые Горы. Светил месяц. Жуковский провожал их глазами до угла дома. За ним они скрылись. «И все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих».

Пушкина похоронили, а жизнь продолжалась. Ее веления беспрекословны. Жуковский при Дворе, в распоряжении Наследника, теперь назначен ехать с ним по России, «сопровождать» — путешествие огромное и по пространству, и по времени.

Император Николай в расцвете. Долго ему еще царствовать. Россия в силе необыкновенной. Все стоит прочно и на месте, декабристы в ссылке, границы необъятны, поля плодородны, леса непроходимы, крестьяне покорны. Эту-то громаду и показать будущему царю — пусть ощутит и величие задачи и ответственность пред Богом (так всегда учил его Жуковский).

2 мая целый поезд двинулся из Петербурга — в свите Наследника кроме Жуковского Кавелин, Арсеньев, Юрьевич, некоторые из сверстников и товарищей Наследника (граф Виельгорский, например). Ехали в огромных дормезах, сколь возможно быстро. Россия разворачивала пред ними все разнообразия и сложности свои. Торжок, Тверь, Ярославль, всюду «восторги», иллюминации, непрерывное «ура» — так намучившее под конец путников, что оно слышалось им как кошмарный звук даже тогда, когда и совсем тихо было. Сторона парадная — губернаторы, архиереи, предводители дворянства, обеды, приветствия, все это было невыносимо, конечно — Жуковский, по смиренному своему характеру, терпеливо «присутствовал». Те же торжественные пошлости говорились что и теперь, при других политических устройствах. Но тогда было простодушнее и патриархальней. А иногда и трогательней. Нет сомнения: обаяние *царя* имело еще силу мистическую. В Костроме среди тысяч теснившихся на берегу Волги, чтобы видеть Наследника, многие часами стояли по пояс в воде: так лучше разглядят его в лодке.

Ехали очень уж быстро. Картины, впечатления сменялись, утомление было огромное — у всех, но не у Наследника. Он крепко держался. А Жуковский нередко дремал в коляске с полубольным Виельгорским. На кратких остановках едва успевал отписывать императрице все о ходе дела. Впрочем, ухитрялся делать и зарисовки.

А Россия много предлагала замечательного. В Угличе видели Собор времен Миханла Федоровича, палату царевича Дмитрия, церковь, построенную на его крови. В Костроме осматривали Ипатьевский монастырь — колыбель Дома Романовых. А там пошли леса, дебри, дичь Руси северо-восточной: путь к Уралу. Вятка, Ижевские, Воткинские заводы — везде осматривали производства. В Перми первые и «оборотные стороны»: не одни «ура», но вот ссыльные поляки подают прошения о возвращении на родину. Раскольники жалуются на преследования.

26 мая, недалеко от станции Решоты, в тридцати верстах от Екатеринбурга, достигли высшей точки Уральского хребта. Начало Азии, Сибирь! Ни один еще из царей русских не видал

этих краев. Будущий Александр Второй увидел Вот и Екатеринбург. Тут показывает Россия мощность недр своих — Наследнику подносят изумруд небывалой величины, удивительные изделия из яшмы, малахита, мрамора. Но в мирных снах своих не видали путники того, что через восемьдесят лет произойдет здесь со внуком ученика Жуковского.

От Екатеринбурга до Тобольска, по Сибири все было — широта, мощь, изобилие. Ни в Костромской, ни в Ярославской губерниях не видал Наследник такого склада жизни у крестьянства (да и у мещан, купечества): все несравненно полнее, привольнее, богаче. Правда, людей меньше, а пространств больше и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, объезжавшему свои владенья, что вот этот край так обогнал Россию европейскую и *потому*, что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа! Для будущего Освободителя впечатления поучительные. В биографию его они входят.

Он недаром провел годы с Жуковским. В век казарм и шпицрутен взор его оказался устремлен далее, к свободе и милосердию. «Вышел сеятель сеять...» — посеянное Жуковским начинало всходить. В Сибири видели они много ссыльных, среди них и декабристов. Как всегда, здесь Жуковский был заступником и посредником в бесчисленных просьбах. Из Тобольска Цесаревич обратился к отцу в Петербург с ходатайством о смягчении участи их.

Из Златоуста спустились в Оренбург — Россия явилась экзотической: киргизская орда. Скачка полунагих киргизят на лошадях, верблюдах. Заклинание змей. Хождение босыми ногами по саблям. Видели дикую пляску под музыку на дудках и гортанную.

В Казани заинтересовал Университет. Но везде останавливались ненадолго. И вот катят уже в своих доремезах к Симбирску, на остановках подзакусывают и дальше. Спутники разделились на «чайстов» и «простоквашистов» — партии враждебные. Одна заказывала на станциях чай, другая простоквашу. Жуковский больше действовал по пирожкам, главное же, изнемогая от усталости.

Около Симбирска ждала радость. В нескольких верстах от города нагнал их фельдъегерь, бурей несшийся из Петербурга. Поезд остановился. Наследник распечатал письмо от отца — просьба о ссыльных была уважена. Он вызвал к себе Жуковского и Кавелина и тут же на дороге сообщил им новость. «Все трое обнялись — во имя царя, возвестившего им милость к несчастным».

«Одна из счастливейших минут жизни»,— говорит Жуковский.

В начале июля добрались уже до хлебного, просторного Воронежа. Там нашел, наконец, Жуковский, подходящего себе сотоварища.

В самый день приезда Наследника жандарм явился в семью Кольцовых: губернатор требует к себе поэта. Сначала все всполошились. Но вызов был мирный и Кольцовым даже полезный: Алексея Васильевича приглашал к себе Жуковский. Два воронежских дня он провел с Кольцовым — Кольцов и Воронеж тоже были Россия, густой, крепкий ее настой. Пили чай в купеческом доме, вместе разгуливали по городу, с Острожной горы любовались широкими видами, лугами, лесами дальними — той огромностью и мощью русской, что так чувствуется в Воронеже и его крае. Старина, Собор, св. Митрофаний Воронежский, св. Тихон Задонский...— а внизу под горой старые домики петровской слободы: иной мир, но История, Петр, судостроительство...

Всех удивлял и радостно здесь поражал Жуковский: придворный, близкий к государю, а разгуливает запросто с сыном мещанина по городу, пьет у него чай. (Самого Кольцова Жуковский совсем поразил и пленил: позже в письмах он так к нему обращался: «Ваше Превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт».)

А добрый вельможа тоже рад был встретить, наконец, не губернатора, а своего брата-поэта, с которым можно поговорить и стихах, дать совет дружеский литературный, например, собирать народные песни. (Многим тогда это казалось странным.)

За Воронежем стали приближаться к краям тульско-орловским, родине Жуковского. В Туле смотрели оружейный завод. Может быть видели (но, конечно, не заметили) какого-нибудь лесковского Левшу, подковавшего стальную блоху. А потом повернули на Белев.

И ученик, и учитель имели к нему отношение. Для Жуковского это детство и юность, Александр в глаза не видал Белева, но там скончалась императрица Елизавета Алексеевна, его тетка. По ней отслужили в Белеве панихиду, а места, где возрастал «любимый его наставник», Александр посетил в духе паломничества. Был в доме его белевском, где в 1806 году Маша Протасова посадила во дворе ивы, а в 22-м, на рассвете, плакала в одиночестве на траве дворика.

Здесь временно расстался Жуковский с Наследником — взял краткий отпуск, чтобы повидать родных. И побывал в Мишен-

ском. Волновался, может быть тоже и плакал, вспоминая ушедшее — лучшее свое время. Разрушений и перемен немало. Но осталось и старое, появилось и новое. Неподалеку, в Бунине, жила Екатерина Афанасьевна Протасова — из Дерпта вновь сюда перебралась. С ней три внучки, дочери Светланы, Маши, теперь в том же возрасте, как тогда матери их. Жуковский среди этой молодежи, как бы предвозвестие Лаврецкого, возвратившегося к пенатам.

Из Калуги Наследник съездил в Авчурино, верстах в десяти по Оке вниз. Там имение Полторацких, на берегу Оки, славившееся образцовым хозяйством — Александру показали «молотьбу и веяние машинами», сам он «попробовал английский плуг». И во всяком случае должен порадоваться был и чудесной тишине местности над зеркальной дугой Оки, и огромному парку, и дому-замку. (Таким казался он, по крайней мере, мальчику, возраставшему в скромном имении наискосок через Оку и никак уж не думавшему, что более чем через полвека придется ему писать об этих местах в летописи жизни Жуковского.)

Были в странствии Наследника и Малый Ярославец, Тарутино, Бородино — паломничества Отечественной войны. Все это была вновь Россия и вновь иная. А в конце июля Москва — самая долгая остановка пути, и едва ли не самая трудная.

Москва была тогда царством знаменитого Митрополита Филарета. По-видимому, все пребывание в ней Наследника прошло под знаком церковности и связи с прошлым. Остановились в Кремле. Александр ночевал в той самой комнате Николаевского Дворца, где родился. При нем неотступно находился Юрьевич, спал на том же диване, где некогда и кормилица. А Жуковский из того же окна, откуда девятнадцать лет назад поздравлял народ с рождением Наследника, подымая бокал шампанского, теперь этим же народом любит.

В самый день приезда торжественный выход в Успенский собор. У входа Митрополит Филарет с духовенством в полном облачении, встречает Цесаревича. Можно себе представить, как гудел Кремль колоколами, сколько было блеска митр, риз, мундиров штатских и военных, сколькими хоругвями, какими многолетиями встречали ученика Жуковского! Сам учитель был очень взволнован. Улучив минуту, он так отписал императрице Александре: «А когда мы вошли в Собор, где на моем веку совершилось уже три коронавания, где был коронован Петр Великий, где в течение почти четырехсот лет все русские князья, цари и императоры принимали освящение своей власти и торжествовали все великие события народные, когда запели это многолетие, столько раз оглашавшее эти стены, когда его повели

прикладываться к образам и мощам, когда опять сквозь густую толпу он пошел в соборы Благовещенский и Архангельский и, наконец, на Красное Крыльцо, на вершине которого остановился, чтобы поклониться московскому народу, которого гремящее «ура» слилось со звуками колоколов, то я, в сильном движении души...— пожалел, что ни Вы, ни Государь не могли этим насладиться».

Плохо было, однако, то, что в Москве стояла невыносимая жара: в тени до 28° (Реомюра). А надо было непрерывно посещать святыни. Побывали в Чудовом, Донском, Симоновом и других монастырях. Были в Звенигороде у св. Саввы. Съездили, разумеется, и в Троице-Сергиеву Лавру. (Там Жуковский так увлекся рисованием, приютившись под деревом, что пропустил даже появление Наследника.) «Нигде за все путешествие не уставали так, как в Москве».

Но это еще не конец. Из Москвы двинулись на юг — Одесса, Крым, земля Войска Донского, опять Москва и только в начале декабря Царское Село.

Проехали 4500 верст, посетили тридцать губерний, получили в дороге 16000 просьб (больше всего о деньгах — отсылалось губернаторам и каждому на раздачу по 8 тысяч).

Жуковский находил, что путешествие было слишком быстрым, Наследник «успел прочесть только оглавление великой книги», но все-таки определил все это, как «обручение его с Россией».

Разумеется, и его самого утомляла пестрота впечатлений, их отрывочность, казенный характер всего. Оценок личных в письмах мало. Но народ («простодушный и умный») понравился ему. Все-таки человек просвещенный и западник чувствует здесь в Жуковском — невежество русских в искусстве огорчило его (с удовольствием вспоминает только о суздальском купце Киселеве, у которого оказалась большая библиотека и картинная галерея — да и то на киотах аляповатая позолота, по картинам бегали тараканы).

Как бы то ни было, ни раньше, ни позже не была показана ему такая панорама родины. Если для Наследника обручение с Россией, то для него самого прощание с ней.

Возвращение вышло странным. Издали, еще от Тосно, в сумраке вечернем завиднелось зарево над Петербургом. Горел Зимний Дворец. Там как раз жил сам Жуковский, возвращался теперь на пожарище. Разрушений было много, но его квартира уцелела. Он был смущен и в разговорах как бы извинялся, что не пострадал.

ЕЛИЗАВЕТА РЕЙТЕРН

...Отдых в Петербурге получился недолгий. Весной новое странствие, с тем же Наследником, теперь по Европе западной. И вот второй год он в движении — экипажи, гостиницы, дворцы, иностранцы, приемы, разговоры... Побывали в Берлине, жили в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции — скалы, озера, граниты, замок Грипсхольм со стариной и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут Наследник заболевает. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.

От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33-го года. Он к нему отправляется, застаёт «в кругу семьи». А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери, Елизавета и Мия, «расцвели, как чистые розы». В Ве́ве знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка «лорелейского» типа, мечтательная и нервная — поэзия, чистота, скромность...

Он провёл у них несколько дней, а потом опять передвижения: все теперь связано со здоровьем Великого Князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость — меланхолия владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.

Был начат уже тогда перевод «Наля и Дамаянти», но вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало ответствовала тогдашнему его настроению. «Камознс» Гальма пришелся как раз по душе. Им он и занялся, выражая свое в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.

Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камознс — великий в несчастьи своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета.

Торгаш Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына — тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камознсом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одинокого поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит!

Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегает молодого. Так ли предназначен он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно ли брать крест? Но тот энтузиаст:

О, Камознс! Поэзия небссной
Религии сестра земная, светлый
Маяк, самым Создателем зажженный.

И далее:

Прекрасней лавра, мученик, твой терн

Тогда Камознс меняется: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда все хорошо, даже страдание. Ибо:

Страданием душа поэта зреет,
Страдание — святая благодать.

Квеведо не достиг цели. Камознс не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает — тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камознса — сияющая дева, все лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

Все это явилось теперь пред самим Жуковским, написалось во славу и Поэзии и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопровождает. Поэзия, Религия — это слилось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?

«Камознс» Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.

С этим «Камознсом», вероятно еще неконченным, попадает он в Рим. Весь январь 39-го года проводит в нем с Гоголем.

Гоголь теперь не тот «малоросс» 30-го года, «Гоголек», что читал приживалкам безвестные писания свои. За ним и «Миргород», и «Тарас Бульба», и «Ревизор». В Риме, на Strada Felice,¹ пишет он «Мертвые души» и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, но грозное веянье славы и дорогая цена ее, как и Камознсу,— ему предлежат.

А для Жуковского он свой, почти домашний, три года назад читавший на его субботах в Петербурге «Ревизора», Гоголь, которого год назад он вызволил из денежных затруднений — Гоголь — друг, такой же поэт, как и он сам. Гоголь считал Италию родиной своей (остальное только «приснилось»), Жуковский ее обожал. («Я болен грустью по Италии».)

Их месяц январь 39-го года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже Наследника — гораздо, конечно, ему интереснее и плодоноснее бродить с Гоголем по святым и великим местам Рима, чем быть в условной и докучливой атмосфере Двора.

¹ улице Счастливой (*um*).

С Гоголем забирались они и в Купол св. Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанию. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее «сестрой поэзии», а сам к этому времени вошел в зрелую, более покойную полосу рисования своего: после смерти Маши весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелесть видимости — пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волконской...) Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивляло его уменье, быстрота, с которой он действовал. «Он в одну минуту рисует их («лучшие виды Рима») *по десяткам*, и чрезвычайно верно и хорошо» — Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский, Рим — есть чем зачехься. Вот слово Гоголя: «Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и Боже! Сколько нового для меня... Это чтение теперь имеет двойное наслаждение, оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне делается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне...»)

Небесный посланник! Не впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. («Что за прелесть чертовская его небесная душа» — пушкинские слова. Оба они теперь Пушкина оплакивали.)

Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто винцом *Castelli romani*. Неожиданно глас судьбы — Николая Павловича из Петербурга: Наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.

Тут ничего уж не поделаешь — уехали. А Гоголь вновь осиротел, один остался на своей *Strada Felice*, где над раскладным столом с «Мертвыми душами» реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал он из Парижа с двумястами франков, освящался им тоже к славе. (С 1902 года он и украшен памятной доскою: «Il grande scrittore russo Nicolo Gogol in questa casa, dove abito 1838—1842, penso e scrisse il suo capolavoro»¹ — улица уже называется *Via Sistina*.)

¹ «Великий русский писатель Николай Гоголь в этом доме, где он жил в 1838—1842, задумал и написал свой шедевр» (*um*).

А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии все вращалось среди поэтов. В чемодане его лежал Камюэнс, в Риме остался Гоголь. «Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева», — запись Жуковского 4/16 февраля 1839-го. Значит, ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нерви и Геную — путем столь очаровательным (многим странникам русским так с юности близким).

В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.

Кто знал тогда Тютчева, как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный. Юного Пушкина назвал же он когда-то — и без оговорок — «гением». Тютчева знал еще юношей. В пушкинский «Современник» Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь в Киавари был перед ним тридцатишестилетний человек, недавно потерявший жену. «Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова», — говорит Жуковский. А о нем самом: «Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу».

* * *

Все дальнейшее, с ним и Наследником случившееся, относил Жуковский вполне к делу Промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и Наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима в Вену не так, как теперь бы поехали, а кружным путем через Лигурию — вероятно, боялись Аппенин под Болоньей.

После Вены Мюнхен, Штутгарт, дальше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия — вот в Дармштадте Наследник знакомится с дочерью Великого Герцога, а Жуковский вновь попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему «светлым сном» — на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь эта Лиза взрослая. Она образованна и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец, благодаря Жуковскому, стал живописцем при Русском Дворе — этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.

Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало

в нем, может быть и туманно, как сквозь сон напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Все прошло. Жизнь позади — в эти два дня опять играл Жуковский роль из будущих повестей Тургенева.

Вечерами сидели по-семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделием. Жуковский столько видал на своем веку и стран, и людей, столько знал в искусстве, в литературе, сам являя Олимп литературный — рассказы его пленительны, да особенно еще, когда озарены нежностью зрелого человека к юности.

Можно представить себе *как* слушала его Елизавета.

«И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастья, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды».

Расстался он с замком Виллингсгаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом — все это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите Наследника, он сел на пароход в Штеттине — возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн. Жуковский называл его: «мой Безрукий».)

Сам-то он говорит, что эта встреча с Елизаветой в Виллингсгаузене осталась только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, по-видимому, преуменьшает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе «воспоминание» дало о себе знать. Он напомнил «Безрукому» о вечере в Виллингсгаузене.

— Там я видел то, что мне вполне было бы счастьем, но увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но все будет зависеть от Елизаветы.

— Ищи,— прибавил.— Если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.

На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить. Жуковский находился в России и должен наблюдать за учением младших Великих Князей, кроме того занят устройством своего «Мейерсгофского приюта» (имение, куда собирался переселиться). Где же тут «искать» любви рейнской Елизаветы?

Но все устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на Провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнамбулически — не знает сам, что играет.

Осенью, возвращаясь с годовичного поминовения Бородина, где когда-то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. «Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом», — будто между прежнею его жизнью и новой проводилась «живая грань».

Но вот самое удивительное — в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт с Наследником, брак которого со случайно встреченною принцессой Марией уже решен. Жуковский должен обучать ее русскому языку.

Начинаются новые странствия. Его личной воли в событиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король Прусский и Наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.

А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера, с пристани Дюссельдорфа.

«Безрукий» провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия — «Ася» Тургенева.

Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот обращается он к Рейтерну:

— Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастье жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но, хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остаются, полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.

К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозможно. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.

— Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моею.

Тут же пожали они друг другу руки, Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить Провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе: «Да» — тогда и его судьба решится.

Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался и теперь одному ему, под теми же звездами, пред медленно уходившими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход, не торопясь,— выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кельна старинного с собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы Провидение вынуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне».

Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек», — уже в Кобленце.

Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.

Получив разрешение от Государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.

Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко — более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. И уж лучше тянуть, мечтать...

По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец, 3 августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась матери на шею и почти призналась в любви.

Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.

— Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках его были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:

— Подождите, Елизавета, подойдите... Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете

ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.

Ответ был краткий, незамедлительный.

— Мне не о чем раздумывать.

И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они же благословили их.

* * *

До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.

Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41-го года в Москве повидался с родными.

Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсгоф ни с какого конца неинтересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.

Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму — 115 тысяч — оставил трем дочерям Светланы.

Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника Цесаревича Александра.

У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.

16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью Великого Герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от Двора и царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.

Неизвестно, был ли покоен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно-таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что

никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.

А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того, что купил Мейерсгоф (Элистрфер), приобрел еще — очевидно ценную по воспоминаниям — и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранении в Мраморном Дворце, до переезда в Германию.)

В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил — угостил, между прочим, любимую его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил *не* давать в Мраморный Дворец (*не* везти в Германию).

Одна — портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие — виды могил: дерптской ее же, ливорнской — Светланы.

Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обоженное свечой, когда я писал пятую главу «Ундины». Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь!»

И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: «Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!»

Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.

— Нет, я с вами не расстанусь!

Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, писанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним:

«Для сердца прошедшее вечно».

Венчание происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторно было затем и в лютеранской церкви.

СЕМЬЯ, ГОГОЛЬ, «ОДИССЕЯ»

Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать

комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.

По сохранившимся рисункам самого Жуковского — впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.

Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующихся, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома диоссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделялся «Наль и Дамаанти» — прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его, Великой Княжне Александре Николаевне.

В посвящении этом есть тишина вечера и как будто счастье мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.

. и слышу голос,
Земные все смиряющий трсвоги
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня Мне было суждено свою
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святыя написать...

В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и

. на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью... и я проснулся.

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в *такое* верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая... Есть, может быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).

Первый год их супружества был самым счастливым. 4 ноября 1842 года Елизавета Алексеевна родила дочь Сашу. Тут-то и

начались затруднения. По-видимому, появление ребенка надорвало силы и здоровье ее. Что произошло, в точности неизвестно, да и медицина тогдашняя была очень уж приблизительна. Несомненно, все-таки, что надлом был. А с 1845 года, когда появился сын Павел, положение очень ухудшилось. Нервная болезнь возросла, терзала Елизавету Алексеевну, изводила и ее, и окружающих. Мучили несуществующие грехи, казалось, что темные силы одолевают, она впадала в отчаяние. Для Жуковского наступило новое, странное и жуткое время, на которое, вероятно, менее всего он рассчитывал, вступая в брак. Вот как он об этом говорит: «Семейная жизнь есть беспрестанное *самоотвержение*, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ей». Далее, позже: «Последняя половина 1846 г. была самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худа, как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит».

Без конца лечение, врачи, переезды — то во Франкфурт-на-Майне, то на воды, на курорты и все под знаком болезни, мрака. Вот в Швальбахе испугалась Елизавета Алексеевна подземных толчков (землетрясения) — опять все обострилось и вернувшись во Франкфурт она заболевает «нервической горячкой» — последствия же ее жестоки. «Расстройство нервическое,— пишет Жуковский,— это чудовище, которого нет ужаснее, впилося в мою жену всеми своими когтями и грызет ее тело и еще более душу; нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно для меня, что иногда хотелось бы голову разбить о стену!»

Так говорит Жуковский. Жуковский, всю жизнь стремившийся к миру и гармонии, в себе носивший и тишину, и благозвучие, на старости лет как будто нашедший пристанище верное — вот именно уж, *как будто*. Разбить голову о стену! Нет, не дано ему отдыха и в поздние годы. В юности все стремился к счастью сердца. Оно удалялось, неизменно воспитывало в покорности Промыслу, в жизни «без счастья». Теперь как бы достиг он чего-то, основал, укрепил дом, семью, а внутри дома этого и семьи новая беда — для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

Еще до рождения сына, в менее тяжкую, но уже предгрозовую полосу писал он императрице в Петербург: «Верить, верить, верить!» Будто подбадривал себя, ожидая худшего.

Теперь, когда трудности развернулись, пишет Екатерине Афанасьевне в Россию: «Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании», — в свое время Екатерина Афанасьевна дала ему возможность изучить страдание вполне. Сейчас она доживает дни в прежних родных местах. Он продолжает: «...Но это одно убеждение ума — не чувство сердца, не смирение, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только *не роптать*, и от этой беды еще Бог меня избавил!» Хорошо, значит, то, что хоть смиренно переносит. А уж что переносит, это самоочевидно.

Тут-то, в разгаре болезни, мучаясь и тоскуя, Елизавета Алексеевна вдруг решила перейти в католичество (она была лютеранка).

Несомненно, это намерение родилось из страданий. Казалось ей, что она погибает, вот, может, спасение придет от католицизма?

Можно себе представить, насколько Жуковскому тягостно было и это. Он проявил упорство, сопротивлялся. Рейтерн поддерживал его. Совокупные ль их усилия, или самый ход желания ее (болезненно возгорелось, недолгим и оказалось) — но Елизавета Алексеевна в католичество не перешла.

* * *

Блаженный месяц Жуковского и Гоголя в Риме не повторился. Но жизни их и судьбы сближались. Гоголю предстояло еще счастье Рима, счастье великой работы в нем над «Мертвыми душами» — в творении этом таился, однако, уже яд, понемногу его отравлявший. И с некоего времени он Рим покинул, в растущей тревоге, болезненности и пустыне внутренней начал свои скитания — неудержимые и неутолимые, как неутолимы были приступы его тоски.

Много европейских городов, курортов, вод видело это болезненное существо, в котором все сильней укоренялось ощущение избранничества. *Ему* доверена истина, *он* должен поднять людей, научить, спасти... — при том сам как раз начинал погибать. Странствуя, старался выбрать места, где есть кто-нибудь из подходящих русских. Жуковский был ему особенно дорог.

Жуковский переводил в это время «Одиссею». Писание не мучило его, наоборот, облегчало. Правда, писание это второй линии, не гоголевское. В переводе «Одиссеи» была явная осуществленность. Дело несравнимо более скромное, хотя относилось к нему Жуковский с великой серьезностью, почти священнодейственно (и полагал, что «Одиссея» эта — главное, что от

него останется). Гоголь с «Мертвыми душами» — особенно со второю частью — вполне священнодействовал, притом цель ставил неосуществимую. Заранее можно было сказать, что летит в пропасть.

Оба много в эти годы страдали, по-разному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз «Выбор Креста»). Литература освежала его, укрепляла.

У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством. Он такой же монах литературы, как Флобер, но и учитель жизни. Его окружал воздух трагедии. Жуковскому трагедия не подходила.

Жуковского этого времени видишь пополневшим, с лицом, может быть несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза — они уже находились на границе болезни, начиналось недомогание. Он носил очки, сильно до-вольно горбился, но за своим бюро, в светлом кабинете, работал *стоя* по-прежнему, все так же предан труду и неутомим, как и у постели больной Елизаветы Алексеевны. «Одиссея», хотя и с перерывами, но неукоснительно подвигается — дело здоровое и верное.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жилетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем. Он вечно спешит, все надо куда-то ехать, демон тревоги гонит его. Над ним великое дело, он чувствует необъятность задания своего и слабость сил. Он хилый. У него холодеют руки, вечная история с желудком (полагал, что пищеварительные его органы устроены по-особенному, не как у людей. Да и вообще считал себя особенным — в чем был и прав).

То живет в Бадене, то в Греффенберге, в Карлсбаде, то едет в Париж, то во Франкфурт, а то и вновь в Рим, но теперь прежнего светлого, творческого Рима нет уже для него.

Во Франкфурте поселяется у Жуковского. Жуковский достает ему денег у Наследника, Жуковский ухаживает, конечно, за ним — для него он по-прежнему Гоголек, но сомнения нет, что к тревогам и мучениям с женой прибавились теперь и сложности с Гоголем.

Гоголь нередко гостил у своих друзей и в России, и за границей. Везде он собою заполнял все. Он центр мира, к нему все должны стремиться, ему служить. Он давно назван гением — значит, все и дозволено. А теперь к этому присоединяется страсть учителя. Он в разгаре «Переписки с друзьями», в настроении этой поразительной книги, где детские страницы перемежаются с гениальными, где все «выпелось» из души, все значительно и необычайно, даже нелепое.

А Жуковский тут под боком. Пишет свою «Одиссею», читает песни ее вслух Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею — тот пишет даже статью об «Одиссее» в «Переписке», ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочется и учить Жуковского. Завладев многим в повседневности дома, хорошо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный — письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так богато награжденный Богом (талант, известность, семья в старости), все же «не может переносить и малейших противоположностей и лишений». Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к Богу — с просьбой, со слезами... — «и — вы их победите». Достаточно обратиться к Богу с письмом Гоголя и все будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется «прелестью», явлением болезненным: это не настоящее.)

Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал все это. По крайней мере отношения их не только не испортились, а наоборот укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друг друга поддерживали.

Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый, чужбина... «Одиссея» же и вообще на любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по-русски не понимала. Были слушатели, которые могли заслонить толпу: Хомяков, Тютчев, но они залетные, случайные. Гоголь же рядом, и не только по части «Одиссеи», но и вообще в главнейшем они близки.

Когда вышла в свет «Переписка с друзьями», одиночество Гоголя тоже возросло. Все бранили ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность. Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал, в течение его жизни, материально. Теперь, в горькую полосу поношений, зашумевший, одиноко и верно заступился за него. Лишний раз показал притом, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писатель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), намного обогнал в суждении о «Переписке» век свой. Не все было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.

* * *

Первое чтение «Одиссеи» связано с молодостью, июньскими днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Пока-

чиваясь в гамаке, покачивался в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая — древность смягчалась в ней веянием новым.

«Не совсем Гомер», — думалось, вспоминая недавнее еще, ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И притом перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой-где добавлением, кой-где облегчением дается иной оттенок и целому.

Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и «душевнее», ибо прошло сквозь христианское сердце.

Все это подтвердилось, когда через сорок лет эту же «Одиссею» пришлось перечитывать светлую осень под Парижем, и тоже в деревне — тут уж сличались и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.

Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею» — собственно даже не перевел, а над каждым словом гомеровым надписал соответственное немецкое.

Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался «угадывать» Гомера. Точнее было бы сказать: и угадывать и самому что-то говорить, Гомером пользуясь, — так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло его так привлекать теперь в «Одиссее»? Не язычество же ее и не «возлежание» Одиссея в странствиях то с одной нимфой, то с другой. Разумеется, близок «дух поэзии», то «чудесное» восприятие жизни, какое есть у Гомера — одновременно нравилась и прочность уклада: это близко было в «Одиссее» и Гоголю. Все «правильно», основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз и приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть «избранных» — все хорошо. Гоголь недаром писал в «Переписке» об «Одиссее» — полагал, что для русского общества будет она откровением и поучением. Ему представлялось, что он сам ведет это общество ввысь «Перепискою», Жуковский же «Одиссеей». Ни то, ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние же их на современников было: для Жуковского нуль, для Гоголя минус. («Благодетельный» помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от «домовитого» Одиссея, но ни тот, ни другой к России не привились. Никого в России «Одиссея» не воспитала. «Переписка» же только разожгла злобные чувства. Ее оценка пришла позже.)

«Одиссея» писалась семь лет, с 42-го по 49-й. Последние двенадцать песен создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.

«Одиссея» была для Жуковского формой жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое

значение, считал, что это главное, остающееся от него (в чем все-таки, прав не был, хотя в некотором смысле и является «Одиссея» его *carolavogo*¹. Но если бы лишь она одна от него осталась, знали ли бы мы облик Жуковского, как теперь знаем по лирическим и интимным стихам?).

Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. «Переписка» сердила, «Одиссею» как-будто и *не было*. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчание. «Почти ни один не сказал мне даже, что *получил* свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что же просто читатели?»

Но под ним почва прочная. «Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно), работаю над «Одиссеей», я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом — этого весьма довольно».

«Для чего я работал? Уже, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда» (Зейдлици, поэже). «В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание».

* * *

Еще ранее, прежде чем кончил он «Одиссею», на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсе. Даже Мойер вышел в отставку и жил в Бунине Орловской губернии, доставшемся ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя и теща Екатерина Афанасьевна. Дуня Киреевская, милый друг юности, теперь Елагина, давно уже немолодая дама, умница просвещенная — у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.

От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской национальной и духовной. А от второго сын Василий — назван, разумеется, в честь другого Василия, «Юпитера моего сердца». И вот в 1845 году получил Василий Жуковский известие, что за Василия Елагина выходит замуж Катя Мойер — эти Вася и Катя тоже дальние родственники, тоже восходят к прадеду Бунину. Многие могло вспомниться Жуковскому, при известии этом, из его собственной юности.

«Благословляю ее образом Спасителя, который должен находиться между образами Екатерины Афанасьевны, и которым

¹ шедевром (*шт*).

благословил меня отец»¹. К самому браку отнесся он торжественно, в соответствии с общим своим духовным состоянием тогдашним. День венчания знал. В час, когда по его представлению должно было оно совершаться, стал с женой и детьми на молитву. Коленопреклоненно молились они о счастье новобрачных, «читали те места из Св. Писания, которые произносятся при совершении таинства и после того несколько строк из немецкого молитвенника».

Молодые устраивают свою жизнь, старые удаляются. Умирает в Москве друг юных лет, прошедший и чрез взрослые — тучный, живой, добрый, влюбчивый Александр Тургенев. В 1848 году уходит Екатерина Афанасьевна и век самого Жуковского близится к исполнению.

48-й год для него нелегок. То, что утробно он ненавидел — революция — прокатывается по всей Европе, с главной бурей, как всегда в Париже. Все это его угнетает. Кроме того и жене хуже, и у самого начинают болеть глаза, приходится диктовать.

«Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучит вместе с телом и душу, давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастье».

Около Франкфурта беспокоино. Поехали в Ганау посоветоваться с врачом. В Ганау анархия. Елизавета Алексеевна так испугалась и разволновалась, что снова слегла. Все-таки он повез ее в Эмс.

Собирался в Россию. Предпринял даже некоторые шаги. Но выехать все-таки не решился, из-за холеры в России (конец июля). Просто отправился в Баден. Тут стало несколько лучше обоим: и Елизавета Алексеевна оправилась, и его глаза восстановились — с этого-то октября по апрель 1849 года и дописывал он «Одиссею».

В Петербург не попал, но в конце января в Петербурге этом Вяземский и (немногие) друзья праздновали 50-летний литературный его юбилей. Сделано это было интимно, в доме Вяземского — для чествования открытого слишком Жуковский в России был одинок.

Хозяин прочел свое стихотворение, Жуковскому посвященное, другое его же, положенное на музыку, даже пели. Приехал Наследник. Собрали подписи присутствовавших — приветствие переслали в Германию, с описанием праздника. Государь пожаловал юбиляру орден Белого Орла.

¹ Единственное место из всего, написанного Жуковским, где упоминается отец (*Примеч. авт*)

А самого Жуковского преследовали в Германии беспокойства. Весной, из-за политических тревожений и «мятежа» пришлось спешно перебираться в Страсбург, лето же провести в «тихом приюте Интерлакена, близ черной Снежной Девы», между Бриенцким и Тунским озерами. По словам Зейдлица, климат повредил там обоим. Во всяком случае осенью 49-го года Жуковский так пишет: «Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому, что произвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастье» (11 октября).

С окончанием «Одиссеи» испытал он обычное для художника, двойственное чувство: вначале сознание законченного дела. Радостный вздох, освобождение. Но потом беспокойство. Что будет дальше? Ибо так уж художник устроен, что ему вечно катить в гору тяжесть. Докатит до ровного места, некоей площадки горы Чистилища — радуется и отдыхает, груз сдан кому надо — и вот скоро тоскует уж и по новой тяжести: путь его — путь труда и подъема; доколе жив человек и дух его, так вот и будет ждать нового приложения.

Он развлекался теперь обучением дочери (Александры). Изобрел собственный метод учительский, как всегда в пустыках воображал, что создал что-то важное. В делах детских, конечно, не преуспел, но в закатывающейся его жизни дана была ему и поважнее задача.

Замечательно, как с «лебединою песнью» Жуковского совпала болезнь глаз. (В сущности, оказалась не одна, а две лебединых песни, первая даже и называется «Царскосельский лебедь» — семьдесят шестистопных хореев с рифмой — воспоминание о настоящем лебеде Царского Села, дожившем от Екатерининских времен до Александра I. Одиночество, отчужденность... — лебедь уединенно плавает среди молодежи, а потом вдруг, однажды, помолодевший, объятый восторгом, взвизгивает к небу с песнью — и падает оттуда мертвый.)

Но главное, что занимало Жуковского после «Одиссеи», был замысел более обширный — поэма «Странствующий жид» («Агасфер»).

Это дитя он растил долго и долго жил с ним — до последнего своего вздоха. «Агасфер» не окончен. Его писал уже ослепший поэт — частью диктуя, частью записывая с помощью машинки, им самим и изобретенною: запись крупными, как бы печатными буквами.

Основа — давняя легенда об Агасфере, оттолкнувшем некогда Христа в Иерусалиме, на пути голгофском, от своих дверей, когда измученный Спаситель хотел к ним прислониться.

Он поднял грустный взгляд на Агасфера
И тихо произнес: «Ты будешь жить,
Пока Я не приду». И удалился.

Начинаются скитания Агасфера — страшные, в злобе и ярости, в отчаянии. Но начинается и Жуковский. Нет безнадежности в страданиях Агасфера. Тот, кого он не пожалел, его жалеет — в бесконечных странствиях, тоске, терзаниях посылается ему встреча в Риме, на арене Колизея, с мучеником епископом Игнатием Антиохийским. В едином взоре мученика, как сквозь щелку, изливается ему капля Благодати: он начинает понимать, каяться вместо того, чтобы проклинать, и в этом спасение его. Попадает далее на остров Патмос, к Иоанну Богослову, тот укрепляет, научает его. А там Иерусалим, весь уж сожженный, мертвый (лишь Голгофа в нежной зелени и цветах). Там, у порога собственного дома, бьется Вечный жид в рыданиях раскаяния, бежит на Голгофу, сохранившую еще углубления трех крестов — там снова молит о прощении. И теперь понимает, как само наказание привело его к спасению. Через душевную муку он как бы родился вновь.

Поэма обрывается на полустрочке. Помечено: апрель 1852 — год и месяц смерти Жуковского.

Слепой Мильтон написал «Потерянный и Возвращенный Рай». Жуковский во тьме глаз своих замыслил нечто, может быть, и не по силам. Поступил отчасти, как и Гоголь (а ранее брался всегда за осуществимое). А все-таки, как хорошо, что написал «Агасфера»!

«Странствующий жид» вызвал разное к себе отношение. Одни ставят его на высокое место не только в поэзии Жуковского, но и вообще. Другие находят, что как литература это слабо.

Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в «Агасфере» мало. Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство — скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном тоне гимн, пение предсмертное и хвала Богу.

«ЕГО ДУША ВОЗВЫСИЛАСЬ ДО СТРОЮ...»

Поэзия с рифмой давно покинула Жуковского. От литературы он не отошел («Наль и Дамаянти», «Рустем», «Одиссея», «Ага-

сфер»), но художество его приняло формы иные. Трепета и остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писании. В плавных гекзаметрах легче, покойнее теперь ему повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное и глубокое, на само то искусство бросающее ответ. «Наипаче ищите Царствия Божия» — давний, великий зов, пронсящий над русскою литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томило, иногда вызывало колебания и сомнения, но росло в нем с годами, как зерно горчичное. «И выросло, и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его». Странно было бы, если бы такая жизнь не приводила к Царствию Божию.

Свет всегда жил в Жуковском. Скромностию своей, смиренным приятием бытия, любовью к Богу и ближнему, всем *отданием* себя он растил этот свет. Жизнь во многом нелегкая, с основною сердечною неудачей, до старости одинокая, в старости столь трудно-неодинокая... — но благородная и безупречная. Если вспомнить, кого только ни спасал он, ни выкупал из неволи¹, кому ни раздавал денег, за кого ни кланялся пред сильными мира сего, за каких декабристов, не любя их, ни хлопотал у *самого* Николая Павловича... Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообще «небесная», то ведь скажешь: единственный кандидат в святые от литературы нашей.

Понстине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости зменной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто-голубиный

Тютчев, которого сам он всегда любил, пропел о кончине его высоко.

Гоголю было трудней. Жуковский же шел без помехи. Внутренняя его тема всегда была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде Промысел. Горести, тягости — все ничего: «Терпением вашим спасайте души ваши». Так от «Теона и Эскина» до последнего издыхания. Но в юности смутно, в зрелости выношено, выстрадано.

Как и Гоголь, много он теперь отдает сил Священному Писанию, книгам о религии и сам пишет в таком духе — о внутренней христианской жизни, о грехе, Промысле. «Три письма

¹ Тараса Шевченку, напр, собственных крепостных. (Примеч. авт.)

к Гоголю» — о смерти, молитве, словах и делах поэта. Это писание как бы окончательно уясняет ему самому важнейшее.

Он прожил жизнь скорей *около* Церкви, чем в церкви. У него не было тех корней, как у Хомякова, Киреевских, Аксаковых. Его религиозность в юности с романтическим оттенком, позже более прочная и покойная, но всегда очень личная. Как и в литературе, тяготение к Германии. «Религия души», «религия сердца...» — Церкви он несколько опасался, как бы стеснялся, да может быть Церковь тогдашняя и показана была ему не надлежаще.

Во всяком случае он кончает жизнь как глубоко верующий, православный писатель. Через него приняла православие (позже) и Елизавета Алексеевна. В православии же воспитываются и дети.

Духовенство он знал мало. В тридцатых годах одно время был близок с отцом Герасимом Павским — кажется, единственный видный духовный деятель на пути его. Да и то эта близость была условная.

А теперь, в начале пятидесятых, сближается за границей с протоиереем Иоанном Базаровым, настоятелем прихода в Штутгарте.

У Гоголя был отец Матвей, взаимоотношения их известны. У Жуковского все по-другому: нет ни напряжения, ни борьбы, ни драматизма. Отец Иоанн просто *помогает* ему, ровно и спокойно движущемуся. Руководит самообразованием религиозным, достает книги, переписывается с ним. Начинает готовить к переходу в православие и Елизавету Алексеевну. Никакого надрыва и никакой бури. Жуковский созрел неторопливо, но и гармонически.

Гоголь умер в Москве, на Никитском бульваре, 21 февраля 1852 года. Жуковский узнал об этом из письма Плетнева. 5 марта, уже почти слепой, написал ему: «Какую вестью вы меня оглушили — и как она для меня была неожиданна!.. Я жалею о нем несказанно собственно для себя; я потерял в нем одного из самых симпатичных участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении».

Тютчева тоже он любил, но знал гораздо меньше. Теперь литературный мирок его, свои и близкие — это Вяземский, Плетнев, Авдотья Елагина и «соколыбельница» Аня Юшкова, ныне старушка Анна Петровна Зонтаг.

В этом же феврале пригласил он к себе в Баден отца Иоанна, хотел причаститься на шестой неделе поста, вместе с детьми. Но за некоторое время до назначенного известил, что откладывает до Фоминой недели.

Отец Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был плох. Елизавета Алексеевна отозвала отца Иоанна и сообщила, что муж опять колеблется, хочет отложить до петровского поста.

Был уже вечер. Отец Иоанн не стал тревожить больного, остался до другого дня. Утром, когда вошел, Жуковский опять стал просить отложить.

— Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться пред Ним?

Отец Иоанн не согласился. Довод его был такой: не только он, Жуковский, идет ко Христу, но и Христос, во Св. Дарах, тоже к нему.

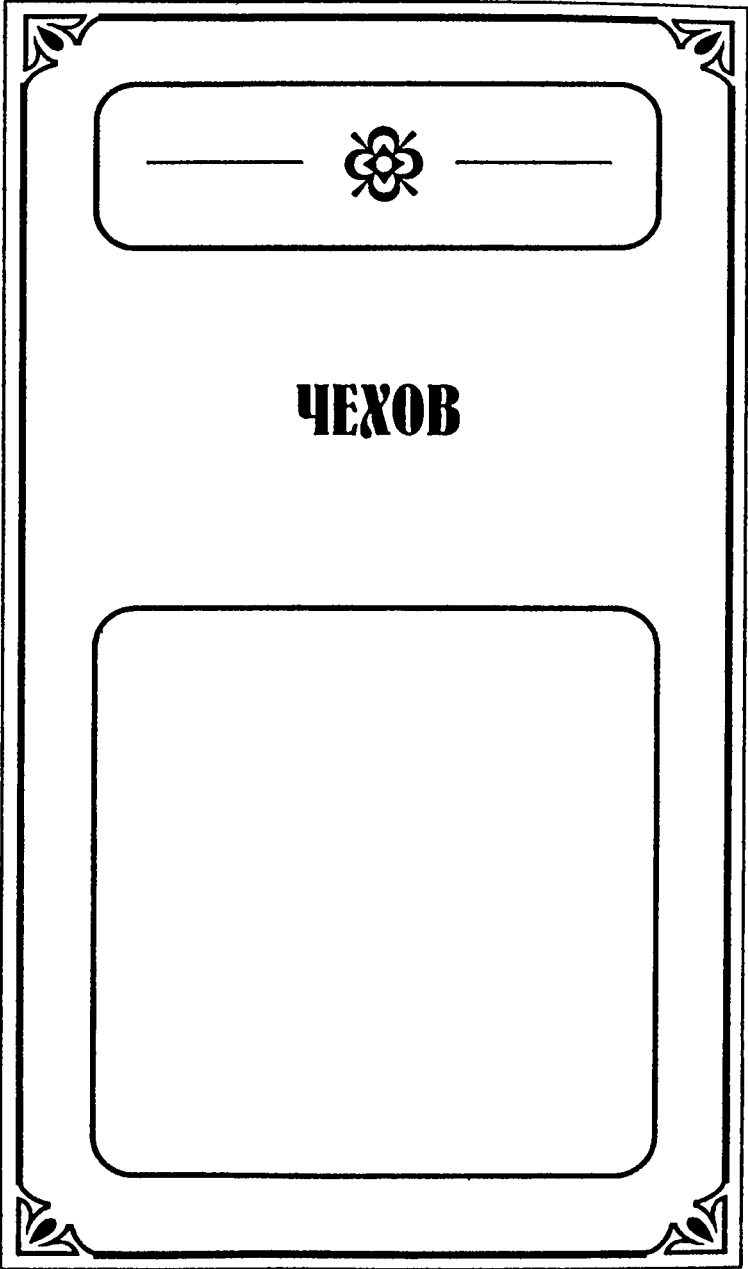
— Если бы сам Господь захотел придти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. Уговорились, что на другой день он причастится вместе с детьми. И успокоился внутренне. Внешне же впал в оживание, много рассказывал отцу Иоанну о том, как учит детей, вспоминал опять о своих исторических таблицах, велел принести их, показывал... но уже руки плохо повиновались. 9-го утром опять тоска: мучила мысль, что будет с семьей и детьми. Отец Иоанн успокаивал: ни Господь, ни Государь не допустят (опасения были вполне напрасны).

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился — началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание — переход-успение. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша — как и сам жил. Именно он отчаливал.

Перед рассветом 12-го скончался.

1947—1949



ЧЕХОВ

ДАЛЬ ВРЕМЕН

Какая-то Ольховатка, воронежская глушь в Острогожском уезде, места дикие и бескрайные. Лишь с XVIII века начинают они заселяться. И вот к XVIII возникает имя, первое в народной тьме: Евстратий Чехов, поселенец-землепашец в этой Ольховатке, пришедший с севера.

Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землею и народом неразрывно — в пяти поколениях свыше полутора ста Чеховых. В Ольховатке стало тесно, но вокруг простор, Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них: Емельян, Ефросиния, но есть и проще, Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род во всяком случае своеобразный, с уклоном иногда и необычным: внук Евстратия Петр бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма — храм и построил в Киеве. А племянник его Василий стал иконописцем: сельское хозяйство не занимало его.

Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи в ней владыка. «Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой. Дожил он до глубокой старости» — так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранична.

Легендарный туман редет с Егора Михайловича, его сына. Это уже дед Антона Павловича. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретился с другим графом, Толстым, и сыграл в жизни его такую роль.

Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова, там и отбывал «триденщину». Потом

стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом «нашего» Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств. Чертков отпустил ее в придачу: Егор Михайлович был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что естественно получил это увенчание.

Сам же, на старости лет, обратился в управляющего именем наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в шестидесяти верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы — великую свою Родину.

* * *

Наверно, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, «чистое» лицо, в большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Проматривая книгу бытия его, узнаешь, что таков приблизительно он и был.

Не легок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего девятнадцать лет, он, разумеется, очень добросовестный счетовод — недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых, но под обыденщиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку, будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом, но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы.

Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «Чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое — даже на старческом портрете — лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано: «Одинокому везде пустыня».

Когда отец увидел ее у него, он сказал:

— Павла надо женить.

И женили. Был ли это брак по любви, или «тятенька приказали», только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у

Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери моршанского купца Морозова (в Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастий в семье).

Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был — из-за характера мужской половины: резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде — муж владыка неограниченный, Домострой в полной силе.

Евгения Яковлевна была и тише, мягче и сердечнее мужа. Образования не ахти какого, высокорелигиозная и безответная, много читавшая и всегда добывавшаяся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткою тенью прошел через всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелихове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра. «Талант в нашей семье от отца,— говорил Антон Павлович,— а сердце от матери».

Семья их была большая. На семейной группе видно целое подрастающее племя молодых Чеховых — Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша, та Мария Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату, пережила всех и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову.

Ее милое лицо с карими умными глазами помню и в Мелихове и в Московском Литературном Кружке полвека назад.

Наконец, появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью — Антон Чехов.

Именно жизни, стихи он много наследовал от предков, да и упорства. Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства, довольно сурового.

В гимназию города Таганрога — скучное двухэтажное здание со скучными учителями, попадает он рано, учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все, в сущности, ему мешает, поддержки никакой.

У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера. Торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, но и сами мальчишки Чеховы. Когда отцу надо уходить вечером по делу или в церковь ко всенощной, за кассу сажают Антона или

Александра. Антону надо учить латинские предлоги, а он в холоду сидит в лавке, получает деньги, дает сдачу за фунт селедок или четверку табаку, мерзнет, иной раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да надо еще следить за Андриюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. А они все-таки обвешивают. Объяснение же такое: «Иначе и Павлу Егорычу пользы не будет». Тащили по мелочам и себе — мыло, помаду, конфетки. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось. Но за какие-то провинности сек отец и его, и это осталось на всю жизнь: горестная черта детства, сближающая его и с Тургеневым, только там занималась этим мать, а тут мать не обижала, но и заступиться не умела. Да и как заступиться? Павел Егорыч сам был воспитан сурово, считал, что так и нужно, считал, что труд, порядок, подчинение необходимы и действовал прямолинейно, убежденно. Сила его была именно в убежденности. Как твердо верил он в Бога, так же твердо и в то, что с детьми нельзя быть мягким. Не рассчитал только одного, что времена меняются. Все Евстратии, Емельяны, Егоры, их склад и образ воспитания отходят. И когда самоуправствовал в таганрогском домике и в своей лавке, вряд ли думал, что на склоне лет, в Мелихове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом.

Чехов Антон с ранних лет видел жизнь такой, как она есть: оранжереи не было. Видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного. Целый ряд фигур, лиц, разговоров проходил перед ним. Покупали в лавке и чиновники, и служащие, бабы и монахи, греки таганрогские и заезжие чумаки, и крестьяне. Мальчик же от природы был очень наблюдателен, склонен к насмешке, изображению в лицах, с дарованием и театральным. Многие впитал в себя со стороны комической. Но и драматической: с ранних лет зрелище неправды, грубости и насилия ранило — так прошло и через всю жизнь. Через все писание Чехова прошел некий стон подавленных, слабых, попираемых сильными — к концу его жизни это и возросло. Горькое детство дало ноты печали и трогательности в изображении детей: не из таганрогской ли лавки родом и тот — позже прославленный — Ванька, изнывающий у сапожника подмастерьем, который скорбь десятилетней души изливает в письме: «Дедушке на деревню» (это адрес. По раздирательности мало чем уступает Достоевскому).

Великая горестность заключалась и в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но был даже достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень

поднимавшими его над окружающим. Пусть религиозность его была уставщическая, больше форма, чем действительный христианский дух, все же нравственная основа в нем крепка, он выше окружающего: верит страстно, всегда увлекается; в нем был и фанатик. Церкви до конца предан, церковное пение любил чрезвычайно. Это не давало никаких прибылей. Вероятно, даже наоборот. Жизнь, однако, для души с художнической жилкой состоит не из одних круп, керосина и сахара.

В Таганроге был и Собор, и другие храмы с певчими и хорами. Но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер.

Во многом он этого и достиг, проявив упорство огромное. Не он один, впрочем, в этом захолустном Таганроге, оказался энтузиастом. Хор свой составил из местных кузнецов, простых неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал им на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов же. Но голоса у них были грубоватые; женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей: Александр и другой брат — дисканты, Антон альт.

По словам Александра, у Антона почти не было голоса, но это, кажется, сильно преувеличено. Во взрослом виде, много позже в Мелихове, Антон Павлович даже любил петь (в хоре, конечно), у него был басок, и вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, отцом и другими, на смущение российских интеллигентов девяностых годов, они исполняли разные церковные песнопения.

Брат Александр очень мрачно изображает их певчество в детстве. Конечно, много было тяжелого — принудительность, утомление, суровый характер отца. Дети не были энтузиастами, как кузнецы. Детям хотелось игр, резвости, свободы. А приходилось, кроме ученья и работы в лавке, еще упражняться в пении, петь в церквях — хор Чехова приобрел известность и его охотно приглашали и в Собор, и в греческий монастырь (тем более, что и кузнецы, и лавочник с детьми пели бесплатно).

Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно и в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь в Церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от Церкви, создающее будущих маловеров. Он переусердствовал. Плод получился не тот, как бы хотел он.

И все-таки, все-таки... — если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте сидел где-то в глубине и поэт (а откуда

он взялся бы ни с того ни с сего позже?) — неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял «Иже херувимы» или «Чертог Твой вижду?» Не могло ли быть ведь и так, что *наружный* гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как кобчики кормят детенышей в решетке окна и думал — поскорей бы отпеть, удрать к морю ловить бычков с рыбаками или гонять голубей, но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее, это увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего, может быть, сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукою заменить религию, и сам не очень-то понимал.

* * *

Зимой холод, метели, страшные азиатские ветры, летом пыль и такая жара, что спать по ночам в комнатах невозможно (юные Чеховы устраивали себе в саду балаган и там проводили ночь — Антон спал даже под кущей дикого винограда и называл себя «Иов под смоковницей») — таков Таганрог с запахом моря, рыбы, греков, с прослойкой армян, может быть, и казаков. Захолустный и скучный южнорусский город.

Несмотря на все строгости отца, летом подрастающее племя Чеховых все-таки жило вольней, слоняясь по побережью с рыбаками, иногда отправляясь к дедушке Егору Михайлычу за шестьдесят верст в имение Платова. Ездили не по-барски, а на подводе, часть пути шли пешком, дурачились, забавлялись — в этих поездках открывалась, однако, для Чехова, за шуточками и остротами, степь, окружение родного Таганрога. Он о ней скажет позже по-настоящему. Она и выпустит его в большую литературу.

А в ней самой, кроме красоты природы, приоткроется для него красота нежной женственности. На армянском постоялом дворе, где-то под Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, появилась она в облике юной армяночки — появилась, вызвала в гимназисте таинственную грусть и исчезла. Было это только как молния, однако, запечатлелось.

Повседневность же шла по-прежнему. Готовила молодым Чеховым тяжелое лето.

В Таганрог провели железную дорогу. На окраине города появился вокзал. Дела лавки Чехова пошли хуже — возчиков и чумаков стало теперь меньше. Со свойственной ему фантас-

тичностью Павел Егорыч решил, что у вокзала, где уже появились кабаки, надо открыть вторую лавку. Приедет человек, выйдет из вокзала, зайдет в кабак, а тут рядом и лавка — глядишь, что-нибудь купит.

Все так и сделал. И посадил торговать Александра и Антона — благо лето, в гимназии они не заняты.

Получилось совсем скверно. И для юношей, у которых пропал летний отдых, и для Павла Егорыча: лавка не пошла вовсе, выручки никакой, к осени оказался чистый убыток. Прежняя лавка хирела тоже, Павел Егорыч запутался и с другими делами.

В 1875 году Александр и Николай уехали в Москву учиться — в Университет и Училище Живописи (Николай тяготел к художеству). Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма.

Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы.

* * *

Они не были легки. Во многом даже прямо трудны, но явилось и новое, возбуждавшее и освежавшее: свобода. «Одинокому везде пустыня», отцовский девиз, будет сопровождать Чехова-сына всю жизнь, но сейчас, в ранней юности, одиночество это — освобождение. Оставалось начальство лишь гимназическое, условное и профессиональное, в часы занятий. Нет самого главного: ежедневного домашнего гнета. Это и облегчало. Чувство же семьи не ушло. И никогда у него не уйдет. Во всей жизни Чехова удивительна прочность этого чувства, внедренность долга пред «папашей», «мамашей», сестрой, братьями.

Может шестнадцатилетний круглолицый, приятного и здорового вида юноша любит больше мамашу, чем папашу, все равно и за тысячу верст одинаково обеспокоен их неустроенной, тяжелой жизнью в Москве, как и трудностями Александра и Николая. Надо помогать. Рассуждать нечего, нравится или не нравится: родители, братья, сестра Маша должна учиться — значит надо работать и вывозить. Но делать это может он теперь самостоятельно. «Поддерживать буду, но так, как мне самому хочется», — в этом роде мог говорить в сердце своем гимназист Антон Чехов, отлично учившийся и дававший еще уроки: они его и кормили, от них он и посылал кое-что в Москву.

Пришлось, однако, увидеть и много горестного — в другом роде, тоже нелегкого.

У Чеховых был в Таганроге свой небольшой дом, там Антон Павлович и родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 рублей, под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом в собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал — времена все-таки были уже не гоголевские — неизвестно. Предпочел уехать в Москву и бедствовать там, сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем, и вот каким приятелем оказавшегося.

Какую-то каморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него и еще уроки.

Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно, и сумел основательностью своею и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе подсмеивались, на репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели, пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов он завоевал даже своего хозяина — тот стал относиться к нему почтительно, шестиклассника называл Антоном Павловичем.

Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно, младшему брату Михаилу, многого стоит. «Зачем ты величаешь свою особу «незаметным братишкой»? Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом; пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми¹. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай «смиряться» и «сознавать свое ничтожество».

Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство перед людьми — от этого и взрослый Чехов не отказался бы.

¹ Советский биограф Чехова выпустил фразу о божестве, красоте и природе. (Примеч. авт)

Приведенный отрывок — редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем: «Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью» (прелестно это «с научной целью») «и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки».

Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущий Чехов, сдержанный, полный самообладания: сентиментальностью его не возьмешь.

«Прочти ты... «Дон Кихот» (полный, 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром».

Очень мило одобрил, но без восторга («хорошая вещь»). И о братце тоже хорошего мнения, если думает, что «полный» «Дон Кихот» не покажется ему скучным. Да и предполагает, что Шекспир что-то говорит.

Во всяком случае письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое — для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое.

С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор, в гости. Летом он и отправился, пробыл там некоторое время.

Степь, дикие сторожевые собаки, простор, первобытность. Петя научил его стрелять из ружья, ездить верхом, скакать на отчаянных степных жеребцах. Надолго казацкий и охотничий стиль не мог в нем, конечно, удержаться, но эта любовь к земной стихии, жизни в разных ее преломлениях в Чехове была вообще — ему всегда нравилось странствовать, видеть новое, новое переживать. А это были те годы, когда о будущей его болезни невозможно было и думать. Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе.

Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние.

Вот стоит он, в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение — может быть, у того же Пети Кравцова. (Но сам Петя вряд ли мечтательно разглядывал бы себя в таком зеркале. Это занятие больше идет юноше Чехову — с одной стороны и веселому, живому, насмешливому, а внутри у него нечто и вовсе другое.)

Стоит и задумался. Подходит пятнадцатилетняя девочка, пришла за водой. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос

свой и заплакал». Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южнорусской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать — взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно.

* * *

Из Москвы вести шли плохие. Родители и братья бедствовали. Доканчивая учение свое, будучи уже автором пьесы «Безотцовщина», издавая журнальчик «Заика», гимназист Антон Чехов собирал грошики, распродавая остатки отцовских вещей, прикладывая свои собственные трудовые и посылал в Москву. Писал и братьям, и родителям. Последним как-то довольно странно: Евгения Яковлевна даже обижалась на его шуточки.

«Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас это время только было 4 коп. и на хлеб и на светло¹ ждали от тебя не пришлешь ли денег, очень горько... у Маши шубы нет у меня теплых башмаков, сидим дома».

«Антошины» письма не сохранились. Нельзя представить себе, чтобы он не верил (как думала Евгения Яковлевна), что они в нужде. Вернее всего, балагурством только прикрывался: никогда не любил высказывать чувства прямо. Предпочитал закрываться. На этот раз — островами.

А Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему:

«Скорей кончай в Таганроге ученье да приезжай пожалуйста скорей терпенья недостает ждать и непременно по медицинскому факультету, сашино занятие не нравится нам, присылай наши иконы понемногу еще скажу Антоша если ты трудолюбив то всегда в Москве дело найдешь и заработаешь деньги.

Мне так и кажется что ты как приедешь то мне лучше будет».

Она с детства его отметила и угадала правильно. Одного он, однако, не мог сделать: кончить гимназию раньше, чем его выпустят и дадут аттестат. В остальном «кажется» Евгении Яковлевны оказались действительностью.

Весной 1879 года он кончил «учение», получил даже стипендию города Таганрога, сразу за четыре месяца, сто рублей — сумма по-тогдашнему немалая — и уехал в Москву.

¹ «Светло» на языке Евг. Як. означало «освещение». (Примеч. авт.)

ТРУБА

На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста есть в Москве площадь, по названию Трубная, или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, болонку, ежа. В весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы — все жило рядом. Огромный и великолепный «Эрмитаж» на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу, дальше разные первобытные Самотеки и Грачевки. Люди мира Островского, допотопные конки, и наглые лихачи у «Эрмитажа».

На взгорье, близ Сретенки и Маросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от Трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтором, он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряженных выносных шагом спускались к Трубе, ожидая следующего вагона.

А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы — кабаки, притоны.

Вероятно, из-за дешевизны, Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартиру именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож. Если иной раз у Евгении Яковлевны оставались четыре копейки и она горестно сообщала об этом «Антоше», то Павел Егорыч, первое время нигде не находивший работы, при всей нищете своей оставался в семье таким же величественным и важным. Так же любил церковь, пение, архиереев, так же оставался владыкой дома.

Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже, убого. Спали вповалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье (тетушка Федосья Яковлевна, о которой скажет потом Антон Павлович: «святая женщина» — из опасения пожара и что не успеет выскочить, спала «in omnia sua», т. е. не раздеваясь, «и даже в калошах».)

Бедствовали, ссорились, упрекали друг друга, упрекали Александра, что мало помогает...— Александр же, долговязый, с

нескладным лицом юноша, сообщал в Таганрог Антону, каковы доходы его: «за 3 листа начертательной геометрии 6 р., 2 листа дифференциалов — 4, переписка 3-х л. химии 3 руб. = 13 руб. Из них родителям 5, сестре башмаки 2.50. Стол стоит 7 руб., квартира 6 р., освещение и белье 2 р. Чтобы уничтожить этот минус, спущены плед и часы» (заложены).

А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка:

«Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве» (будто из раннего юмористического рассказа Антона Чехова). Но это не юмористика. Сыну Ивану — ему 17 лет — вставить тогда-то, делать то-то.

«Чехов Михаил 11-ти лет, Чехова Мария 14-ти лет,— Хождение неотлагательное ко всеобщей в 7 ч. в. К ранней обедне в 6½ и поздней в 9½ ч. по праздникам.

Примечание. Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию.

Отец семейства Павел Чехов.

Неисполняющие по сему расписанию подвергаются сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается».

Но вот последнего не так легко достигнуть. Происходит, например, ранним утром ссора «отца семейства» с «членом семейства» Иваном Чеховым из-за каких-то штанов. Штаны висели в сарае, надо было идти за ними...— одним словом на дворе дома на Грачевке Павел Егорыч ударил сына, а тот примечания не послушался и завопил. Вышло вроде скандала. «Сбежались и другие члены семьи, и хозяева дома пристыдили отца. За сим последовало со стороны хозяев объяснение и внушение с указанием на ворота».

Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки: они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно. Считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения, с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был — уступил и переселился к ним, вместе с собакой своею Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. «Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал жить, обитает «жилец».

Но прошло время и некоторые корни он пустил.

Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я... обзавелся

птицами певчими всех сортов и видов. Штук до 40; летают на свободе по всем комнатам. Радуют меня и всех».

Одного Корбо, пса, оказалось мало. Близость Трубы и птичьего рынка дала себя знать — Александр впал в птичничество. Но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так не блестящее жилье Чеховых! Только что щебет утешал.

* * *

В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антоние» или: «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович!». Но рядом: «Regis coelesti oluchus»¹ — остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к «достопоклоняемому братцу», собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить. В них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание.

Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в «Будильник» по почте две твоих «остроты». Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные бесцветны».

Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатухе Селиванова, вещь более (для него) серьезную: драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру, и сохранил первую рецензию на первое свое произведение — должно быть, оно что-то для него значило.

Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные Regis coelesti oluchus, прочитал пьесу основательно, со всею внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь...» (Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально».) Но в общем она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего мирозерцания. Что твоя драма ложь — ты сам это чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим, ты

¹ Олух Царя Небесного. (Примеч. авт.)

затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь».

Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет «ложь», но какую-то такую, что мимо нее не пройти и даже вот две сцены «обработаны гениально».

Так же, как на семейной группе круглолицый с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других, и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской «Безотцовщине» чувствовал, разумеется, Александр некое «неспроста». Так же всегда чувствовала, материнским сердцем, Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в «Антоше». «Мне кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».

* * *

Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых.

Павел Егорыч отодвинулся. «Расписание делов и домашних обязанностей» не висело уже на стене. Сам он получил, наконец, место — очень скромное, все-таки место: конторщика у купца Гаврилова, в Замоскворечье. Там и жил, с приказчиками. Получал тридцать рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни — мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами Трубного рынка. Но дома не мешал.

Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям привез с собой целый капитал — сто рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников, для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую, там же на Грачевке, в пять комнат. Теперь спали уже не вповалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился — он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника таганрогского по имени отчеству: Антон Павлович.

Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки и спокойно смотрит,

как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. Восьмидесятые годы в тяжелых занавесах на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу.

Но этот, будто с ленцой, неуклюжий молодой человек совсем не ленив — напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и мятущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон — удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбия, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, остричь, целую ночь просидеть за стуколкой — смешной провинциальной игрой того времени, но как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно.

Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантазмагии, посещавшие старших братьев, ему несвойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно-ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель: выбиться самому, вытащить и семью, все наладить, поставить благообразно.

Университет и наука давали ему, после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую *религию науки*, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете? Только что вышли «Братья Карамазовы». Юный, но уже блистательный Вл. Соловьев восходил над горизонтом, Чехов же питался лекциями Склифосовского и других, со всей страстностью провинциала, которому Москва восьмидесятых годов с конками, Трубой, «студенчеством», распевавшим по ресторанам на Татьянин день *Gaudeamus igitur* — все это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира.

Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьиными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалась в Таганроге «Безотцовщина», устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над «Без вины виноватыми». Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплachtet. Зато и театр в Москве настоящий — Малый театр блистал тогда, был у театра этого и первейший драматург, Александр Николаевич Островский.

(Можно думать, что единственно, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр.)

Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в Университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением?

Из Таганрога он присылал Александру «остроты». Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы — печатать их начал уже без Александра: редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чехонте». (Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель — явление довольно странное и редкое для тех времен: не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся, и оставил даже след в биографии Чехова.)

Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей.

И в какой среде приходилось начинать! «Будильники», «Стрекозы», разные другие ничтожества. Среди них «Осколки» Лейкина считались уже «чем-то», как и сам Лейкин.

На фотографии изображен средних лет плотный, в бороде, здорового и «русского» вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода, в молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В шестидесятых годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе: «Наши за границей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расхотелся и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано, ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с Трубы. Не так давно «старшим» был для него брат Александр, теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чехонте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то «осколочный» жанр — Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова... Да что тут осколочного и интересного?» — так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молодень-

ким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал?

Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорей даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, «Осколки» действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, сметка. Журнальчик читали. И платил он лучше других (но тоже мало.) Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал. Несмотря ни на какие студенческие вечеринки, Татьянины дни, *gaudeamus*, на стуколку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки.

Братья Александр и Николай были натуры артистические и божественные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне как всегда одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику — просидит ночь, а напишет. И свезет на Николаевский вокзал, прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать (с дачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург с богомолкой).

* * *

Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивился, будто смутился: чуть не до тысячи номеров. В книги попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880 по 1888 год в пяти книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые, число же рассказов по годам падает — как температура у больного: 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней — юморист, как и полагается, оборачивался меланхоликом.

Но во время Трубы это были еще мелочи — некоторые исключительны по блеску. Рассказиком «В бане» обычно открываются собрания его сочинений. (Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как ни даровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно.)

Географически и в бытовом отношении Труба отозвалась в двух его рассказах. Один так и называется: «В Москве на Трубной площади» — зарисовка Трубного рынка, очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил.

Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по Трубе не раз бродил — это совсем близко от Грачевки — все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка.

«Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь.

— Положительности нет в этой птице,— говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте.— Он теперь поет, это верно, но что же из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, если можешь... Ты подай мне того вон, что сидит и молчит Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме...»

Университет, наука, медицина — само по себе, но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудачки-любители, солнце Москвы над Трубой — это другое и это собственно *жизнь*, ему она и ближе и нужней. Юным, острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать», и чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии, тоже маниак, которого называют здесь «Ваше местоимение» (начало дальнейших чеховских словечек). Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия — такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не «Безотцовщина». Тут учить нечему.

Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее у самого Гаршина.

Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент медик уговорили студента юриста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента. А видел он самое обыкновенное, будничное мира сего.

Все происходит в известном тогда Соболевом переулке, сплошь состоявшем из притонов — в двух шагах и была та Грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве.

Рассказ мрачен и тяжок. Несколько *à thèse*¹ и это выпирает — против проституции. Сам Чехов находил, что он «отдает сы-

¹ à la thèse — на тему (*фр.*), о произведении, предназначенном пропагандировать какое-либо общее положение.

ростью водосточных труб». «Но совесть моя по крайней мере покойна: ...воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки».

Суворина он упрекнул, что в «Новом времени» ничего не пишут о проституции. «Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулочек — это рабовладельческий рынок».

И все же художник в нем неизбытен. Тому же Суворину пишет он позже: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» всюду, а описание первого снега заметил один только Григорович».

Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем от этого «Припадка» ведет уже дорожка к «Сахалину» и дальше, дальше: ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо. И не молчал об этом.

* * *

В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом. Кончилась и Трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека, случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно («не чахоточное».) Все-таки... «нездоровье немножко напугало меня», с другой же стороны «доставило... немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей».

«ДОКТОР ЧЕХОВ»

Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него «Расписание делов и домашних обязанностей», ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов: Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могла приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль — и по медицинской части, и по литературной.

Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквями, в полутора версте монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба («особенность Нового Иерусалима», — отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение).

Недалеко и Звенигород на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса; среди темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь — св. Саввы Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден, похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора света, благообразия.

С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском, у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам; видимо, много и молодежи.

Все они, на собраниях у Архангельского, за самоваром, вели «либеральные разговоры». «Салтыков-Щедрин не сходил с уст — им положительно бредили».

Занимался всем этим, конечно, и Чехов, может быть и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус.

Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде — заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания (на которое он смотрел тогда еще очень скромно). Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами «Хирургия» родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны «Сирена», «Мертвое тело» — приходилось ездить со следователем и на вскрытия.

Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в пяти верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша — и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева.

Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным.

Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен П. Д. Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и

просвещенный, либеральный барин восьмидесятых годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах: Бабкино закладывалось и перезаклаживалось. Надо было доставать деньги, платить проценты. (Корни «Вишневого сада» именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но «место в банке» Гаева — нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев.) Мария Владимировна, жена его, по культуре — его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей.

В этом Бабкине Чеховы дачниками провели три лета: 85-го, 86-го и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель — собственно целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не «Осколки». Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче — это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантами — как г-жа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И, наконец, Левитан, вначале живший в трех верстах в деревне Максимовке «на этюдах», снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился «в маленьком флигельке» (были в Бабкине флигеля и большие и малые).

Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы: брат Николай учился с ним вместе в Училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький, молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая борода, поэтически разметанные на голове волосы — подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках, с бантом галстуком романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец-богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова — сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж.

Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может

восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастенику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основание будущей своей славы — век его, как и Чехова, оказался кратким.

С Чеховым все три бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. «Портрет Чехова работы Левитана» показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий «сумеречный» Чехов — скорее народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко.

В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь «Налима» или «Дочь Альбиона», лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен, в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимумку — будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.

Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, «доктор Чехов» прибил над дверью вывеску:

«Ссудная касса купца Левитана»

И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими, в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле.)

Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его «прогуливает».

«Словно бы легче стало» — жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже — «Над вечным покоем» помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле.

Кроме Левитана и старших Киселевых, были у Чехова в Бабкине и еще приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.

В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям! Ему всего двадцать шесть, двадцать семь лет. Он еще сам кипит жизнью, это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его.

Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумывание игр, вообще то, что интересно детям.

След внимания и любви, дошедший до нас — произведение «Сапоги всмятку», милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь: вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей-детей. Мало того, что написал — там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой.

Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие.

Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному, у него много прозвищ: Гриппи, Коклюш, Коклен Младший, Финик, Котафей Котафеич. Но всегда с сочувствием. «Прекрасной Василисе и любезнейшему Котафею Котафеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита» (1889). «И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина... всего хорошего...» (1894). «Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина...» (1895).

В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской-Садовой, а Сережа поступил в 1-й класс гимназии и поселился у Чеховых на хлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся (не заболел ли? как себя ведет?) — вот как изображает жизнь Финика: «Кажное утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня задуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого». В конце письма — «поклон Василисе» (Саша жила еще в Бабкине).

Первая его встреча и дружба с детьми — это именно с киселевскими.

* * *

Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу! Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры: весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888-м адрес опять новый: Кудринская-Садовая, дом Корнеева.

На эти дачные переезды сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было: два-три навьюченных «добром» воза с кухаркой наверху на переднем — она держит обожаемого кота, или ей для удобства, поставлен диван, она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз.

Господа едут не на этих возах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст: на станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом. «В Еремееве кормили. От Еремеева ехали до города часа 4 — до того мерзка была дорога». Переправлялись через реку, сам Антон Павлович, поехавший вперед (дело было уже ночью), чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. «В киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж... Ожидание». В Бабкино приехали в час ночи.

Зато само Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда.

Жизнь же семьи в Москве все больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в «Доктора А. П. Чехова». Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотеле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда». «Нужно быть справедливым». «Не надо лгать».

В этой же линии нужно поставить и одно письмо Антона Павловича брату, редкостное в его переписке по серьезности тона и некоей назидательности — чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе.

Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В восьми пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы. Сострадательны «не к одним только нищим и кошкам». Платят долги. Боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, «уважают его». Для него «жертвуют женщинами, вином, сценой». Понимают, что талант обязывает — «они призваны воспитывающе влиять». Соблюдают благообразие быта: не спят в одежде, враги клопов, не ходят по «оплеванному полу» (уровень окружения Чехова).

Дальше оказывается, что «воспитанные» люди и в любви особенны: «От женщины им, особенно художникам нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью». (Это писал молодой человек двадцати пяти лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком — детей он любил, но своих не было, а женился в конце дней на актрисе, а не матери и тосковал, что нет ребенка.)

Есть еще добавление: «Они не трескают водку».

Вообще же все в этом письме «очень Чехов». Собственно, изображение того, чего он хочет, и чего не хочет от человека. «Воспитанность», «воспитание» тут понимается очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать: борьба с собой, выработка некоего образа, усилие воли. Воля, то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была, и над собой он много работал — об этом позже скажет жене — своею жизнью подтвердил заключительные строки письма: «Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды... нужны непрерывный, дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час».

Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль...— этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя воздвигал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это, или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога.

Так ли, иначе, письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущественно Николаю, художнику (ему и адресовано).

Оба они, Николай в особенности, оказались в некоем роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали.

Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: пока трезв — тих, добр, скромен. Выпьет две

рюмки, начинает врать Бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить... Николай в письме занимает главное место — все эти «уходы» из семьи. («С вами жить нельзя»), возвращения, пышные фразы, бестолковщина, столкновения с отцом, художническая распушенность.

Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслужил его.

На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени являет облик захудалого чиновника 80-х годов: жена, много детей, беспросветная жизнь — а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с «запросами», но недаровитый — семейная одаренность Чеховых блеснула (позже) в его сыне Михаиле, замечательном актере.

Николай теснее связан с семьей, с ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения.

Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало.

* * *

«Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля».

Это пишет молодой врач, адрес его такой: Сретенка, Головин пер. Д-ру А. П. Чехову.

«Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют».

Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу вповалку. У Евгении Яковлевны, случилось, весь капитал четыре копейки, за учение Маши платят чужие. (И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа.)

Теперь явился даже достаток. На извозчика тратит больше рубля в день! Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, пятиалтынный можно было в Москве далеко уехать — от кольца Садовых в центр бесспорно, так что горделивое «больше рубля» понятно: значит, практика уже немалая.

Медицина прошла через всю жизнь Чехова и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан — тут очень преувеличивал. Трезвость ума,

да и здравый смысл были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку, вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая наукой религию, к сложению его облика отношение имела. Да и окрашивала самый характер его образованности.

Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач ни увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для «писателя Чехова» большой простор.

Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Станным образом, многие эти земские «материалисты», зачитывавшиеся Дарвином (сам Чехов зачитывался: «...читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю») — они-то нередко оказывались ближе к доброму самарянину, чем иные православные.

Этот завет русского врачевания — нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда: он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадание. Голова могла быть полна Дарвином, из сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны.

Как ни полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго.

Внешних поводов для этого оказалось как будто два: раз вышло так, что больному он прописал лекарство, потом занимался и другим делом, время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство: что-то — то да не то. В рецепте были граммы, а где поставлена запятая? Напрягая память вспомнил, проверил в справочнике: да, ошибся. Надо не там поставить запятую, прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо.

Около полуночи, вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку и все прошло гладко, но не такой был человек Чехов, чтобы успокоиться: добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался.

Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду, под внешне-здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро-переживающее, что для врача не годится: это *слишком*.

Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича,

так и скончалась, не выпуская ее. «На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска («Доктор А. П. Чехов») была снята с двери и больше уже не появлялась никогда».

Вряд ли, однако, оставил он медицину (как профессию) из-за таких вещей. Вернее — из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности, т. е. не роковое, а случайное, или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь.

Дар Чехова был так жив, беспорочен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А «где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоши Чехонте. Но времена Лейкина и «Осколков» кончились. О «Сказках Мельпомены» Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали «Пестрые рассказы», первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта, в коричневом дешевеньком переплете, впервые показала многим (среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному), нового прекрасного писателя: Антона Чехова.

А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался.

РОСТ, ПЕРВАЯ СЛАВА

«Вы удлинители конец «Розового чулка». Я не прочь получить лишних 8 коп. за лишнюю строчку, но, по моему мнению, «мужчина» в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно».

Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86-м году. Лейкин, из каких-то своих «осколочных» соображений прибавил ему строчку *от себя!*

С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению — так поступил он и теперь: этот Лейкин, издатель, выпускает «Пестрые рассказы»... — а редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить: «Все равно».

Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за «Розового

чулка» историю подымать не стоит — месяца за два, за три перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы — послание это вызвало иной ответ:

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас».

Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно! и как своевременно это пришло — впрочем, в жизни отмеченной, всегда в некую минуту и приходит то, что нужно.

Подземно Чехов ощущал, уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с «Розовым чулком». Но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой Вашего сердца, я до сих пор не уважал его». «За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы — и пошла писать! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы».

Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно — но он был еще очень молод и дело касалось самого для него важного: литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, это в общем верно. Но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью, в известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу: конечно, семья — «папаша», «мамаша», братцы, сестра оставались, оставалась какая-то, нам неизвестная, мужская жизнь, но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты: если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Коле, которая мешала его литературе — он и разошелся с ней, но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Коле вообще не видно. Видно одно: писание. Все к этому сводится, остальное придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его

больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. (В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски — русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны, о звуке флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко.)

С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской-Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры с шестиугольными как бы башнями-выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, т. е. перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревья, цветы. Так вокруг всей Москвы (Садовая кольцеобразна, как бы внешние бульвары Парижа).

Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиная, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно. Места достаточно, вся семья устроена прилично.

В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически, тут же все сильнее под здоровой наружностью, среди шуточек и острот накоплялось другое, о чем он не говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в писании его. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» — это говорит старик-пастух в степи — разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где — неизвестно («Счастье».) Найти бы его, да вот не выходит.

В очаровательной «Свирели» тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик. И тоже объездчик, отличное у него имя: Мелитон. Разговор меланхолический.

«— Лет сорок я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.

— К чему?

— К худу, паря. Надо думать, к гибели. Пришла пора Божьему миру погигать».

Пастух этот, Лука Бедный, жалеет мир.

«— Земля, лес, небо... тварь всякая — все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадет все ни за грош. А пуще всего людей жалко».

Собственно из-за чего миру погигать? Но вот Лука находит,

что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше, даже «господа» как-то выдыхаются.

Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастеника, все сильнее тянет к грусти? Конечно, это не он говорит, а Лука, как и в «Скучной истории» не он, а профессор, как в «Иванове» стреляется не он, а Иванов — Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может.

Каждая душа задумана по-своему, особенно создана. «Одинокому везде пустыня»,— прозвучало еще у Павла Егорыча. Антона Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это — печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека?

Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой.

(«Все время, стерва, хвастал и приставал с вопросами: «Вы знаете, моя «Христова невеста» переведена на итальянский язык?») Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, об успехах своих близких иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал.

А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» Все это весьма невесело.

* * *

Теперь печатается он уже не у Лейкина. В феврале 1886 года появился в «Новом времени» его рассказ «Панихида». С него начинается близость с большой газетой и самим Сувориным — человеком даровитейшим и своеобразным — близость для Чехова очень полезная и внутренне (письма к Суворину — самое интересное в его переписке) и внешне: выдвигала его литературно. Это уже не «Осколки».

В том же году, но позже, вышли «Пестрые рассказы» — первая книга, с которой «Чехов» и начинается.

Книга имела успех. «Я уже понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами».

Точно бы и подсмеивается, все же приятно. «Корш поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность». Вздыхают и

знакомые доктора: медицина им надоела, а вот литература — другое дело.

Поздней осенью он попал в Петербург и там еще сильнее ощутил известность. «Целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты». «В Петербурге я становлюсь модным». «Серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает».

Все это естественно. Чехов природно трезв, с большим самообладанием. Но трудно молодому писателю сохранить равновесие. Ему всегда кажется, при первых успехах, что он ось мира. Даже Чехов был опьянен.

Все через это прошли, Чехов еще меньше других, все-таки в чеховских письмах того времени есть самоуверенность, как бывал и приподнятый тон в личных отношениях.

Год следующий, 87-й, только усилил напряжение успеха. Суворин взял у него книжку рассказов. Книжка эта («В сумерках») посвящена Григоровичу, первому «благовестителю» и тоже была принята отлично. Да и как не произвести впечатления — все в ней и ново, и жизненно, и грустно, человечно, трогательно («На пути», «Святою ночью».)

Тою же осенью, в фойе театра Корша, он встретил самого хозяина, Федора Адамовича. Помня Корша, представляешь себе встречу эту довольно ясно.

Похлопывание по плечу: «голуба моя», «мама», тон развязной дружественности — хотя Чехова он мало знал, слышал только, что талантливый молодой писатель, может быть, читал что-нибудь в «Осколках». Вряд ли удосужился прочесть «Пестрые рассказы», или «В сумерках». Но театру нужна пьеса, о молодом авторе говорят, значит не надо упускать случая.

— Дуся, ну что вам рассказыки все писать, вы бы нам пьесу...

И возможно, уводит его, обнимая, как всегда делал, к себе в кабинет, тут же при театре, где письменный стол и софа, на которой в свободную минуту любил Корш примащиваться. Здесь разговор более серьезный: нужна пьеса, к такому-то сроку, условия такие-то. Условия оказались хорошие (хотя был торг, окончательно сговорились позже: Чехов уже начинал знать себе цену). Но Коршу хотелось заполучить его, а Чехову деньги были нужны. Соблазнял и сам театр — всегда великий соблазнитель писателя, Чехов же и раньше к нему тяготел (кроме детской «Безотцовщины»), были у него и другие опыты в этом роде, до сцены не дошедшие. Да и вообще театр его привлекал. Так ли, иначе, предложение он принял.

«Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал».

Сказано просто, но правдиво и жизненно. Человек возбужден разговором, успехом (к нему обращается сам директор), возможностями. Ложится в постель, может быть, и ни о чем не думает особенно. Но темнота всегда развязывает воображение. Некий душевный капитал был, или некий склад горючих веществ — поднесли спичку, начался пожар. Вероятно, в ту ночь поздно заснул Чехов. Но пьеса в нем зачалась.

Насколько известно, он долго обдумывал обычно. Писал же быстро. В этом случае и вынашивал недолго, и написал «Иванова» в две недели, вернее в «десять дней». Акт за актом передавались Коршу для цензуры и репетиций. Это немножко не так, как было позже с «Чайкою», «Вишневым садом». Флобер пришел бы в ужас. Вряд ли одобрил бы и Григорович: Чехов не совсем сдержал обещание, данное благовестителю в письме — да еще для писания в труднейшей форме, драматической.

Как бы то ни было, явился на свет Божий «Иванов», вовсе не комедия коршевского репертуара, а весьма мрачная пьеса, в тусклых, темных тонах, просто даже безнадежная, выдававшая скрытый и горестный мир автора. Главное лицо — сам Иванов, из лишних людей, российских Гамлетов провинции. Родоначальник его Тургенев, но у Чехова вышло еще острее и горше. Довольно странно: автора, явно идущего в гору, молодого, с большим обаянием, остроумного, баловня дам, влечет к такому Иванову, неврастенику-неудачнику, губящему жизнь жены, чуть было не погубившему восторженную девушку — под занавес он стреляется.

Сумрачный туман все время стоит в пьесе, дышать в ней трудно и вся она идет под знаком неблагословенности. Сам Иванов написан убедительно, есть отличные второстепенные фигуры (Шабельский), остра Сарра, есть проблеск в Саше (тоже наследие «тургеневской» девушки) — в общем же пьесу не полюбишь. Много верного, сильного, мало чеховского обаяния.

19 ноября 1887 года вся семья Чеховых была в театре, в ложе бенуара. Автор за сценой «в маленькой ложе, похожей на арестантскую камеру». «Сверх ожидания я хладнокровен и волнения не чувствую», — это показание подсудимого, и оно хорошо только для не испытавших театрального авторства. Поверить ему нельзя — веришь только в большое самообладание Чехова.

Волноваться было из-за чего. Пьеса шла и с большим успехом, и с сопротивлением. Аплодировали, а иногда шикали. Сестра Мария Павловна чуть не упала в обморок, у приятеля их, Дюковского, началось сердцебиение — вообще в ложе Чеховых «переживали».

Все-таки обошлось благополучно, даже больше. Автора вызывали, на следующих представлениях играли лучше, «Иванов» утвердился в репертуаре.

Сам Чехов находил, что пьеса написана для театра «правильно», по существу же к ней охладел — впрочем, по письмам нельзя судить окончательно: шутливое всегда у него слито с серьезным и нет уверенности, что он вот так свое внутреннее и выложит. В одном, однако, не ошибешься: «Иванов», теперь кажущийся по формам как раз устарелым, тогда резко выделялся. Может быть, и сам облик Иванова что-то в той полосе России значил.

В декабре Чехов приехал в Петербург. Известность его продолжала расти. Росло и опьянение ею.

«Я чувствую себя на седьмом небе». «Каждый день знакомлюсь. Вчера, напр., с 10½ ч. утра до трех я сидел у Михайловского... в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали. Ежедневно выдаюсь с Сувориным, Бурениным и пр. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге».

«Знакомлюсь с дамами. Получил от некоторых приглашение. Пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится «психопатия» (о коей писал Буренин)».

В этот же приезд завел он знакомство с одним из сверстников своих, писателем Щегловым-Леонтьевым. Это не Олимп Михайловского, Короленко и Суворина, а свой брат, милый человек Щеглов, с которым долгие годы был он потом в добрых отношениях. Самая встреча их — какая Россия того времени, и как похоже на литературную молодость людей даже нашего поколения!

Чехов остановился в гостинице «Москва». Щеглов зашел к нему, не застал, оставил записку и спустился вниз в ресторан. Там и дождался его. (Чехова Щеглов никогда раньше не видел.) Вот его описание тогдашнего Чехова:

«Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку».

Через четверть часа они уже дружески беседовали, точно десять лет были знакомы. Разумеется, вкушали, выпивали, хохотали. Из «Москвы» перебрались к «Палкину», там дело пошло еще лучше. В третьем часу ночи, расставаясь у подъезда, называли уж друг друга «Жан», «Антуан».

Сам Щеглов, автор комедии «В горах Кавказа», шедшей с

большим успехом, не меньше нового своего приятеля — был русская провинция 80-х годов, «Жан», «Антуан»...

* * *

Вернувшись в Москву, Чехов засел в своем Кудрине, в кабинете с окном в палисадник, занесенный снегом, и стал писать — теперь прямо противоположное «Иванову». Не знаю, как подступила к нему эта тема, но оказалось редкостной. Выплыла она из глубины душевной, память давних лет, детских. Все — художнически преображенное. Прямой автобиографии нет, но все свое.

«Степь» — это русский юг, мальчика Егорушку везут учиться в большой город. Едут втроем, в бричке: дядя мальчика Кузьмичев, священник отец Христофор и сам Егорушка. Никаких неврастеников, «чеховских героев». Просто описание поездки, Егорушка, отец Христофор, дядя Кузьмичев и сама степь. Жара, пейзаж, купанье, ночь, еврейская корчма, гроза, обоз возчиков, которому временно передают Егорушку — и это дает повод написать разных Пантелеев, Дымовых, Кирюх и других подобных им русских народных людей. Егорушка доезжает куда надо, его сдают нахлебником — тем дело и кончается.

Чехову просто захотелось написать нечто из дальнего, виденного и любимого, в чем когда-то он жил. Ни умысла, ни «идеи», никакого типа или обобщения. Он будто стеснялся, подзаголовок сделал «История одной поездки». Что это, рассказ, повесть? Трудно определить. Довольно велика, чуть ли не самая большая его вещь, а никакого сюжета, развития, действия.

Он несколько удивлялся сам. Как эта «Степь» на него свалилась? Но завладела не меньше «Иванова», а больше — и насколько плодоноснее! Он писал ее в упоении, целый месяц, весь январь, кончил 3 февраля 1888 года. То кажется она ему «повестушкой», которая его «не удовлетворяет», то считает ее своим «шедевром». То в ней «не пахнет сеном», то «местами пахнет», а в общем нечто странное, не в меру оригинальное.

Последнее вполне верно. И лучше бы еще сказать: своеобразное. Очень просто, удивительно своеобразно. Из всего тогдашнего в литературе эта «Степь» выделялась необычайно. Так тогда не писали. Но и теперь так *хорошо* почти не пишут. Прошло шестьдесят пять лет, а ее перечитываешь, точно она вчера родилась. Есть мелкие словесные слабости, есть (чуть-чуть) память о степи Гоголя, есть склонность к олицетворению — вообще-то это «ранняя манера мастера». Но на то он и Чехов, чтобы всю краткую свою художническую жизнь идти в гору. «Степь» же все равно великая удача.

Он не обманулся: это один из шедевров его и нелепо сказать о ней «повестушка».

«Степь» — одно из самых непосредственных его писаний, именно таких, где сам он мало понимает, что пишет (особенно как доктор Чехов, почитатель Дарвина), и не надо ему понимать. «Степь» просто поэзия, понимать нечего, надо любоваться. Любование такое возвышает, очищает. Влияние «Степи» на человека благотворно, это благословенная вещь. Оттого, когда ее перечитываешь, остается радость и свет, хотя грусть есть и в ней, есть и одиночество, и смерть, и тайна жизни.

Впервые написал тут Чехов русского священника во весь рост. Отец Христофор Сирийский легким, веселым духом проходит через повествование, это именно благосклонный дух — «маленький, длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе». От него пахнет кипарисом и васильками¹. Его ничем нельзя ни смутить, ни удивить, он всегда добр и ясен, то, что он говорит, всегда умно и верно, хотя и простодушно. Отец Христофор образованный человек, должен был в молодости пойти по учебной части, попасть в Академию, но нельзя было бросить стариков родителей и он остался приходским священником. Егорушка он теперь поддерживает и укрепляет. «Ломоносов так же вот с рыбаками ехал, однако, из него вышел человек на всю Европу». Когда Егорушка заболевает, промокнув в грозу, он его тотчас вылечивает (натирает, с молитвою, на ночь уксусом и маслом) — правду сказать, похоже на исцеление.

А утром возвращается от обедни, «улыбаясь и сияя» (Чехов замечает: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние», — вероятно, видел он это в детстве и на собственных родителях.)

И вот, расставаясь с Егорушкой совсем, отец Христофор опять наставляет его: «Ты только учись да благодати набирайся, а уже Бог укажет, кем тебе быть».

Художник Чехов написал отца Христофора первостатейно. Доктор Чехов в письме называет его: «глупенький отец Христофор». Вот это именно и значит не понимать, что сам написал. Отец Христофор не только не «глупенький», а умней многих, считающих себя умными: он мудрый. Мудрость его состоит в том, что он целен и светел, верит и любит не рассуждая, но науку уважает, вводя лишь ее под освящение Благодати. Вот он прощается с Егорушкой.

¹ Не наши васильки. Это южные цветочки, очень благовонные. (Примеч. авт.)

«О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Учись — сказал он.— Трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими и от меня гривенничек.

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком».

В то время, как Чехов писал свою «Степь», некий юный философ и мистик русский, Владимир Соловьев, говорил о религии, вере, науке, искусстве, сливая все это в сияющем Всеединстве. В ином вооружении говорил, собственно, то же, что и «глупенький» о. Христофор. Но Чехов читал тогда Дарвина, а не Соловьева. Пожалуй, и не знал о нем ничего.

Конечно, отец Христофор не заслоняет собою другого в произведении — самой степи, пейзажа, Егорушки, возчиков, замечательно, написанных евреев Моисея Моисеича и Соломона в корчме — да и вообще по всему повествованию разлита радость изображения Божьего мира — загадочного и страшного, как гроза, но и прекрасного. И одиночество, одиночество! Его нет у отца Христофора (он всегда с Богом, у него нет отъединения), но автор за сценой томится («то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной»).

«Счастливей меня во всем городе человека нет», — отвечает отец Христофор. А собственно, почему? Он небогат, незнатен. Но у него удивительный — и в глубине его лежащий — угол зрения. Он все видит и чувствует легко, потому и сам счастлив и вокруг распространяет «легкое дыхание».

«Грехов только много, да ведь один Бог без греха: Ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все Слава Богу».

Но не все, как отец Христофор. Есть в повести и недовольные (несчастные).

Еврейская корчма взята из молодости Чехова. Некогда, возвращаясь в Таганрог, совсем юным, он заболел и лежал в этой самой корчме. Еврей-хозяин с женой заботливо за ним ухаживали. Он в «Степи» изобразил их трогательно, местами уморительно. Но вот брат хозяина, Соломон... — обойденность, отрицание, озлобленность. И бескорыстие притом. И почти отчаяние.

Молодой возчик Дымов скорей из горьковского хозяйства, босяцкого — русская разлюли-малина. И дико хохочет, и фыркает, купаясь, и ни с того ни с сего убивает безвредного ужа, и тоже все ни к чему, тоже несчастен, брошен и неудачник, разрушитель и саморазрушитель.

В одном письме того времени Чехов говорит: «В России революции никогда не будет». Слова случайные, да Чехова никто и не возводил в пророки. И не возводит. Революция пришла, не спрашиваясь у него, но эти две фигуры, Соломон и Дымов — если бы до нее дожили, наверно, послужили бы ей, особенно на первых порах. Потом оба в ней и погибли бы, конечно: оба слишком самоуправны.

* * *

«Степь» имела большой успех. Плещеев, благоволивший к Чехову старый поэт и бывший петрашевец, сподвижник Достоевского по эшафоту, редактор «Северного вестника», где «Степь» печаталась, был в «безумном восторге». («Я давно ничего не читал с таким наслаждением».) Двоюродному своему брату Чехов писал: «Повесть еще не напечатана, но уже наделала немало шуму. Разговоров в столицах будет немало». Позже: «Моя повесть... имеет успех. Получаю захлебывающиеся письма».

Критика тоже приветствовала. Нельзя было прицепить «Степь» к какому-нибудь «направлению», «идеям», все-таки прелесть ее все чувствовали.

Начало славы Антона Чехова не так-то хорошо отзывалось на брате его Александре. К этому времени Александр прочно связан уже с Сувориным, пишет, печатается, и фамилия его тоже Чехов. Положение брата знаменитости и вообще-то нелегко, здесь особенно плохо — Александр Чехов тоже пишет рассказы и там же печатает их, где и брат. Один подписывается: Ан. Чехов, другой Ал. Чехов.

Из-за какого-то рассказа Александра Чехова Суворин вдруг впал в раздражение и написал автору грубое письмо на тему: «писать и печатать плохие рассказы можно, но узурпировать чужое имя нельзя».

Положение Александра, не талантливого, выпивавшего, с семьей на руках, зависевшего от Суворина, вполне можно понять. В некотором смысле и брату Антону было нерадостно. Известность, слава — все это хорошо, но за что же ущемлять Александра? Ущемление слабых сильными Чехову всегда было противно. Тут поступил он вполне в своем духе. В длинном, спокойном и благожелательном письме он утешает Александра: Суворин написал грубость под минутой, сам раскаивается и извинится. Подписываться своей фамилией Александр вполне может; рассказ его «очень неплохой», и вообще-то нет мерки, кто лучше пишет, кто хуже, «взгляды и вкусы различны». Через

несколько лет все может и измениться, что же, и ему тогда просить разрешения у брата «расписываться Антоном, а не Антипом Чеховым?»

А конец письма говорит о том, что довольно прочно поселилось в бывшем «юмористе» Чехове. «Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго», так что пустяки все это, мелочи литературные.

Осенью того же года ему выпал новый успех: он получил Пушкинскую премию Академии (в половинном размере — 500 рублей.) Под углом истории событие невеликое: что такое Академия и ее премии, да еще половинные, рядом с обликом Чехова, его местом в литературе? Но сам Чехов воспринимал иначе. «Премия для меня, конечно, счастье, если бы я сказал, что она не волнует меня, то солгал бы». Правда, он пишет это тому Григоровичу, который «горой стоял за него в Академии» — письмо благодарственное. Все-таки и по другим письмам видно, что принял он успех остро, но не захлебываясь. Старался даже себя преуменьшить, подчеркивал, что и другие могли бы получить: Короленко, например, если бы послал книгу. А в письме к Лазареву-Грузинскому есть даже фраза: «Все, мною написанное, забудется через 5—10 лет», — слова не совсем случайные. Чехов и позже говорил в том же роде («меня будут читать 7 лет») и оказался таким же плохим пророком, как и насчет революции.

Зато дома, в семье, ликование было открытое. «Сестра... честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит». Про «мамашу», «папашу» и говорить нечего. «Мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады».

Павел Егорыч, вероятно, надеялся, что сына Антона станут теперь называть «Ваше Превосходительство» и дадут орден.

Ордена не дали, судьба же дала грозный свой знак почти в те же дни. «Я в плохом настроении: у меня кровохарканье. Вероятно, пустяки, но все-таки неприятно». Следующая строка: «Сегодня на Кузнецком, в присутствии сестры, обвалилась высокая кирпичная стена, упала через улицу и подавила много людей».

В самом Чехове тоже что-то обвалилось. Кровохарканье бывало у него и раньше, в 84-м, 86-м годах. Но тут — через несколько дней — впервые пишет он Суворину подробно (видимо, не «пустяки»). Старается убедить его, что это не чахоточное. Убеждает не так уже убедительно. И в письме фраза, меткостью своей все убивающая: «В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве».

Зарево было показано ему как раз в минуты опьянения успехом.

В ПУТИ

«Ах, будь у меня лишних 200—300 рублей! Я бы весь мир изъездил!»

Он с ранних лет любил странствия, новые места, встречи. В детские годы знал Таганрог и окрестности его, студентом и молодым врачом Москву, Воскресенск, Звенигород. Весной 87-го года, со 150 рублями в кармане, тронулся вдаль: хоть и не весь мир изъездить, но проехаться по всей России, к себе на юг в Таганрог, где жил дядя его Митрофан Егорыч.

Вот он в Орле, на вокзале: «4 часа 50 мин. утра. Пью кофе, вкусом похожий на копченого сига». Но настроение отличное, и вокруг все то, что ему и нужно, новые люди, соседи по вагону, разговоры, другой мир, другие края.

Пересадки, ожидания, скорость тридцать верст в час, на больших станциях важные швейцары с колокольчиками в руках («Второй звонок на Курск!»), вагонные дружбы, бутерброды, пирожки, рюмка водки в вокзальном буфете. А потом юг, степи. «Вижу старых приятелей-коршунов, летающих над степью».

Таганрог показался ему довольно убогим, жизнь уж очень мещанская, но вот можно съездить к приятелю гимназических лет Кравцову, на казацкий хутор в Донецкой Швейцарии (Донецкий кряж), пожить в красивой, гористой местности полудикую жизнью: охотники, злые собаки, стрельба. После Москвы показалось что-то вроде Бразилии или Сингапура. Очень понравилось. «Впечатлений тьма». А это самое важное. Жил он здесь, как и в отроческие годы, рядом со степью, природой, звездами, вечностью. У Кравцова на хуторе видел «очень красивую» грозу — в январе следующего года с блестящей яркостью опишет южную грозу в «Степи». Да и очаровательный рассказик «Счастье» вывезен, конечно, из апрельского путешествия на юг.

От Кравцова съездил в Славянск, оттуда в монастырь Святые Горы. На что доктору Чехову монастыри? Там ведь население вроде «глупенького» отца Христофора. Но вот Чехову-художнику оказались зачем-то нужны. В Славянске нанимает он коляску, едет в Святые Горы. Конечно, все по дороге и в монастыре заметит и улыбка не оставляет его интеллигентского лица с бородкой. «Встречные хохлы, принимая меня, вероятно, за Тургенева, снимают шапки».

Монастырь Святые Горы, видимо, редкостной красоты, стоял на берегу Донца, над ним белая известковая скала, наверху садики, дубы, вековые сосны, некоторые просто висят в воздухе, держатся только корнями. Кукуют там кукушки, заливаются соловьи.

Ему очень понравились и монахи. Был Николин день, богомольцев собралось много — опять чеховская улыбка: «До сих пор я не знал, что на свете так много старух, иначе я давно бы уже застрелился». А дальше в другом роде: «Еда монастырская, даровая для всех 15-и тысяч: щи с сушеными пискарями и кулеш. То и другое, равно как и ржаной хлеб, вкусно».

«Звон замечательный». Не одобрил он только певчих. А в пении с детских лет весьма понимал и на него всюду — позже и за границей — обращал внимание.

Литературе Святые Горы дали «Перекасти-поле», впечатления поездки, встреча с юным евреем, только что перешедшим в православие, бездомным Дон-Кихотом, скитающимся по России. Написано все это живо, наблюдательно и тонко.

И вот Антон Павлович Чехов, писатель еще молодой и по облику на Тургенева непохожий, уезжает в коляске из Святых Гор, оставив свои «полуштилеты» новообращенному искателю истины, у которого оторвалась подошва. Монахи, монастырь, Донец, меловая гора, поросшая дубами, соснами, все позади, как и сам скиталец Александр Иваныч. Все это ушло, а писание осталось. Получился скромный «субботник» в газете, заплатили за него сто рублей. Но идет время, а монахи, крестный ход в лодках, блеск Соборного креста, смиренный странник иудейского происхождения — все это остается. Все живет и трогает.

«В «Новом времени» я описал Святые Горы. Один молодой человек, архиерейский племянник, рассказывал, что он видел, как три архиерея читали это описание: один читал, а двое слушали. Понравилось».

* * *

Воскресенск под Москвою, Звенигород, милое Бабкино — все это он достаточно знал теперь. Хотелось еще иного.

В мае 1888 года он снял флигель в имении Линтваревых, в Харьковской губ., на берегу Псла. Опять интересно: и не Подмосковье, и не края Таганрога. Ему очень пришлось по душе.

На фотографии видишь, что старый, несколько неуклюжий дом Линтваревых не так наряден, как бабкинский, но прочен и доброкачествен. Жизнь самих Линтваревых проще, с меньшим художественно-артистическим оттенком, чем у Киселевых, но люди они достойные, некий высокий образец интеллигенции нашей, поправной и уничтоженной, но в культуре российской оставившей незабываемый след. Да она выражала и часть народной души.

Чеховы поселились во флигеле. Как и в Бабкине, это целый отдельный дом Антон Павлович тем летом будто ничего и не писал, все-таки «Именины», особенно в первоначальном своем виде, с этим именем связаны. Но главнейше занимался он здесь рыбной ловлей, дни, а иногда ночи проводил на Псле с рыболовами «маниаками». (Сам был тоже отчасти маниак.) Ловил рыбу да писал письма — отсюда есть интереснейшие к Суворину.

С Сувориным он познакомился еще в 85-м году, но сейчас время расцвета их близости, почти дружбы.

Суворин был человек любопытный, одаренный, из русских самородков и самоучек, с блестящей, но отчасти искаженной судьбой. Именно эти успехи, «Новое время», политика, правительственный Петербург, деньги, в конце концов отравили его. Глядя на это умное, русско-народное лицо с широкими скулами, глазами не без лукавства, на бороду с проседью, длинный сюртук, сразу скажешь — особенный человек.

А кто любит Чехова, для того в Суворине есть и еще достоинство: Чехова он рано оценил и полюбил. Влияние на него оказывал, в этой полосе, хорошее. Был и культурен, и разносторонен, и даровит, и с запросами высшими — он Чехова возбуждал в духовной области и в искусстве. Да и лучше понимал вольность и широту тогдашнего чеховского чуждания чем люди типа Михайловского, не говоря уже о Скабичевских.

У Пинтваревых сохранилось замечательное письмо Чехова к Суворину, очень обширное. Тон серьезный, спокойный, много изобразительности, кое-где усмешка, но всего в меру. Есть и некое исповедание художническое. Трудно не привести довольно больших выдержек.

«Мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина; читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист; добросовестно штудирует каждый номер «Вестника Европы» и знает таких беллетристов, какие мне и во сне не снились».

«Ее старшая дочь, женщина-врач — гордость семьи и, как величают ее мужики, святая — изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стойчески, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка».

«...Когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит, или слушает, как ей читают мои «Сумерки», мне уже начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем «Сумерки», точно никогда не умрем».

«Вторая дочь — тоже женщина-врач, старая дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе, любящее всех и некрасивое создание. Больные для нее сушая пытка».

Был случай: на фельдшерский пункт, где принимали Линтварева и Чехов, пришла баба с раковой опухолью на шее. Сделать ничего было нельзя. «Докторша глядела на нее так глубоко-виновато, как будто извинялась за свое здоровье и советилась, что медицина беспомощна... Я думаю, что она никому не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива, ни одной минуты».

В эту усадьбу Линтваревых Чехов пригласил к себе другого своего приятеля из старших — А. Н. Плещеева, редактора «Северного вестника».

Плещеев так же, как Суворин, весьма Чеховым восхищавшийся, был очень благодушный «идейный» барин, в литературе очень понимавший, сам же поэт весьма посредственный и «честный», типа «вперед на бой, в борьбу со тьмой». В молодости был петрашевцем. Вместе с Достоевским стоял на эшафоте и навсегда приобрел нимб.

Он гостил у Чехова и Линтваревых три недели, был очень мил, за ним ухаживали дамы, как за престарелой знаменитостью.

«На него глядят все как на полубога, считают за счастье, если он удостоит вниманием чью-нибудь простоквашу, подносят ему букеты, приглашают всюду и т. п.». «Здесь он изображает то же, что и в Петербурге, т. е. икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами». Сам же Чехов считает его просто хорошим, теплым и искренним человеком, без чудотворности, а кроме того он «сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест».

В том же письме есть и некая самозащита по линии художества. Не только «идейные» критики упрекали его тогда за «безыдейность», но и неидейные друзья: Суворин, Щеглов («Жан»). Обороняется он так: не дело художника решать. Его дела изображать. И такие вопросы как Бог, пессимизм только ставятся. Пусть решает читающий. Щеглову не нравилось, что один рассказ Чехова кончался фразой: «Ничего не разберешь на этом свете».

«По его (Щеглова) мнению художник психолог должен разобрать». Тут Чехов с ним несогласен, как и с Сувориным. Навязывания он не любит.

К защите вольного художества всякий, конечно, присоединится, но есть здесь и подводный камень.

Если художник по-своему видит и понимает мир, в том, что он напишет, понимание его свободно и выступит без указующего

перста. Это — свобода положительная. Но может быть ведь и так, что свобода над пустотой. Искусство всегда прельщает, но всегда ли дает питание, прежде всего: самому художнику?

Время было такое, что с «како веруешь» приставали упорно, и по большей части касалось это политики, «либерализма», «консерватизма», — скучнейших для поэта дел. Чехов защищал право на вольность — как мне нравится, так и пишу. Могу писать только о том, что меня возбуждает и увлекает, и буду об этом писать. Тут он вполне прав.

Но не начинало ли его самого беспокоить, что ведь он не только писатель, но и человек, и во что, собственно, верит, чего хочет?

Беспокойство это еще подспудно, еще очень много в авторе сил стихийных, непосредственного жизнелюбия — мир так широк, так хочется все увидеть, в себя вобрать, преклониться перед красотой Божьего творенья... — но только что написал он сам: «начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем «Сумерки», точно никогда не умрем».

В сущности, смерть никогда не сходила с горизонта Чехова (мало-мальски зрелого). «Зарево» не со вчерашнего дня появилось и в его собственной жизни.

Но велика была еще сила молодости и непосредственности, просто говоря — жажда жизни и зрелищ ее. Не вечно же ловить пискарей во Псле: на свете есть и Кавказ, Крым, Азия.

В июле 1888 года он уехал к Суворину в Феодосию. Жарился там на солнце, купался в море «нежной синевы»... — и целыми днями философствовал с Сувориным. Это Россия того времени. Русский писатель конца века мог с утра разглагольствовать о Боге, мире, человеке, добре, зле... — и до позднего вечера. На роскошной даче Суворина шла праздная жизнь. Много ели, пили, ездили в гости, принимали. Чехов в это время сам увлекался Сувориным («Это большой человек»). Нравилась ему и его жена Анна Ивановна, женщина, видимо, своеобразная. То болтала вздор, то вдруг начинала говорить умно и самостоятельно. «По вечерам сидит на песке и плачет, по утрам хохочет и поет цыганские романсы». Среди разных людей, кого пришлось ему там видеть, отметил он Айвазовского («Смесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем»).

Но долго в Феодосии не усидел, поехал дальше, в Сухум, Батум. Был на Новом Афоне. Черноморское побережье, мир полутропический раскрылся перед ним. Сколько невиданного, роскошного в природе, сколько встреч, впечатлений! На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским.

Этот не заевшийся: верхом на лошади скромно объезжает епархию. Через несколько лет в «Дуэли» мелькнет его привлекательный облик.

Вместе с Сувориным-сыном добрался он до Тифлиса, побывал в Баку. Собирались они еще дальше, в Среднюю Азию, но у Суворина тяжело заболел брат, Суворины-старшие были в отчаянии, телеграммы летели ежедневно. Наконец, брат скончался. Пришлось возвращаться.

Чехов вернулся на Псел к Линтваревым. Странствия показались ему удивительными. Он решил следующим летом съездить в Турцию, Грецию, в Константинополь и на Старый Афон. Русскому интеллигенту того времени, поклоннику Дарвина, мало подходящ вековой Афон. Но вот была же в Чехове какая-то подземная струйка...

* * *

В Петербурге шумно аплодировали «Иванову», книги продавались хорошо, поклонников и поклонниц становилось все больше. Но в самом Чехове росла некая неуверенность, колебания и неясность: для чего, к чему? Какова цель? «Политического, религиозного и философского миросозерцания у меня еще нет», — писал он осенью 1888 года Григоровичу. Были устремления, и довольно яркие, ренессансного характера — как ни странно это слово рядом с Чеховым. «Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода...» От «миросозерцания» довольно еще далеко, он и сам понимал, и основного еще не решает. От него все чаще требовали теперь ответа, указания, решения. Сам Плещеев, мягкий и любовно относившийся к нему, все-таки находил — с оттенком ласкового укора — что в писаниях его нет «протестующего» элемента. На это Чехов отвечал: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником — и только». Ярлыки ему не нужны. Но какая-то внутренняя опора, устойчивость — это нужно и этого нет. Надо сказать прямо — у него не было веры (т. е. основного чувства, идущего из недр: все правильно, с нами Бог), а без нее зарево становится совсем грозным.

Нарядностью бытия он весьма еще увлекался, но бездну чувствовал. Ее никаким «свободным художеством» преодолеть нельзя.

Следующим летом (1889 года), там же у Линтваревых, бездна эта была показана ему воочию.

Брат Николай, художник, непутевый человек с нелегким характером, алкоголик, как и Александр, как и Александр неудачник, приехал весной в чеховский флигель — в деревню, на отдых, уже тяжело больной туберкулезом. Лечили тогда только питанием да воздухом. Наверно, Евгения Яковлевна закармливала его. Конечно, воздух на реке После отличный, все-таки ничего не выходило. Болезнь свое делала. Вначале он нервничал, сердился, раздражался. Потом ослабел, притих. «Стал кроток, ласков, необыкновенно степенен».

Последние недели были особенно тяжелы. Спать он мог только сидя, непрерывно кашлял. «Если в прошлом были какие вины, то все они сторицей искуплены этими страданиями».

Письмо Антона Павловича Дюковскому о смерти брата очень сдержанно. Все слова ясны, просты. Печаль не в словах, а за словами.

«В гробу он лежал с прекраснейшим выражением лица».

«Похороны были великолепные. По южному обычаю, несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями, в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля».

После похорон недолго усидел он в деревне. «Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош»...

Он уехал, как и прошлым летом, но путешествовал довольно bestолково и нельзя сказать, чтобы удачно. Надо бы «в Тироль и Константинополь», а он в Одессу. «Живу машинально, не рассуждая». Именно «не рассуждая» жил в Одессе, околавываясь около Малого Театра, выехавшего туда на гастроли. Из Одессы уехал в Ялту. Во всем тоне писания его об этом путешествии совсем другое, чем было в прошлом году. Ничего плодоносного не вынес он теперь, а тоска томила и была какая-то растерянность. И равнодушие. Скорей даже *нелюбовь* к жизни, совсем еще недавно казавшейся прекрасной.

В таком виде вернулся он в Луку к Линтваревым и своим, сел писать «повестушку».

В письмах его часто встречаешь как бы пренебрежение к себе. Можно подумать: не повести пишет писатель, а так, балуется.

Это неверно, конечно. Свое настоящее он очень прятал: думаю, отчасти закрывался тоном «повестушки», отчасти хотел писать еще лучше и выше того, что получалось. Но цену себе

знал. О «Скучной истории», которой теперь занимался, в одном месте проговорился: «Ничего подобного я отродясь не писал, мотивы для меня совершенно новые... Сюжет рассказа новый»...

Эта «Скучная история» — вещь замечательная, для него в некоем роде роковая: как бы верстовой столб в пути.

Изображен конец жизни старого профессора. Был он и талантлив, и знаменит, у него любящая жена, дочь — и все ни к чему. Смерть близится, а ничего за душой. Пустота, уныние, мрак.

С давних лет опекает он сироту Катю, дочь умершего товарища. С детства она его обожает, считает лучшим из людей. Жизнь ее не удастся. Она мечется, хочет стать актрисой, но нет таланта. Полюбила — тоже разочарование. И тоже пустота. И они оба, старый и малый, по-разному, но станут и томиться в тоске. Эта тоска, как бы предсмертная, удивительно изображена в «воробьиной ночи» на даче, когда дочь Лиза рыдает наверху в истерике, на минуту бросается на шею поднявшемуся к ней отцу, как прежде делала, ребенком — и отец ничем не может ни утешить, ни помочь ей. В той же тоске, как бы почувствованной на расстоянии, внезапно появляется внизу и Катя (недалеко жившая тоже на даче). Но что может дать им, молодым и не знающим, что делать и куда идти, этот Николай Степаных, профессор медицины, грудь которого так увешена орденами, что студенты называют его иконостасом, — когда он и сам *ничего не знает*. У него есть только наивная вера в науку (...«она всегда была и будет высшим проявлением любви») и «судьбы костного мозга интересуют» его «больше, чем конечная цель мироздания». Но вот и оказывается, что в некоем отношении все это ничего не дает. Нет «общей идеи», говорит он. Общей идеи! Не лучше ли сказать — веры. Основной интуиции: есть Бог, и мир создан не зря, все имеет цель и значение, и каждая жизнь, в достоинстве и благообразии, угодна Богу. Разгадать тайн мира мы не можем, но достойно служить обязаны. Только для этого надо и над наукой, и над искусством, над философией чувствовать нечто высшее. А одного костного мозга мало. Хорошо изучать его. Но нехорошо обожествлять. Встречать с ним смерть слишком трудно.

Превосходен конец повести: профессор едет в Харьков, разузнать о женихе дочери. Катя за ним, как бы догоняет его в гостинице и опять тот же вопрос той же Кати, не знающей, куда себя девать.

«Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?»

Но у него именно нет «истинного Бога» и сказать ему нечего. Лишь теперь замечает он, что она всю жизнь жила без «общей идеи», а он, по его мнению, только «на закате дней» заметил в себе это.

И в бессилии ничего не отвечает. Она уходит. «Прощай, мое сокровище!» — собственно лишь ее он сейчас любит. Но и ее нет.

Не случайно написано все это в лето смерти брата Николая, после бессмысленных метаний не то за границу, не то в Одессу, Ялту. Писатель совсем, собственно, молодой (хотя очень рано развившийся), взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не сознавая того, похоронил материализм, о котором всегда отзывался с великим уважением. Художник и человек Чехов убил доктора Чехова.

В деле художника «повестушка» заняла крупное место. В истории его души тоже: предел безутешности. («Скучная история» в своем роде «Палата № 6»).

Как и всегда делал, старался отклонить от себя ответственность. Говорил, что просто изображает старого профессора и сам тут ни при чем — точно так же держался и позже, с «Черным монахом».

Но как бы ни укрывался, яд излит из его сердца. Оттого и заражает.

САХАЛИН

В апреле 1890 года Чехов написал Лаврову, издателю «Русской мысли»: «Обвинение Ваше — клевета. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собой понятно».

Причина была та, что в мартовском номере «Русской мысли» Чехова и Ясинского назвали «жрецами беспринципного писания».

Слово «беспринципный» Чехов принял остро. «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был». Не знаю, кто написал статью, но, конечно, «прохвостом» он Чехова не считал — вероятно, указывал на отсутствие «идей» (мог бы, впрочем, не ставить Чехова рядом с Ясинским).

И вот эту «беспринципность» ударил по больному месту: Чехова и другие, даже друзья, упрекали — правда, с иным оттенком — почти в том же: он никуда не «зывает», не «ведет». Если сказать вместо «беспринципный» — «безыдейный»,

то это будет отвечать чуть ли не общему тогдашнему о нем мнению.

Оно было неправильно, но не было «клеветой». Чехов от писателей типа «вперед на бой, в борьбу со тьмой» очень, конечно, отличался. Проповедничества в нем не было. Но не было и цельного мировоззрения, философского или религиозного. Он сам признавал это и, верно, этим томился. В такой внутренней полоте и написана «Скучная история».

Однако же в глубине его жило нечто и совсем не безыдейное, и не равнодушное. Напротив, очень положительное, человеческое и правдивое. Христианский мир отца и матери (в особенности), скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза.

Самому ему казалось временами, что писание его что-то «не то». Хотелось и сделать для жизни больше того, что он, как чистый художник, сделать мог. Даже в приведенном письме, единственном по резкости у Чехова, это чувствуется. «Если Вы... разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, напр., для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы, то...» (далее оказывается, что и «Русская мысль» мало сделала. Но это уже полемика).

Все-таки то, что он сам «мало сделал» для жизни, вообще мало что знает о высшем и мало к нему приближает читающего, это ему было тягостно. Может быть, тут «Скучная история» и оказалась судом над собою. Но это касается только его самого. Если же другой вмешивается и обвиняет, он никак не приемлет.

Письмо Лаврову написано почти накануне отъезда его на Сахалин.

Поездка задумана раньше и совпадение тут случайное, но очень в духе всего положения. Чехов стал собираться раньше, чем «Русская мысль» оскорбила его, но само предприятие явилось отталкиванием от «Скучной истории»: профессор ничего не нашел, в безнадежности и унынии кончает дни, а вот Чехов, наперекор толкам о его безыдейности и равнодушии, едет за тридевять земель к отверженным.

В первые месяцы 1890 года он усиленно к путешествию готовился: неделями жил в Петербурге, читал с утра до вечера о Сахалине, каторге, тюрьмах, заводил знакомства, запасался письмами. Суворин, наверно ему помогавший связями своими, был удивлен, даже и недоволен, что его любимый Чехов собрался Бог знает куда, на край света, к убийцам и конокрадам. Но Чехов очень упорен. Мысль ехать засела в нем крепко, именно потому, что была не просто мысль, а желание и устремление.

Тут отговоры не помогают.

Конечно, будут в путешествии и трудности, лишения, огромная потеря времени — он все же едет. «Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25—30 дней, не больше»... Остальное на пароходе. «Неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2—3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом и горечью?»

Другое дело — нужен ли и интересен ли сам Сахалин? «Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов». Очевидно, он многое уже вычитал и узнал, прежде чем тронуться. «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек».

Приговор его суров заранее: людей зря, «без рассуждения», гноили в тюрьмах, «гоняли по холоду и в кандалах десятки тысяч верст», развращали, губили. «Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации». «Виноваты не зрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Подтрунивал раньше он сам над аптечками и библиотечками, «бла-ародными» студентами, честными курсистками, а теперь вдруг заявил, как подобало русскому писателю XIX века — и с какой прямою, горячностью: искусство искусством, но есть и грех, и вина пред народом, пред всеми страждущими и обездоленными. Грех надо искупить.

Просто взять да поехать на край света, в ледяную страну, к погибающим и погибшим — рассказать о них.

Разумеется, и дух путешествий подталкивал. Новый мир, новые люди... Чехов это всегда любил. Но для туризма мог бы выбрать места и приятнее. А он недолго раздумывал. Никакого пьедестала, знамен, «огоньков». Сел и уехал на Сахалин.

* * *

«Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, угрюмый берег Иртыша!»

Это только еще начало. Правда, проехал он по сибирскому тракту на вольных уже 715 верст. Но что такое в Сибири семьсот верст? Смотришь на карту, на самой правой, восточной части этой Азии, отделенная узким проливом, лежит между Охотским морем и Японским узенькая рыбка, неприятно-колло-

чая — остров Сахалин. Чтобы до него добраться, надо пересечь всю Азию на лошадях, по Байкалу на пароходе, вниз по Амуру тоже на пароходе. Семьсот верст тонут не в семи ли тысячах?

А между тем: «Вот я сижу ночью в избе, стоящей на озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? Зачем я здесь?»

Конечно, это не увеселительная поездка. Мало увеселяет и ночное столкновение с почтовыми обратными тройками — ямщики спали, тарантасы налетели друг на друга, Чехова выбросило, на него повалились чемоданы, узлы. И чуть было не задавила вторая тройка, катившая за первой. «Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствовал такое круглое одиночество, какого никогда раньше не знал». Оглобли сломаны, багаж разбит, ему кажется, что вот он брошен в некий чуждый мир — сейчас затопчут и его.

К удивлению читающего оказывается, что не только мерз он в пути, промачивал ноги (сапоги оказались узки, по лужам приходилось шлепать в валенках), но и Бог знает как питался. И это называется обильнейшая Сибирь! «Всю дорогу я голодал как собака». Кроме хлеба, все остальное не годилось никуда. В Тюмени купил на дорогу колбасы. «Когда ее начинаешь жевать, то такое чувство, будто вцепился зубами в собачий хвост; опачканный дегтем».

Тюмень — Томск — Красноярск на Енисее — это все еще ранняя весна, холод, грязь, разливы рек, невозможная дорога, толчки, ухабы, полубессонные ночи — да еще и кровохарканье. Мрак и одиночество. Собственно только в Иркутске, проехав три с половиною тысячи верст в тарантасе (видимо, довольно убогом), смог он немножко вздохнуть, прилично поесть, пожить в номере гостиницы, сходить в баню.

От Иркутска все шло легче. Чрез Байкал на пароходе даже очень интересно (из прежнего пути понравилась ему только тайга за Красноярском и Енисей). Понравилась голубизна байкальских вод, прозрачность их. «Я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогоулка по Байкалу вышла чудная, вовек не забуду».

В Забайкалье опять на лошадях до Сретенска. Гнали изо всех сил, чтобы не опоздать к пароходу по Амуру. «Конно-лошадиное странствие» кончилось — продолжалось оно два месяца.

Проехали четыре тысячи верст.

С парохода «Ермак» письмо к матери помечено 20 июня 1890 года. По Амуру, в дикой, живописной стране путешествие

уже отдых. В бинокль видны утки, гуси, гагары, цапли, на китайском берегу китайцы, напоминавшие ему «добрых ручных животных», а после 2 1/2 месячного путешествия открылась, наконец, и самая цель странствия — остров Сахалин.

Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет, позже кое-где поминается он, в великом мраке. Зато получилась книга «Сахалин», во всем писании Чехова стоящая особо. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать. Но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание, и с расчетом: облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают. Посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть — и видит.

Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю, но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел три месяца с отверженными и их стражами.

У него есть рассказ «В ссылке» — явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине. Видимо, на Иртыше. Перевозчики — ссыльно-поселенцы, мерзнут у костра на берегу реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая жена. Семен Толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена? Отец? Мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение — убил богатый дядя и откупился, общество указало на этого — все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка.

«— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся.— Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай Бог всякому такой жизни».

Они очень разные. Толковый находит, что кто хочет счастья, тот «первое всего» пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем, в глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльно-поселенец — он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену, она приехала и сбежала потом, оставив дочь-девочку. Та больна и вот «барин» носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке, он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает,

Толковый укладывается спать в избушке, а «со двора послышались звуки, похожие на собачий вой». Это татарин плакал.

«— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул».

Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, невесть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может слез и рыдаий выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам, но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят «в затылок» такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородастый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна, вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы — сопки, что ли? — это и есть Сахалин. Это и есть три месяца Чехова.

Позже, в письме к Кони, он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12-и лет... Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями — все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе».

Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок. И символический смысл — образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает.

Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы четыре каторжника, черкес — жилец покойной, Чехов, казначей и баба каторжная. «Эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы — одного грудного и другого Алешку, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю:

— Алешка, где мать?

Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит:

— Закопали!

Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, «куда ему девать детей, он не обязан их кормить».

Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие.

Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже, там же; и написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик — Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а как называли в старину «торговой», в сущности при мучительстве: наказании плетью (каторжника, провинившегося уже на Сахалине).

Все он видит, наблюдает... Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого (жуткая зарисовка). Вернулся к концу этих сорока плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары, мерещился «палач и отвратительная кобыла».

Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину, перед поездкой: два-три дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью.

Радуетесь за Чехова, когда покидает он, наконец, этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе «Петербург» мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал».

А сколько и необычайного! Цейлон — место, где был Рай. Красное море, хотя и унылое, но ведет к Синаю. («Я умилялся на Синай».) «Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения».

Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного «Убийства», рассказы «В ссылке» и «Гусев».

Простое сердце — солдат Гусев, смиренный русский человек — и вечный обличитель неправды Павел Иваныч, оба в последней полосе чехотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе Добровольного Флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иваныч и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентимен-

тальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иваныч до конца возмущается несправедливостями жизни — оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину и спускают в море. «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников» (Суворину). Это, конечно, Павел Иваныч и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура («чуть не плакал»). «Становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».

«Гусев» был напечатан в том же, 1890 году. «Убийство» помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы — Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче (убившем, однако, брата) попавшем на Сахалин. Станным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Иваныча и у Раскольникова подготовка неодинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иваныч окончательно все решил, каторга все ему открыла. «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов... и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий... у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги».

«Простой веры» не было у самого Чехова и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» — это сидело в нем прочно. Обратное тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и бездейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» — это соединение Второй Заповеди с добрым самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действительно ему отдайся — вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях.

«Сахалин» он писал в 91-м году (и позже), книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но это сторона внешняя,— хоть и необходимая. Как внешни, и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы, с Кони вместе, через Нарышкину, добраться до Государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца.

Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он *прямо* распространяется (раскрывать себя не любил). Все же в письмах кое-что есть.

«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» (Суворину). «...Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки «Крейцера соната» была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает».

С ума он не сходил и всего менее был к этому подходящ, но «возмужал» — хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить: и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на «добрую землю». То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться, еще обыденней. «...После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мешанской и скучной, что я готов кусаться».

* * *

Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином, преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к «левой интеллигенции». Как бы то ни было, «Сахалин» вызвал сенаторскую ревизию каторги.

Несчастных книга не могла сделать счастливыми. Но в их горький быт улучшения внесла.

На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней, Чехов не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы, чудом, попал и сказал правду, то как доктор «Палаты № 6» очутился бы сам там же.

«ОТДЫХ»

Россия восьмидесятых — начала девяностых годов — это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одиноким Толстой не в счет, в общем же время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка — все вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да видно не так легко по-настоящему его прорубить.

Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.

Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.

Суворин с сыном собирались в марте 91-го года за границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.

Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин-старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии — возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.

Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему несвойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается.

Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадой, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты и «одних галстуков в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность... «Да вообще все чертовски изящно», — еще шаг и начнется Гоголь.

Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэли или Бауэра — «в лучшем отеле,

как дожи» — что обошлось Чехову недешево, но отставать от Суворина было нельзя.

В Венеции же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дождей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».

Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже.

Ясно видишь, как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:

«— Да, здесь все дешево... Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим... Дмитрий, сколько мы платим?»

— Зи-и-на, восемнад-цать франков!

— Слышите, Чехов... Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?»

Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом.

«— Восемнадцать франков в неделю — совсем недорого».

Чехов поверил, и хотя сам платил вовсе недешево, отписал в таком духе сестре в Москву. Но на другой день пришлось поправлять: «Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом г-жа Мережковская. Вместо неделю, читай в день».

В Венеции повезло им и насчет погоды — солнечно, чудесно. Дальше пошло хуже, во Флоренции дождь, в Риме тоже неважно и впечатление бледнее.

Флоренция все же, несмотря на дождь, тоже понравилась. («Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции...») — из позднего письма, уже в России, Суворину.)

Чтобы войти в Рим и его почувствовать, надо там жить

дольше. Три, четыре дня мало, а после блеска Венеции может даже разочаровать. До Чехова Рим мало дошел, слишком утомил хождением с утра до вечера («...горят подошвы»). О Риме-то он и обронил фразу, которая может дать неверное представление о том, как он оценивал Италию («Рим похож в общем на Харьков».) Видимо, и Григорович распространял о нем неправильные сведения в подобном роде — Чехову было это неприятно, в письме к Суворину он почти сердится. На самом деле Италия произвела на него впечатление огромное — русскую традицию, идущую со времен Гоголя и Жуковского, через Тургенева до Мережковского и модернистов — эту традицию Чехов, лишенный всякой традиции, все-таки поддержал. «Очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

* * *

Франция отозвалась в нем бледнее — это закономерно для въезжающего в нее из Италии. Но и тут впечатлений много, отдых продолжается.

Станным образом, во Франции Чехов довольно часто упоминает о России, о том русском, что там видел. В Ниццу попал на шестой неделе Великого Поста, в Вербное воскресенье отправился в русскую церковь. Вместо верб, видел пальмовые ветви, удивился, что в хоре вместо мальчиков поют дамы, но нашел, что поют хорошо (в этом деле понимал, еще со времен Таганрога и отцовского хора с кузнецами). «Великолепно пели «Херувимскую» № 7 Бортиянского и простое «Отче наш».

В Монте-Карло играл в рулетку, о ней пишет в тоне «дедушке на деревню».

В Париж попал всего на несколько дней и, конечно, узнать его хотя бы приблизительно не мог. Но вот, однако же, пошел опять в русскую церковь — это и был тот самый храм на rue Dauphine, где отпевали Тургенева, позже встречали императора Николая II, еще позже собирались и сейчас собираются бездомные люди эмиграции. Во времена Чехова эмигрантов в Париже было мало, и на Светлую заутреню в церковь они не ходили. Да тогда и сама церковь называлась «посольской», другой стиль, народу на службах немного, у дам свои стулья, дамы больше посольский, язык больше французский. Чехова удивило здесь, что пели французы. «Церковь в Париже велика, размерами

напоминает Митрофановскую, но было тесно и душно. Греки слушают вместе с русскими, да и французов понабилося много».

Не знаю, был ли он в Лувре. Видел Эйфелеву башню, посетил выставку, побывал и в Салоне. Но нашел, что Левитан выше французских пейзажистов.

В общем же от Парижа и Монте-Карло остался у него какой-то мутный осадок.

Но все это быстротечно, из Парижа уехали прямо домой — Чехов заранее поручил брату Михаилу, недавно получившему место в Алексине, найти дачу на лето — во что бы то ни стало.

Алексин небольшой городок Тульской губернии, на Оке, в сторону Калуги, в чудесной пересеченной местности — жило там тогда семьсот душ, но души эти любовались со своего взгорья и Окой, и большаком с березами за ней, полями и лесочками, всей свежестью и миловидностью среднерусского пейзажа. Эти места любили тогдашние художники — Полenov писал Оку, Левитан гостил здесь у Чехова.

Михаил Павлович усердно искал брату пристанище на лето, но хорошего найти не мог. Пришлось снять небольшой домик у станции и моста.

Туда и переехали Чеховы, всей семьей, старые и молодые, как всегда жили вместе. Было тесновато, и казалось временами, что уж очень одиноко. Лес, соловьи, недалеко Ока. «Тихо и покойно, а во время дурной погоды будет здесь скучно и грустно». Продолжалось это, однако же, недолго: к Марье Павловне направлялась из Москвы подруга, Лика Мизинова, с Левитаном. На пароходе из Серпухова познакомилась она с молодым человеком в поддевке и высоких сапогах — помещиком Былим-Колосовским. Рассказала ему, что едут на дачу к Чеховым, а дачу эту у железнодорожного моста он знал и правильно оценил положение: теснота будет страшная.

Дальше все произошло в духе того времени: на второй же день к даче подкатили две тройки, Былим-Колосовский приглашал к себе совсем незнакомых ему людей. (Чехова как писателя, возможно, и знал. А вернее делал вид, что знает. Но само звание «писатель» тогда в России ценилось.)

Чехов поехал и, конечно, не один, а со всей более молодой частью населения. Оказалось, что в часе езды у Колосовского великолепное имение Богимово, со старинным барским домом, где останавливалась некогда Екатерина проездом в Крым. Все в огромных размерах: комнаты так велики, что эхо повторяет сказанное в них, гостиная с колоннами, зал с хорами, дивные липовые аллеи, речка, мельница, пруд.

Антон Павлович тотчас снял верхний этаж этого дома и 17 мая уже из Богимова писал Лике, уехавшей в Москву, восторженное письмо.

Восторгаться, видимо, было чем. Сам Чехов поселился в бывшей гостиной с колоннами и таким огромным диваном, на котором помещалось чуть не десять человек. Окна до полу. Когда ночью гремела гроза, то вся комната вспыхивала в ее свете.

Окружение старины, барства, природы, поэзии — что же лучше для отдыха. Но отдых был здесь более внутренний, чем внешний. Можно думать, что в рамке чудесного дома, парка, прудов, в воздухе благожелания и дружественности чувствовал себя Антон Павлович хорошо. Но сейчас же засел за работу. «В лености житея мое иждих» — говорил о себе — и как несправедливо говорил! Сколько сделал за недолгую свою жизнь и с каким упорством, вполне чеховским, родовым, трудился всегда, несмотря на неважное здоровье.

В этом Богимове вставал около пяти утра, брат Михаил варил ему кофе в особенном кофейнике, он его пил и засаживался писать — не на столе, а как-то ухитрялся на подоконнике. Окно выходило в парк. Дрозды перепархивали, тянуло влагой и благоуханием: где-то скосили лужайку, где-то липы цветут. В цветнике разные левкои, маргаритки, львиные пасти.

До одиннадцати он пишет, по временам заглядывая в парк. Потом обед, краткий сон и опять труд до вечера.

Настроение было хорошее, он написал за богимовское лето очень много.

Это, во-первых, «Бабы». О них отозвался: «Летний, т. е. жиденский» рассказ — ничего «жиденского» в нем нет, это всегдашняя пренебрежительная его манера. Напротив, сгусток горечи, мрака, деревенской беспросветности. Есть отзвук Сахалина в самой драме семейной, кончающейся мышьяком и каторгой для Машеньки, есть глубоко запрятанный стон о детях (Кузька, сын каторжанки), есть всегдашний священный гнев на фарисеев, есть боль о женской доле, а в развитии художества самого Чехова «Бабы», как бы бутон будущих «Мужиков», «В овраге» — вершин писания его. Сказать про этот рассказ, что он «жиденский», можно только на смех.

Душевно это пока не отдых, все еще продолжение сахалинской преисподней, от которой даже светлое прикосновение Италии не вполне исцелило. А за спиной недописанный «Сахалин», им тоже приходится заниматься.

Настоящий отдых есть «Дуэль» — июль — август. Что писалась эта «Дуэль» в богимовском доме с эхом в комнатах

и колоннами в гостиной, с парком в вековых липах, куда заглядывал он постоянно, разложив листки рукописи на подоконнике, чуть не целый день выводя на бумаге мелкий узор слов — это естественно, так и должно быть. В нижнем этаже, под ним, жил зоолог Вагнер, тоже с семьей. С этим Вагнером шли у него долгие споры — о вырождении, о праве сильного, о подборе — все это перебралось в «Дуэль», как и сам Вагнер обратился в фон Корена.

Но самое главное: начал и написал он теперь светлую и милостивую повесть, добрую и трогательную, способную действительно целить раны, врачевать и подымать душу. Сахалин тут оказался в жизненной судьбе его, да и художественной, очень важным: после зрелищ бедствий человеческих особенно открылось сердце, да и захотелось мира — моря, солнца, умиления, Кавказа, захолустной и нешумной жизни, где есть, как и везде, люди слабые и порочные, быть может, на границе гибели моральной, но есть и доброта, улыбка. Гибель померещилась только, не пришла. А пришло спасение.

Путешествие его вдоль Черноморского побережья (1888 год) не прошло даром. Весь воздух повести, пейзаж, быт, люди, все с той поездкой связано, кроме только фон Корена.

Отправляя «Баб» Суворину, он приписал: «Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за генералов приняться».

Настоящих генералов нет в «Дуэли». Есть военный врач Самойленко, собственно полковник, но ему нравилось, чтоб его называли генералом. Дело, однако, в том, что этот Самойленко, в своей простоте, горячности и доброте до такой степени «заступник» прежней России, что какие бы то ни были ее грехи и слабости и неустройства, один такой кипяток заслоняет собой тьму пороков. Он очарователен и когда шумно приготовляет салат для своих столовников, фон Корена и молодого дьякона, и когда бессмысленно кричит, и когда без разбору дает займы деньги, и когда заступает за слабых, и когда на минуту обижается на Лаевского, и когда — не читав ни страницы Толстого — смущенно говорит о нем, что это великий писатель, потому что «все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры».

Есть и другое лицо в «Дуэли» — не знаю, откуда взял его Чехов — будто и второстепенное, мало причастное к действию, но в решительную минуту как раз весь ход действия поворачивающее — молодой смешливый дьякон. Тут Чехов будто совсем забыл, как сам увлекался Дарвином, как спорил с Сувориным, защищая материализм. Дьякон, «простое сердце» произведения, временно присланный в приморский городок, только

и ждущий случая услышать что-нибудь забавное и покатиться со смеху, он-то и оказывается высшим победителем повести — и своими детскими (по чистоте и простодушию) словами и делами сражает умного, но самоуверенного фон Корена.

Чехов быстро, помногу писал «Дуэль». Воздух ее освежал, даже укреплял его, но к концу он устал, ему стало казаться и длинно, и утомительно, и «напутал». Многое он переделывал, всю вещь переписал, как всегда, в письмах отзывался о ней пренебрежительно, оказалось же, что повесть эта, кроме внутренней значительности, выделяется и постройкою своею: очень хорошо развивается, вся движется — несмотря на философию зоолога — драматизм нарастает и разрешается как громом гроза дуэлью. «Дуэль» построена не как хроника, а скорее как пьеса, не пьеса «настроения», а с завязкой, подъемом и очистительною развязкой.

На глазах читающего слабый Лаевский и подруга его Надежда Федоровна, каждый по своему катятся вниз и вот-вот погибнут, а ведь в сущности их спасает смешливый дьякон. Когда фон Корен стал холодно целиться в Лаевского, он не засмеялся, а заорал из-под куста (был очень любопытен, хотелось посмотреть дуэль, хотя это и не очень подходяще «для духовного лица»).

Дьякон и раньше, в разговорах с фон Кореном, поддевал его очень простыми словами. А теперь уже не слова, а дела: дьякон просто движением сердца спасает и Лаевского, и самого фон Корена: один остается жив, а другой, промахнувшись, не становится убийцей. Здесь у дьякона именно слово стало делом: он ведь крикнул «слова» — только слова эти имели силу доброй молнии, т. е. дела.

Чехову, кажется, нелегко дался конец повести — в конце этом есть художническая опасность (начинают «новую жизнь» — можно сделать неубедительно). Но он кончил отлично.

Как ни трудно для человека, хорошо знавшего жизнь, искренно поверить в возможность резкой душевной перестройки и убедить в этом читающего, он именно это и сделал. Ничто не режет глаза в заключительной сцене, через три месяца после дуэли, когда фон Корен направляется к пристани, откуда должен уезжать и заходит по дороге к бывшему врагу проститься. Находит там других Лаевского и Надежду Федоровну, чем те, что знал раньше, и признает свою ошибку во всей истории с дуэлью. Дьякон и Самойленко его сопровождают, и опять дьякон оказывается победителем. Уже не хохоча, а восторженно говорит он фон Корену:

«— Николай Васильевич, знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!»

Вся внутренняя направленность «Дуэли» глубоко христианская. Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский: «во едином часе» может человеческая душа спастись, повернуть на сто восемьдесят градусов. Радует и то, как убедительно он решил труднейшую артистическую задачу — без малейшей натяжки и неестественности.

* * *

«После Илии повеяло холодом. Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями» — это написано Суворину 29 июля, а 18 августа сообщает он, что «Дуэль» кончена. Кончалось и богимовское лето близ Алексина, в воздухе недалеко Оки, лесов и перелесков, полей тульско-калужских. Все это Чехову очень идет, он всему здесь созвучен. Удачное, полное чувствуешь в его пребывании в Богимове — помещик Былим-Колосовский в своей поддевке и высоких сапогах, с заливчатскими тройками и широким размахом оказал литературе услугу несомненную.

Правда, «Сахалин» еще не кончен, но внутренне Чехов уже выходит из него, остается собственно только «послушание» — необходимость довести до конца взятую тяготу. Он ее продолжает и вывозит неконченную рукопись в Москву.

А в Москве осенью, с сентября, начинается у него, как всегда, пестрая, шумная жизнь. Нет того богатства впечатлений, как в Италии и Франции, нет и собранности, внутренней полноты деревенской жизни, так питавшей его. Конечно, работает, пишет и тут, но это не «Дуэль». «Дуэль» печатается уже в «Новом времени» и на «Малую Дмитровку, д. Фирганг» идут отклики с разных концов России. «Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени душевные и доброжелательные».

Эти письма — раннее явление той глубокой и прочной «народной любви», которая будет сопровождать его до могилы.

ПЕРВЫЙ ГОД МЕЛИХОВА

Еще когда жил дачником у Линтваревых, собирался Чехов купить имение. Через приятеля своего Смагина пробовал даже — тогда ему хотелось на Украине. Но не удалось. Все-таки мысль и желание сидели прочно, и под всеми его душевными колебаниями, поисками пути и сомнениями это оставалось неизменным. Вероятно, с годами даже росло. Хотелось оседлости,

устойчивости, чтобы вокруг было «свое». Может быть, говорил тут и голос крестьянских предков: в Чехове сидел хозяин и устроитель. Доселе проявляться этому было негде.

Весной 1892 года он купил, наконец, у художника Сорохтина небольшое имение Мелихово, в нескольких верстах от станции Лопасня, Московско-Курской жел. дороги — сама же Лопасня в семидесяти верстах от Москвы. Так что все это подмосковный мир, и само Мелихово можно бы назвать, по-старинному, подмосковной Чехова. Но подмосковные барских времен совсем иные. Ни дворцов с двусветными залами, ни оранжерей, ни парков в Мелихове не было. Тут скорей воскресил Чехов пионерство предков своих из Воронежской губернии, осевших на первобытной земле.

В Мелихове жили и до Чехова. Был там дом, что-то вроде парка (очень «вроде»). Собственно, пришлось все переделывать заново. Думаю, Чехову это как раз и нравилось.

Переехали всей семьей: Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, сестра Маша и сам Антон Павлович (братья Александр, Иван и Михаил жили уже самостоятельно). По чеховской хозяйственности все занялись кто чем мог. Дом начали перестраивать, чистить, оклеивать заново, кухню поставили отдельно, сад привели в порядок — все было заброшено. Теперь попало в домовитые руки.

Работали все: Мария Павловна, двадцативосьмилетняя девушка, занимавшаяся живописью и зимой преподававшая в гимназии Ржевской, теперь с утра надевала сапоги, целый день пропадала то в поле, то на гумне, то на огороде — чтобы не слишком утомлялся брат. Она его обожала. Некогда он на своих плечах выносил ее обучение, теперь она отдавала ему свои силы и жизнь (да так и отдала: замуж не вышла, чтобы за ним ходить. Считала, что навсегда останется он холостым). Павел Егорыч трудился в саду, Антон Павлович там же, Евгения Яковлевна по кухонной части и на огороде. Были, конечно, и кухарка, и два работника.

Дом одноэтажный, но поместительный. Впечатление у гостей, довольно скоро появившихся тут, получалось такое, будто Чеховы спокон века и жили здесь: настолько быстро освоили дом, внесли свое.

Лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, каминем и большим турецким диваном — кабинет Антона Павловича. У Марии Павловны девическая белая. Цветы, узенькая безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или моленная. Образа,

божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всенощную, напевал псалмы.

В усадьбе Мелихова ничего ни замечательного, ни просто располагающего не было. В той местности, и в недалеком Каширском уезде (уже Тульской губернии), мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательное, особенно по Оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако, ему в деревне понравилось, с той весны 92-го года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна... «В природе происходит нечто изумительное, трогательное». «Настроение покойное, созерцательное». «Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя», — такие строки очень редки в письмах Чехова, а вот весна в неказистом Мелихове отозвалась в нем так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал.

Но представить себе его бездеятельным, просто вздыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, все-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов и весенних зорь, и первых подснежников, и зеленей, и ощущений рая, он написал один из самых страшных своих рассказов «Палата № 6» — вот это уж противоположность богимовской «Дузли»! Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелиховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора — неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след «Скучной истории». Здоровые, больные — все призрак, все иллюзия. Цена как будто бы одна.

Если б спросить его самого, он ответил бы, вероятно: «Написал и написал. Деньги были нужны». Он терпеть не мог поэтических поз, «служения музам», «святому искусству» и тут даже перебарщивал. Прочсть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки Краснухине, который «насобачился». Но Чехов во всем особенный человек, и на других писателей не весьма похож. (Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его «высокоталантливым», а название рассказа напечатал «буквами вывесочного размера» — это произвело на автора «самое неприятное впечатление». Он не против рекламы, но считает, что «для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу».)

Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелихове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без притча. Для пасхальной заутрени сложились — вся деревня, Чеховы тоже, конечно. Пригласили из соседней Давыдовой пустыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелихове и не по-хорошему, но от красоты и поэзии самого богослужения все-таки не мог отказаться. «Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно».

В том же письме пишет он о скворцах. Их там много. «А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».

* * *

У человека моего поколения — если детство его проходило в деревне — остались в памяти разговоры взрослых о голоде (начало 90-х). Знакомые барышни, студенты собирались куда-то «на голод». Доктора рассуждали с родителями о каких-то «земствах», имя Толстого произносилось с великим почтением, он тоже куда-то призывал, к кому-то зывал. Голод, голод! Это казалось жутким.

Чехов, после спокойного лета в Богимове, осенью 1891 года в дела голода вошел основательно.

Вместе с давним своим приятелем Егоровым — тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии — придумал он особую форму помощи. Мысль такая: осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным.

Кроме литературы (он написал тогда «Попрыгунью», рассказ, доставивший ему большие неприятности), осень 1891 года идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей.

Вместе с Сувориным и «Русскими ведомостями» он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам, писал о голоде. Все им лично собранное посылалось Егорову. Тот и покупал лошадей, а Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92-го года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию — в лютые морозы, едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине, но, видимо,

удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Это была его судьба.

В декабрьских и январских письмах просто, скромно говорится «посылаю Вам 116 руб.», или «17 руб.», а потом досылает еще какие-то рубли. Будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всем заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные! Ужасно интересно по морозу ехать Бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам. Потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые и тоже закупка лошадей, но по-другому устроено — занимается этим губернатор Куровский («интеллигентный и искренний человек», «работает много»).

Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело, цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделали Чехов с Егоровым, во всяком случае для пути Чехова голод 91—92-го годов оказался важен, усилил в нем линию Сахалина. Тревога вечных вопросов — зачем я живу? Для чего пишу? Каков взгляд мой на мир? Это осталось, и двойственность прежняя. Но тут-то вот, рядом, есть несомненное — как говорит Западное христианство: «Dieu dans ses pauvres»¹. «Les pauvres» вокруг, от них не уйдешь, они прочно пристроились.

И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу «в Его бедных», как на Сахалине отдавал Ему же «в Его погибших», это удастся ему. Это выходит хорошо.

Вот он теперь, весной 92-го года, купил Мелихово и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна, чувствует он себя, наконец, оседло, сам себе хозяин, будто даже помещик, но именно тут он и водружен, со всею своей «фамилией», в самую глубину народа. В трехстах шагах от мелиховского балкона начиналась уже деревня.

Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям и Михаилам, и Егорам... «Ждал он в Мелихове жизни старосветских помещиков? Желаний, не перелетающих за частокол? Благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей? На него не похоже. Да и времена не те.

Тишины, спокойствия ему, конечно, хотелось, и в своем гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких «служениях народу», ни о чем торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но... «зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

¹ Бог в своих бедняках. (Примеч. авт.)

Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своем роде замечательно.

Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92-го года вместе с голодом явилась холера — бок о бок они и шли, как полагается в дьявольских выступлениях.

На этот раз дело для Чехова касалось не лошадей. «По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда» (13 июля). Дальше все в том же роде. Ему дали для надзора 23 деревни, а позже, по-видимому, 25. Нет у него ни одной койки, ни одного фельдшера. Это волнует и раздражает, но и страшно возбуждает. Все лето и осень огромная работа, непрерывные разъезды. Холеры в участке еще нет, но она надвигается отовсюду, идет и с севера, и с Оки, и вот она уже в Москве.

Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее не покладая рук. «У меня на 25 деревень одна кружка, ни одного термометра и только полфунта карболовой кислоты».

Опять, если его послушать, неизвестно зачем он все это делает. «Скучно». «Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь...»

Но зачем же тогда служить? От вознаграждения он отказался, между тем сам в долгах по имению и из гонораров ему вычитывают в погашение долга, а вот не может успокоиться, благодумствовать в удобном доме, все куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой. «Оказался я превосходным нищим», — набирал очень удачно и теперь у него «два превосходных барака со всей обстановкой и барак пять не превосходных, а прескверных». И тут же рядом: «Пребываю без гроша».

Превосходному нищему приходилось иногда и туго. Кого-кого не перевидал он за эти свои странствия! Был, например, у соседки графини Орловой-Давыдовой, хотел устроить барак для ее рабочих. Она «держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься». Или архимандрит, отказавшийся дать помещение для будущих больных. Этот дал повод Чехову прибавить в конце письма, после барынь в бриллиантах и благолепно-равнодушного архимандрита, две строчки: «У меня

часто бывает и подолгу сидит поп, прекрасный парень, вдовец, имеющий незаконных детей».

В такие и подобные им странствия уходят корни рассказа «Жена», где как раз в лихорадку борьбы с голодом вовлекают холодного, богатого инженера, пишущего у себя в имении ученое сочинение о железных дорогах. Все эти врачи, дамы, действующие там, это тоже окружение Антона Павловича Чехова. «Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь...»

Может быть, из-за принятых мер холера до его участка и не дошла. Была в тридцати верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины приходилось много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше тысячи. В октябре Серпуховское земство постановило благодарить его: чеховский участок оказался особенно удачным и почти ничего не стоил земству. Чехов обирал соседей фабрикантов, «которые и отдувались за земство».

В начале октября холера уже удалялась, но он не мог еще бросить своего участка, на день-два съездить в Москву. И только со второй половины месяца жизнь его налаживается. Иной оттенок появляется и в письмах — больше направлено на себя и на семью. Сестра Мария Павловна отказала жениху. «Ничего не понимаю». Со слов близких к семье Чеховых известно теперь, что она именно из-за брата и не хотела выходить замуж.

А о себе, все тому же Суворину, Антон Павлович пишет: «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».

После летнего подъема как будто вообще усталость. Но появляются литературные интересы — прелестно отвечает он брату на сообщение о Дании: «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию».

А за себя, как писателя, не так уж спокоен. В невеселой русской осени, в деревне, много размышляет о писании своем, вновь все-таки возвращается к настроениям «Скучной истории». Нет «общих идей». Писатели вечные или просто хорошие всегда «куда-то идут и вас зовут туда же и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель...» «У одних... цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота, или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества». «Вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет. А

вот «у нас», современных писателей, ничего этого нет». «Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Давняя тоска Чехова по Божеству. Отец Христофор *знал* нечто *всем существом*, чего не хватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу «в Его отверженных» Чехов служил усердно, не хуже отца Христофора, а, может быть, лучше. Но внутренней цельности в нем не было. Не цельность, а именно раздвоение, отсюда непрочность и тоска. Продолжается это до конца дней, какими бы мечтаниями о том, что будет «через двести, триста лет», ни опьяняли себя герои более поздней полосы его писания.

* * *

Год в Мелихове кончался. Для деревенской жизни в Чехове было нечто подходящее. Нельзя сказать, чтобы на новом месте он скучал, даже когда медицинская страда отошла. «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень»,— все это очень занимает. Но другой, всегдашний, меланхолический Чехов тут же рядом. «Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело». (Ему тридцать два года!)

Очень видишь Чехова, вот он сидит за воротами на лавочке и глядит в бурое поле, раздумывает «о том, о сем» — таким помнится он позже в Ялте, тоже на скамеечке и тоже в одиночестве, только не перед бурым полем, а перед ночным морем.

Зима довольно рано началась в 1892 году — во второй половине октября. «Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне». И хотя сажал вишни и яблони, и чувствовал себя собственником и с корнями, а все же — и как подходит это для русского человека в деревне! — захотелось ему и вдаль. «Будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж». В бурых полях или полях снежных, где чувствуешь себя, как на Луне, многие мечтали об Италии.

ЛИКА, «ЧАЙКА»

Лидия Стахивна Мизинова, подруга Марии Павловны, появляется в доме Чеховых в начале девяностых годов. Очень красивая, полная девушка с пепельными, вьющимися волосами, прекрасными серыми глазами. Видимо, живого и веселого нрава,

но с перебоями, с большой нервностью, большим требованием к жизни.

В дружеском кругу ее звали Ликой. Она служила в Москве в городской думе, училась драматическому искусству, одно время была младшей преподавательницей в гимназии Ржевской — отсюда и знакомство ее с Марией Павловной. Пела, вообще обладала артистической жилкой. В Москве у нее было много знакомых в кругу литературно-художническом, среди них Чехов и Левитан. Обоим им она нравилась, да и у других имела успех.

Нет сомнения: в ней было много привлекательного. И в красоте ее, и в своеобразии, порывистости, даровитости. В семье Чеховых ее любили. Можно думать, что положение ее было вроде родственного. Перемены в жизни семьи отражались и на ней. Снимали дачу в Богимове, она туда приезжает. Явилось Мелихово, она и с ним оказалась связана довольно прочно.

Дружески-сочувственные ее отношения с Чеховым начались еще с Богимова. Он, конечно, ее отметил. Но письма его к ней 91-го года незначительны, полны острот, поддразниваний, нельзя сказать, чтобы всегда удачных. В Мелихове впервые она появилась весной 92-го года, а затем в июне. Началось более серьезное с Чеховым, хотя тоже среди балагурства.

Сохранилась фотография: Лика и Чехов на скамейке, не то в парке, не то в запущенном саду с высокой травой и цветами, огромными деревьями в глубине. Холера еще далеко, Чехов свободен, очевидно, много они были вместе («Помните, как мы рано утром гуляли по полю?»), бродили по скромным окрестностям Мелихова, конечно, Чехов острил, дразнил ее, все-таки взаимное тяготение росло, это бесспорно. Что именно и как — неведомо, но вот они собрались даже ехать вместе на Кавказ: шаг довольно смелый, Лике было всего двадцать два года. Уезжая в Москву, она должна была там заказать билеты для обоих.

Как именно они прощались, неизвестно. Вскоре по ее отъезде Чехов получил от нее письмо — несколько строк его говорят о давних, таких человеческих чувствах тех, кого уже нет, как нет в живых никого из бывших тогда в Мелихове, да и самого Мелихова нет.

Вот что писала Лика: «Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что мне очень грустно и очень хочется видеть Вас. Грустно мне еще потому, Антон Павлович, что Вас, должно быть, удивило и не понравилось мое поведение вечером накануне моего отъезда. Сознаю, что вела себя чересчур уж девчонкой. В самом деле смешно — забытья настолько, что не понять

шутки и принять ее всерьез. Ну, да вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что верю, давно были уверены, что все так и есть».

Похоже на то, что, расставаясь, она сгоряча слишком много сказала о себе, своем чувстве, под впечатлением его слов, в которых не сразу уловила шутливость. Но Чехов всегда почти говорил так: вот и теперь установить в его письмах долю правды и маски не весьма легко. Видимо, вернувшись домой, Лика впала в некоторое уныние.

Чехов начал свое ответное письмо так: «Милая канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не хочется сидеть в карантинах». Предлог, вероятно, выдуманный: о карантинах и о холере он знал, разумеется, когда собирался с ней ехать. Наверно, просто раздумал («здравый смысл» — нельзя заходить слишком далеко). «Ликуся, вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать меня и себя за дурное (?) поведение, вы бы лучше написали мне, как Вы живете, что делаете, и вообще как Ваши дела. Ухаживают ли за Вами ржевские драгуны? Я разрешаю Вам эти ухаживания, но с условием, что вы, дуся, приедете не позже конца июля. Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой».

Следующее его письмо помечено концом июня и несколько иного тона, говорит и о его неустойчивом равновесии: «...И в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею. Не забывайте побежденного Вами

Царя Мидийского».

У Лики оказалось гораздо больше проницательности и знания жизни, чем можно было бы ожидать от девушки ее возраста. Она правильно оценила положение и не поддавалась двум-трем ласковым фразам. Вот ее ответ: «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!»

Лика хорошо Чехова поняла. Она ему очень нравилась, но не достаточно для решительного шага. Да и не был еще он готов, чтобы отдаваться целиком во власть женщины. Слишком был художник, живший писанием своим, слишком дорожил свободой и слишком был подвержен рассеянному эросу, легко, но неглубоко отзываясь на женственное.

И вышло так, как надо было в судьбах их: все это не вело

к перелому, но для него стало прологом, еще отдаленным по времени, к дальнейшему, к важнейшему его писанию. А для нее прологом к настоящему действию.

Проходит лето, занятое для Чехова холерой. Они обмениваются по временам письмами. Нельзя сказать, чтобы оба были довольны. Как будто осталась и у него и у ней некоторая заноза. Она его слегка язвит, он отстреливается, опять шуточки, опять тон, который мог ее и раздражать, хотя чувствовалась за ним и некая его уязвленность: в конце концов у него тоже ведь ничего не вышло. Вот он пишет ей из Петербурга в декабре 92-го года: «Ликуся, если Вы в самом деле приедете в Петербург, то непременно дайте мне знать. Дела службы, которые Вы ехидно подчеркиваете, не мешают мне провести с Вами несколько мгновений, если Вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два, на целый вечер. У Вас завелась новая компания, новые симпатии, и если Вы уделите старому, надоевшему вздыхателю два-три мгновения, то и за то спасибо». Но в конце письма опять задирает — вырезка из газеты о желании вступить в брак, о блондинке живой, веселой и т. п. «Вы вполне подходите под условия».

В том же духе продолжается и в 93-м году — они встречаются в Москве, когда он там бывает, приезжает и Лика в Мелихово, вновь письма и нередко она корит его, с прямою и смелостью, не совсем обычными для молодой девушки по отношению к известному писателю (его именем назван даже пароход на Волге: «Антон Чехов»). Да он и много старше ее. Но ее это не останавливает. «Милая Лика, Вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете меня им в каждом письме. Назовите этим словом Вашу собачку». Задевает она даже его писание («Писанье в свое удовольствие» — почти дерзко).

Но вот в одном месте он проговаривается. Что-то весьма «чеховское», чем наделяет он обитателей своих книг, вдруг применено к нему самому; и так мало похоже это на Чехова времен Бабкина, даже Линтваревых. От прежнего жизнелюбия мало что и осталось, действительно «Сахалин» — некий порог. «Я тоже старик... Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик». И дальше: «Лика, если Вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной».

* * *

Игнатий Николаевич Потапенко, беллетрист малороссийского происхождения, живой и расторопный, даровитый, весьма удач-

ливый, хорошо зарабатывал, много писал. Одно время имя его, совсем незаконно, ставилось рядом с Чеховым. Люди моего поколения помнят, сквозь туман юности, повесть его «Шестеро» — из жизни сельского духовенства (Потапенко был сын священника). «На действительной службе», «кидейная» вещь принесла ему почти славу.

Он довольно приятно пел, был общителен, обладал привлекательностью. Мог писать в день по печатному листу «без помарки», чем вызывал удивление Чехова. (Чехов зрелой полосой писал трудно и тщательно, иногда сжимал полстраницы в одну фразу.)

К Чехову Потапенко хорошо относился. Написал о нем воспоминания очень сочувственные и правдивые. Судьбы же писаний их оказались совсем различны — иначе и не могло быть. Слишком разные данные и слишком разное отношение к своему дару.

Познакомился Потапенко с Чеховым в Одессе, в конце 80-х годов. Встреча была беглая. Чехову он показался очень скучным — неизвестно почему. Этим и объясняется, что в письме к Лике (июль 93-го года) Чехов говорит: «Ко мне придет Потапенко. Сама скука».

Он и приехал. И оказалось, что вовсе не скучен, совсем нет: «Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет».

В декабре того же года он снова в Мелихове. «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет».

На этот раз он оказался даже весьма весел и певуч. Лика аккомпанировала, а он под аккомпанемент этот запевал девичье сердце. Заговаривал, конечно, и «жалкими словами», действовала и горячая кровь южная, темперамент, прямолинейность. Те Святки в Мелихове оказались для Лики роковыми. Потапенко ясно знал, чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Да весьма возможно, что и сам влюбился: он был влюбчив, а Лика привлекательна.

В начале 94-го года он уехал в Париж. Лика и подруга ее Варя Эберле тою же весной тоже решили ехать в Париж «учиться пению».

Чехов в январе чувствовал себя в Мелихове неважно: кашель его усилился. Вероятно, из-за нездоровья и чтобы перебить настроение, уехал он в начале марта в Ялту.

Там поселился в гостинице «Россия», вел жизнь тихую и довольно скучную, хотя ялтинский март оказался совсем теплым, светлым, все в зелени. Белые коридоры «России», мягкие красные ковры, по которым бесшумно проходят — то официант, несущий на серебряном подносе кофе Антону Чехову, то дама с собачкой,

то болезненного вида господин, приехавший лечиться. Из окна, в сиреновом тумане, видна гора, к ней подъем в беленьких дачках и домиках.

В этой тишине, в номере гостиницы «Россия» с бархатной зеленой мебелью, написал он прелестный рассказик «Студент» (в пятницу на Страстной студент Духовной академии рассказывает бабам, у костра, что происходило две тысячи лет тому назад в этот вечер в Иерусалиме, во дворе Первосвященника — отречение Петра, петух, «трици» возглашающий, слезы Апостола...).

Позже сам говорил, что это любимая его вещь — в ней сказано и нечто самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах (в них иной раз противоположное, но это на словах, «для разума»). Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова — этой весной 1894 года ему открылось (явно), что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле». Христова правда составляла главное! — это мало подходило к духу времени. «Студент» был напечатан 16 апреля 1894 года в «Русских ведомостях», либеральной газете нашего детства — по ней мы учились читать. Вероятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками клинышком, честные курсистки и благородные статистики в земствах матушки России.

А сам автор не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки. Правда, Потапенко уехал будто бы «в Италию», но Чехов знал его уже достаточно — с этой именно стороны.

В конце марта, на Страстной, пишет он из Ялты Суворину: «Будь у меня тысяча или полторы, я бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам».

Суворин не знал, по каким именно. Мы знаем несколько больше и можем догадываться.

Лика была в это время еще в Берлине, остановилась там по дороге в Париж. 15 марта помечено ее письмо Чехову в Ялту. Оно отражает нервность ее и жажду жизни: «Хочется поскорей добраться до места и хочется также и Берлин посмотреть, ведь я скоро умру и ничего не увижу».

Он так ответил: «Милая Лика, спасибо вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но все-таки спасибо. Я отлично знаю, что

Вы не умрете и что никто Вас не отвергал». Дальше идут, разумеется, шуточки («Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку»). Но общий тон ласковый (хотя и сдержанно), может быть, и с оттенком грусти. Как и веселиться, при этом, когда мучают перебои сердца и надо писать, писать... Он устал. «Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица...— начало фразы будто Треплев обращается к «Чайке», а дальше во всегдашнем роде,— и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать».

В апреле он возвратился в Мелихово и просидел там лето. Только в августе отправился в путешествие по Волге, вместе с Потапенко, возвратившимся из Парижа. Путешествие вышло странное: до Царицына, как думали, не доехали. В Нижнем на Чехова напала тоска. Было жарко, сухой ветер, ярмарка гремела, появился Сергеенко («друг Толстого»), нагонявший на Чехова всегда уныние — «...Я взял свой чемодан и позорно бежал... на вокзал. За мной Потапенко». Решили отправиться к Линтваревым, на Псел, в Луку. Там гостили некоторое время.

Вообще же Чехов всю эту осень как-то метался. О Лике не знал ничего. А по-видимому Потапенко, разъезжавший теперь с ним, именно перед отъездом из Парижа Лике и бросил после краткой с ней связи. Этого Чехову, конечно, не рассказал.

От Линтваревых Чехов вернулся опять в Мелихово, но не надолго. В Таганроге тяжело болел дядя его, тот, заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодущии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его, письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок — тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и сына его, своего двоюродного брата Георгия (странным образом письма к Георгию даже ласковей и во всяком случае интересней писем к сестре Марии Павловне, поражающих сухостью).

Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уж усидеть дома, отправился лечить его: вернее, проститься с тем, кто в его детстве, рядом с суровостью Павла Егорыча, являл облик доброты и утешения. В живых его застал (но не надолго).

Из Таганрога поехал в Феодосию к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал: книги продавались хорошо. Это давало большую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем

отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию: «Милый Жорж... не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его».

Сам он находится в некотором смятении и не знает, что с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть, окажется за границей. Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но за границу, вероятно, влекло и нечто другое.

Здоровье его неважно. Однако, если лечиться и укрепляться, надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в Аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Лика, но я все-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами... Потапенко говорил мне как-то, что Вы и Варя Эберле будете в Швейцарии». Если это верно, то пусть напишет, он повидался бы с ней «разумеется, с восторгом... Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии».

Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал так же, как Вас».

В Аббации он пробыл недолго, попал вновь в Италию, побывал в Венеции, Милане и проехал на французскую Ривьеру, в Ниццу.

Недоразумение с письмами Лики разрешилось в Ницце: она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный — она одинока и ей тяжело. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, «но предупреждаю, ничему не удивляться». Была ли уже заметна ее беременность, или она говорила «вообще»?

«Ваша карточка из Таганрога повесела на меня холодом». (Чехов мог иногда писать очень сухо именно тем, кого любил.) «Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с Вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа и, как я думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы».

В переводе на русский язык выходит: если бы вы были решительней, если б уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжелой истории наполовину назло вам... и т. д.

В письме от 3 октября повторяет: пусть ничему не удивляется. «Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От нее не осталось и помину. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камень. Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям».

Это задело Чехова. («О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать».) Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и сознавал это, и это давало тон его отношению к другим. У него (в письмах) есть замечательная строчка о страдании от греха — ее мог написать только тот, кто на себя испытал, что такое грех (и как слаб пред ним человек). Но никогда грешника он не карал: это Лика тоже чувствовала.

«Равнодушие к людям... Странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившем там здоровье, губившем его и в борьбе с голодом, холерой у себя же в Мелихове. Но в следующем письме Лика возвращается к этому, в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только Вас — потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие».

Они все-таки не встретились. Он мог бы из Австрии проехать в Ниццу через Швейцарию, но теперь его связывал Суворин, «тащить» его в Швейцарию было неудобно.

Родным он в конце концов сознался, что находится за границей. Пишет Маше из Ниццы, 2 октября: «Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии, туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить».

Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже все знал. Все было и кончено.

* * *

В декабре 1894 года Лика была уже в Париже, снова. Чехов — в своем Мелихове.

Писателем он никогда не переставал быть, это всегда на первом месте. Несмотря на все бродяжничества этой осени, на некоторую и смятенность, он успел написать «Три года», большую повесть. В ее ровном, спокойном течении как бы отражена

некая «река времен» — люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну, добивался ее, женился наконец. Она к нему равнодушна. Его мучит, что, быть может, она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают неизвестно зачем, так в жизненном движении неплохих и неярких людей все понемногу меняется. Проходит три года. Лаптев остывает к Юлии, она привязывается к нему — просто она теперь его любит. А ему казалось, что он «женат на ней уже лет десять».

«Поживем — увидим».

Был ли в повести этой, написанной в форме хроники, внешне недраматичной, отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Все же возможно, что переливы чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в калейдоскопе игра фантастически-разноцветных кусочков, отразились в «Трех годах», произведении будто и невыигрышном, но написанном с той простотой, уверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд чеховских писаний.

В декабре 1894 года, как раз когда читал в Мелихове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маше в Москву он сообщает о нем холодно-новато. («Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут».)

Все это у Лики сказано иначе: «Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху. Неужели и Вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без Вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на Вашем диване, поговорить с Вами десять минут, поужинать...»

Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы «все осталось по-старому». Перемены, конечно, огромные. «Свинья» Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец? Нет известий. Во всяком случае, скорее умер. В Россию Лика вернулась одна.

Собственно здесь и кончается все. Знакомство с Чеховым и его семьей не прервалось, шуточные записочки сохранились, но это лишь внешность. И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и искусстве Чехова как бы продолжалась —

родила «Чайку» и весь чеховский театр: событие и для самого Чехова и для российской литературы немалое.

«Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелихове. Все не то и все выросло отсюда, кривно связано.

* * *

95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имении Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причина — Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Тройца: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный», по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо — не очень-то он хотел распространяться о деле, слишком для Левитана интимном.

В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодотворным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином» — отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»). «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но конечно все писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».

«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.

«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия, и судьба.

Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу... не без удовольствия», — надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».

L'amor che muove l'sol e l'altre stelle¹ — это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение

¹ Любовь, движущая солнце и другие звезды. (Примеч. авт)

Антон Чехов, явившееся осенью 1895 года,— оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное — любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек.)

Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имени Турчаниновой: «...Располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.

Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова — так он все прятал, но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра, и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.

«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.

Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.

Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригоринным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву): «Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами.

Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием — это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели (кажется, единственный случай в литературе нашей): и утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, уходящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно.

Есть и еще особенность «Чайки» — связано это с эпохой.

Девяностые годы в России не то, что восьмидесятые. Не такая уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства: Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».

Чехову Ибсен наверно не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Йоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь (на сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведения.

В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки...» (все вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует и Дьявол должен явиться).

Сразу чувствуешь некий особенный оттенок. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится его душа. Это Тригорин записывает каждую удачную фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на роаль»). Чехов же между ними посредник.

Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Йоиль младший», все-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символически чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), все же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской *есть*.

Все складывалось, конечно, по-особенному вокруг этой пьесы. Не напрасно была история с Ликой, не напрасно все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.

Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое

предприятие), посылаясь она на суд Суворину, был момент, когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».

Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое — драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилось, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «Открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «Может любить только молодых».

В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась повестка для актеров на генеральную репетицию — 16 октября 1896 года. Премьера 17-го.

Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.

Надо же было придумать — ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостинодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!

Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна все же досидела до конца и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович придет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Сувориным, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал с товарно-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».

Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.

«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».

* * *

Ли́ка довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х годов вновь была за границей — частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма — Ли́ка одно время входила в труппу Художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали за границу.

Теперь жизнь Ли́ки не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом за границей.

В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина.

— Знаете, кто это? — спросила моя знакомая.

— Нет.

— Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахивевна и скончалась.

ВНОВЬ МЕЛИХОВО

Ни одного романа Чехову не пришлось написать, хотя, может быть, и хотелось. Где грань между повестью и романом? Кажется, не установлена. Решается более на глаз, по глубине дыхания или длине волны. Ни дыхания, ни волны романиста у Чехова не было — и не надо ему этого. Его прекрасный дар выражался в ином. Чеховские шедевры так сжаты, кратки и густы, что о романе не может быть речи.

«Моя жизнь» довольно длинная повесть (были у него, однако, и длиннее: «Дуэль», «Степь»). Но те он писал в большем подъеме, «Степь» в особенностях. Потому, можно думать, что они непосредственной — «Степь» даже ближе ему кровно. «Моя жизнь» очень замечательна, но с меньшим обаянием, чем те. Она суше, в ней меньше внутренней влаги. Может быть, имеет значение, что в ней много обличительного. Это некий голос о неправдах жизни, даже проповедь (от части в духе Толстого).

Много верного, но как и у самого Толстого поздней полосы, указующий перст мало дает радости.

Да, жизнь груба и жестока, богатые себялюбивы, отец-архитектор фарисей, инженер хамоват и ловкач, во всем городе нет ни одного честного человека, «лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой» и у них были высокие стремления, но и девушки, выйдя замуж, опускались. В общем же «трудиться надо, скорбеть надо, болеть надо», — гремит худой, с высохшими губами Редька, странный подрядчик малярных работ, чистейший человек, праведник, вероятно, сектант (и без влаги, и без греха). «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!» Все правильно и чем-то этот Редька трогателен, но в нем нет того света, как в отце Христофоре из «Степи».

Сам рассказчик — сын архитектора, бросающий немилый дом, уходящий к малярам, обращающийся в рабочего, тоже во всем прав и тоже во всем суховат. И достоин, и праведно протестует, а чего-то в нем нет. Смирения, любви? Он тоже сектант, как и Редька. Сектанты же часто чрезмерно горды (праведностью своей).

Над «Чайкой» прошло легкое веяние символизма. Над «Моей жизнью» веяние Толстого поздней поры. Приблизительно в это время (несколько ранее), Чехов с Толстым и познакомился. Он произвел на него большое впечатление. Но их отношения сложны. Толстой Чехова восхищал, но иногда раздражал.

Толстовское опрощение, «в народ», в «Моей жизни» бесспорно. Есть в ней, однако, и глубокая чеховская серьезность, есть внутренняя значительность, новизна положений, своеобразие всего и какая-то строгость. Аскетическая строгость — редкий для Чехова случай.

Написал он ее довольно быстро, к сроку. Возможно, этим и объясняется, что в ней немало мелких словесных промахов. Кончил в начале августа, доделывал в корректуре, а уже ранней осенью стали ее печатать в «Ниве». В критике «Моя жизнь» прошла незамеченной — хороша была критика! — для самого же Чехова, для пути его имела большое значение. «Чайка» начала новый театр, «Моя жизнь» определила новую внутреннюю струю писания его: общественную.

* * *

«Вчера пьяный мужик-старик, раздевшись, купался в пруду, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков — сын побил».

«Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь».

Первый отрывок — из мелиховского письма. Второй из повести «Мужики», написанный тоже в Мелихове, весной 97-го года.

Не из одного мрака состояла жизнь тогдашней деревни. Но его было достаточно. Тьмы, грубости было достаточно. С ранних лет видел Чехов много тяжелого. Все это было на юге России, в Таганроге. Теперь он жил под Москвой, рядом с согражданами-крестьянами.

«Мужиков» писал медленно. Это одно из очень пронзительных его произведений. И очень важное. Важность его он и сам понимал. Позже, покидая навсегда Мелихово, говорил, что после «Мужиков» Мелихово для него исчерпано.

Пронзительность повести состоит в соединении грубости, ужаса даже, с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией. Вернее даже, ею и рождены. Мужики бедны, грязны, напиваются и безобразничают, но они никак не звери. Конечно, бывший лакей в «Славянском базаре» Николай Чикильдеев, родом из этого же села Жукова, по болезни возвращающийся в деревню, жена его Ольга и дочь Саша несколько выше жуковцев. Жили в Москве, кое-что видели, даже по Москве тоскуют в убожестве мужицкой жизни. (Ольга — первый вариант Варвары из более позднего шедевра «В овраге» — то же смирение и благообразие русской простой женщины: это знал он по своей матери, да и по тетке Федосье Яковлевне.)

Но вот и сами «мужики». У Чехова сказано:

«Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей «вы»».

Ведь и те бабы, которым в Страстную пятницу студент Духовной академии читал у костра Евангелие, тоже никогда раньше ничего не слышали.

В деревню принесли Живоносную икону. «Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили.

Громадная толпа и своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирьяк — все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

— Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжелой невыносимой нужды, от страшной водки».

Плачет и протягивает руки к Живоносной тот самый Кирыяк, который бил безответную жену, и в пьяном виде снова будет ее бить, а самого его высекут в волостном правлении и он в трезвом виде будет мучиться.

«Мужики» — ряд сцен, нанизанных на жизнь семьи Николая Чикильдеева в родной деревне, до его смерти. По устремлению общественному связь с «Моей жизнью» есть, но «Мужики» плодотворнее, ярче и непосредственней. В последних страницах кое-что вяло (рассуждения о мужиках), но самый конец все возносит. Пережив тяжелую, полуголодную зиму, после смерти Николая, Ольга с Сашей уходят из деревни Жуково, просто пешком, без копейки денег пробираются в Москву. Весна, солнце, в полях жаворонки. «В полдень Ольга и Саша пришли в большое село». Там Ольга выбирает избу, которая оказалась ей получше, и останавливается перед открытыми окнами. «Поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

— Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой».

Тот же вековечный нищенский припев тянет за ней Саша. И выходит как-то так, что смиренные голоса этих женщин говорят больше чем за себя самих: за всю нищую деревню и Россию.

* * *

Повесть выдержала сразу несколько изданий, вызвала мнения различные, произвела шум своеобразием своим, не подходившим под народническую выкройку. Но подумать только: вещь, полная сочувствия народу, даже с затаенными слезами (где-то далеко запрятанными), вещь, которая местами берет как раз смело-высокие ноты, на границе риска — вдруг приводит к тому, что какие-то «писатели», при баллотировке автора ее в Союз Писателей, выступают против избрания.

Короленко, предлагая Чехову вступить в Союз, говорил, что это пустая формальность.

Но вот Короленко, сам народник, человек разумный и благожелательный, очень ценивший Чехова, тут просчитался.

Чехов все-таки был избран — только бы не хватало, чтобы его забаллотировали!

В судьбе же его жизненной «Мужики» тоже оказались знаменательны.

Кончив повесть, он поехал в Москву, как обычно. Там находился в это время Суворин, там жили Лавров и Гольцев, значит «Большой Московский», «Эрмитажи», «Славянские базары»...

Должна была приехать и Лидия Алексеевна Авилова, молодая писательница из Петербурга, с которой были у него в это время какие-то нежно-запутанные сердечные дела.

Условились, что она зайдет к нему в «Большой Московский» вечером 23 марта. Она и зашла. К великому своему огорчению, дома его не застала. Показалось даже обидно: сам назначил и его нет.

Но Чехов виноват не был. В этот день, в 6 часов вечера, он отправился с Сувориным в «Эрмитаж» обедать. Только что сели за стол, у него хлынула из горла кровь.

Обед расстроился, как и свидание с Авиловой. Суворин увез его с собой в «Славянский базар», там Чехов и провел ночь, очевидно неважную. Потом перебрался в «Большой Московский», но не надолго: врачи велели переехать в клинику. Так что в конце марта он лежал уже на Девичьем поле в клинике Остроумова. В белой, чистой палате можно ясно представить себе похудевшего, тихого Чехова, спокойного и невеселого, конечно, но никак не ноющего; может быть, только с большею, чем обычно, грустью. На столике у кровати письма, цветы, в комнате приношения. Сколько в Москве всякой снеди, сластей, пирожных, конфет от Флея и Абрикосова! А ему нужно питаться. И женские сочувственные сердца не иссякают.

Авилова явилась в первый же день, несмотря на запрещение — от нее роскошные цветы. Разумеется, прилетела Мария Павловна.

А 28 марта произошло в клинике Остроумова даже некоторое событие: навестил Чехова Лев Толстой. Посещение, может быть, и поднявшее дух Чехова, но медицински неудачное. Толстой ни с чем не считался. Ему интересно было говорить о бессмертии души, он и говорил с тяжелобольным, сколько ему нравилось. Полагал, что бессмертие существует в высшем разуме и добре, где сливаются души после смерти. Чехова такое бессмертие не удовлетворяло, он говорил что-то свое, но главное — устал и разочаровался. Толстой ушел, а у него в 4 часа утра началось сильное горловое кровотечение.

Весна была ранняя. Перепадали небольшие дожди, близилась Пасха. В Москве звонили великопостным звоном. Авиловой самый воздух на улицах казался «упоительным», от дождя будто

камни мостовой даже стали душистей. Может быть, оттого все казалось ей замечательным, что она любила Чехова, он теперь был в беде, женскому сердцу ее еще ближе, все вообще обостренней. В редакции «Русской мысли» она услышала, что ему очень плохо. За него просто даже боялись. И вот, прежде чем зайти опять в клинику, она стоит на Замоскворецком мосту, смотрит, как бежит внизу река со льдинками и все у ней вертится в голове, как ему плохо. Вспоминает, что и письма свои, последнее время, он запечатывал печатью с надписью: «Одинокому везде пустыня».

Но ему не было еще назначено уходить. Московские светила так определили: верхушечный процесс в легких. Дело серьезное, но жить можно, надо питаться, не уставать, на зиму перебираться в теплые края.

Он пролежал в Москве всю первую треть апреля. Понемногу оправлялся. Но работать было запрещено, и «через Машу» он объявил в Мелихове, что медицинскую практику прекращает. «Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть».

При всем невеселом настроении не пошутить не может. Кроме легких, все остальное у него в порядке. «До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!»

Последние дни в клинике он уже выходил по утрам, направлялся в Новодевичий монастырь, на могилу Плещеева. (Вообще любил бродить по кладбищам — черта, никак не идущая к медицине его.)

«А другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки. И на душе бывает так странно и тихо!»

11 апреля, на Страстной, был он уже в Мелихове. Как раз в этом месяце вышла книжка «Русской мысли» с «Мужиками». Повесть для Мелихова оказалась прощальной, а для жизни Чехова — внешней и внутренней — поворотной. С этого времени и болезнь его углубляется, и утончается писание.

Приятель молодости Чехова «Жан» Щеглов, посетивший «Антуана» в Мелихове в конце апреля — ужаснулся, как изменился он.

Этот Щеглов, писатель небольшой, но натура хорошая, Чехова очень любил и понимал правильно. По его мнению, «Антуан» стал меняться со смерти брата Николая с 89-го года, затем поездка на Сахалин в 90-м году и вот теперь эта болезнь —

все усиливало «меланхолически-религиозную» ноту в нем, обостряло лучшие его черты и возвышало писание. Вспоминает Щеглов и мнение Гоголя о значении болезней — замечательно, что Чехов, не считая себя религиозным, крест болезни нес безропотно, покорно, мужественно: это облагораживало, одухотворяло. Щеглов верно заметил, что он лучше стал и писать.

В Мелихове это лето прожил покойно. Уже в конце мая считал, что оправился — «Знакомые при встрече не всматриваются в лицо и бабы не причитывают, когда я хожу по деревне. Кашля почти нет...» В июле: «Я отъехал и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».

Вопрос гостей так и будет преследовать его до могилы. Еще в клинике был у него проект: жениться. Именно для этого. «Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину». Но ничего не вышло. Не осуществилось и наступление на дам, мучивших своими пьесами («Зазвать всех баб в магазин Мюра и Мерилиза и магазин сжечь»).

Подходит осень, из Мелихова надо уезжать, на этот раз за границу.

Осень 97-го года для Чехова это сперва Биарриц, потом Ницца и Ницца — 9, rue Gounod, Pension russe. Здесь он долго живет, всю зиму 97—98 года. Из подходящих ему людей — встречи с Максимом Ковалевским, обеды у него в Болье на вилле. Наездом Немирович-Данченко (Владимир), Южин. В писании затишье, лишь кое-какие мелочи (но их он тоже старается отделять: требует от «Русских ведомостей» корректору рассказа «В родном углу»: «...Исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны», — ритм фразы всегда у него своеобразен, это важная часть его художества. Он и Авилову упрекает за небрежность письма: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать — в этом искусство».

В общем же за границей ему невесело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по три недели бывает кровохарканье?

Русские в Пансионе не очень нравятся. И вот пишет он письма, читает газеты. Дело Дрейфуса волнует и занимает его.

К Европе отношение очень «молодое», чтобы не сказать наивное («От всякой собаки пахнет цивилизацией»). Дает он сестре Маше в письмах уроки французского языка («Même значит «даже»; «de même» — «также». «Поздоровавшись, ты говоришь: «Je suis charmé de vous voir bien portant» — «Я рад видеть вас в добром здоровье»»).

И этот же человек с чертами «молодости», сам пишет, ей же, несколько позже, что, хотя ему 38 лет, а такое чувство, будто прожил 89.

Восемьдесят девять, но вот ему интересно купить себе цилиндр, хочется и подарками угодить в Мелихове — он из-за границы всегда привозил своим разные вещи, с большим вниманием и любовью к этому относился («Папаше соломенную шляпу купил, но без ленты». Марии Павловне платки).

В общем эта зима за границей мало дала ему для здоровья. Хуже оно не стало, но и не улучшилось. «В весе не прибавился ни капли, и по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».

Весной вернулся, лето проводил в Мелихове. Спокойная, налаженная жизнь продолжалась. Мария Павловна хозяйничала, управляла имением. Евгения Яковлевна закармливала гостей, обольщала их лаской. Павел Егорыч вел дневник. «Рябая корова отелилась». «Сегодня обедали, все было вкусно. Разговоров было много. Росбив понравился Антоше». «Антоша приехал из Франции. Привез подарков много».

И, наверно, казалось, что всегда так и будет.

Осенью «Антоша» уехал в Ялту, зиму опять должен был проводить на юге. И поселился, и проводил. И никто из них, вероятно, не думал, что летняя запись Павла Егорыча: «Я уезжаю в Москву через Ярославль...» — будет последней.

Но так именно и вышло. 14 октября 1898 года помечена телеграмма Антона Павловича из Ялты в Мелихово:

«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать — Антон».

В книге же бытия самого Павла Егорыча под 12-м октября записано рукой Марии Павловны: «Сего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в 1 ч. полуночи».

В свое время он обижался на «Антошу» за советы меньше есть. Может быть, особенно вкусную кулебяку спекла ему Евгения Яковлевна, или гусь был уж очень хорош, или еще что, только внезапно случилось у него «ущемление кишки». «Антоши» под рукой не было. Хватились поздно, везли со станции по рытвинам, в российской осени, по слякоти. В Москве сделали операцию, но было поздно. Павел Егорыч очень мучился. Конечно, был бы в Мелихове Антон Павлович, он бы не допустил до омертвления кишки. Но его именно не было, и у себя в Ялте он тяжело переживал эту смерть.

Кончилась долгая, тоже тяжелая его история с отцом. Многое тут приходилось преодолевать. И хотя держался он с ним всегда почтительно, но любви не было. Даже и простить не все мог.

Теперь подошла смерть. «Чужая душа потемки», — слова самого Чехова. Простил, или не простил? Ничего он не говорит об этом. Но по совокупности думается, что смерть сразу все унесла: давнее, горькое, просто унесла в потрясении.

«...Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Что мать?»

«Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни» — это не напишет человек, у которого за пазухой камень. А «течение жизни» кончалось. Через несколько дней уже пишет он Суворину, что, вероятно, продадут Мелихово.

Здравый смысл был за это. Раз Антону Павловичу нельзя жить на севере, тогда проще всего устроиться с матерью в Крыму.

* * *

29 июня 1899 года, в 2 часа дня Чехов написал Марии Павловне: «Был сейчас молодой Зайцев...» «Мелихово очень ему понравилось. Очевидно, Мелихово очень хорошее имение и жаль, что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50».

Да, это я ездил в Мелихово по поручению отца, по газетному объявлению (выбрал именно Чехова потому, что любил уже его и хотел посмотреть) — отец тогда покупал имение под Москвой. Это я Чехова в Мелихове не застал, к самому Мелихову, как имению, остался довольно равнодушен, но все, что в нем было чеховского, начиная с Марии Павловны, через Евгению Яковлевну и приятельницу их Хотяинцеву, веселую художницу с узлом волос на голове — все такое понравилось очень. Пусть там же почувствовал я, что вряд ли мы купим это серенькое именье на ровном месте, без всякой привлекательности. Все-таки, после веселого завтрака на террасе с хлопающей от ветра парусиной, я ходил (из вежливости, от смущения?) с каким-то старостой осматривать владение. Видел флигелек Чехова, кажется, там было что-то вроде вышки, откуда он любил рассматривать звезды. Да еще уголок с темной аллеей в саду — тоже хорошо. Напомнило декорацию первого действия «Чайки».

Рядом село Мелихово. Мы были и там. Школу в селе этом выстроил Чехов. Церковь он украшал. Крестьян он лечил. Проводник мой не так был многоречив, все же рассказывал, и в самом тоне того, что говорил, было столько почтения к Чехову... Да, теперь еще больше хотелось его увидеть. Вернувшись, я спросил у Марии Павловны адрес его в Москве. Если в ней

была капля наблюдательности, она, конечно, заметила, что это поклонник, а не покупатель.

И поклонник действительно позвонил у двери квартиры на Малой Дмитровке, в жаркий солнечный Петров день, и ему отворил худощавый человек в пенсне, с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничок пиджака поднят, будто ему холодно и он кутается, а была попросту жара. Негромко, баском сказал:

— Пожалуйте, пожалуйста...

И верно, что сразу же он очень понравился. Чем именно? Разве это можно объяснить? Выражением глаз, формой лица, улыбкой, вообще всем. Не помню, что я говорил ему о Мелихове. Но смущенную мою восторженность он понял так, что Мелихово такое особенное, за него надо просить не 15—20 тысяч, как делала Мария Павловна, а 40—50.

Нет, это была любовь не к Мелихову, а к нему самому. Мой грех состоял в том, что я напрасно отнимал у него время. Но меня вела любовь — быть может, в ней некоторое оправдание. Любовь привела меня к нему в тот день апостолов Петра и Павла, когда, по его же желанию, Мария Павловна и «мамаша» служили панихиду по скончавшемуся рабу Божию Павлу (день его именин), уводившему теперь их всех из Мелихова.

Любовь Марии Павловны собрала все его письма, даже неважные. Но для кого неважные, а для кого и важные. В том же письме от 29 июня есть такая фраза:

«Был я сегодня в Ново-Девичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась».

Значит, в то самое утро, когда я к нему явился, он только что вернулся из Ново-Девичьего.

Ему и раньше там нравилось, теперь связывала и могила отца. Думал ли он, что и ему самому скоро придется здесь лечь? Этого я не знаю. Как не знал тогда и того, что в летописи литературы нашей сохранится — для меня лишь важный — день первой моей встречи с Чеховым.

Мария Павловна продала Мелихово тем же летом. Но не нам.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Началось все это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому чело-

веку моего возраста — просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улице. Это барский дом, принадлежавший Шереметьевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.

Константин Сергеевич Алексеев, актер-любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер — это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва все робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.

С весны 97-го года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, все же летом 98-го года репетировали уже к зимнему сезону.

Чехов знал и Алексеева-Станиславского, и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый современный автор.

Немирович знал «Чайку» и раньше, очень ценил и хотел ее для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.

«Чайку» не он один оценил, несмотря на ее неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.

Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.

При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» — слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал: не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12 мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как «Чайка» единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

На этот раз Чехов ответил по-другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить ее можно.

Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «К стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в высших ее областях. Но все-таки занялся мизансценами непонятой (и значит, нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского — через силу и наугад — оказался первостатейным.

Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять ее судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего Клуба в ту же самую минуту, что и Лужского — Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других (Артем позже вошел в состав).

Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинавшую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.

В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.

За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции «Фед. Иоанн.»; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато», можно только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось.

Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Ме-

лихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет об их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».

«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура. Дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на нее все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.

Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но все-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.

Станиславский так волновался, что, когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.

Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно, Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.

Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная — еще шаг и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось: зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в иступление.

Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».

В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» — они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебивали на этой «Чайке» в первый же сезон и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».

Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами — страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.

«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем Ялте. Ему отправили телерамму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневецкий — бывший товарищ по гимназии в Таганроге — кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если бы Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на «Чайке» и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневецкому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).

Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями: Книппер заболела и нечем было заменить ее, но потом все наладилось и успех оказался огромным.

Театр с нескладным названием «Художественно-общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.

Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Все это происходило именно в России.

* * *

Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича — тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.

Плод получился поучительный. «Иванов» написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с «Лешим» это совершенство. Прошел год и за этот год Чехов, как драматург, не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чехонте, хотя Чехов написал

уже «Степь», «Скучную историю». Собственно «Чехова» в этом «Лешем» едва узнаешь.

Автор получил тысячу рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась, как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 октября в Александринском театре. Но проявил тут неидушную к нему самоуверенность: пьесу просто не приняли. Председателем Литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же и забракował теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его «двоедушным» и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печатать ее раздумал. А позже был просто в ужасе от нее.

Все-таки, что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти.

Произошла странная, если не сказать удивительная вещь: из «Лешего» развился «Дядя Ваня». Но за эти годы — с 89-го по 96-й из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась «Чайка», углублялась болезнь.

Он вернулся к «Лешему». Но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он «Дядю Ваню», а обычно отписывал даже о мелких вещицах. Тут как бы прячется. Почему? Непонятно. Много позже, когда «Дядя Ваня» уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату: будто написал пьесу в 90-м году.

Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по-настоящему к концу 96-го. (Письмо Суворину от 2 декабря 1896 года «...неизвестный никому в мире «Дядя Ваня». Примечание редактора: «Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». — Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому, как Дягилеву, писал, что «Дядя Ваня» написан «давно». Может быть, разумел тут странного предка «Дяди Вани» — «Лешего»?)

Про «Дядю Ваню» неправильно сказать, что это только «переделка». Чехов сам не любил, чтобы «Дядю Ваню» называли переделкой, и был прав: явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2—3 сцены и близки к «Лешему». В общем же все овеяно другим духом, написано возросшим человеком.

Две линии идут в «Дяде Ване», они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет леса и истребление их так же, как в давней «Свирели» скорбел пастух Лука Бедный. И насаждая свои питомники, Астров, в

преддверии «Трех сестер» и «Вишневого сада», мечтает о будущем: «Через сто, двести лет», и даже его занимает, будет ли счастлив человек «через тысячу лет».

Есть и мотив бездельно-томящихся, неплохих, слабых людей (Елена Андреевна) — первый звук будущего «в Москву, в Москву!».

По-настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. (В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше.) Их в пьесе трое. Как бы целая партия: Соня, Телегин (Вафля) и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его назвали приживалом: «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы».

Астров думает о тех, кто будет жить после «нас», и вот те, «для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!».

Нянька отвечает ему: «Люди не помянут, зато Бог помянет».

Нянька эта замечательна. В ней есть простота и свет, как в отце Христофоре. Она всех утешает, всех согревает, так же естественно, как делали это и Евгения Яковлевна Чехова, и сестра ее Федосья Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою.

Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине («Нянечка! Нянечка!» — «Ничего, деточка. Дрожишь, словно в мороз!.. Ну, ну, сиротка, Бог милостив»).

И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слушал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении:

«Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою как ласка. Я верую, верую... Мы отдохнем».

Занавес медленно задерживался, сходил с двух сторон к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кой-где плакали и откровенно.

Вот что вышло из «Лешего», где дело кончалось двумя водевильными свадьбами.

«Дядя Ваня» писался укрыто, неожиданно явился в 97-м году в сборнике чеховских пьес (у Суворина), сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю. Но он имел успех, сильно шел. Чехов удивлялся этому.

Лишь в 98-м году монументально-величественный Южин, поклонник «Эрнани», пожелал его для Малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для Художественного. Чехов был смущен, не знал, как поступить. Помогла бестактность дирекции Малого театра (желали переделок для третьего акта). Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене Художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книппер Елену Андреевну, Лилина Соню, Войницкого Вишнеvский, Вафлю Артем, няньку Самарина — разошлось превосходно. Может быть, лучше всех была Лилина, Мария Петровна Алексеева-Станиславская, жена Константина Сергееvча. Простая, очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артемом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал будто сшил для него по мерке. Смиранные заслонили собою всех, но вся пьеса вообще есть прославление смиренных.

Хорошо разыгрался и самый «оркестр» Художественного театра — исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп, уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте — слава лишь доносилась.

В «Дяде Ване» есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьеса эта многих из провинции (приезжали в Москву — сейчас же шли в Художественный театр), задыхавшихся, как будущие сестры, в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении, любви. В «Дяде Ване» есть именно утешение и любовь. Сколько Сонь из глуши, попадая в Москву на Святки, плакало в этом Художественном театре над этой Соней из «Дяди Вани».

* * *

Все развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре — Художественный театр, именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником.

Силен ли он как драматург? Это другой вопрос, мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет «хуже даже Шекспира». Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славою идут по всему миру.

Встреча же Чехова с Художественным театром произошла

неспроста: это уже судьба. Нужно было им встретиться — встретились. И определили собою эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услышала бы голоса Сони. Это сделал Художественный театр. Если бы не было Чехова, сам Художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром.

«Дядя Ваня» прошел все же не с таким триумфом, как «Чайка». В критике, в общем благоприятной, были оговорки. Книппер нервничала, ей казалось, что она взяла не совсем верный тон — писала об этом Чехову. Чехов успокаивал и ее, и других, отвечал спокойно (и грустно). Но понимал, что это все, весь спектакль есть именно успех, прочный и уже долговечный. «Чайка» поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился, у него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальная стихия. Этот театр-оркестр, чеховские поэмы-пьесы как раз для него и созданы, хотя создавались, когда его еще не было.

Поэтому неудивительно, что именно «Чайка» и «Дядя Ваня» легли в основы его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигавшихся, открывая сцену, летела белая чайка.

ЯЛТА

«Я зимою в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают, и вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь».

Это написано из Ялты 2 января 1899 года.

А через три дня: «Я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу».

Пока же что, живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместьи Ялты, начинается постройка дачи — теперь уж для окончательного устройства здесь. Мелихово еще не продано, появляются разные проекты, например, купить для Марии Павловны дом в Москве, но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дома в Москве не купили. Мелихово осенью продали, Антон же Павлович прочно засел в Ялте.

Только что блестяще прошла «Чайка» и блестяще продолжала идти, делая сборы.

«Гул славы» в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья князя Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно разговоры и шум в самой Ялте, все возбуждало. «Я словно изнемог,— довольно знаменательно для Чехова (не очень-то распространявшегося о чувствах).— Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни».

Если бы не жил в Ялте... а между тем не только жил, но и пускал корни.

«Мне скучно». «Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю». Но таков уж для него ход истории: болезнь свое дело делает и другого выхода, как зимой жить на юге, для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает.

Действительно ли из-за совета Толстого, или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений. Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недалекие сроки. Все это, конечно, отлично. И все-таки, все-таки...— Чехов сам был врач, в Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали они на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Все это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли именно к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать, некоторых навещал лично, старался устроить, но в общем для человека полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного, бремя получалось нелегкое. Да и ему самому говорило все о том же, о том же.

Дом строился быстро и благополучно. Место приятное, над Ялтой, у самой аутской дороги, с далекими видами. И предгорья, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его «в 2^{1/2} этажа» — белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами, в общем удобно. С террасы отличный вид. Разумеется сад.

Антон Павлович, как и в Мелихове, посадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марии Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол?» «Аутская дача будет и красива, и удобна. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, т. е. к июню, будет уже все готово». А потом оказывается: «Подрядчик говорит, что дом будет готов гораздо раньше августа».

Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля: «Ялтинский дом очень хорош. Виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого

дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно». (Из чего следует, что дом еще не совершенно.) «Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, ризинусы и подсолнухи тянутся до неба».

Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате «Маши» настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил: пусть сама выберет обои. Обещано, что у нее и «мамаша» все будет кончено к 1 сентября. А пока живет он во флигеле. Нанял турка Мустафу, вроде дворника. Но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Все-таки, и постройка и возня в саду развлекают.

Собственными руками посадил он сто роз, лучших сортов. Пятьдесят пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз — цветы Чехов всегда любил, еще в Мелихове занимался этим.

Наконец, в первых числах сентября (99-го года) Мария Павловна привезла ему «мамашу». «Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно».

Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича — и самого хозяина.

Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах. Темные обои, на столике разные мелочи, безделушки. Большой камин, над ним Левитан написал пейзаж — русский вечер, стога на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках, на столе моя рукопись, на нее капнуло стеарином со свечи — и сам все тот же Антон Павлович Чехов в пенсне, на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий: вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичок — на этот раз уже не лжепокупатель.

Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный, и как Чеховым полагается, скромно-благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было, в сущности, всей ее полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один (главный) след: икона Иоанна Богослова, которую написал он еще в Мелихове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти ее сюда.

В октябре возил он мать и сестру смотреть Кучукой — дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и все время

молилась. Кучукой и ей и Марии Павловне очень понравился. Все-таки Антон Павлович с ним промахнулся: для спокойных, велико-русско-мелиховских душ это слишком приятно. Никогда они там и не жили.

Мария Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил ее, как сын был внимателен и почтителен, из путешествий всегда привозил подарки, поздравлял в письмах с именинами, здесь устроил ее отлично и для нее вывез из Московии Марьюшку, какую-то Доримедонтовну, облики прежней жизни в Мелихове. Но ее мир и его — слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли. Что же сказать про Евгению Яковлевну, кроме только того, что все же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей.

Во всяком случае он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, Художественный театр, «Дядя Ваня», Книппер («Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину») — с ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и треволения. Здесь он морит мух у матери персидским порошком, смотрит, как татары «усердно работают», выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем — события все замечательны.

Сестре он почти всегда писал, еще в мелиховские времена, или о керосине, или об изразцах: купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Роману полтора рубля. Появляющейся Книппер не совсем так: «Ночью был пожар, я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким».

Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу: «Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложиться в 9 ч. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы».

«Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».

Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало, а «предмет» как раз здесь и замыслил и написал повесть «В овраге» — украшение нашей литературы.

Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова (кроме Левитана). «Большой человек»,— говорил о нем Чехов. Письма к Суворину самые интересные из всей чеховской переписки. О том, что Суворин значил для литературной молодости Чехова, уже говорилось.

Но жизнь есть жизнь — вечное перемещение. Друзья приходят и друзья уходят.

Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одних «друзей» без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители.

Беда Суворина была «Новое время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое и тогда его раздражало, начиная с Буренина. Тон цинический, издевательский никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга — все менее ему подходило.

Чехов политикой не занимался, но симпатии свободолюбивые у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он многое увидел такое, что «Новому времени» тоже не подходило. «Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам» — нововременцы были именно сытые и прихлебатели, как-то они неприятно лоснились.

В девяностых годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду — «Русская мысль», «Русские ведомости» — либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. «Новое время» заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой.

В России же вообще «начиналось» нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились.

«Гордо реет буревестник, черной молнии подобный» — трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой «Буревестник» (стихотворение в прозе, с убогим ритмом), но это было роковое произведение, как роковым оказался и сам Алексей Максимыч Пешков (Горький) — воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само «Новое время» готовило ее. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. (Что говорить о малых сих: Горьким увлекались Станиславский, Ермолова.)

Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот все-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный, верный ученик. Все это действует, конечно. Да Горький был и очень даровит. Из середины выделялся. Много

видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно.

Горький оказался связью Чехова с миром, ему вовсе не подходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся: с марксистами. Считал, что они «рыжие» — главный их признак. Бегло упоминает еще о «марксистах с надутыми физиономиями». Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь» — и в этой «Жизни» повесть Чехова «В овраге». О ней Горький написал восторженную статью.

От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в «Жизни» свою повесть. В некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека: в объявлении журнал выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал и этому редактору (Поссе): не надо выделять, пусть будет он, как все, как сотоварищи.

Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее: что Цыбукин «кулак», что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымины хорошо.

На самом деле все сложнее. Конечно, Уклеево, село стоявшее в овраге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячок съел всю икру — это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды, бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем (собою, своим обликом) некоторые и люди — не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавочники.

Предтеча повести этой, конечно, «Мужики». Но тут взято еще острее, ближе и написано еще совершенней. Нет крестного хода с Живоносною, но показаны те, в ком живет Живоносная. Есть облик Матери-Девы (хотя Липа замужняя и у ней ребенок), есть и вечная трагедия Матери. Что тут делать марксизму?

Зло и грубость и жадность, жестокость внешне победительны. Но как и в «Дяде Ване» внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминых — это одно, а Варвара, Костыль и особенно Липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они гонимы, нищи и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца Липы и в овражной жизни это ей проходит безнаказанно, даже она и преуспевает потом в союзе с Хрымиными. Но вверху побеждает Липа.

Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор и Липа несет тельце его из больницы домой в Уклеево, ей встречаются ночью у костра мужики, старик и парень. «Кому повем печаль мою?» В раннем рассказе старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает.

«Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскиали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать,— сказал он.— Всякой матери свое дитя жалко.

Потом опять стало темно, длинный Вавила возился около телег.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет, мы из Фирсанова».

Старик не пророк и не святой. Он «из Фирсанова» — в этом весь Чехов. Но самый тон разговора таков, будто дело происходит не близ Фирсанова (чтобы не сказать Мелихова), а в Самарии или Галилее.

Старик взял Липу с собой в телегу, подвез. И тут, под русским небом, в тишине звезд наших происходит разговор, возводящий к Священному Писанию (хотя о Писании этом не сказано ни слова).

Липа рассказывает, как весь день мучился ее ребенок. «Господи батюшка, Царица Небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как,— сказал старик.— Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает».

Больше он ничего не говорит, но подразумевается: знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова.

Никогда старик из Фирсанова не читал Иова, вряд ли читал его и Чехов, но смысл все тот же, Бог тоже все тот же, лишь Новозаветный, та же и тайна судеб наших (за что? почему?). Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода.

Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту: не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет — вот мир и свет, через само страдание, к ней сходят. В доме Цыбукина, в зловонной Яме только лишь Варвара в келейном своем углу нерушимо противостоит злу. Все остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме — фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья и он все теряет — но *конечная* судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна.

Липа не живет больше в доме Цыбукиных, она так же бедна, как и ее мать, но Царство Божие именно в них, как и в подрядчике Костыле: мир души, свет и благоволение.

Вот как кончается повесть: вечер, очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичом. «Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть».

Спускаясь в Уклеево, в этом златистом осеннем вечере, встретили они старика Цыбукина. «Липа и Прасковья немножко отстали и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, а кончается словом: «крестились».

Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима (из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я все болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа»), — строчка как бы зачеркивает сразу его грехи), и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подавание нищей снохи.

На всей повести почти лежит некий волшебный оттенок. Над уклеевской Ямой странным образом летит — именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песней и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно сказать: Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка.

«Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет»,— это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его Почетным академиком по Разряду изящной словесности, вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой Академией — он даже не поблагодарил за избрание. Чехову, в скучной ялтинской жизни, это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. Двенадцать лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо.

Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвук мало. Вот первый: «Я, начиная с 17 января (день именин и возведения в бессмертный чин), был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в «бессмертные», но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей».

Потом отдышался и в феврале пишет В. Н. Ладыженскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом — он Ладыженского, поэта и пензенского земца, видимо, любил (да не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку.) Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порет мужиков и т. п. Письмо так и начинается: «Vive Penza! Vive monsieur le membre de l'hôtel de Zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!»¹.

Ладыженский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки». «Прощай, как человек, но наказывай, как дворянин».

Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-петербургский. «Пензенских,— говорил он,— нам не надо».

Самому Чехову по-настоящему «надо» было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь — Художественный театр, в нем одна актриса, Ольга Леонардовна Книппер.

После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было, в письмах он отговаривался (по словам Станиславского) тем, что не знает, в сущности, их

¹ Да здравствует Пенза! Да здравствует член Земства! Да здравствует порка мужиков! (Примеч. авт.)

театра — действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99-го года, для него ставили, без публики.

Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло.

На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Киста, наводнили собой, разумеется, все — и у Киста, да и для города это было событием. Билеты шли нарасхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.

Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговелись очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал, после Пасхальной заутрени, «Буревестник».

За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал как всегда:

— Я совсем здоров.

И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.

Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.

Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке — грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но все-таки выходил.

Насчет отчаяния, думаю, преувеличено.

Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делала для него стеснительным самое появление перед публикой — это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причислять его под Станиславского.

Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.

Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневский — все это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чай — непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролубов, Немирович, Мамин-Сибиряк — как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.

Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века, или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно — приготовят все руки малых сих.

Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича), что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора — бесценная». Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней с санаторией.

Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне, другой вопрос.

Про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер.) Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» — первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь... Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы хранители. Прощай, девочка хорошая».

О ЛЮБВИ. КНИППЕР

Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. «Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным», — это говорит Немирович и добавляет, что «болтать» на эту тему Чехов не любил: вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был (а не только «умел быть»), это бесспорно.

Во всяком случае знал и женский мир и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо не было.

И в Москве 80-х годов и в Мелихове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость.

Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого *оставшегося* сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в «Чайку».

О «романе» с Авиловой судить трудно потому, что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, «задет», «влюблен», как угодно, смотря по темпераменту.

Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним — иногда живые и трогательные, иногда наивные.

Говорит всегда одна сторона. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и другим

писательницам — дает советы (по части ремесла), иногда очень смелые, упрекает за небрежность фразы и т. п. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова, была очень милой дамой, но писала она серо, дарования у ней маловато и никакими советами тут не поможешь. («Голубушка, ведь такие словечки как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте» — ведь это одно оскорбление».)

Что она полюбила его — бесспорно. По ее изображению получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети и жениться на ней он не мог.

Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза «взорвалась» и с «восторгом взвилась ракета». «Я ничуть не сомневаюсь, что с А. П. случилось то же...» — именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно.

Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудач и, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренно, в общем даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет «сюжетов». («И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ».)

То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в «Чайке» и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине («страница 121, строки 11 и 12») — все это очень любопытно, более же существенное начинается позже, в 98-м году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы.

С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой.

Возможно, что и сама болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет.

В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его «О любви». Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой (в этой полосе.) Самой же ей рассказ просто пронзил сердце — когда читала его впервые, то «тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение». Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного: молодую замужнюю жен-

щину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович, любит некий Алехин — долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может. И она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию, она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет.

Авилова нашла в рассказе свои фразы. («Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас»). Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну.)

Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове: «Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь».

Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову (но в соседнем купе не сидел и не плакал, плачущим я его вообще не вижу). Но, действительно, больше она его не увидела.

Может быть, и была права, полагая, что «писатель как пчела, берет мед откуда придется» — в Чехове писатель, разумеется, был *все*. (Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики.)

Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется нельзя.

Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так.

Нельзя назвать рассказ «О любви» изобразительным и ярким, но конец пронзает особою, чеховской нотой.

Помню его в Ялте, на скамеечке пред ночным морем (случайно увидел раз на набережной, он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море). Наверно понимал. Но говорить об этом не любил.

Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой» (99-й год), престелном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском.

Выход дала жизнь.

* * *

Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по Московскому Литературному кружку, после смерти Чехова.

Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое. Очень острая, с большим обаянием женщина. Может быть, остроту эту давала и примесь нерусской крови (венгерско-немецкой?), во всяком случае оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигента, для актрисы довольно культурна, театру отдалась с юных лет — кончила Филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в Художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был царица Ирина, но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного и Лика преобразенно присутствует в ней «Три сестры» начаты тем летом 1900 года, когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и «в Москву, в Москву» самого Чехова (лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались), и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет «через двести, триста лет».

Осенью 1900 после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. «Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать». «...6-й или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо все хвораю. Жар, кашель, насморк». «От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место Мандражи».

Он на десять лет старше «ее», знаменит, но болен, живет в этой Ялте, как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а «она» в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет. «...Уже отвыкать стала от меня. Ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе». «Целую тебя крепко, до обморока».

Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма, из Москвы в Ялту: «Ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За «холод» и она его упрекала. Авилова тоже. Как и

тогда, упрек в письме Книппер задевает его. «А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебе любило и было нежно к тебе...» — но все же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. «Чужая душа потемки» — было в Чехове, наверно, всякое: и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее — трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт, противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного, и упорствует, даже тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится.

В октябре Чехов кончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра. «Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в Художественном театре, бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам!»

На добровольцев они похожи не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному: Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему, Горький несдержанно и вызывающе (поклонников просто ругал), но тогда буревестнический тон был в моде и такое сходило. Даже имело успех. (В 1902 году подголосок Горького Скиталец в Дворянском собрании пред сотнями слушателей предлагал пройти по головам их кистенем. Вызвал овацию.)

В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в Pension russe, 9, rue Gounod. Ницца ему всегда нравилась, также и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старику почаще. Здесь в Ницце великолепно, погода изумительная».

На письма Чехова к Книппер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны.

Местами есть в письмах этих чрезмерность, особенно в обращениях. Есть и обилие мелочей. Но ведь это разговор двоих, между собой, очень близких людей, для которых важен всякий пустяк. И с другой стороны, слова любящего, сраженного и болезнью, и слабостью, и одиночеством человека. Любви, сердца, нежности, беспокойства здесь очень много. Нельзя осуждать писавшего за разные «актрисочка моя чудесная», «актрисуля», «собака»... — это писалось не для книги.

«Умница ты моя, нам бы с тобой хоть пять годочков пожить...» — это литература? Просто счастья хочется. Ведь ему было всего сорок лет! И «пяти годочков» не вышло.

В Ницце с ним были и «Три сестры». Он там кое-что

переделывал, все больше связанное с нею. «Тебе, особенно в IV акте, много прибавлено. Видишь, я для тебя ничего не желаю, старайся только»

А в Москве в это время пьесу репетировали уже, видимо торопились ставить.

Вторым января 1901 года помечено особенное письмо Чехова к Книппер из Ниццы: «Ты хандришь теперь, дуся моя, или весела? Не хандри, милосся, живи, работай, почаще пиши твоему старцу Антонию. Я не имею от тебя писем уже давно, если не считать письма от 12 декабря, полученного сегодня, в котором ты описываешь, как плакала, когда я уехал. Какое это, кстати сказать, чудесное письмо! Это не ты писала, а должно быть кто-нибудь другой по твоей просьбе».

Дальше о репетиции. «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров».

А в конце желает ей счастья, покоя, «и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет».

Время быстро шло и 31 января «Три сестры» вышли в публику. Станиславский считает, что Чехов нервничал и даже ко дню представления из Ниццы уехал, нарочно не оставив адреса.

Так это или не так, но действительно, 27 января оказался он в Италии, в Пизе. Потом во Флоренции. («Однако, скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил».) Это была чудесная и последняя его встреча с Италией, но краткая. В Риме, в начале февраля стало холодно. И все-таки: «Какая чудесная страна эта Италия! Удивительная страна!»

О пьесе, шедшей в Москве, он еще ничего не знает. Решил даже, что она провалилась. Но это было неверно. Вскоре он узнал все более точно.

Пьеса не провалилась, но на первом представлении успех был неясный, понравился первый акт, остальные прошли холодновато. Пришлось даже делать натяжку в телеграмме Чехову. До весны 1901 года «Три сестры» прошли всего несколько раз, потом их увезли в Петербург. Только через три года по-настоящему дошли они до публики, которая «стала смеяться и затахать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом».

«Три сестры» и должны были победить большую русскую публику. Общий дух, призыв к лучшей, светлой жизни, «в

Москву, в Москву», это, конечно, доходило — продолжение стона в «Дяде Ване», но еще подчеркнутой. Такое и вообще ранит человеческое сердце. В России же, с огромным сумраком ее глухих, непроходимых мест, да и накануне сдвига, отзвук получался особенный. Чего стоили одни учительницы, попадавшие на Рождество или на Пасху в Москву из Угличей, Зарайсков, Елифаней! А земские статистики? Врачи? Где найти более благодарных зрителей? Немало слез и волнений дал Чехов и Художественный театр малым сим, чистым и живым душам.

В пьесе все же есть двойственность. Не так она цельна, непосредственна, как «Чайка». Чехов лучше теперь знал театр, считался с его эффектами, до последней минуты менял, добавлял, урезывал и хорошо знал, кто кого будет играть. Про Книппер и говорить нечего. Кулыгин весь скроен по Вишневскому. Чебутыкин раз навсегда Артем. Все это сделано превосходно, и они трое, да еще, пожалуй, и Соленый, являются украшением, победой пьесы. И все-таки над «Тремя сестрами» чуть-чуть веет сделанностью. Холодка больше всего у Ирины, Вершинина и Тузенбаха. Все эти «будем работать», начнем новую жизнь, «через двести-триста лет» живут отдельно. Чехов через подчиненных своих высказывает пожелания, мысли, наблюдения... иногда они вызывают сейчас горестную усмешку. («Теперь нет пыток, нет казней, нашествий...») — в те времена, правда, и не было.) Пророком Чехов не оказался, да и вообще Тузенбаху поверить нельзя. Ни одно слово его не принадлежит ему, как и в восторг Ирины, собирающейся ехать «работать» на кирпичный завод с нелюбимым человеком, никак не поверишь.

Чехов советовал Книппер на сцене посвистывать, а не ныть. Наставление замечательное. Она и посвистывала, не звала никого на кирпичный завод, она из партии проигравших жизнь, надежд у нее нет и никаких «лозунгов» она не произносит, но является просто сильнейшим местом пьесы. Ее переключка с Вершининым в третьем акте («Тра-та-та!». «Трам-там-там!») выходила отлично, это жизнь, это рвущаяся к счастью сила, и безнадежность и неудача. Вообще вся неотразимая меланхолия Чехова, его подспудное и внеразумное разлитое в пьесе ненамеренно — и оно-то ее возносит. Трудно опьянению этому не покориться. Как нравилось ему все, связанное с расставанием! Уход, разлуку он очень чувствовал — от этого до конца дней не отделяется («Вишневый сад»), несмотря на все благоразумные советы, которые тоже до конца будет давать своим персонажам, и на самые светлые надежды на двести лет, от которых ему самому не становилось светлее. Ему, может быть, становилось светлее на душе при виде простоты, кротости, человечности и любви —

это в нем и самом было. Этому как раз, просто собою, вернее лучшему в своем облике, он нас и учит, незаметно и тоже подземно, а вовсе не призывами к труду и «новой жизни».

Как бы то ни было, «Три сестры» благополучно отчалили. Это была пьеса оркестровая, как всегда у зрелого Чехова, но все же оправдала рождение свое в месяцы разгара его любви: Книппер и любовь на первом в ней месте.

* * *

«Тебя никто не любит так, как я», — это он написал ей из Рима в начале февраля, перед отъездом в Россию. Вряд ли бросил монетку в фонтан Треви — во всяком случае Рима более не увидел. Через несколько дней был уже в Ялте, началась прежняя жизнь: Книппер в Москве, он один, скушает, любит, шутит, и сквозь шутку грусть. Просит ее приехать. «Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, жить без тебя мне уже трудно».

Так оно все и вышло. Оба они свободны, это не роман с Авиловой и не «Дама с собачкой». Закрепить все — естественно. В апреле появляется разговор о браке. В мае Чехов приехал в Москву, видимо, не один брак занимал его. Беспокоило и здоровье, туберкулез. Доктор Шуровский «нашел притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию».

Укреплялась любовь, болезнь тоже укреплялась. В конце мая написал он матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс».

Чуть ли не в первый раз и называет он ее не «мамаша», а проще, но и душевнее, по-детски, вековым «мама», хоть считал себя уже старым.

Повенчались в Москве, почти тайно. Шума, поздравлений не было, он этого не любил. И, действительно, уехали тотчас же на кумыс, в какое-то Аксеново, за Волгой, за Самарой.

Прожили там месяц, в скуке, жарком степном захолустье. Антон Павлович пил кумыс, помногу. Пока жил там, прибавил несколько фунтов и чувствовал себя довольно хорошо. Была мысль выписать туда и Марию Павловну, но не вышло — надо думать она выиграла, не поехав в эту дыру. Антон Павлович

и Ольга Леонардовна сами едва там высидели, вероятно, считали дни и часы, когда возвращаться.

Нельзя сказать, чтобы и возвращение вышло веселое. В Ялте здоровье Антона Павловича сразу ухудшилось. («Я на кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь в Ялте опять захирел, стал кашлять и сегодня даже немножко поплевал кровью».)

3 августа 1901 года он написал Марии Павловне письмо-завещание. Отправлено оно не было, сохранилось у Ольги Леонардовны, которая и передала его Марии Павловне после смерти Чехова.

Завещание довольно подробное, со всей чеховской хозяйственностью, основательностью. Все главное — дачу в Ялте, деньги и доход с театра — Марии Павловне. Жене дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей (сравнительно пустяки.) Вообще чеховская семейственность во всем: перечисляет, сколько кому из братьев, сколько племяннице («если она выйдет замуж»), городу Таганрогу на народное образование (по смерти братьев.) Платить в гимназию за какую-то девочку Харченко, столько-то крестьянам села Мелихова «на уплату за шоссе». Конец тоже очень чеховский, но в другом роде.

«Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».

«АРХИЕРЕЙ»

Прекрасное свободно;
Оно медлительно и тайно зреет
Жуковский (Шиллер)

«Милый Виктор Сергеевич, рассказ я пришлю Вам непременно, только не торопите меня». Так написал Чехов в декабре 1899 года Миролубову, бывшему певцу, а тогда издателю «Журнала для всех» и богоискателю. «Я пришлю Вам рассказ «Архиерей».

Прошло больше года. В марте 1901 года Книппер получила от него письмо из Ялты. «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей», который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать».

В августе того же года Книппер уехала в Москву в театр. 31-го Чехов отправил ей ласковое письмо с прослойкой грусти — ему так скучно в одиночестве, точно его «заточили в монастырь». И опять фраза об «Архиерее»: «... Вынул из чемодана», — взялся писать. Пятнадцать лет назад задумал, почти два года назад обещал Миролубову, а пока что вынимает только из чемодана. Но и писать нелегко: гости приходят с утра («монастырь».) Рассказ можно писать только в промежутке

между дамой-поклонницей, врачом из Москвы и туберкулезным, ищущим в Ялте пристанища.

Осень печальная. Ловит мышей, выпускает их на пустырь, хворает. В декабре, через два года после того, как обещал, пишет Миролюбову: «С «Архиереем» не надую Вас, пришлю рано или поздно».

Прислал в конце февраля 1902 года.

Извинялся — кончил давно, а переписывать оказалось нелегко, «все нездоровится». В апреле 1902 года «Архиерей» появился, наконец, в 4-м номере «Журнала для всех».

Рассказ этот невелик, занял несколько страниц. Миролюбову, вероятно, казалось странным, почему же переписка из-за него шла два года? О пятнадцати годах он не знал.

Может быть, это и действительно странно. Но вот вышло так, а почему именно, мы не знаем. Во всяком случае, замысел долго лежал подземно. Не начиналась та таинственная жизнь, что рождает живое детище. Началась она тогда, когда пришел ее час, когда возрос достаточно сам Чехов. Так что хорошо, что не написал «Архиерея» в 80-х годах: тогда не был еще готов.

Развитие художника есть закаленность вкуса, твердая рука, отметание ненужного, забвение юношеского писания — тот рост, который шел в Чехове непрерывно рядом с ростом человека. Как и «В овраге», «Архиерей» написан с тем совершенством простоты, которое дается трудом целой жизни. Но он не сделан, а сотворен, т. е. в нем нет выделки, а все живое. Все непосредственно и все пережито, хотя вот задумано Бог знает когда, могло утомить, сделать более вялым. Но не сделало.

Работать над ним вплотную он начал осенью 1901 года, после кумыса, на который надеялся, после того, как кумыс не помог и он стал слабеть и хиреть в Ялте, написал завешание. Книппер давно играла уже в Москве, когда он кончил «Архиерея».

Всю жизнь внутреннее его развитие шло по двум линиям — в разные стороны. Так было и теперь. Материализм доктора Чехова получил поддержку в среде, куда литературно он переместился (левая интеллигенция.) Горького понимал и видел он, конечно, насквозь, но водил с ним приятельство, вместе пожинали они славу в фойе Художественного театра. Надо верить в прогресс, через двести-триста лет все будет замечательно, у Толстого слишком умные глаза, чтобы быть верующим (Горький), церковь и религию давно надо по боку и т. д. Это путь общего потока. Он дает известность, славу.

Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держался на расстоянии

и собой владел замечательно. А главное — в нем было нечто подземное совсем в другом роде. С годами, в страданиях болезни, в одиноких ялтинских созерцаниях, в ощущении близкого конца («пять годочков»), оно росло, просветлялось, искало выхода и нечто открывалось ему, о чем разумными словами он сказать не умел. Это был несознанный свет высшего мира, Царства Божия, которое «внутри вас есть». Молодому, здоровому, краснощекому Чехову времен студенчества мало оно открывалось, Чехову зрелому было, наконец, приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать «Архиерея» (даже «Студент» написан не в молодости.) «Архиерей» же есть свидетельство зрелости, и предсмертной, несознанной просветленности.

Весь «Архиерей» полон этого света. В «Мужиках» он уже пробился, в повести «В овраге» дал замечательные страницы ночной встречи Липы с мужиками. В «Архиерее» ровное, неземное озарение разлит с первых же страниц повествования, со всенощной в Вербную субботу до конца. Длинную всенощную служит преосвященный Петр, уже больной. И все волшебным в церкви. Море людей, у всех блестят глаза, сквозь туман архиерею кажется, что к нему, за вербой, подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел девять лет, «и все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу.

Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем».

Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает: да, высший мир присутствовал тогда, на Вербной всенощной Панкратьевского монастыря, он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом: и в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях о детстве и любви к нему матери, и в смиренном отце Симеоне, который не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается Иегудиилова ослица, и в воспоминаниях архиерея о своей юношеской «наивной вере», когда носили по деревням икону крестным ходом, и в той последней предсмертной всенощной Великого Четверга, Двенадцати Евангелий, которую служил через несколько дней преосвященный Петр и сам наизусть читал первое, самое длинное Евангелие. «Ныне прославился Сын Человеческий»... и «чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым», как всегда, когда служил в Церкви. Высший мир и в любви к нему матери, робкой и боящейся его, как архиерея.

Ничего не значит, что вокруг жизнь убога и темна, что все

пред архиереем трепещут и это его огорчает, и ему не с кем слова сказать. Даже родная мать, даже девочка Катя, племянница, которая все роняет и у которой волосы над гребенкой на голове стоят как сияние — все за некой чертой. Но над всем ровный свет, озаряющий всех.

В долгие, бедные, грешные мирские дни нашего преосвященного Петра тесно. Он и в болезни вспоминает все о детстве, и о жизни за границей, куда был послан в южный чудный город, где жил уединенно и изящно, писал ученое сочинение. Все это — отзвуки высшего. И вот смерть приходит, наконец; на той же Страстной приближается он к ней — недаром ему нездоровилось еще на Вербной всеобщей (брюшной тиф.) Мать явилась к нему в архиерейские покои, он так хочет обласкать, помочь ей, племяннице Кате: но уже поздно. Он сразу осунулся, ослабел, перестал чувствовать себя архиереем, грозным начальством, напротив, последним, самым незначительным из всех.

«Как хорошо,— думал он.— Как хорошо».

Мать сразу поняла, что это конец.

«Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик... родной мой! Сыночек мой! Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне».

«А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно».

Шел он, конечно, просто к Богу.

* * *

Повесть о духовенстве Чехов начинал отцом Христофором Сирийским в «Степи», продолжал дьяконом в «Дуэли», кончил обликом преосвященного Петра — сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Чехов превосходно знал жизнь и не склонен был к односторонности, приглаживанию. И вот оказывается, если взять его изображения духовного соловья, почти вовсе нет обликов отрицательных.

Не знаю, понимал ли Миролюбов, какой дар прислал ему Чехов, могу только сказать, что тогда он замечен и оценен не был. Горький, Андреев шумели больше. Но «Архиерей» не для шума и написан.

Рассказ этот, истинный шедевр, доходил медленно и все же, как неторопливо создавался, так не спеша и завладевал, чем дальше, тем глубже. Как сказано о зерне горчицном: «...Хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Возраст будто и невелик, а жизнь прошла. Она слишком быстро шла, событий в ней мало, но Чехов был человек раннего развития и усиленного сгорания. Он старше своих лет — так продолжалось и до самого конца. В вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное — зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так остался до конца. «Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью». Он и искал — вряд ли нашел. В годы Ялты на вопрос, верит ли в бессмертие души, отвечал, что не верит, а через несколько дней с таким же упорством говорил: «Бессмертие — факт. Вот погодите, а докажу вам это». Ни того, ни другого доказать, конечно, не мог, но не в этом дело. Просто же верить считал «неинтеллигентным». Интеллигентный верующий вызывал в нем недоумение — такое было время.

После «Архиерея» ему оставалось написать только «Вишневый сад». Из событий более мелких отмечает летописец такие: 1) Отказ от звания почетного академика, из-за неутверждения Горького. Короленко и дух времени увлекли вовсе не простодушного Чехова на некую демонстрацию. Вместе с Короленко «заступился» он за Горького, «обиженного» тем, что его не утвердило правительство, против которого он вел подпольную и беспощадную войну. А быть почетным академиком даже у врагов все же приятно. («Ты полагала, что Горький откажется от почетного академика? Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад».) 2) Посещения Чеховым Толстого, жившего тогда в Крыму, в Гаспре, и тяжело заболевшего. В это время Чехов вполне уже его почитал, хотя свободу высказываний сохранял — конец «Воскресения» не нравился ему, он об этом прямо и пишет. В общем же Толстой для него теперь Синай. Он даже волнуется, собираясь в Гаспру, тщательней одевается.

Но, конечно, все это второстепенно. Первостепенна сама жизнь, которой остается так уж мало. В жизни этой любовь и литература.

Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни, все устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное — когда можно к ней, в эту Москву. «Три сестры» уже написаны и давно идут, но «в Москву, в Москву» так и остается, не для сестер, а для него самого.

Ольга Леонардовна это чувствует, иногда тоже угрызается. «Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучит, что живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести...» (а что его жизнь теперь испорчена, это ничего. Но вообще в этом весь Чехов: отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто; он как-нибудь примостится в жизни, было бы ей хорошо.)

Письмо все трогательно по нежности. «В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего» (как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые, верные слова любви). Хочется ему в Италию. «Нам с тобой осталось немного пожить, молодость пройдет через 2—3 года (если только ее можно еще назвать молодостью)», — это написано в январе 1903 года: не только «молодости», а самой жизни оставалось полтора года.

Может быть, потому, что любил ее и был с ней так ласков, Ольга Леонардовна считала, что характер у него отличный. Он с этим не согласен. «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив, и пр., пр., но я привык себя сдерживать», — вот признание интересное, для мало знающих Чехова и неожиданное, для того, кто внимательно всматривается в жизнь его — не удивляющее. Как-никак, был он сыном Павла Егорыча, и у него дед «ярый крепостник». Это с одной стороны. С другой: за недолгую жизнь он немало над собою потрудился, как трудился и над писанием своим (почему и шел в гору), как трудился в Мелихове над садом, как трудился и боролся с невежеством, болезнями, эпидемиями. Теперь это все отошло. Впрочем, кое-что и осталось: даже в Ялте, больной, утомляясь, иногда раздражаясь, все же хлопочет он и о чахоточных, о санатории в Ялте, о библиотеке в Таганроге. Сколько писем написано туда, какому-то Иорданову, сколько послано книг, сколько с этим хлопот!

Жизнь сердца именно теперь, на закате, может быть и особенно обострена. Как бы ни старалась, как бы временами ни угрызалась Ольга Леонардовна, все-таки не могла изменить соотношения: она молодая, здоровая, обаятельная — Антон Павлович, при всей своей славе — полуинвалид. «Ты калека», — сказал ему, от великого ума Остроумов, осмотрев и выслушав, — и посоветовал жить зимой под Москвой, а не в Ялте.

Он в Москву иногда вырывался, именно зимой. Приводило это к тому, что приходилось безвыходно сидеть дома, или выезжать чуть ли не в карете. Тут опять разница с женой огромная.

Вот сидит он у себя в московской квартире, вечер. У него Щепкина-Куперник, кума веселая, живая, такая, как бывала в Мелихове. Ольга Леонардовна собирается в концерт, там читает. За ней заезжает Немирович, во фраке, белом галстуке, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в балльном платье, возбужденная и духовитая — Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает, будто присутствует, а потом вдруг «без всякой связи с предыдущим:

— Пора, видно, кума, помирать».

* * *

«Архиерей» не был последним произведением Чехова. Он написал еще бледную «Невесту» — для того же Миролюбова и «Журнала для всех», и, наконец, «Вишневый сад»: это уж *urbī et orbī*¹, сперва для России, а потом чуть ли не для всего света.

Пьесу эту писал трудно, почти мучительно, осенью 1903 года. Она росла неторопливо (зачалась много раньше — цветущие вишневые ветки ломались в отворенное окно, так мерещилось ему.) Потом стало прирастать и другое, выросло воистину прощальное произведение. Все оно, разумеется, не надумано, а органично, из недр, так само и вышло. Кончалась жизнь Антона Павловича, кончалась огромная полоса России, все было на пороге нового. Какое будет это новое, никто тогда не предвидел, но что прежнее — барски-интеллигентское, бестолковое, беззаботное и создавшее все же русский XIX век — подходило к концу, это многие чувствовали. Чехов тоже. И свой конец чувствовал.

¹ городу и вселенной. (Примеч. авт.)

Сам он к вишневым садам не принадлежал, но воздухом их надышался еще во времена Бабкина и Киселевых. Три лета, живя там дачником, слышал разговоры о заложенном имении, о процентах, угрозах продажи за долг, о том, как достать денег. Место в банке для Гаева в конце «Вишневого сада» находилось в Калуге, туда он и уехал из Бабкина.

Чехов назвал свою пьесу комедией («местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича»). Вообще его мнения о «Вишневом саде» удивительны: «Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная». Конечно, он не любил торжественных поз, но здесь в противлении им дошел до предела.

Странно блуждал и в распределении ролей. Лопахина предлагал Станиславскому, Гаева — Вишневному. Москвин, превосходно сыгравший Епиходова, по мнению Чехова, должен был играть Яшу (молодого лакея — совсем неподходящее). Ольге Леонардовне он писал: «Твоя роль — дура набитая. Хочешь играть дуру? Добрую дуру» (Варя вовсе не дура).

В конце концов, Книппер сыграла Раневскую, а не Варю. Для Вари была под рукой чудесная Лилина. И Гаев, слава Богу, вопреки Чехову, попал не к Вишневному, а к Станиславскому. Лопахина играл новый у них актер Леонидов, чем Чехов не весьма был доволен.

Странно относился он и к самим ролям. Считал, например, что все держится на Лопахине. Требовал, чтобы у него непременно был белый жилет и желтые башмаки, полагал, что если Лопахин не удастся, то провалится вся пьеса.

Думаю, дело тут в некоей двойственности, проявившейся в самой пьесе. В ней есть и высокое искусство, и умысел, местами выпирающий и охлаждающий.

Умысел состоял в том, чтобы осудить распущенное и ленивое барство — задача основательная, но осуществить ее при помощи Лопахина и скучного смешного студента оказалось трудно. Те, кого следовало осуждать, вышли гораздо и ярче, и живей осудителей, написались легко, убедительно. Тайное сочувствие самого автора выручает их, хотя головой, рассуждением он стоит на своем, все том же: надо работать, начинать новую жизнь и пр.

Лопахин никак не удался, а пьеса не провалилась. Какой бы актер ни играл его, и какую бы жилетку ни надел, трудно воплотить полухама, полу-«чеховского» человека, собирающегося строить новую жизнь и по-чеховски не умеющего даже объясниться с Варей. Вишневые сады вырубались не такими Лопахиными. И «веселым» последний акт не вышел. Зато Ра-

невская, Гаев, Епиходов, Симеонов-Пищик, Фирс и особенно гувернантка Шарлотта замечательны: их писал он, как Бог на душу положит.

В общем получилась пьеса расставания. Как и в «Трех сестрах», меланхолия ее неизбывна. Это все поняли — понимал, конечно, и Чехов. Но делал вид, что написал нечто «легкомысленное».

Театр торопил его. Хотели скорей ставить. Он медлил. Сильно мешала болезнь. («Пьесу я почти кончил, но дней 8—10 назад я заболел, стал кашлять, ослабел, одним словом, началась прошлогодняя история. Теперь, т. е. сегодня, стало тепло и здоровье как будто стало лучше, но все же писать не могу, так как болит голова» (Лилиной).)

Ольга Леонардовна писала ему из Москвы меланхолически («Меня ужасает одиночество и никому ненужное существование мое»). Несмотря на головную боль, он ее подбодряет. «Надо держаться крепко». Но все-таки, все-таки... какой климат для окончания пьесы! «Дуся, как мне трудно было писать пьесу! Скажи Вишневскому, чтобы он нашел мне место акцизного».

В половине октября он отправил пьесу в Москву. В декабре приехал и сам (1903 год).

Была настоящая московская зима со снегом и морозом, Ваньками, ухабами на улицах. Раздеваясь в передней квартиры Телешева, на Чистых прудах, писатели стряхивали с барашковых или бобровых воротников звезды-снежинки. Николай Дмитриевич дружественно приветствовал. «Здорово, Леонид!» «Ну как, Сергеич?» По московскому обычаю почти все целовались. На этот раз собралось на «Среду» больше обычного: ждали Чехова.

Не помню, что в этот вечер читали. Не помню, кто именно был из писателей — думаю, Леонид Андреев, Бунин и Вересаев, Тимковский и Белоусов, еще другие. Чехов приехал к ужину, а не к чтению, довольно поздно. Мы толпились, собирались уже рассаживаться за длиннейшим столом с водками, винами, разными грибочками, икрой, балыками, колбасами, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку вела она Антона Павловича. Как он изменился за три года! В Ялте тоже не был силен, все же спускался в городской сад, пил за столиком красное вино, гулял у моря.

Слабо поздоровавшись, серо-зеленоватый, со впалой грудью, был он посажен в центре этого стола, на котором все не для него. Он почти и не ел, почти не говорил. Некогда в 88-м году писал про Плещеева, гостившего у Линтваревых, что он как бы икона, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными.

Сейчас ему было сорок четыре — по-теперешнему чуть ли не молодость, по-тогдашнему полная зрелость. Но болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то, чтобы старость, но некое, отдаление от жизни. И то, как водила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним расступались, как сажали на почетное место — все это была именно литературная икона, привезенная в дом Телешова. Только не надо было ей стоять рядом с чудотворной, в этом и разница с Плещеевым. Она сама за себя отвечает.

Так посетил нас на «Среде» Чехов, молчаливый полуживой, головой выше всех, сам как-то странно отсутствующий, уже чем-то коснувшийся иного. А вокруг водочка и грибки, осетринки и майонезы, веселое московское балагурство.

Может быть, он и сказал с кем-нибудь несколько слов. Для меня же остался безмолвником, приехавшим, посидевшим и скоро также бесшумно уехавшим, как и явился.

17 января, в день его именин, шел впервые «Вишневый сад» в Художественном театре. Приноровили — кажется не совсем правильно — и к его литературному 25-летию, устроили в театре чествование. Все прошло пышно и торжественно, как похороны. Усталый Чехов едва держался, но выслушивал. Думаю, все это выходило довольно раздрачительно. Слишком было похоже, что Москва с ним прощается.

* * *

Он относился к смерти своей стоически, как и к болезни. Худел, слабел, росла одышка. Еще раз съездил в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешов видел его в Москве, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся: Антон Павлович стал совсем маленький, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: «Еду помирать». И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на «Средах».

— Больше уж никого не увижу.

Телешов не был ему близким человеком. Потому, вероятно, он ему и сказал прямо. Действительно близким — Марии Павловне, матери, этого не говорил. И писал им всегда, даже из заграницы, почти накануне кончины, бодро. («Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами», — это выражение ему понравилось, в письмах из Баденвейлера не раз встречается, и не только к родным.)

Баденвейлер курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни. Было страшно жаркое лето. Он от жары задыхался.

Мучила эмфизема легких, одышка. Сердце слабело. Тяжело ему приходилось. И все хотелось уехать. «Меня неистово тянет в Италию»,— жить оставалось две недели, а вот так пишет он сестре Маше. Тянуло же русского писателя, такого уже архи-русского, умирать на земле Италии! Были у него и другие планы, довольно-таки фантастические (при его силах): плыть из Триеста мимо Греции и Афона (на Афон давно ему хотелось), к себе домой в Ялту. Но везде жара, это его останавливало. А смерть поступала, как ей нравилось: пришла июльской ночью, близ рассвета, в виде сердечного припадка. Он понял, что пришла. Выпил бокал шампанского, как велел доктор, отвернулся к стене, сказал доктору тихо:

— Ich sterbe¹.

И умер.

* * *

Ранним июльским утром, в золоте и голубизне света над Москвой, извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Шагом он подымался к Троицким воротам Кремля, через Кутафью башню. Трусой катил мимо Ивана Великого и Чудова монастыря к выезду в Никольские ворота. Железные шины пролетки погромыхивали, я и жена сидели тихо, с красными глазами. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова.

Как все это было и скромно, ненарядно! Самый Ванька, философически подстегивавший лошадь, Никольская, потом Мясницкая с пестрою церковью, невысокими домами, булыжные мостовые, встречные ломовики, сам Николаевский вокзал, соединявший нас с блистательным Санкт-Петербургом.

Но, наверно, Чехову так и полагалось. Он возвращался в родной город, столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был он сам.

Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицеймейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты, и старшие, но только те, кто просто, сердцем любили его.

Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домни-

¹ Я умираю. (Примеч. авт.)

ковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко на уровне тротуара портной с испитым и замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» — «Не, писателя». — «Пи-са-те-ля!»

Путь был далекий, через всю Москву в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу.

Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим — само горе просветляло.

У Художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественнее. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола.

Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа — это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он уходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок.

Январь, 1954 г.

<ЧЕХОВ>

ДОБАВЛЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

К главе «Даль времен»

Отца Евгения Яковлевны звали Яков Герасимович (Морозов). Как и отец его Герасим Никитич, он торговал мануфактурой в гор. Моршанске, Тамбовской губ. Дела у него шли плохо, он разорился и «по рекомендации некоего барона Фитингофа поступил комиссионером по суконной части к ген. Папкову, имевшему близ Таганрога суконную фабрику». Жену свою Александру Ивановну и дочерей — девочек Федосью и Евгению, будущую мать А. П. Чехова, оставил в Шуге, Владимирской губ. у свояченицы. В 1847 году Яков Герасимович внезапно скончался от холеры, в Новочеркасске. А в Шуге в огромном пожаре погиб дом свояченицы. Александра Ивановна с детьми осталась почти что на улице. Решила отправиться на юг, чтобы разыскать могилу мужа и собрать остатки имущества. Пришлось ехать на лошадах через половину России. Она доехала. Ни могилы, ни имущества не нашла, поселилась в Таганроге в доме генерала Папкова, вероятно «из милости». Так что Евгению Яковлевне с детских лет приходилось видеть много нерадостного. Может быть, облегчал ей жизнь природно-кроткий характер — смирение, по-видимому, было врожденной ее чертой.

Сестра ее Федосья Яковлевна в этом походила на нее — «святая» по отзыву Антона Павловича. Вышла замуж за торговца «красным товаром» Долженко, там же в Таганроге.

К главе «Доктор Чехов»

С Левитаном близость у Чехова установилась с юных лет — Левитан был товарищем Николая Павловича Чехова по Училищу живописи и ваяния.

В Бабкине, когда Левитан неврастенически тосковал, Чехов «прогуливал» его, развлекал, отводил от мрачных настроений. Позже, в июле 1895 года, в имении Турчаниновой близ Рыбинско-Бологовской ж. д., лечил после покушения на самоубийство (приезжал для этого на неделю из Мелихова). Еще позже, весной 1897 года, выслушивал его сердце. «Дело плохо, сердце у него не стучит, а дует». Нашел «шум с первым временем» — термин, вызывающий у нынешних врачей улыбку. Левитан очень дружески, почти с нежностью относился к нему. (В письмах «милый, дорогой...» предлагает услуги, в трудную для Чехова минуту достает для него деньги у Морозова). Довольно горестно врежется в их дружбу случай с «Попрыгуньей», рассказом Чехова, где слишком близко взяты отношения Левитана с некоей Кувшинниковой (женой врача, художницей-любительницей). Чехов сделал тут ошибку, и кажется, сам не понял что ошибся. («Одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи» и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником».)

Сергей Глаголь, известный художественный критик начала века, хорошо знавший всех троих, рассказывал мне, что Чехову после «Попрыгуньи» был даже закрыт дом Кувшинниковых. Но с Левитаном отношения восстановились. Оба друг к другу уж очень подходили. Роднила, конечно, и врожденная меланхоличность, простота, правдолюбие в искусстве. В Левитане было нечто чеховское и Чехову Левитан чем-то отвечал. То, что с юношеских наших лет мы соединяли Чехова с Левитаном — естественно. Как естественно было видеть в Ялтинском кабинете Чехова над камином пейзаж Левитана — вечерний лужок, стога, выползает луна, все в мягких туманных тонах.

Весной 1891 года Чехов писал Марии Павловне из Парижа, побывав в Салоне: «В сравнении с здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король». Но вот Европа как раз Левитана и не приняла. Чехова прославила, Левитан здесь почти неизвестен, хотя был настоящий импрессионист и как бы родной брат Чехова. Но «душевность» его пейзажа не подошла Западу. Далек ли Левитан от западных художников по приемам, фактуре? Более ли формальное искусство живопись, чем литература? Или имеет значение главенство в мировой живописи Парижа, уж никак к эмоциональному не склонного? (Чехову главную славу создали все же не французы.) Во всяком случае, на Западе Левитана не ценят.

Беспокойство о здоровье Левитана все время чувствуешь в письмах Чехова конца 90-х годов. Беспокоиться было о чем: в августе 1900 года Левитан скончался.

К главе «Вновь Мелихово»

Отзывы Чехова о Толстом, его писании и личности, самостоятельны и прямы, не всегда одинаковы, всегда интересны.

А. Н. Плещееву не понравилась «Крейцера соната». Чехов-писатель защищает Толстого: «Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но по-моему мнению, в массе того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения». Но Чехов-врач тут Толстым недоволен. «Его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и пр., не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанных специалистами». После Сахалина он совсем охладел к «Крейцеровой сонате». Отзыв о «последствии» резок до крайности.

Иное, конечно, о «Войне и Мире», но тоже нет слепого поклонения. «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и Мир», читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо». Не нравятся только места, где появляется Наполеон («натяжка», «фокусы»). «Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов — все это хорошо, умно, естественно и трогательно».

«Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда жижее Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод» (1893 год).

Из письма к Суворину в 1894 году видно, что одно время Чехов был подвержен философии Толстого, и как раз в довольно молодых годах. А теперь будто от нее отрешивается. «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были известны мне и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь во мне что-то протестует». «Толстой уже уплыл, его в душе моей нет и он вышел из меня, сказав: се, оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя».

Насчет будущего Чехов ошибся. Через год, в августе 1895 года, он провел полтора суток у Толстого в Ясной Поляне. Постой начался опять, и теперь уже надолго. «Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки».

«Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой

в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь».

Начинается личное знакомство с Толстым. Тот «гипнотизм», который раньше шел из книг, излучается теперь самим Толстым.

«В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать беззаветно, как Льва Николаевича». А Толстому чрезвычайно понравился Чехов. Кое-что в отношении его к Чехову даже не совсем привычно. Ласковость не толстовская черта, но с Чеховым он бывал почти нежен. Вообще Чехов его как-то по-хорошему возбуждал: рассказ «Душечка» он четыре вечера читал вслух гостям, не мог начитаться. Пошел в Охотничий клуб на чеховский спектакль — ставили «Медведя», «Свадьбу» — хохотал как дитя.

«Толстого я люблю очень» (1899 год). «Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей...» «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалась бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором, даже сознавать что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех» (1900 год). («Ничего не сделал» автор «В овраге», «Архиерея» — урок скромности всем нам, пишущим.)

О писаниях же Толстого отзывается с прежней самостоятельностью: «Толстой пишет книжку об искусстве». «Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до пес plus ultra что искусство измельчало, износилось...» (1897 год). «Все это старое».

О «Воскресении» он написал: «Это замечательное художественное произведение». Но конец осудил — «конца у повести нет». Он читал «Воскресение» с выпущенными цензурой местами. Как отнесся бы к издательству Толстого над литургией? Взглянул ли бы на это глазами Горького, или преосв. Петра из «Архиерея»?

В начале 1902 года Толстой заболел в Крыму. «Толстой очень плох, у него была грудная жаба, потом плеврит и воспаление легкого. Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно».

Чехов ошибся. Толстой выжил и пережил самого Чехова.

Но к болезни Толстого он относился действительно как к болезни близкого. «Мучительное, выжидательное настроение продолжалось дня два, затем известие по телефону: «процесс в легких не идет дальше, появилась надежда». Распространяться Чехов не любил, но когда Толстой стал выздоравливать, в скупых заметках о нем чувствуешь радость. «Дед поправляется, уже сидит, весел».

И все-таки — предисловие Толстого к роману Поленца показалось Чехову «грубоватым и неуместно придиричивым» — литературных своих вкусов он никому не уступает, а сам Толстой, весь его облик, нравится ему особенно, вызывает чувство поклонения. Это был единственный человек, на которого он смотрел снизу вверх. В Крыму они довольно часто виделись. «Боюсь только Толстого» (Бунин о Чехове, воспоминания). «Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела как у нее блестят глаза в темноте!» — Серьезно, я его боюсь — говорил он, смеясь и как будто радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел, и мешая по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах.

— Нет, эти неприлично узки. Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной в Черное море! Подумает: нахал.

К главе «Ялта»

«Ты пишешь»: «Не продавай Марксу», а из Петербурга телеграмма: «Договор нотариально подписан». Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и наверно покажется таковою в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки».

Верная «Маша», сестра Мария Павловна, правильно оценила: истинная его слава в будущем. Связывать себя с Марксом не надо. Понимал это и Антон Павлович, но хотелось вздохнуть.

Успех книг оказался огромным. Очень скоро выяснилось и для всех, что выиграл тут Маркс. Горький обратился к Чехову с письмом, предлагая нарушить договор, вернуть Марксу аванс, заплатить неустойку и перейти в «Знание» (новое книгоиздательство самого Горького) — на условиях несоизмеримых. Вместе с Л. Андреевым составил он проект письма к Марксу от русских писателей, ученых и общественных деятелей, с просьбой освободить Чехова от договора — приурочивали это к 25-летнему юбилею его. Н. Д. Телешов в воспоминаниях своих приводит текст письма. Написано оно спокойно, вежливо, не задевая Маркса. Главное соображение: успех оказался большим, чем ожидали, Чехов нуждается в отдыхе, обеспеченности, и т. п.

Собрали уже много подписей, но Чехов не разрешил послать письмо. («Если я продешевил, то значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик».) Чехов, как и всегда, остался Чеховым. Промах мог сделать, но не мог перестать быть Чеховым.

К главе «О любви»

Лидия Алексеевна Авилова, писательница-беллетристка, родилась в 1865 году, скончалась в 1943 году. С Чеховым познакомилась в 1889 году, в доме ее зятя, редактора «Петербургской газеты» С. Н. Худякова. О Чехове и романе своем с ним — довольно тяжелом для нее и неудачном (она была замужем, мать семейства) — рассказала в воспоминаниях. Письма Чехова к ней, быть может, не все — напечатаны. Из них ничего нельзя узнать о сердечных делах его (кроме, разве упрека в холодности и в том, что он только писатель).

В этом роде писал он письма и Шавровой, тоже неудачной писательнице, с которой тоже долго переписывался и об отношениях с которой тоже из писем ничего не узнаешь.

В переписке с Авиловой самое интересное — литературные советы. Их он Авиловой, как и Шавровой, давал много.

«Рассказ хорош, даже очень хорош...» — но дальше не так радостно: «Во-первых, архитектура. Начинать надо прямо со слов: «Он подошел к окну»...— и проч. Затем герой и Соня должны беседовать не в коридоре, а на Невском, и разговор их надо передать с середины...» (Всегдашнее у него: сокращение. Он полагал — очень разумно — что половина литературного искусства состоит в умении сокращать.)

«Во-вторых то, что есть Дуня, должно быть мужчиной. В-третьих, о Соне нужно побольше сказать. В-четвертых, нет надобности, чтобы герои были студентами и репетиторами — это старо. Сделайте героя чиновником из департамента окладных сборов, а Дуню офицером, что ли...» Выкиньте слова «идеал» и «порыв».

Авилова несколько обиделась. Чехову пришлось смягчать. «Я боюсь, что моя критика была и резка и не ясна, и поверхностна. Рассказ Ваш, повторяю, очень хорош». «Офицера не нужно, Бог с Вами — уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться». О другом ее рассказе: «Только вот Вам мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее — это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны» (1892 год).

Это один из устоев чеховского искусства. Пусть автор будет скрыт за своими подчиненными. Пусть в чувствительность не впадает, лучше бы изобразил так, чтобы выходило трогательно. Здесь всегдашнее его столкновение с дамским писанием, с многоточиями, слезливостью, длиннотами, фразой, нагруженной прилагательными. (Главная дешевка прозы. Чехов одиноко ее преследовал еще в прошлом веке.)

Авилова немало претерпела от него по литературной части. В 1895 году оказывается, что ее «Власть» милый рассказ, но... «будет лучше, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика». Что касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь и притом громоздкая вещь. Вы нагромождали целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце.

«Вы не работаете над фразой; ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности». Это написано во времена, когда в России Флобера знал (и ценил) едва ли не один Урусов.

Музыкальность, ритмичность прозы Чехова бесспорны. В языке мелкие промахи он и сам делал, но некий слух в словесности у него был.

Ритмы прозы вообще еще не изучались. Они разные у разных писателей, и очень сложны, сложнее чем в стихах. Звуковой оттенок придает каждому прозаику свойственное ему своеобразие. А пора бы взяться за прозу. Ритмами стихов занимался Андрей Белый, а прозу обошел. Сам писал иногда такой прозой, которая укладывается в стихотворные размеры, т. е. совершал над ней насилие. У Чехова же именно проза, а не переодетые стихи.

Проза Авиловой не выше «Вестника Европы» и «Русской мысли». Но воспоминания о Чехове она написала хорошо — как будто сказались его уроки.

Когда Чехов продал Марксу сочинения, Авилова очень ему помогла, разыскивая старые рассказы в газетах, переписывая, отсылая в Ялту. Проявляла в этом скромное женское поклонение — служение.

К главе «Архиерей»

Кто именно послужил Чехову прототипом преосв. Петра в рассказе «Архиерей», не совсем ясно. М. П. Чехов (брат писателя) указывает на епископа Сергия (в миру С. А. Петров. Студентом Московского Университета жил в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, давний знакомый семьи Чехова. Антон Павлович относился к нему с уважением и любовью — это видно из

переписки их, не особенно интересной, но продолжавшейся всю жизнь).

Епископ Сергей родился в 1864 году, Университет окончил в 1891 году, через год принял монашество. В 1899 году он уже еп. Бийский, далее Омский, Ковенский, в 1913 году еп. Сухумский. М. П. Чехов подчеркивает, что еп. Сергей «наткнулся на темные стороны архиерейской жизни», «попал в немилость» и «сослан на покой в один из глухих монастырей на Кавказе». Все это отзывает советской стилизацией (книга М. П. Чехова о брате вышла в 1923 году): еп. Сухумский ничем не хуже, чем викарий Херсонской епархии. На «немилость» непохоже. Еп. Сергей благополучно закончил свою духовную карьеру в России — «после революции переименован во еп. Черноморского, в этом звании эвакуировался с Белой армией в Сербию». По словам проф. архим. Киприана, лично знавшего его в Сербии, никогда он о Чехове не упоминал в рассказах о России и деятельности своей там. Ничего выдающегося в нем самом не было.

Гораздо более отвечает облику преосв. Петра другой святой, епископ Михаил Таврический — в миру Михаил Грибановский. Родился он в 1856 году, СПб духовную Академию окончил в 1884 году. Оставлен доцентом по Основному богословию. Монашество принял еще студентом (что тогда было редкостью). В Академии был душой того кружка молодых ревнителей монашества, в котором видное место занимали Алексей Храповицкий, будущий митрополит Киевский Антоний, и Василий Белавин, будущий патриарх Тихон. «Болезнь Михаила (чахотка) заставила его покинуть Академию и он был назначен настоятелем нашей посольской церкви в Афинах (1890—1894 годы)». Был вызван в С.-Петербург и хиротонисан во епископа Таврического. На этом посту и скончался в 1898 году. Был автором ученых богословских трудов.

«Личностью он был исключительно благородною и даже, скажу, благоуханною: чистота монашеского облика им была вознесена на большую высоту; ум его был глубокий, светлый, мысль очень ясная; благочестие его лучше всего видно в его книге «Над Евангелием».

«Многие черты из его биографии отражены и Чеховым: южный город, жизнь заграницей, ученость и, конечно, самый облик его кротости и молитвенности» (Архимандрит Киприан, из письма мне).

Лично с епископом Михаилом Чехов знаком был. Но переписки между ними нет. Черты биографии преосв. Петра несомненно заимствованы у еп. Михаила, да и общий облик с ним

совпадает. Все же — вполне возможно, что нечто взято и из жизни еп. Сергия (трудности в управлении епархий, запуганность низшего духовенства и т. п.). Бунин, хорошо Чехова знавший, говорил мне когда-то: «В «Архиерее» он слил черты одного Таврического архиерея со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну».

Это очень правдоподобно. И, во всяком случае, образ преосв. Петра есть нечто, прошедшее «сквозь душу и воображение поэта» и в ней получившее вторую жизнь (волшебн-поэтическую). Это не фотография того или иного епископа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БОРИС ЗАЙЦЕВ
ТУРГЕНЕВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

(Заключение жизни)

22 августа 1883 года произошло с Тургеневым страшное и таинственное событие: смерть. По его собственному взгляду — превращение в ничто. Бедный пузырек лопнул, поглощенный бездной. Верующим Тургенев не был (хотя смутное, горестное чувство «одного» — жило в нем. Нельзя сказать, чтобы твердо он верил и в небытие! Вернее всего, томился — полуслепой, полужрячий: не общая ли наша, смертных, участь?).

Во всяком случае, с 22 августа пути разошлись. Тело легло в гроб, было перевезено в Россию, похоронено в Петербурге, при прощальных речах и толпах народа. «Тургенев» — то, что знали люди под этим именем, никакого уже отношения к бедному, истлевающему телу не имело. По христианскому взгляду человек подвержен некоей загробной судьбе. Дух его тоже где-то пребывает, может даже расти и очищаться. Любовь, благоволение к нему других ведут, поддерживают — предполагается связь между тем миром и нашим.

«Та» судьба Тургенева нам неизвестна. Можно говорить лишь об «этой», земной, посмертной — да и то временами лишь предположительно. Тургенев — образ, Тургенев — человек, поэт, писатель, уходя из жизни как-то, все же и остался в ней. Остался и среди близких, и среди тех, кто его никогда не видал, но читал книги, Тургеневым писанные.

* * *

И вот, прежде всего, сама Виардо. Тургенев ее жизнь украсил, но не сломил, не победил. Нельзя мерить ее меркой верной,

преданной жены. И все-таки на Полине смерть Тургенева отозвалась сильно. Таковы единогласные свидетельства друзей. Две недели не выходила она к ученицам, ничего не делала, в себе перемалывала скорбь. Но была сдержанна, как всегда, деловита, может быть, казалась и холодноватой. В Россию хоронить прах его не поехала, но писала письма, полные большого потрясения... и, конечно, продолжала прежнюю жизнь: уроки, дети, правильное, строгое ведение хозяйства. В дальнейшем (долгом еще) пути ее Тургенев как бы шел с ней рядом, спутником прохладным и меланхолическим, *не* кровным: образ поэзии, своевременно, однако же, угасший. По глухим намекам можно заключить, что и любовная ее жизнь продолжалась без него, несмотря на возраст. Так что Тургенев после смерти у Виардо: большой, прекрасный портрет в раме.

Тоже портретом, и тоже прекрасным, остался он и для Савиной — так же никогда его по-настоящему не любившей, но так же, как и Виардо, обаяние его испытывавшей: и несмотря на всю холодность Савиной, на все, что было в ней от *актрисы*, какие-то по Тургеневу панихиды, на протяжении многих лет, цветы и слезы одной актерственностью не объяснишь. И в жизни Полины, и у Савиной были другие люди, более их опьянявшие. Но Тургенев все же единственный. Ни на кого не похож, никем не заменим. Неким «образом» он в них вошел — и остался. Да не одни женщины чувствовали так. Сами парадные французы, типа Ренана и Эдмона Абу, в надгробных речах *Chapelle ardente* Северного вокзала (перед отправкою праха Тургенева на родину) выразили это — сквозь всю условность и холодное величие речей. Выразили *особенность*, неповторимость Тургенева.

А в Вержболове, на русской границе, встретилось тело Тургенева с родиной (несмотря на разделение смерти, всем казалось, конечно, что именно сам «Тургенев» шествует по полям и перелескам российским). Он к России относился двойственно (любил — и часто осуждал). Россия обывательская, мало-мальски тронутая просвещением (не говоря уж о культурном круге), — вся вышла ему навстречу. Священники на станциях служили литии. Народные учителя, врачи, статистики, студенты, барышни, гимназисты, просто какие-то читатели толпами выходили к прибытию поезда. Приносили венки, прощались. (Вез тело Стасюлевич, и много натерпелся. Панихид служить *не дозволяли* (!), даже краткие литии иногда грозили быть прерванными отходом поезда! Стасюлевичу приходилось, едва заперев траурный вагон, на ходу вскакивать в поезд. В одном месте толпа так теснилась у гроба, что предложили ребенку проститься

одному за всех — что и было исполнено: вышло хорошо, по-настоящему).

Так отнеслась Россия народная. Россия официальная иначе смотрела на дело. Некогда за статейку о смерти Гоголя молодого Тургенева выслали в деревню (к большой его пользе). Теперь сам он, старый и знаменитый, скончался — и хотя времена были другие, смерть его и предстоящие в Петербурге похороны вызвали опасения, какую-то застарелую боязнь «писателя»: вот он был либерал, а теперь хоть и умер, а того и гляди свинью подложит, демонстрацию какую-нибудь из-за него устроят и т. п.

Стасюлевич натерпелся не случайно. Министр внутренних дел гр. Д. Толстой и директор департамента полиции Плеве «принимали меры», чтобы свести к минимуму предполагаемые многочисленные встречи поезда с гробом на станциях... и устранить служение при этом панихид и литий. По этому поводу был оживленный обмен телеграмм с местными губернаторами, которым предлагалось «воздействовать» на учреждения и отдельных лиц, желавших почтить память покойного депутациями и надгробными словами» (Кони). Отсюда и загадочная торопливость станционного начальства! Так что Стасюлевичу, на ходу вскакивавшему в вагон, казалось, что везет он «не прах великого писателя, а тело Соловья-Разбойника».

Такие же волнения у власти вызвали и похороны (в Петербурге). Тоже все думалось, не скажут ли в речах лишнего, не устроят ли беспорядка, демонстрации. Градоначальник лично наблюдал за всем. Похороны оказались пышные. 176 депутатий несли венки, было море цветов, море людей. На могиле, слава Богу, всего три речи: Бекетова, Муромцева и Григоровича — а Грессер велел заранее дать тексты речей и все мучился: не подсунут ли как-нибудь контрабандой и «конституцию»? Какая-то тифлисская депутация принесла обрывок цепи — за эту цепь князя Бебутова выслали из Петербурга.

Но так уж в России всегда бывало (скажем мягко: бестолково!). С одной стороны, на Тургеневе некое veto, с другой — в гимназиях служились по нем панихиды по приказанию начальства. Конечно, масса всяких заседаний, речей, восхвалений, плоских и средних, много искренней грусти поклонников. Много отдельных добрых, иногда наивных, движений сердец (купец Ситников прислал к отпеванию дорогой бархатный ковер с письмом: «А где же мы, купцы?» и т. д.). Но на надгробный памятник писателю Скабичевский дал 20 копеек, постановление Думы о принятии расходов по перевозу тела опротестовал все тот же Грессер, и «дело» таскали по сенатам и судам

более десяти лет! Школа тургеневская в Спасском-Лутовинове закрылась через год по его смерти. Вообще, обычное у нас: любовь любовью, а убожество и бестолочь — своим порядком.

* * *

Но, наконец, все эти мелкие дела доделали, речи утихли, лично Тургенева стали забывать — действие писаний его продолжалось.

Можно сказать, что восьмидесятые, девяностые годы прошли в русском обществе под знаком Тургенева. Все молодое поколение на нем воспитывалось. Он стал классиком — со всеми выгодами и невыгодами этого положения. Довольно быстро перекочевал и в школу: гимназисты получали за него «удовлетворительные» или «неудовлетворительные» отметки.

К началу XX века обозначилась (в литературных кругах) реакция: она совпала с появлением модернизма и символизма. (В сущности, многое в Тургеневе символизму довольно близко, но, конечно, не общественные его романы.) Заслонил его и Достоевский. Любить Тургенева стало не модным, *не шикарным*. Вся литературная молодежь от него отошла, а с другой стороны, им (так же, как и Пушкиным, впрочем) воспользовались как защитительным оружием поклонники Потапенки и Боборыкина, а в поэзии Надсона и Апухтина. Тургенев вступил в трудную полосу — писателя «вчерашнего дня» (в ней сейчас Чехов, во Франции — Анатоль Франс). Писателю прощают позавчерашний день, но не вчерашний. Настоящего художника перечитывают, когда успели уже несколько от него отвыкнуть и когда стал он историей, а не тем Иваном Сергеевичем или Антоном Павловичем, которых многие помнят в лицо.

Но большие фигуры не уходят. Станным и парадоксальным образом возрождение интереса к Тургеневу совпало с революцией! Оно выразилось, во-первых, в чрезвычайном росте специальных работ о Тургеневе в России советской (наперекор стихиям). Возникло в Петербурге Тургеневское Общество, поставившее целью Тургенева изучать; кружки студентов и молодых ученых, собиравших материалы, неизданные письма и т. п., — в итоге появились, за последние 10—12 лет, очень ценные для Тургенева публикации в России, книги «литературного монтажа», выгашенные на свет Божий воспоминания, этюды об отдельных моментах его жизни и отношений с людьми, изучение стиля, стихотворений, влияний литературных, — надо признаться: сколь ни обязаны тургеневисты напр., И. Д. Галь-

перину-Каминскому¹, — все же без работ и материалов послевоенного времени биографу Тургенева пришлось бы туго.

Затем, Тургенева стали больше читать — и именно в России. Этот факт подтверждают показания цифр в советских библиотеках. В одном из попавшихся мне отчетов прямо даже было указано: стоит *впереди* Толстого и Достоевского по читаемости.

Я не думаю, чтобы он прочно мог обогнать Толстого. Все-таки странное явление бесспорно. Наименее модный, вернее, самый *старомодный* писатель весьма значительно сейчас привлекает. И еще интересно: в России больше, чем в эмиграции! (У нас в тургеневской библиотеке его мало спрашивают.)

Какая связь между революцией и Тургеневым? Думаю, та, что неистребимо влечение человека к тишине, возвышенности и благообразию. Хаос, грязь, кровь, некое безобразия российской жизни многих, очевидно, измучили. И ученый тургенист, и простой читатель с удовольствием отдыхают от пайков и пшенки в тургеневских садах, и, может быть, им именно и нравится, как «чисто», «с черемухой» объясняются в любви тургеневские люди, когда в быту — чубаровы переулки да «алименты». Тургенев оказался в этом случае союзником *религии*, в том смысле, что он непосредственно очищает, просто вводит в некую благоуханную атмосферу, дает *ощутить* юную любовь, русское лето, пруды, усадьбы... многое вообще порядочное! И в Толстом, и в Достоевском есть все же внутреннее раздражение. Они увлекают, но волнуют. Они, разумеется, сильнее по темпераменту. Но бывают минуты и целые полосы жизни, когда человек (или целый круг людей) склонен сказать:

— Ну, хорошо, всех этих трагедий и бурь я достаточно натерпелся и насмотрелся. Хочу просто вечернего тихого заката. И пусть он в пруду отражается. И пусть первую звездочку увижу. И тогда умирюсь, приму в сердце Бога.

* * *

Любителям «густоты» и шершавости прозы, молодым людям начала нашего века казался Тургенев слишком гладким. Старомодный вчерашний день с устарелыми приемами. Академик. Писатель для классных сочинений. Писатель для «Вестника Европы» и «Русских ведомостей», изображающий давно ушедших Базаровых.

В таком отталкивании была доля правды. Тургенев как будто

¹ С большими трудами доставшему и напечатавшему знаменитые письма Тургенева к Винардо.

возглавлял некую партию, академически-казенную, мешавшую молодежи. Этот вчерашний день надо было — если не повергнуть — то пройти мимо него, повинувшись гласу и духу эпохи.

Но вот прошло тридцать лет. От символизма и модернизма осталось несколько фигур в поэзии — но это уже былое. Настоящая история сделала такие шаги, что не только вчерашний день Чехов, но и Блок и другие. Тургенев переместился в какую-то волшебную, дальнюю перспективу: не устарелый, а *старинный* писатель... и на этом он много выиграл. Теперь он никому не мешает и ничье не знамя. (Правда, и сейчас встречаешься с таким умонастроением: обругать Тургенева — значит, выдать себе свидетельство на *модность*. Но уже такие встречи редки. И отдают глубоким провинциализмом.)

Сейчас Тургенев отошел в некий элизиум — оттуда он и видней. Его оценка тверже — и ближе к истине именно теперь. Неувядаемое в нем выступило сильнее, слабое отцвело. Вряд ли кто станет ныне спорить, например, что малые (по размерам) его произведения оказались сильнее общественных романов, что Тургенев — поэт, эротик и мистик заслонил Тургенева либерала и разрывателя цепей.

Может быть, подлинное свое место («тихого классика») начинает занимать он именно в наше время.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

СТОЛЕТИЕ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо.

«Хорь и Калиныч»

«Мертвые души» в огромной своей части связаны с Римом. «Записки охотника» с Парижем и Куртавенелем (имение Виардо близ Парижа). Как и Гоголь в Риме, Тургенев жил тогда (1847—1850) скромнейше, в меблированных комнатах — то на углу rue de la Paix и бульваров, переезжая из этажа в этаж, смотря по денежным делам, то на rue Tronchet, № 1 — этот дом сохранился и донныне, на углу place de la Madeleine.

Куртавенель же находился километрах в шестидесяти от Парижа, к юго-востоку. Тогда это было прекрасное поместье — замок времен Франциска I, старина, плющ по стенам, каналы, по которым катались на лодке, рвы, чудные цветники перед домом. Рамка для жизни превосходная, и Тургенев отлично чувствовал себя тут. Это время полного его успеха у Полины, время и живой художнической работы. Отсюда-то и вышли разные «Бирюки», «Льговы», «Чертопхановы», да и многое другое в «Записках охотника». Он провел здесь три лета, живя в просторной комнате с зелеными обоями.

Интересно было бы съездить в этот Куртавенель (Тургенев называл его колыбелью своей славы), посмотреть родину знаменитой книги, на которой все мы возрастали, она стала даже частью существа нашего (говорю о своем поколении).

Но ничего там теперь, по моим сведениям, нет. Замок совершенно разрушен — ведь и правда, три войны пережила Франция с тех времен.

Пусть в Куртавенеле замка нет, как и в Париже не найдешь

угла rue de la Paix и бульваров, «Записки охотника» остаются. Здесь же во Франции я видел первое издание их. Небольшая серо-голубоватая книжка скромного, благородного вида. Вышла в России сто лет назад, в 1852 году. Это год для нашей литературы знаменательный. Он и траурный: уход Жуковского, Гоголя, но и плодоносный — выступление Тургенева и Толстого.

* * *

С особым чувством перелистываешь сейчас тургеневскую книгу. Конечно, это высокая литература. Но и часть твоей родины, России, ее старина, прелесть, природа, очарования и недостатки, даже уродства (рабство) — пестрая и живая картина, такая правда и поэзия! И во всем создании — в невидимых, подземных его слоях — тихая струя благоволения. Она не выпирает. Просто присутствует. Книга рождена любовью и как любовь жива, несмотря на всю свою старомодность.

Вижу собственные пометки, сделанные много лет назад. «Ермолай и мельничиха» — весенний вечер в лесу. «Тяга» вальдшнепов. Он знает всех птиц и всю жизнь их!.. «Затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки». А дальше умолкают разные горихвостки, дятлы, пеночки, иволги...» «Соловей щелкнул в первый раз».

— Откуда у ваших классиков столько птиц? И неужели в России их так много? — спросил меня раз один итальянец.— Удивляюсь...

В России всего много, не приходится удивляться, что много птиц. Тургенев знал их потому, что любил все это. И не только птиц, а вообще природу.

Отмечены у меня первые страницы «Свидания» (березовая роща в сентябре — после дождика вдруг солнце и сквозь облака «лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный, глаз»); начало «Бежина луга» (жаркий и погожий день в июле), середина «Касьяна с Красивой Мечи» (жара в лесу, лазурь в небе, как бездна, отдыхающий охотник лежит на спине и смотрит вверх сквозь лепет листьев) — все это совершенно первый сорт. Эпилог книги «Лес и степь», того же, приблизительно, достоинства.

И конечно, не только природой, но и людьми, теми, «столетними» наполнено произведение. Они являются, говорят, что-то делают, ничего сложного и замысловатого, а потом безвестно исчезают. Никаких «фабул», «развития сюжета» — появился, ушел, но запечатлелся.

Все как будто совсем близко к действительности, чуть ли

не «очеркизм», но вот именно «чуть ли не»: окрашено очень тонко самим автором, через него прошло, а потому не фотография, а искусство.

Охота сводила Тургенева с очень различными людьми: от помещиков до простых охотников, неустроенных, бездомных бродяг — эти особенно его привлекали. Сам он был барин, но странный. При всем блеске, культуре, утонченности и западничестве своем все-таки это русский скиталец, несмотря ни на какие Спасские. Западно-мещанского в нем не было, он не «буржуа», а дальний родственник, каким-то концом души своей брат бездомным Калинычам, Ермолаям, Сучкам, Касьянам, певцам Яковам и другим.

Баре ему нравились только непутевые — Радиловы, Каратаевы, Чертопхановы, а тогдашних «устоев общества», он терпеть не мог (одни фамилии чего стоят: Пеночкин, Лоснякова, Стегунов — этого и назвал Мардарием Аполлонычем. Он Тургенев угощал чаем на террасе, а конюшне драли в это время буфетчика Василия. «Чюки-чюки, чюки-чюки...» — хозяин ласково улыбался).

Женщин не весьма много в «Записках охотника» по их малому отношению к охоте, но Тургенев есть Тургенев. И даже в самой его мужской книге так он русскую женщину превознес, что один всего — более поздний — очерк «Живые мощи» заслоняет собой едва ли не половину написанного.

В технике «Записок охотника» многое устарело. И времени прошло немало, да и вообще Тургенев был врожденно старомоден (хоть иногда стремился изображать «нового человека»). «Мои снисходительные читатели...», «Дайте мне руку, любезный читатель...» — Толстой никогда не мог такого написать. Друг и сверстник Тургенева Флобер тоже.

Почти на смертном одре, в Буживале, Тургенев просматривал корректуры собрания своих сочинений, но вот не убрал из раннего своего писания этих любезных читателей, разных «бедняг», «добряков» и пр.

А великий был знаток и мастер языка. Фраза шла у него вольно, без длиннот, но и без флюберовской закованности. Фраза будто и незаметная, естественно-кругловатая, без остроты, но и не утомляющая повторением любимых оборотов — этим именно вольная, как река, та Ока, на которой стоит его Орел.

Знаменитые слова о языке-утешителе он не зря сказал. Был и западник, и барин, а вскормлен народом, писание его шло из народной стихии русской, возведенной лишь на верхи. Через него Орел говорит и Ока, но прошедшие сквозь пушкинский мир.

Просматривая книгу замечаешь, что 47-м годом помечено 8 рассказов, 48-м — 5, 49-м — 4, 50-м — 2, 51-м — 3. Чем дальше, тем меньше по числу и выше качеством: естественный, законный путь художника.

Подавляющее количество очерков написано во Франции, но лучшие или на рубеже отъезда¹ («Певцы», «Свидание»), или в России («Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи»). А еще через двадцать лет создались и были добавлены два шедевра «Конец Чертопханова» (с удивительно написанною цыганкой, бросающей Чертопханова,— по драматизму и действенности это даже не совсем «Записки охотника») и «Живые мощи».

Все перечисленное, более позднее писание особенно поражает поэзией, жизненной простотой и трогательностью. Еще ранний Калиныч, открывающий собою книгу, входит в избу к Хорю «с пучиком полевой земляники в руках» — подарок приятелю. («Признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика» — но вот они оказались, не напрасно у Калиныча было лицо кроткое и ясное, «как вечернее небо».)

В «Касьяне с Красивой Мечи» эта кротость получает уже некое религиозное освящение: мужичонко Касьян, утлый и последний, ненавидит убийство, не любит охотников. «Святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх...»

Блуждая с ним, Тургенев не находит ни одного вывода, случайно убивает вылетевшего коростеля и вызывает упрек Касьяна. В конце признается этот Касьян, что таинственными заговорами отвел всю дичь, всех тетеревов.

Кто охотою занимался, знает эту острую страсть, в корне своем темную. Она, конечно, греховна. В ней есть связь, не вполне для меня ясная, но несомненная, с мрачной стороной пола.

Тургенев, явно сочувствующий своим Касьянам и Калинычам, прославивший в «Живых мощах» Лукерью, создатель Лизы из «Дворянского гнезда», так до конца дней от этой страсти и не освободился. (В 1880 году стрелял с Толстым в Ясной Поляне вальдшнепов на тяге — Толстой занимался в это время «Кратким изложением Евангелия»!) Но кто, кроме святых, от страстей освобождался? Или если от одной, то не приходила ли другая? «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» — это

¹ Он уехал в Россию летом 1850 г.

Апостол сказал две тысячи лет назад. Человек с тех пор не изменился. Весь он основан на противоречии, и на каждом шагу это проявляется.

И вот в «Живых мошах» тоже есть строки об охоте — как будто случайные, но существенные.

Лукерья, красавица некогда, крестьянка-крепостная, разбитая загадочной болезнью, лежит недвижно в сарайчике на хуторке матери Тургенева. Он случайно, охотясь, забредает туда. Они беседуют. Среди замечательных по смиренной простоте и прозрачности рассказов Лукерьи есть упоминание о ласточке, свившей гнездо в ее убежище, выведшей птенцов. «А детки тотчас — ну пищать, да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!» (Тургенев смущен и оправдывается довольно неловко: «Я ласточек не стреляю» — как будто она одобряет стрельбу тетеревов, бекасов).

Но и она сама скажет через несколько минут, когда он предложит ей помощь, что он «добрый». От больницы отказывается, но что добрый, хоть и охотник, в этом права, конечно. И еще удивительней, что этот «охотник», никак к церкви себя не причислявший, с такой неотразимой проникновенностью написал деву Лукерию, скромно прославил ее смирение («Послал Он мне крест — значит, Он меня любит...»). «Всем довольна, слава Богу»).

Собственно, он написал икону русской святой, вознес в ее лице и женщину русскую, и народ, ее родивший.

«Вот вы не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня нету. Только одна я живая! И чудится мне, будто что меня осеняет... Возьмет меня размышление — даже удивительное!

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, и что такое было, не поймешь!»

Да и кто, правда, может понять веяние благодати, сходящей на страстотерпицу?

* * *

«Бежин луг» любишь с детства. Мальчики вокруг костра, «ночное», куда и сам когда-то гонял лошадей, дымка таинственности и грусти, облекающая весь рассказ — все располагает. Помню альбом гравюр к нашим классикам. Из темноты высо-

вывається к костру с лежащими вокруг мальчиками лошадиная морда, огромная, мирная. На другой картинке лакей развязно полулежит в роще, рядом крестьянская девушка, смущенно перебирает цветочки — приношение любимому. Певцы состязаются в притынном кабаке — поет беспутный талант Яша: высокий и худой. Дикий Барин ухватился руками за голову, другие слушатели тоже потрясены.

Это все и есть «Записки охотника», которые выдавались потом в гимназиях как награда. Читались и перечитывались в юности, зрелости. Сопровождают до поздних лет.

...Тем излучением добра, каким сияет эта книга, глубоким созвучием с малыми сими, незаметными, страждущими, даже вознесением их «Записки охотника» не только поколебали рабство (а они именно поколебали: ученик Жуковского, будущий император Александр был поклонником этих «Записок»). Они оставили какое-то свидетельство и о народе русском, и о русской литературе. Прошло сто лет, свидетельство не умолкает.

Тургенев утешался тем, что великий язык дается великому народу. Всмотриваясь во все горестное, что касается самой России, видя и то поверхностно-высокомерное, что складывается в мнении о ней Запада, можно расширить тургеневское утешение: великая литература дается только великому народу.

БОРИС ЗАЙЦЕВ
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТУРГЕНЕВА
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Озарение детства. Чтение во времена легендарные. А вот как помнится!

Был май, конец мая. Сидел я с книгою, поджав под себя ноги на диване в огромной комнате Людиновского нашего дома — окна выходили на озеро, очень светло и просторно. (Озером этим питался завод, заводом управлял отец, дом был не «наш», а «директорский».)

Кончив, вышел в сад, и в майском свете, под старыми липами, бродил, восхищенный, в некоем как бы и полоумии — никого мне не надо, просто побыть одному, в зеленом золоте листы, в кружочках света на дорожке, их трепетании, мелькании, в нежности запахов: майских побегов, овощей с огорода, влажной земли. Никакой любви еще не знал, далеко было до этого, но вот Тургенев вдруг завладел — обольстил. Да, писатель должен иметь *власть* над читателем. Если нет власти — может выходить и умно, своеобразно, все-таки не полюбишь. Останешься в стороне.

Сам Тургенев считал эту «Первую любовь» лучшим своим писанием. Если отбросить две страницы условного введения, ограждающего якобы автора от автобиографии (отец-то все-таки портрет Тургеневского отца), то все остальное, все десятки страниц действительно шедевр. Тургенев тут не ошибся.

Перечитывать приходилось за жизнь не один раз. И теперь вот наверно в последний. Надо сказать: все прекрасно. Все в меру, полно, все написано, люди живут, будто это происходило не в 1833 году близ Нескучного под Москвой, а у меня на глазах — хотя все старинное и старомодное. И все овеяно тем

обаянием, золотисто-зеленоватым светом молодости, который *разит* и юношу, и уходящего из жизни человека. Из жизни надо уйти, и в свой срок уйдешь, прекрасное в ней останется, как остается вечная любовь, красота, Флоренция на закате дня — как бы ни повернулась к тебе судьба.

«Первая любовь» написана в 1860 году и при появлении своем вызвала издевательства неких тогдашних писак, но их нет, а Тургенев остался. Пусть ставят памятники Маяковскому. Мало ли кому ставили. И еще поставят. Тургенев сам себе поставил памятник — просто тем, что «кое-что» написал.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Город Орел моя родина, в нем я родился, на Левашевой горе. Потом жили мы в Калужской губернии, но в раннем детстве меня возили опять туда, в Орел,— мы с матерью и сестрой останавливались в доме Николая, на Дворянской улице. Тетя Варя была урожденная княжна Щербатова, дом ей и принадлежал. Все в нем старинное, истовое, как и она сама. Поразили меня иконы, лампадки, тишина и благообразие. Ничего больше не помню, кроме этих икон и лампадок. Впрочем, еще одну фразу дяди Николая (дядя был красивый, важный, «грудь колесом», как говорила моя мать — думаю, вся его жизнь прошла в разговорах, обедах в клубе, великолепных позах).

И вот одно слово его запомнилось. Подойдя к окну, величественно указав пальцем на дом через улицу, он сказал кому-то, при мне:

— Это дом Калитиных. Тут жила тургеневская Лиза, из «Дворянского гнезда».

Я тогда «Дворянского гнезда» еще не читал. Но имя Тургенева в нашем доме почиталось весьма. Имя знал. Знал и книги его у нас (по виду: давнего издания, шестидесятых годов, в коричневых переплетах того времени — мать была большой поклонницей Тургенева, да и отец очень его чтил).

«Дворянское гнездо» пришло позже, но навсегда связалось со старинным домом «дяди Коли», с «другой стороной улицы» и домом Калитиных (фамилия, думаю, изменена).

Первого чтения «Дворянского гнезда» не помню, но сама книга вошла как вечный спутник, сопровождала всю жизнь.

Я читал ее в отрочестве, юности, во времена юного своего «импрессионизма» начала века (дико было бы нам, тогдашним, написать: «мы должны попросить у читателя прервать на время нить нашего рассказа» — или что-нибудь в этом роде), но при всей устарелости форм главное не умирало. В *Sturm und Drang*'e

литературном начала века никогда от Тургенева не приходилось мне открещиваться («устарело!» «Разве можно так писать!»). Вопреки окружающему, вопреки собственным литературным приемам, старомодный Тургенев продолжал жить в душе, будучи очень далек от незнакомок с Невского проспекта и некоей гнильцы, внесенной символизмом. (Серебряный-то век серебряный, много в нем замечательного, но проступали и пятна разложения: предвестие катастроф.)

Как и «Первую любовь», «Дворянское гнездо» пришлось только что перечитать — вслух, при особенной обстановке.

Людей очень уж «мужественных» типа Толстого, без влаги и капли нежности, могла раздражать некая женственность Тургенева, склонность к сентиментализму и как бы рыхлость. В «Дворянском гнезде» есть и сентиментализм и женские многоточия. (Нынешние дамы-писательницы могут оправдывать свои многоточия знаменитым Тургеневым. От этого их писания лучше не станут.)

Но ни Лемм, несколько элементарный (и все же трогательный), ни эти многоточия, не заслоняют удивительный полноты произведения: оно стихийно-позитивно, просто родилось из поэзии, Тургенев лишь записал. Полно тех высоких чувств (Лиза), которые ведут не к незнакомкам, а к вершинам. Высоты религии, любви не могут обернуться здесь кабаком и шляпой с траурными перьями. Монастырь Лизы далек от Невского проспекта.

Очень странным мне всегда казалось отступление (длиннейшее!), «ход в сторону»: вставленные родословная и биография Лаврецкого. Особенно родословная. Удивительно и то, что вставка эта сделана «по совету друзей» — в первоначальном рукописном тексте нет. Тут даже несколько и расстроиться. Как это зрелый, в полном цвету, прекрасный и опытный художник может с кем-то «советоваться», да еще слушаться советов? Тургеневское слабование? Женственная склонность подчиняться?

В общем остаюсь при прежнем: если для полноты облика Лаврецкого надо было еще что-то добавить, замедляющее течение реки (и так не быстрой), то перебирать всех дедов, прадедов как будто бы излишне.

Но... (и тут сам ставлю многоточие). Но при этом чтении показалось, что общая полнота, при явной чрезмерности вставки, все-таки достигается. *Что-то* в Лаврецком выступает ярче. Давний, древний, иногда дикий дворянский дух времен Екатерины, Павла, может быть и Александр I сквозит в неких вспышках Лаврецкого, хотя Лаврецкий этот уже и повит тургеневской меланхолией, человечностью — вообще никак не благоверный крепостник.

Как удалось Тургеневу написать *изнутри* Лизу? Дать ей все верные слова, верные действия? — ему, вовсе далекому от церкви, пессимисту и неверующему? Это тайна искусства и тайна души. Значит, жило в нем нечто такое, что не укладывалось в «разумную» философию его.

Лиза, Лаврецкий, Марья Дмитриевна, Паншин, тетушка Марфа Тимофеевна, Лаврецкий один в деревне («вот когда я на дне реки»), рыбная ловля, ночное сопровождение верхом, рядом с каретой Лизы — все это прелесть. Настоящий Тургенев.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Будущее русской литературы есть ее прошлое» (или: «находится в ее прошлом» — за точность не ручаюсь). Так сказал один советский писатель. Вот тебе и «инженеры душ», и «планы»!

Слышно также, что нынче в России много Тургенева читают. Много и издают. В добрый час. Пора братья за ум. На Маяковских далеко не уедешь. А из настоящей литературы что-то и вынесешь. «Не хлебом единым» — может быть, можно обойтись и без техники, изобретателей, «догоним и перегоним?» Пусть инженеры строят мосты — писатели о чем-нибудь и кроме мостов напишут?

Спокойная, горестная, но и светлая проза Тургенева несет в себе нечто миротворное. В тяжелые дни утешал его «Русский язык». Так и сам он, просто своим обликом, духом искусства своего, есть отрада и утешение, несмотря на всегдашнюю печаль.

БОРИС ЗАЙЦЕВ
«ТВОРЧЕСТВО ИЗ НИЧЕГО»
ВНОВЬ ЧЕХОВ

Подлинное перечитываешь не однажды. Так и с Чеховым. Для чтения вслух — при особых обстоятельствах — выбираю вещи большие, более ровные и спокойные: «Степь», «Дуэль». Ничего прямо не сказано, никакого поучения, но раскрыто окно — в простодушной вере о Христофора, в доброте, благодушии доктора Самойленки, в милых и верных словах смешливого дьякона из «Дуэли». Читаешь и улыбаешься на них, самому на сердце становится легче, и слушающему легче. Удивительно, как такая улыбка оживляет. («Три года» тоже читается хорошо, тоже плавная повесть, благородная, но на мой взгляд менее глубокая.)

Чехов прожил краткую жизнь, быстро рос в ней и как человек, и как художник. Думаю, довольно рано почувствовал обреченность свою. Уже в 88-м году: «В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве» (из письма о себе самом) — ему было всего 28 лет!

Быстро катился к концу, но как художнику дано было ему достичь вершин как раз перед концом. «В овраге», «Архиерей» — вероятно, высшее и глубочайшее, что написал он — и предсмертное. Совершенство слова тут уже предельно, сила чувства (всегда как бы скрытого) — тоже. «В овраге» знаю хорошо, и теперь читал вслух. Это даже слишком крепкий напиток, в некоей жизненной обстановке слишком волнующий. «Степь» можно читать спокойно. «В овраге» — драматизм потрясает, хотя «очищение» души есть. «Архиерея» я не решился даже развернуть.

Чехов начал с блестящей юмористики, к концу 80-х годов загрустил, написал мрачного «Иванова» и по безнадежности своей редкостную вещь: «Скучную историю» (не считая мелких рассказов того же духа). Не знаю, как потом к ней относился (в письмах почти всегда о своем писании отзывался неважно, но это ничего не значит: цену себе все-таки знал). «Скучная история» художнически замечательна, безысходности же полна.

Вот она и дала повод Льву Исаковичу Шестову написать о Чехове статью «Творчество из ничего».

Шестова я с ранних лет знал — умнейший и своеобразнейший был человек, но подо все любил подкапываться.

Хорошо бы, чтоб никаких «догматов» не было. Тут подходящ Ницше, кое-что в Достоевском, даже Толстой пригодился (ужас бессмыслицы мировой пред лицом смерти). Как будто борьба с рационализмом (догмат, мол, построение разума), а скорей похоже на нелюбовь к прямой, положительной интуиции. Рационалистом точно бы сам Шестов оказывается.

Во всяком случае, «Скучная история» для него находка. Вот где Чехов! «Творчество из ничего», трудно придумать что-нибудь более странное...— ...чтобы не сказать больше.

У Г. В. Адамовича («Одиночество и свобода» — блестяще написанная книга) сложилось впечатление, что по Шестову «Чехов — писатель твердый, беспощадный, и этот образ Чехова совпадал с представлением, сложившимся в памяти Бунина». «Жестокий талант — знаменитое определение, данное Михайловским Достоевскому...» «По пересказу и комментариям Бунина к статье Шестова могло показаться, что и у Чехова были черты подлинной жестокости».

Вот до чего дошло. Чехов — чуть ли не «жестокий талант». (Михайловскому-то настоящий Достоевский был совсем непонятен, чужд, как и Тургеневу. Это «знаменитое» определение таланта Достоевского пора бы давно выбросить. «Жестокость» Чехова вызывает просто улыбку.)

Адамович, правда, смягчает. «Читающий Чехова без предубеждения согласится, что сочувствия и снисхождения к человеку у него больше, нежели у какого-либо другого русского писателя». Все же выходит, что Чехов был вроде нигилиста, ни на что опереться не мог, в жизни видел одну пустоту. («Не скрываая... пустоты жизни».) И Адамович считает, что характеристика Шестова верна — только понимать ее надо по-особенному. (Почему Г. В. Адамович, во многом сам близкий внутреннему «звуку» Чехова, настоящему звуку, а не предвзято ему навязанному, почему он подпал здесь под владычество Шестова, приправленного Буниным,— непонятно.)

Что Чехов не был похож на Карамзина, не плакал при виде Эльбы, «Бедной Лизы» никогда бы не написал, что на Короленку тоже никак не походил, что он был мужествен и сдержан, замкнут, в обращении иногда холодноват, это несомненно. Но кто действительно знает писание Чехова¹, для того так же несомненно, что Чехов пережил и преодолел полосу «Скучной истории» и некоторых мелких рассказов того времени. Думаю, поездка на Сахалин особенно пробудила его. Бедствия людей, каторга, жестокости ее произвели действие благодатное. Никогда не было в нем жестокости — это неверно, это предвзятость. Всегда видел он горечь и печаль жизни, зло, которое часто в ней торжествует, — только это вовсе не есть в нем какое-то «разрушение» бытия, отравляющее ядом, это — просто глаз, видящий верно. А в сердце и противоядие. Это противоядие — мало осознанное «доктором Чеховым» христианское чувство, Молодому Чехову нравился Дарвин. Зрелому Чехову — епископ Михаил Таврический, с которого и написан в главных чертах «Архиерей». (С еп. Михаилом Чехов был знаком лично. Это был замечательный облик. «Ум глубокий, светлый, мысль очень ясная; благочестие его лучше всего видно в его книге «Над Евангелием» — из письма ко мне проф. архимандрита Киприана.) Вот к кому и вот куда влекло Чехова-поэта и не осознавшего себя христианина в зрелую его полосу. Впрочем, влекло и ранее. «Святою ночью», «Студент» — что же, это «творчество из ничего»?

После Сахалина то человеколюбие (2-я заповедь), что всегда в Чехове жило, особенно развернулось. Собственно, все мелиховское и ялтинское его писание — «Мужики», «Моя жизнь», «Дядя Ваня», «В овраге», «Архиерей» — исходит из этого: из сочувствия и сострадания к человеку. (Слезливости для этого совсем не надо.) То же самое и в жизни его тогдашней: борьба с холерой, голодом, бескорыстная борьба, надрывающая здоровье — все из крепкой и благородной душевной основы. В Чехове не было никакого разложения и нигилизма. Он не был мистиком. (В бессмертие души, по словам Бунина, близко его знавшего, то верил, то не верил.) Но если чем был отравлен, подспудно и бессознательно, так именно христианством, особенно христианским отношением к ближнему. Во всем не было его задачей «разрушать», подкапываться. Как раз наоборот. Кто

¹ Подозреваю, что Шестов позднего Чехова недостаточно знал. Это отчасти его оправдывает.

милостив к слабым и несчастным, тот утверждает, а не разлагает. А что ко злу был непримирим, так и в Евангелии то же самое.

О второй половине жизни Чехова можно, конечно, сказать, что он несколько наивно думал, устами героев своих, о счастье человечества. («Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». «Теперь нет пыток, нет казней, нашествий...»). Все это может вызвать улыбку, только слова такие не «из ничего». Это продолжение некоего «доктора Чехова», верящего в земное устроение при помощи науки и «прогресса». Все же это вера, а не «из ничего».

Но вот «В овраге» нечто другое. «Зло и грубость и жадность, жестокость внешне победительны. Но как и в «Дяде Ване» внутренние побеждают смиренные и святые». (Из моей книги о Чехове.)

Да, я совсем другого взгляда на Чехова, чем Шестов. Художник, так «изнутри» создавший Липу из «Оврага», давший те незабываемые страницы, где эта Липа, несущая ночью на руках из больницы мертвого своего сына, обваренного младенца, встречает у костра старого мужика — тот подвозит ее на своей телеге и как умеет утешает, и потом, вечерняя заключительная страница, когда нищая Липа подает милостынку своему выгнанному из дома свекру, — это видения почти евангельского характера. Во всем этом нет ни «расплывчатой лирики» и сентиментальности, ни «из ничего», а просто живая человеческая душа, очень русская, продолжающая линию великой русской литературы XIX века — христианнейшей из всех литератур мира.

А нянька Марина из «Дяди Вани»? Утешающая «приживала» Телегина («...Лавочник мне вслед: «Эй, ты, приживал!» И так мне горько стало! *Марина*. А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживаль»). Или заключительные слова Сони: «Бог сжалятся над нами». «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...» — про это тоже можно сказать — «расплывчатая лирика», сентиментальность. И говорят. Мало ли чего можно наговорить. Не сомневаюсь, что и про Заповеди Блаженства кто-нибудь говорит, что это «сентиментально». Или про: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и Аз упокою вы...» — собственно, Соня за этим к Богу и обращается, верит, надеется, и евангельские слова — ответ ей. Она-то Евангелие читала, и в ее душе оно корни пустило.

Так что вот какой «жестокий талант» Чехов.

* * *

В сущности, и в «Скучной истории» тоже никакой «жестокости» нет, да и нигилизма нет, а есть горечь, тоска по свету.

Где этот свет? Где-то есть, а вот несчастные люди, даже достойные, вовсе не злые, не знают, где. Потому и томятся. В сущности, и на «Скучной истории» нельзя построить «творчества из ничего» — это просто глубоко горестная вещь, и безысходная. Горестность не оставляла Чехова никогда. (Кого может особенно веселить зрелище «быстротекущей» жизни с ее страданиями, насилием, болезнями, разлукой?) Ни философом, вроде Владимира Соловьева, ни богословом Чехов никогда не был, и нельзя от него ждать системы законченного, твердо очерченного мировоззрения. Какие у художника «системы»!

Но вот христианский, евангельский свет в Чехове таился. Шел особенно от матери (отец был слишком суровый христианин — мог даже отталкивать от всего такого своей властью).

Свет же таился и произрастал в душе. Хотя у себя в Мелихове, уже известным писателем, Чехов пел в хоре в церкви под Пасху, хотя смиренно ходил и стоял незаметно в Новодевичьем в Москве почти накануне ухода из жизни, все-таки половинчатость в нем была, дара полной веры, как у няньки Марины или о. Христофора, у него не было (у многих ли есть?). Но неопределенно, полусознательно, вот тянуло же его к высшему миру — ответ этот, такой прекрасный, есть и в лучших писаниях его. Жизнь горька, но не все — в этой горечи. Противоядие есть.

Именно вот поэтому лучшие вещи его можно и должно читать даже в тяжкие времена.

1958

(Печатается с дополнениями по автографу).

ПРИМЕЧАНИЯ

В пятый том Собрания сочинений Б. К. Зайцева вошли его теперь широко известные художественные жизнеописания — историко-биографические романы «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951) и «Чехов» (1954). Как пишет американская исследовательница Ариадна Шилева, «Борис Зайцев внес ценный вклад в жанр творческой биографии в русской литературе: его беллетризованные биографии являются редким по гармоничности соединением познавательной и эстетической категорий... Как настоящий художник, Борис Зайцев стремился уловить лейтмотив жизни каждого из этих писателей и закреплял его в слове: в «Жизни Тургенева» — это поклонение «вечно женственному», в «Жуковском» — следование зову «Наипаче ищите Царствия Божия» и в «Чехове» — бессознательная христианская настроенность души писателя. Доминантой каждого из этих жизнеописаний является документально обоснованное раскрытие душевного мира героев, творческое воссоздание их индивидуальной неповторимости. При этом обозначается своего рода закономерность: чем выше степень внутренней родственности автора избранному герою, тем ярче образное воссоздание этого героя и художественность решения творческой задачи. Наибольшую полноту в творческом осуществлении авторского замысла мы поэтому находим в жизнеописании Жуковского, затем в «Жизни Тургенева» и в значительной мере — в «Чехове» (Шилева А. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. New York: Волга, 1971. С. 163—164).

В книге публикуются также избранные литературные очерки Зайцева о Жуковском, Тургеневе и Чехове, дополняющие романы-биографии новыми сведениями.

ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВА

Впервые — в ежемесячном общественно-политическом и литературном журнале «Современные записки». Париж, 1930, № 44; 1931, № 45—47. Главы печатались также: в парижской газете «Возрождение» — 1929, 23 авг., № 1543; 1930, 24 мая, № 1817; 30 авг., № 1915; 21 сент., № 1937; 26 окт., № 1972;

1931, 23 янв., № 2061; 11 мая, № 2169; 12 июня, № 2231. Первое книжное изд — Париж: YMCA-Press, 1932; 2-е изд — там же, 1949. Печ. по этому изд. Первые публикации в СССР — журнал «Юность», 1991. № 2—4 и в кн.: Зайцев Б. Далекое / Сост. Т. Ф. Прокопов. М.: Сов. писатель, 1991.

К творчеству и личности Тургенева Зайцев обращался в течение всей своей жизни и написал о нем около двадцати очерков, статей, заметок. Первая из этих публикаций — «О Тургеневе» (под ней стоит дата: 7 сентября 1918) — появилась в сборнике «Тургенев и его время». М., Пг., 1923; републикация А. Д. Романенко в кн.: Зайцев Б. К. Голубая звезда. М.: Моск. рабочий, 1989. В статье Зайцев пишет о том, что привлекло, увиделось ему близким, родственным в творчестве русского классика: «Тургенев остался и остается в первом ряду нашей литературы как образ спокойствия и меланхолии, созерцательного равновесия и меры, без сильных страстей, облик благосклонный и радующий — изяществом, глубокой воспитанностью духовной; женственный и как бы туманный. Область влияния его — главнейше молодые годы. Через Тургенева каждому, кажется, надлежит проходить. И писавший эти строки рад, что отрочество и юность (раннюю) освещал Тургенев. Ему обязан он первыми артистическими волнениями, первыми мечтами и томлениями, может быть, первыми «над вымыслом слезами обольюсь». Это чувство к Тургеневу, как к «своему», «родному», не оставляло и впоследствии, выдержало Sturm und Drang модернизма и спокойной любовью осталось в зрелые годы».

Некоторые, наиболее интересные из очерков Зайцева о Тургеневе, еще не публиковавшиеся в России, включены в этот том (см. раздел «Приложения»).

Из нескольких рецензий, которыми был встречен выход книги Зайцева, процитируем одну — известного филолога, историка и критика русского зарубежья Петра Михайловича Бицилли (1879—1953): «Бор. Зайцев задался целью изобразить конкретного Тургенева. По-видимому, это ему вполне удалось. По крайней мере, его Тургенев производит впечатление, аналогичное тому, какое остается от тургеневских произведений, если читать их, отрешившись от представлений, созданных русской критикой: все написанное Тургеневым поэтично, изумительно умно, тонко, высокохудожественно, высококультурно, и в то же время читателю от них как-то не по себе. Чувство какой-то неловкости испытывали и люди, находившиеся в общении с самим Тургеневым. Жизнь Тургенева сводится к его безрадостному, безблагодатному роману с Виардо, перемежавшемуся какими-то неизменно ничем не оканчивавшимися покушениями на «роман»... Тургенев постоянно влюблялся, но по-настоящему любил только Природу — он и был прежде всего величайшим изобразителем Природы. Верил же только в Смерть, символом которой была для него роковая женщина, то живая, то призрак, проходящая через его романы и фантастические рассказы. Эта магическая религия Тургенева хорошо охарактеризована автором; правильно оценены им, как художественные произведения и как биографические материалы, те тургеневские вещи, в которых разрабатываются «фантастические» мотивы; верно подмечено и прослежено нарастание, по мере приближения к концу жизни, в душе Тургенева «магическую» предчувствий, переживаний, страхов...

Вся поэзия, вся прелесть любви оказывается только ловушкой, подстроенной с детства подстерегающей человека Смертью. Любовь сильна, как Смерть. Любовь сильнее Смерти. Любовь побеждает, «снимает» Смерть. Таково «верую» всех поэтов-художников, источник их вдохновений, итог коллективного, векового духовного опыта, красугольный камень всех великих религий. Тургенев отождествил Любовь со Смертью, развивши и углубивши тему гоголевского «Вия», по-своему ее осмыслив. Все его творчество какое-то парадоксальное отрицание жизни...» (Современные записки. Париж, 1932. № 48).

С. 22. *.. со своей воспитанницей Житовой...*— Варвара Николаевна Житова прожила в семье Тургеневых семнадцать лет (с 1833 по 1850 г.) в качестве воспитанницы матери писателя (некоторые исследователи считают ее внебрачной дочерью В. П. Тургеневой и А. Е. Берса). Житова — автор единственных и самых достоверных «Воспоминаний о семье И. С. Тургенева» (Вестник Европы. 1884. № 11 и 12; републикация Т. Н. Волковой: Тула, 1961).

...из Сандрильоны обратилась она во владелицу тысяч крепостных...— Сандрильона (фр. Cendrillon) — героиня сказки; русская Золушка.

С. 24. *...записала в памятной книжке Варвара Петровна.*— Мать писателя всю жизнь вела дневниковые записи; как вспоминает В. Колонтаева (Исторический вестник. 1885. № 10), ее дневниками были забиты сундуки. Однако в 1849 г., пишет Житова, «весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были, по ее приказанию и в ее присутствии, сожжены, и я лично присутствовала при этом». Житовой удалось сберечь только ее альбом, помеченный 1839 и 1840 гг., — «Записи своих и чужих мыслей для сына Ивана» (хранится в РГАЛИ). Существует немало свидетельств жестокости Варвары Петровны не только по отношению к крепостным и домочадцам, но и к своим сыновьям. Однако в «Записях» читаем строки, говорящие о сложности, противоречивости ее чувств и характера — с одной стороны, постоянно унижает их, лишает наследства, но с другой: «Сыну моему Ивану. Иван — мое солнышко, я вижу его одного, и, когда он уходит, я уже больше ничего не вижу; я не знаю, что мне делать» (перевод с французского).

Довольно скоро перебрались родители в Спасское... — Это произошло 20 февраля (4 марта) 1821 г.

С. 25. *...талстовский Карл Иванович!* — Карл Иванович — домашний учитель из трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».

С. 26. *Пуниным назвал в рассказе Тургенев первого своего учителя словесности...*— Никандр Вавилович Пунин из рассказа Тургенева «Пунин и Бабурин» (1874). «Пунин преимущественно придерживался стихов — звонких, многошумных стихов,— пишет Тургенев,— душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, залихватно, закатило, в нос, как опьяненный, как иступленный, как Пифия!.. Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу), но даже «Россиаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила».

С. 26. ...*декламировать Хераскова*.— В письме М. А. Бакунину и А. Н. Ефремову от 3—8 сентября 1840 г. Тургенев, делаясь с друзьями детско-юношескими воспоминаниями, пишет: «О «Россияда!» и о Херасков! Какими наслаждениями я вам обязан! Мы с Леоном (Л. Я. Серебряковым, одним из крепостных В. П. Тургеневой.— *Т. П.*) уходили каждый день в сад, в беседку на берегу пруда и там читали — и как читали! или правильнее: он читал — и как читал! Сперва каждый стих скороговоркой, так себе — начерно; потом с ударением, с напряжением и с чувством — набело. Немного пестро — но приятно. Я слушал — мало! внимал — мало! обращался весь в слух — мало! — и классически: пожирал — все мало! глотал — все мало! давился — хорошо. Леон был человек вежливый и предлагал мне книгу — но я отказывался. Читать скороговоркой я мог не хуже его; но я не надеялся достигнуть торжественности его возгласов» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. Т. 1. С. 168—169).

С. 27. *Воспитанница читала... «Imitation de Jesus Christ»*.— Предполагаемый автор одной из самых популярных в мире книг «Подражание Христу» — священник Фома Кемпийский (1379—1471): его сочинение выдержало более двух тысяч изданий на всех европейских языках (в том числе семь на русском).

С. 29. ...*слушает пересказ губернатором «Юрия Милославского»*... — Роман «русского Вальтера Скотта» Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) пользовался небывалой популярностью; одобрительно встреченный А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, С. Т. Аксаковым, он выдержал восемь прижизненных изданий, был переведен на шесть европейских языков.

Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно...— Афродита (у римлян Венера) — греч. богиня любви и красоты. Древнегреческий философ Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) в знаменитом диалоге «Пир» противопоставил Афродите Уранию («небесную», богиню возвышенной, идеальной любви) Афродите Пандемос («всенародной», богине любви чувственной, плотской).

С. 32. ...*побывать на выставке брюлловской «Помпеи», и посмотреть Каратыгина, и попасть на первое представление «Ревизора»*...— Гениальная картина «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова в Петербурге была выставлена на торжественном приеме, устроенном в его честь в Академии художеств 11 июня 1835 г. Василий Андреевич Каратыгин — ведущий трагик Александринского театра в Петербурге. На сцене этого театра 19 апреля 1836 г. состоялось первое представление комедии Гоголя «Ревизор».

...*представил ему первую свою поэму «Стено»... под «Манфреда»*.— В мемуарном очерке «Литературный вечер у П. А. Плетнева» (1868), в котором кантаминированы события разных лет, Тургенев об этом эпизоде вспоминает так: «В начале 1837 г. я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности Петра Александровича Плетнева приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых

плодов моей Музы, как говаривалось в старину,— фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стени» (опубликована под названием «Стено». — Т. II.). В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. II. С. 11.). Этот эпизод (как и все другие из тех, что вошли в «Жизнь Тургенева») — одно из свидетельств того, насколько Зайцев щепетилен в своем стремлении к документальной достоверности. Однако это неукоснительное следование фактам документа подчас его подводило. Так, вслед за Тургеневым описываемый вечер у Плетнева в романе отнесен к началу 1837 г., в то время как он состоялся годом ранее, т. е. как раз тогда, когда Тургенев был третьекурсником и когда отдал профессору свои стихи. Встреча с Пушкиным могла состояться на другом вечере у Плетнева, незадолго до роковой дуэли — в конце 1836 или в самом начале 1837 г. С А. В. Кольцовым Тургенев также встретиться в этот раз не мог бы, поскольку в 1837 г. в Петербург Кольцов не приезжал: поэт здесь был в 1836 и 1838 гг. Первоисточники, использованные писателем в романе-биографии, и их достоверность — тема особого, весьма интересного научного рассмотрения, еще никем не проведенного, но уже начатого американской исследовательницей А. Шилиевой в работе «Борис Зайцев и его беллетризованные биографии».

С. 33. ...выбрал Плетнев... стихотворение «Маститый царь лесов»... — Поэтический дебют Тургенева в «Современнике» состоялся в 1838 г.: в № 1 опубликовано его стихотворение «Вечер. Дума» («Маститый царь лесов...» — начало второй его строфы), а в № 4 — «К Венере Медицейской».

...на утреннем концерте в зале Энгельгардта. — В 1830-е годы в доме В. В. Энгельгардта (Невский пр., 30) устраивались балы, маскарады и концерты, посещавшиеся «всем Петербургом» (см.: Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935. С. 300—308).

С. 35. ...в каюту вбежала запыхавшаяся дама и с криком: «Пожар!» — упала в обморок... — Пожар на пароходе «Николай I» случился в ночь с 18 на 19 мая 1838 г. Впоследствии в Петербурге и Москве распространились слухи о якобы малодушном поведении Тургенева во время пожара, что вынудило писателя выступить с опровержением «старой и вздорной сплетни» (С.-Петербургские ведомости. 1868. 10 июля. № 186). Однако душевное потрясение, вызванное катастрофой на пароходе «Николай I», не забывалось Тургеневым никогда. За три месяца до смерти, будучи уже тяжелобольным, он диктует Полине Виардо автобиографический очерк «Пожар на море» (русский текст впервые опубликован в Полн. собр. соч., 1883. Т. 1).

С. 36. Берлинский университет был хорошо поставлен, привлекал юношей

издалека...— Успешно окончив в 1837 г. первое (словесное, или филологическое) отделение философского факультета Петербургского университета, Тургенев, как и многие выпускники того времени, не считал свое образование завершенным. «Я весной 1838 года отправился доучиваться в Берлин,— вспоминал писатель в 1868 году.— Мне было 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты, его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет» (Литературные и житейские воспоминания. 1854—1883 // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Сочинения. Т. 11. С. 7—8).

С. 36. ...*Слушал латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока...*— Карл Готтлоб Цумпт (1792—1849) — профессор Берлинского университета, автор популярных учебников латинской грамматики и древней истории, по которым учились и в России. В Орловском музее Тургенева хранятся пять его тетрадей с берлинскими записями лекций Цумпта о римских древностях. Август Бок (Бёк; 1785—1867) — профессор-эллинист Берлинского университета, один из основоположников античной эпиграфики; в ИРЛИ (Пушкинском доме) хранятся записи Тургенева (на нем. яз.) лекций Бёка по истории греческой литературы.

Главное же, изучал Гегеля.— Сохранились два мемуарных свидетельства — Я. М. Неверова и Б. Икскуль-Фиккеля — о совместных с Тургеневым годах учения в Берлинском университете (их внимательно прочитал Зайцев). Бернгард Фиккель, в частности, вспоминает: «В течение зимнего семестра 1839/40 года я посещал утренние лекции логики профессора Вердера в Берлине. На эти лекции являлось немного слушателей; в числе их находилось двое молодых людей, говоривших по-русски. Я вскоре познакомился с ними; это были Иван Тургенев и Михаил Бакунин; они занимались, подобно мне, в этом семестре философией и историей. И оба были восторженные приверженцы гегелевской философии, казавшейся нам в то время ключом к познанию мира. Подобную горячую любовь к занятиям философией могут понять лишь те люди, коих молодость протекла в начале двадцатых и тридцатых годов, но и в них она вызывает теперь улыбку и кажется почти невероятною тем самым лицам, которые ее пережили. Таковыми энтузиастами были Тургенев, Бакунин и я сам; вот почему я и указываю на это обстоятельство, полагая, что подобная восторженная любовь к изучению философии и преувеличение ее значения повлияли на характер и судьбу очень многих, а в том числе и на самого Тургенева. Мы, земляки, скоро познакомились и часто, не менее двух раз в неделю, сходились по вечерам то у меня, то у обоих друзей, живших на одной квартире, для занятия философией и для беседы. Хороший русский чай, в то время редкость в Берлине, и хлеб с холодной говядиной служили матерьяльной

придачей этих вечеров; вина мы никогда не пили и несмотря на это просиживали иной раз до раннего утра, увлекшись разговором, переходившим нередко в спор. Тургенев был самый спокойный из нас...» (Фиккель Б.-И. Молодость Тургенева. Круг «Современника» // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит. 1983. С. 75—76).

С. 37. *Особенно любили студенты Вердера, гегельянца...*— В ИРЛИ (Пушкинском доме) хранятся тургеневские конспекты лекций Карла Вердера по Философии Гегеля.

Со Станкевичем познакомился осенью 1838 года — благодаря Грановскому.— Как и Тургенев (в «Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче»), Зайцев допускает неточность. Тургенев познакомился со Станкевичем в 1833 г. в Московском университете. Второй раз они встретились (правда, мимолетно) в Эмсе в июне 1838 г. Но по-настоящему близким их знакомство стало в Берлине с сентября 1838 г.

С. 38. *...литературный салон Фроловых.*— В Берлине русские литераторы, философы, обществоведы, ученые собирались в семейном салоне Николая Григорьевича Фролова (1812—1855), географа, издателя журнала «Магазин земледелия и путешествий», переводчика книги «Космос» немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта. У Фролова девятнадцатилетний выпускник Московского, а ныне слушатель Берлинского университета Тургенев встречался с Н. В. Станкевичем. Т. Н. Грановским, М. А. Бакуниным, Я. М. Неверовым, которые также были слушателями университетских курсов. На вечера к Фролову нередко заглядывали и университетские профессора Гумбольдт, Вердер, писатели Карл Август Фарнгаген (Варнгаген) фон Энзе (в его «Дневниках» есть записи о вечерах у Фроловых), Беттина (Элизабет) фон Арним (автор «Переписки Гете с ребенком») и др. Душой салона была Елизавета Павловна Фролова. «Эта г-жа Фролова (первая жена Н. Г. Фролова, урожденная Галахова),— вспоминал Тургенев,— была женщина очень замечательная. Уже немолодая, с здоровьем совершенно расстроенным (она вскоре потом умерла), некрасивая — она невольно привлекала своим тонким женским умом и грацией. Она... говорила немного, но каждое слово ее не забывалось» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Сочинения. Т. 5. С. 361).

С. 41. *Ховрины* — пензенский помещик Николай Васильевич, его жена Мария Дмитриевна и дочь Александра Николаевна («Шушу»), в замужестве Бахметева, ставшая детской писательницей. В Риме в этой семье и у Станкевича собирався кружок русской молодежи, среди которой были художник Александр Павлович Ефремов (1814—1876), польский пианист, друг Ференца Листа Брычинский (Брингинский). Тургенев увлекся Ховриной-младшей и посвятил ей стихотворения «Что тебя я не люблю...» и «Луна плывет над дремлющей землею...», впоследствии введенные в текст романа «Дворянское гнездо» (гл. 4).

С. 43. *Станкевич скончался... на руках Дьяковой.*— Н. В. Станкевич умер 24 июня 1840 г. на руках Варвары Александровны Дьяковой — сестры М. А. Бакунина, публициста, идеолога анархизма, с которым в Берлине сблизился Тургенев. В письме сестрам 3 декабря 1840 г. Дьякова пишет: «Еще одно

знакомство с одним русским студентом, г-ном Тургеневым . чистая, светлая, нежная душа, мне кажется, что я много, много лет с ним знакома — они с Мишей (М. А. Бакуниным.—Т. П.) каждый вечер ходят ко мне» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма. Т. 1. С. 456).

С. 46. ...родила она ему дочь.— Внебрачная дочь Тургенева и вольной белошвейки Авдотьи Ермолаевны Ивановой — Полина (Пелагея) Ивановна Тургенева (в замужестве Брюэр) воспитывалась в семье Полины Виардо.

Странная русская семья жила в имении Премукино Тверской губернии...— Премукино (ныне Прямукино) — имение Александра Михайловича (1768—1854) и Варвары Александровны (1792—1864) Бакуниных, у которых было 11 детей. Здесь в июне 1841 г. у Тургенева завязался роман с романтически-восторженной, как и он сам, Татьяной Александровной Бакуниной (1815—1871), но уже в марте 1842 г. он пишет ей пылкое прощальное письмо. Приведем только фрагмент этой замечательной эпистолы влюбчивого писателя:

«Мне невозможно оставить Москву (он уезжал в Петербург.— Т. П.), Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня взять перо в руки... Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу к Вам из приличья... все, все это и еще худшее я заслужил...

Но я бы не так, хотя на время, хотел расстаться с Вами. Дайте мне Вашу руку и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего. Вся душа моя преисполнена глубокой грусти, и мне гадко и страшно оглянуться назад: я все хочу забыть, все, исключая Вашего взгляда, который я теперь так живо и так ясно вижу... Мне кажется, в Вашем взгляде нахожу я и прощение и примирение... Боже мой! Как грустно мне и как чудно — как бы я хотел плакать и прижать Вашу руку к моим губам и сказать Вам все-все, что теперь так тревожно толпится в душе...

Я стою перед Вами и крепко, крепко жму Вашу руку... Я бы хотел влить в Вас и надежду, и силу, и радость... Послушайте — клянусь Вам Богом: я говорю истину — я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас — хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью... и оттого с Вами не мог быть веселым и разговорчивым, как с другими, потому что я любил Вас больше других; я так — зато — всегда уверен, что Вы, Вы одна меня поймете: для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, так что мне почти Вас не нужно видеть, что я не чувствую нужды с Вами говорить — оттого что не могу говорить, как бы хотелось, — и, несмотря на это — никогда, в часы творчества и блаженства уединенного и глубокого, Вы меня не покидаете; Вам я читаю, что выльется из-под пера моего — Вам, моя прекрасная сестра... О, если б мог я хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной, длинной липовой алее — держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает — и навек. Да, Вы владеете *всею* любовью моей души, и, если б я бы мог сам

себя высказать — *перед Вами* — мы бы не находились в таком тяжелом положении... и я бы знал, как я Вас люблю...

Прощайте, я глубоко взволнован и растроган — прощайте, моя лучшая и единственная подруга» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма. Т. I С. 189—191).

Впереди у Тургенева был главный роман его жизни — любовь к Полине Виардо, которая длилась более сорока лет.

С. 52. ...*служил у Даля*... — Немногим более полутора лет — с 8 июня 1843 до 9 февраля 1845 г. — длилась служба Тургенева в министерстве внутренних дел под началом Владимира Ивановича Даля, будущего создателя гениального труда — «Толкового словаря живого великорусского языка» (1861—1867), а тогда пока еще только автора повестей и рассказов, печатавшихся под псевдонимом «Казак Луганский». Перед поступлением на службу Тургенев написал по заданию министра Л. А. Перовского экзаменационную работу «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине». Статья важна тем, что в ней Тургенев впервые, еще до «Записок охотника», выразил искреннюю веру передовых людей 30-х годов в то, что правительство стремится не только облегчить участь крестьянства, но и освободить его от уз крепостничества. Перовский и его министерство как раз тогда, в 40-е годы, приступило к разработке реформаторских законопроектов.

Он только что познакомился там с Белинским... — «Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге... — пишет Тургенев в очерке «Встреча моя с Белинским». — Меня привел к нему наш общий знакомый З». Однако названная писателем дата, до сих пор приводимая в некоторых публикациях, является ошибкой его памяти. Как уточнил «З» — Зиновьев Петр Васильевич (1812—1868), он их познакомил в феврале 1843 г., а с 1844 г. между ними установилась тесная дружба. В этот год они встречались почти ежедневно — по многу часов спорили, обсуждали: «отводили душу». «Общий колорит наших бесед, — вспоминал Тургенев, — был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический». Белинский был первым, кто поддержал писательский талант Тургенева.

С. 55. *Некий майор Комаров... познакомил его на охоте с г. Луи Виардо*. — Очевидно, имеется в виду Александр Александрович Комаров (ум. 1874) — преподаватель русской словесности в кадетском корпусе, поэт, приятель Беллинского и хозяин кружка, собиравшегося у него в 30—40-е гг. на «серапионовы вечера» (как у Э.-Т.-А. Гофмана в его книге «Серапионовы братья»). «Анненков тебе сообщит и о моих новых знакомствах, особенно о Комарове, — писал Белинский Боткину 13 июня 1840 г. — Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках. Моя натура требует таких дней. Раз в неделю мне надо быть в многолюдстве, молодым и шумном» (Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 384). Здесь помимо Белинского и Тургенева бывали Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, П. В. Анненков, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, К. Д. Кавелин, москвичи В. П. Боткин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев и др. (О кружке А. А. Комарова см.: Панаев И. И. Литературные

-воспоминания. М., 1950. С. 103—105, 304—306). Этой же компанией иногда выезжали они на охоту. В один из выездов 28 октября 1843 г. состоялось знакомство Тургенева с Луи Виардо — французским писателем, переводчиком Пушкина и Тургенева (с его помощью), художественным критиком, директором Итальянской оперы в Париже. А 1 ноября 1843 г. Тургенев был представлен Полине Виардо-Гарсиа, знаменитой французской певице (меццо-сопрано) и композитору (написала три комические оперы и много романсов, в том числе на слова Тургенева).

С. 56. ...*Гедеонов, сын директора Императорских театров и сам драматург (в духе Кукольника)*...— Степан Александрович Гедеонов — историк, археолог, искусствовед, драматург; с 1863 г.— директор Эрмитажа; автор капитального труда «Варяги и Русь» (1876). Тургенев в 1846 г. анонимно напечатал рецензию об исторической драме Гедеонова «Смерть Ляпунова», с большой пышностью (благодаря отцу) поставленной на сцене Александринского театра и пользовавшейся шумным успехом. Рецензент не без сарказма отметил: «Драма г. Гедеонова показывает, до какой степени, при образованности и начитанности, можно обходиться без таланта» (Отечественные записки. 1846. Т. XLVII. № 8). Прозаик, поэт, драматург Нестор Васильевич Кукольник прославился историческими драмами и трагедиями, а также романсами («Уймись, волнения страсти!..», «Жаворонок», «Колыбельная песня» и др.).

С. 58. *Открывается многолетний ряд тургеневских писем Полине Виардо.*— Обширная переписка Тургенева с семьей Виардо русскому читателю до последнего времени была известна ограниченно, поскольку с достаточной полнотой издана только в 1970-х годах в Париже на французском языке в четырех книгах: «Ivan Tourguenev — Nouvelle correspondance inedite» (t. I, Paris 1971; t. II, Paris, 1972); «Ivan Tourguenev. Lettres inedites a Pauline Viardot et a sa famille» (Lausanne, 1972); «Quelques lettres d'Ivan Tourgueneva Pauline Viardot» (Paris, 1974). Письма Тургенева к Виардо вошли в его Полное собрание сочинений в 30 т. (письмам в нем отведено 18 томов).

Она пела в Берлине «Норму».— Виардо в 1846 г. в Берлинской опере блистательно исполнила партию Нормы в одноименной опере итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835). Немецкие рецензенты — их отзывы читал Тургенев — именовали певицу «гениальной артисткой», «гениальной женщиной».

Советует внимательно перечитать «Ифигению» Гете....— «Ифигения в Тавриде» (1786) — трагедия Гете. Виардо предстояло весной 1847 г. исполнить в Берлине на немецком языке заглавную партию в опере (1779) Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787) на сюжет трагедии Еврипида (ок. 480—406 до н. э.) «Ифигения в Тавриде».

С. 61. *Белинский находил, что у Тургенева мало «творческого дара».*...— 19 февраля 1847 г. Белинский отправил Тургеневу большое письмо, в котором наряду с похвалами была фраза, обидевшая писателя: «Ваш «Русак» — чудо как хорош, удивителен, хотя далеко ниже «Хоря и Калиныча». Это общий голос... Мне кажется, что у Вас чисто творческого таланта или нет, или

очень мало (курсив мой.— Т. П.) и Ваш талант однороден с Далем. Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род» (Переписка И. С. Тургенева. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 75) В это же время эстетическое чутье Беллинского допускает еще одну серьезную промашку (их у него было много, но они замалчивались) — обруживает другую восходящую звезду русской словесности: «Достоевский — ерунда страшная», «Каждое его новое произведение — новое падение... Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением! Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» (письмо П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г.). В этом же письме критик несправедливо бракует рассказ за рассказом Тургенева.

С. 69. *...семья Тучковых...*— Семья генерала А. А. Тучкова, в молодости общавшегося с декабристами и затем ставшего другом Герцена и Огарева: его жена Наталья Аполлоновна, дочери — Елена (в замужестве Сатина) и Наталья (в замужестве Огарева; гражданская жена Герцена). Н. А. Тучкова-Огарева — автор книги «Воспоминания» (1889, 1959), в которой немало страниц о Тургеневе (в 1848 г. писатель посвятил ей комедию «Где тонко, там и рвется»).

С. 71. *Анненков все добросовестно заполнил — записал.*— П. В. Анненков — автор мемуаров «Н. В. Гоголь в Риме 1841 года», «Замечательное десятилетие. 1838—1848», «Молодость И. С. Тургенева. 1840—1862», «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856—1862» и др., составивших его книгу «Литературные воспоминания» (1909, 1928, 1960).

С. 72. *...охраняя «революционного префекта полиции» Косидьера.*— Марк Косидьер (1809—1861) — после победы во Франции февральской революции 1848 г. исполнял (до мая) обязанности префекта полиции Парижа.

С. 83. *...аполлинический Немврод...*— Немврод (Нимврод, Нимрод) — в Ветхом Завете богатырь, охотник, зверолов (как и олимпийский бог Аполлон, покровитель стад, пастух).

С. 85. *Шла его комедия «Холостяк», позже «Провинциалка» со Щепкиным.*— Комедия «Холостяк» — первая пьеса Тургенева, поставленная 14 октября 1849 г. на сцене Александринского театра в бенефис М. С. Щепкина. Так же в бенефис великого актера пьеса Тургенева была повторена в Москве 25 января 1850 г. в Большом театре. 16 января 1851 г. в московском Малом театре состоялась премьера комедии «Провинциалка» (и снова в бенефис Щепкина; он исполнил роль Ступендьева).

Щепкин... повез его к Гоголю.— В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев свой очерк «Гоголь» начинает рассказом о встрече со своим великим современником: «Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Тальзина, у графа Толстого (Алексея Петровича.— Т. П.). Мы приехали в час пополудни <...> Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, показав руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми» <...> Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание».

С. 86. ...написал о Гоголе статью...— Имеется в виду знаменитый некролог, предназначавшийся для «С.-Петербургских ведомостей», но запрещенный цензурой; он был напечатан в «Московских ведомостях» под заголовком «Письмо из Петербурга». За эту публикацию (в частности, за то, что умерший Гоголь назван в ней великим) Тургенев был арестован и отправлен в ссылку в свое Спасское-Лутовиново. Вот начало этой «крамольной» статьи: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадуется, превзойдет наши нетерпеливые ожидания,— пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших!» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Сочинения. Т. 11. С. 64).

«Лакейского» писателя, как выразился гр. Мусин-Пушкин.— Цензор А. В. Никитенко в своем «Дневнике» 20 марта 1852 г. записал: «...Председатель цензурного комитета (М. Н. Мусин-Пушкин.— Т. П.) объявил, что не будет пропускать статей в похвалу Гоголя, «лакейского писателя». Он запретил и представленную ему редактором «С.-Петербургских ведомостей» статью. Тургенев, увидя в этом просто прихоть председателя, отправил свою статью в Москву, где она и явилась в печати» (Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. М., 1955—1956. Т. 1. С. 351).

С. 87. В большом доме Спасского... жили теперь супруги Тютчевы...— Николай Николаевич и Александра Петровна Тютчевы — друзья Тургенева; в 1852—1853 гг. писатель доверил Н. Н. Тютчеву управление Спасским и другими своими именьями.

С. 92. В позднейшей ненависти к нему Достоевского...— Неприязненное отношение Тургенева к Достоевскому возникло у него под влиянием Белинского. В 1846 г. в литературных кругах распространилось насмешливо-ироническое стихотворное «Послание Белинского к Достоевскому», написанное Тургеневым и Некрасовым. Вот только первая строфа «Послания»:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Обиду, нанесенную ему, Федор Михайлович не забывал до последнего своего часа. Однако в 60-е годы писатели время от времени обменивались дружескими письмами. Вражда, прервавшая надолго их контакты, вспыхнула после выхода тургеневского «Дыма» (1867). Как заявил Достоевский Тургеневу, посетив его в Баден-Бадене, роман этот, «по его мнению, подлежал сожжению от руки палача». Вражда начала утихать только к концу их жизни. 28 марта

1877 г. Тургенев, назвав их десятилетнюю ссору недоразумениями, пишет Достоевскому: «Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе» (Переписка И. С. Тургенева. Т. 2. С. 254).

С. 92. *Вряд ли обрадовали и Кетчера такие стихи...*— Цитируется эпиграмма Тургенева «Вот еще светило мира!» (Эта строка, первая, в цитате опущена). Н. Х. Кетчер в 1850 г. издал 18 выпусков своих прозаических переводов драм Шекспира, отличавшихся, с одной стороны, точностью, а с другой — тяжело-весностью и нехудожественностью.

...появилось другое тяготение — к молоденькой девушке...— Ольге Александровне Тургеневой (1836—1872), дальней родственнице писателя.

С. 96. *...Тургенев познакомился с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт.*— Со второй половины 50-х годов Тургенев поддерживал дружескую связь с графиней Ламберт и переписывался с нею; ее считают одним из прототипов Лизы Калигиной в «Дворянском гнезде».

С. 98. *Виардо не бралась за роль Пенелопы.*— В «Одиссее» Гомера Пенелопа — верная жена, преданно ожидающая возвращения мужа.

...соперником известного художника Ари Шеффера (1795—1858) — французского живописца, автора картин религиозного содержания, иллюстратора Данте, Шиллера, Гете, Байрона.

С. 102. *Лаврецкий... поступил так же.*— Лаврецкий — персонаж из романа Тургенева «Дворянское гнездо».

С. 109. *Некий Антонович «тиснул» статью... с бранью на Тургенева.*— М. А. Антонович в нескольких статьях недоброжелательно отозвался о Тургеневе («Новые материалы для биографии и характеристики Белинского», «Асмодей нашего времени» и др.). Очевидно, имеется в виду статья «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы», в которой Антонович писал: «Сам г. Тургенев, этот прежде гуманнейший писатель, держась положительности Белинского и не соблазняясь отрицательностью Добролюбова, превратился наконец в беллетристического черкеса, бьющего лежачих, не им поваленных, и добывая раненых, получивших раны не от него» (Слово, 1878, № 2, отд. 2. С. 83).

С. 110. *...дает ее облику черту летейской тени.*— Лета — река забвения в царстве мертвых, испив воду которой, души умерших забывают свою земную жизнь.

С. 113. *...относится к ней, как к Инсарову...*— Инсаров — персонаж из романа Тургенева «Накануне».

С. 116. *...будто бы я был современником Сезостриса...*— Сезострис — египетский фараон, правивший в середине XIV в. до н. э.

С. 119. *«Призраки» поместил Тургенев в журнале Достоевского.*— Фантазия «Призраки» впервые опубликована в журнале братьев М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» (1864, № 1—2).

Тургенев отправился к послу, лично ему знакомому.— Посланником России во Франции в эти годы был барон Андрей Федорович Будберг (1817—1881).

С. 121. ...поет романсы... Шуберта, например, тот, редко исполняемый...— Песня «Одинокий» (оп. 41) австрийского композитора Франца Шуберта (1797—1828) на слова Карла Лаппе (1773—1843).

С. 124. ...некий русский Бембо при дворе герцогини Урбинской: сочинял тексты.— Пьетро Бембе (1470—1547) — итальянский поэт и кардинал, живший недолго при дворе герцогини Урбинской в Падуе.

С. 128. Всем досталось... Губаревым и молодежи, болтунам и пророкам.— Степан Николаевич Губарев — персонаж романа «Дым».

Ирина и Литвинов...— Ирина Павловна Осинина и Григорий Михайлович Литвинов — герои романа «Дым».

С. 129. ...Суханчиковы и Бамбаевы.— Матрена Семеновна Суханчикова и Ростислав Бамбаев — персонажи романа «Дым».

С. 134. ...узнать многое... о композиторе Серове, Антокольском, об успехе «Степного короля Лира», о великой княгине Елене...— Как вспоминает В. В. Стасов, «в одном только мы сходились: в нелюбви к сочинениям Серова». Однако Тургенев, напротив, весьма одобрительно отзывался о раннем творчестве композитора, в частности о его операх «Юдифь» и «Рогнеда». Знакомство Тургенева со скульптором М. М. Антокольским состоялось 14 февраля 1871 г. в его петербургской мастерской, а 18 февраля писатель опубликовал в «С.-Петербургских ведомостях» статью о скульптуре Антокольского «Иван Грозный», в которой провидчески заявил, что это произведение «начинает собою новую эру русской скульптуры». Повесть Тургенева «Степной король Лир», напечатанная в «Вестнике Европы» (1870, № 10), навеяна трагедией Шекспира «Король Лир», которую он еще в юности перевел с подлинника. Повесть была встречена критикой холодно, хотя и отмечали «необыкновенную законченность художественной отделки». Правда, до Тургенева дошел сперва похвальный отзыв Гончарова, впоследствии измененный на прямо противоположный (на то были особые причины). 11 ноября 1870 г. Гончаров в письме С. А. Толстой писал: «Вы, конечно, читали «Степной король Лир». Как живо рассказано — прелесть!» А далее верх взяло враждебное предубеждение. В его «Обыкновенной истории» читаем: «Он пробовал портить даже Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например, «Степной король Лир». Великая княгиня Елена Павловна (1806—1873), жена великого князя Михаила Павловича, прославилась тем, что в 1854 г. во время Крымской войны основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и снарядила на театр военных действий отряд врачей во главе с Н. И. Пироговым; через два года после ее смерти был открыт задуманный ею Клинический институт великой княгини Елены Павловны.

С. 137. ...учредил первую в Париже русскую библиотеку...— Торжественное открытие ныне широко известной Тургеневской библиотеки в Париже состоялось 15 февраля 1875 г. Тургенев и Г. И. Успенский читали на торжествах свои произведения, известные музыканты во главе с Полиной Виардо дали концерт.

С. 141. ...светлое визионерство дантовской.. молодости...— Визионер — духовидец, тот, кому являются видения. Данте в юности, когда создавал

свои сонеты и канцоны, вошедшие в первую в западноевропейской литературе автобиографическую книгу «Новая жизнь» («Vita Nuova»), воодушевлялся образом своей умершей возлюбленной Беатриче, являвшейся ему в видениях.

С. 152. *Если пятнадцать лет назад сказал: «Довольно»...*— «Довольно Орывок из записок умершего художника» (1865) — интимно-философская повесть-исповедь Тургенева. Л. Н. Толстому повесть вначале не понравилась, но при последующих чтениях мнение его изменилось. «Сейчас читал тургеневское «Довольно»,— пишет он С. А. Толстой 30 сентября 1883 г. после смерти Тургенева.— Прочти, что за прелесть». А 7 октября 1892 г. Толстой, снова прочитав «Довольно» и статью Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», в дневнике о них пишет: «...Это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской». Обобщающую характеристику тургеневского творчества Толстой дал в письме к А. Н. Пыпину 10 января 1884 г.: «По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь, искусство). Это выражено во многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно, и прелестно в «Довольно», и 3) не формулированная, как будто нарочно из боязни захватить ее <...> вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в «Дон-Кихоте».

На международном литературном конгрессе...— Международный литературный конгресс под председательством Виктора Гюго открылся 11 июня 1878 г. в Париже во время всемирной выставки. Россию на нем представляли Тургенев, П. Д. Боборыкин, М. М. Ковалевский, Л. А. Полонский (от «Вестника Европы») и Б. А. Чивилев (от одесской газеты «Правда»). Тургенев выступил на конгрессе с речью, вокруг которой в России вспыхнула полемика.

С. 154. *Тургенев пробыл у Толстых три дня.*— Гостил у Толстых Тургенев 8 и 9 августа 1878 г.

С. 155. *Максим Ковалевский.. пригласил Тургенева к себе на завтрак.*— Ученый с мировым именем Максим Максимович Ковалевский устроил 15 февраля 1879 г. торжественный обед в честь Тургенева, на котором присутствовали профессор А. Н. Веселовский, Н. В. Бугаев, А. И. Чупров и др.

С. 158. *...в Москве открывали памятник Пушкину.*— Празднества по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. вылились во всенародное чествование русской культуры, длившееся несколько дней. Главными событиями на торжествах стали исповедальные речи Достоевского и Тургенева.

С. 175. *...тонко разбирает «Гуттаперчивого мальчика».*— Имеется в виду письмо Тургенева автору рассказа Д. В. Григоровичу от 1 февраля 1883 г., в котором наряду с существенными замечаниями он пишет, что «Гуттаперчивый мальчик» очень хорошая вещь».

ЖУКОВСКИЙ

Двенадцать глав «Жуковского» впервые опубликованы в литературно-политическом «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1947—1949. № 17, 19—21), а пять глав —

в парижской газете «Русская мысль» (1947, 26 июля, 1 нояб; 1948, 11 июня, 31 дек; 1949, 22 апр.). Отдельное изд.: Париж, YMCA-Press, 1951. Печ. по этому изд. Первые републикации в России — в историко-литературном журнале Академии наук «Русская литература» (1988, № 2, 3, 4 с предисловием и комментариями Ю. М. Прозорова) и в книге: Зайцев Б. Далекое / Сост. Т. Ф. Прокопов. М. Сов. писатель, 1991. О «Жуковском» положительные рецензии напечатали Н. Берберова в «Новом журнале» (1952, № 28), П. Ершов в газете «Русская мысль» (1952, 25 апр.), Н. Андреев в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне, 1968, № 14). В монографии Ариадны Шиляевой «Борис Зайцев и его беллетризованные биографии» приводится письмо Б. Л. Пастернака от 28 мая 1959 г., выразившее впечатление, которое производит на читателя одна из лучших книг «позднего» Зайцева:

«Дорогой Борис Константинович!

Все время зачитывался Вашим «Жуковским». Как я радовался естественности Вашего впонимания. Глубина, способная говорить мне, должна быть такою же естественной, как неосновательность и легкомыслие. Я не люблю глубины особой, отделяющейся от всего другого на свете. Как был бы странен высокий остроконечный колпак звездочета в обыкновенной жизни! Помните, как грешили ложным, навязчивым глубокомыслием самые слабые из символистов.

Замечательная книга по истории — вся в красках. И снова доказано, чего можно достигнуть сдержанностью слога. Ваши слова текут, как Ваши реки в начале книги; и виды, люди, годы, судьбы ложатся и раскидываются по страницам. Я не могу сказать больше, чтобы не повторяться».

4 октября 1958 г. Пастернак, прочитав роман Зайцева «Юность» из автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба», пишет в Париж: «...Я опять с первых страниц... был охвачен тем же самым, о чем я Вам писал по поводу «Жуковского»: сходством Вашего духа с существом изображаемого; так что Ваши личные особенности, то, что называют субъективностью, на пользу Вашей работе, словно и они (а не только Ваш слог, Ваше мастерство) — какие-то краски на палитре, изобразительные какие-то средства. В Ваших писаниях, как воздух, всегда присутствует живая, все охватывающая, движущаяся, дышащая, зыблущаяся ясность. В нее погружаешься сразу, с первых Ваших слов. Окна везде промыты и протерты так, точно в них не стало стекол. И в описываемых Вами домах, и, так сказать, в мире Вашей души».

С. 180. *...остались четыре дочери... Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.* — Дочери Афанасия Ивановича и Марии Григорьевны Буниных: А. А. Алымова (1754—?), Н. А. Вельяминова (1756—1789), В. А. Юшкова (1768—1797) и Е. А. Протасова (1770—1848).

С. 182. *...дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая.* — Анна Петровна Юшкова (в замужестве Зонга), будущая писательница, прожила без малого 80 лет.

С. 184. *...вокруг него девочки — кроме Ани — Дуня и Маша, Катя Юшковы...* — Названы племянницы Жуковского, урожд. Юшковы: А. П. Зонга, А. П. Киреевская (во втором браке Елагина), М. П. Офросимова и Е. П. Азбукина.

С. 185. *...сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл, или Освобожденный»*

Рим»...— Подражал Жуковский Плутарху, в «Сравнительных жизнеописаниях» которого ему понравилась биография римского полководца, диктатора Марка Фурия Камилла.

С. 190. ...*читает Державина «Россу по взятии Измаила».*— Ода Г. Р. Державина называется «На взятие Измаила» (1790).

С. 192. *Оду свою «Благоденствие России».*— Ода Жуковского (первая) называется «Благоденствие России, устроенное великим ее самодержцем Павлом Первым».

С. 193. ...*Черные ночи.*— Эта строка из «Майского утра» у Жуковского печатается во всех изданиях так: «Черныя ноши».

С. 194. ...*«Мысли у гробницы» появились с подписью... Вас. Ж.*— Первое напечатанное произведение четырнадцатилетнего поэта — прозаический этюд «Мысли при гробнице», опубликованный (с подписью «В. Жуковской») в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (ч. XVI, № 86).

С. 196. *С любезной трубкой и вином...*— Цитата из написанного в стихах и прозе письма А. Ф. Мерзлякова от 17 сентября 1802 г. к А. И. Тургеневу и А. С. Кайсарову.

...*«с душою прямо геттингенской».*— Из гл. 2 «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

С. 199. *Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия... родилась близ Белева...*— Имеется в виду стихотворение Вл. С. Соловьева «Родина русской поэзии». По поводу элегии «Сельское кладбище» (1897), которое автор сопроводил таким примечанием: «Эта известная элегия (вольный перевод с английского) была написана В. А. Жуковским осенью 1802 г., в селе Мишенском, близ Белева, и напечатана в «Вестнике Европы» Карамзина (ч. 6, № 24, стр. 319). Несмотря на иностранное происхождение, на излишество сентиментальности в некоторых местах, «Сельское кладбище» может считаться началом истинно человеческой поэзии в России после условного риторического творчества державинской эпохи».

С. 203. ...*даст ли Зеленников за «Ильдигерду» пять рублей за лист...*— Жуковский в 1801 г. перевел с немецкого повесть А. Коцебу «Королева Ильдесарда» и отдал ее владельцу типографии и книгопродавцу в Москве Ивану Егоровичу Зеленникову.

...*«Мальчик у ручья», вышедший в 1801 г.*— Роман А. Коцебу «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» в переводе Жуковского вышел в 1802 г.

С. 211. *Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей».*— «Ручей» — первоначальное (в одной из рукописей) название элегии «Вечер» («Ручей, выходящий по светлому песку...»); 1806).

Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче.— Поэзия Жуковского вдохновлялась глубокой любовью к племяннице и ученице Марии Андреевне Протасовой, которую он называл своею Беатриче (именем возлюбленной Данте) и Лаурой (так звали возлюбленную Петраки).

С. 217. ...*некий поэтический Tusculum.*— Тускулум (Тускул) — римский город в Албанских горах, застроенный в античные времена вилами именитых

владельцев, среди которых были Цицерон, Лукулл, Меценат и др. В «Тускуланских беседах» Цицерон называл Тускулум местом покоя и размышлений.

С. 217. *...составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений»...*— Эта антология называется «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских, и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским». СПб., 1810—1811.

С. 220. *...написал «Песнь барда»...*— Полное название стихотворения «Песнь барда над гробом славян победителей».

С. 232. *У Воейкова... будущего сочинителя «Дома сумасшедших».*— Сатира в стихах «Дом сумасшедших», самое известное из сочинений А. Ф. Воейкова. Запрещенный цензурой, этот цикл злых, остроумных и политически актуальных эпиграмм расхвалился в сотнях списков. В «Дом сумасшедших» сатирик «посадил» и высмеял самых известных писателей: Жуковского, К. Н. Батюшкова, Д. И. Хвостова, Н. И. Греча, Н. А. Полевого и др., а также видных чиновников своего времени: М. Л. Магницкого, Д. П. Рунича, П. А. Ширинского-Шихматова, Д. А. Кавелина, П. А. Клейнмихеля, П. М. Канцевича.

С. 247. *...Тот, чей стих «легок и бесплотен как привидение» (Гоголь)...*— Неточная цитата из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл. XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность). У Гоголя: «легок и бестелесен, как видение».

С. 248. *Иван Филиппович Мойер был сыном ревельского суперинтенданта.*— Мойер был сыном пастора.

С. 250. *«Из глубины воззвах» этого времени надо считать «Песню»...*— В Ветхом Завете Библии (Псалтирь. Псалом 129. Песнь восхождения): «Из глубины зываю к Тебе, Господи». «Песня» («Минувших дней очарованье...») — шедевр лирики Жуковского, ставший знаменитым романсом (положен на музыку Н. Н. Норовым, Ю. А. Капри, П. П. Булаховым).

С. 251. *...красавец огромного роста...*— Великий князь Николай Павлович, будущий император России (с 1825 г.). 1 июля 1817 г. состоялось его бракосочетание с прусской принцессой Шарлоттой (1798—1860), получившей в России имя Александра Федоровна.

С. 253. *...тот Плещеев-негр, что был соседом Жуковского...*— А. А. Плещеев (см. указатель имен) в обществе «Арзамас» имел прозвище «Черный Вран».

С. 254. *...страшный конец императора Александра.*— Александр II, проведший ряд важнейших реформ, в том числе отменивший крепостное право, погиб от руки террориста из «Народной воли».

С. 256. *...королевская семья устроила... инсценировку поэмы Мура «Лалла Рук»...*— Представления в берлинском дворце состоялись дважды: 7 января и 11 февраля 1821 г. «Лалла Рук» — это обрамляющая новелла в прозе с четырьмя вставными рассказами в стихах (поэмами): «Хоросанский пророк под покрывалом», «Пери и ангел» (перевел Жуковский), «Огнепоклонники» и «Свет гарема». Лалла Рук (Тюльпановая щечка) — восточная принцесса.

С. 257. *У Маши только что родилась дочь.*— Дочь М. А. Мойер — Екатерина Ивановна, в замужестве (с 1846 г.) Елагина (1820—1886).

С. 258. *По террасе Брюлля, как и Кирсанов, он гулял часто...*— Павел Петрович Кирсанов — герой романа Тургенева «Отцы и дети», уехавший за границу «для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене».

С. 260. *...побывал в Люцерне, видел «Умиравшего льва»...*— «Умиравший лев» — памятник швейцарцам — героям-жертвам Великой французской революции 1789—1794 гг.

С. 264. *Добрый Самарянин в очках устроил его там бесплатно.*— Самарянина — нарицательно о людях бескорыстных и благодетельных (см.: Библия. Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 30—37 (Притча Иисуса Христа о благодетельном Самарянине).

С. 267. *«Царствие Божие подобно тому...»* — Из Евангелия от Марка, гл. 4, ст. 26—27.

...участие в «Русском Инвалиде».— А. Ф. Восейков с 1822 по 1838 г. был редактором газеты «Русский инвалид, или Военные ведомости» (1813—1917) и ее приложений, а также журнала «Славянин» (1827—1830).

С. 270 *...что судьба сделала с Максом Пикколомини.*— Герой-идеалист из драмы Шиллера «Пикколомини» (в трилогии «Валленштейн») пал жертвой генералиссимуса Валленштейна.

С. 306. *Горел Зимний Дворец.*— Зимний дворец горел 17 декабря 1837 г. Жуковский написал об этом событии (его записка «Пожар Зимнего Дворца...» опубликована посмертно, в 1883 г.).

С. 321. *Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею»...*— Подстрочный перевод выполнил филолог-эллинист, преподаватель греческого языка гимназии в Дюссельдорфе Карл Грасгоф (1799—1874). Об этом Жуковский рассказал в письме графу С. С. Уварову.

С. 325. *«Его душа возвысилась до строю...»* — Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Памяти В. А. Жуковского» (1852).

ЧЕХОВ

Разрозненные главы «Чехова» печатались в журналах: «Русские записки» (Париж, 1939. № 16), «Опыты» (Нью-Йорк, 1953. № 2), «Новый журнал» (Нью-Йорк, 1954. № 36, 37), «Современнику» (Торонто, 1960. № 1) и в газете «Русская мысль» (Париж, 1954. 23 апр. и 14 июля). Первое книжное издание — Нью-Йорк: Издательство им. А. П. Чехова, 1954. Печ. по этому изд. О Чехове Зайцев написал более полутора десятков статей, очерков, заметок.

С. 341. *...огромный и великолепный «Эрмитаж» на углу Страстного.*— Сад «Эрмитаж» в центре Москвы, на Бождомке, принадлежал актеру и антрепренеру Михаилу Валентиновичу Лентовскому (1843—1906), где он открыл Театр оперетты, а затем «Фантастический театр», «Новый театр», театр «Скоморох». Чехов опубликовал фельетоны «Фантастический театр Лентовского» (1882), «Мамаша и г. Лентовский» (1883), «Осколки московской жизни» (1883—1885),

заметку «Скоморох» — театр М. В. Л.» (1883), пародию «Нечистые трагики и прокаженные драматурги» (1884). В 1894 г. «Эрмитаж» был арендован Я. В. Щукиным; он построил новый театр, где выступала его опереточная труппа, а также гастролирующие театры. Здесь 26 мая 1896 г. москвичи увидели чудо — первый кинофильм.

С. 341. *Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут...* — Семен Захарович, Катерина Ивановна Мармеладовы и их дочь Софья — герои романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 346. *В эти «Осколки» Чехов попал очень рано...* — «Осколки» (1881—1916) — юмористический литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге. Писательский дебют Чехова, однако, состоялся не в этом журнале, а в «Стрекозе», где 9 марта 1880 г. были опубликованы два его произведения — «Письмо к ученому соседу» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?». Затем печатался в «Зрителе» с сентября 1881 по март 1883-го, в «Будильнике» в 1881—1887 и «Развлечении» в 1884—1885 гг. В «Осколках» Чехов стал регулярно печататься с ноября 1882 по декабрь 1887 г.

С. 353. *...приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.* — Александра Алексеевна (1875—?), Сергей Алексеевич (1876—?) — дети владельцев усадьбы Бабкино Киселевых Алексея Сергеевича и Марии Владимировны (1850—1921), детской писательницы.

С. 358. *Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены».* — Этот сборник вышел в год окончания Чеховым Московского университета — в 1884 г.

С. 362. *Тюю же осенью, в фойе театра Корша, он встретил самого хозяина, Федора Адамовича.* — Ф. А. Корш (1852—1923) — драматург, переводчик и владелец театра в Москве. Для его театра Чехов в «десять дней» написал пьесу «Иванов». Премьера спектакля состоялась 19 ноября 1887 г.

С. 373. *...поэт... типа «вперед на бой, в борьбу со тьмой».* — А. Н. Плещев — автор лозунгового гимна петрашевцев «Вперед! Без страха и сомненья...» (1846). За участие в антикрепостническом кружке социалистов-утопистов М. В. Буташевича-Петрашевского (1821—1866) был приговорен к смертной казни. 22 декабря 1849 г. стоял на эшафоте в ожидании казни рядом с Ф. М. Достоевским и другими кружковцами. По окончательному приговору отправлен «рядовым в оренбургские линейные батальоны».

С. 378. *Не знаю, кто написал статью...* — К «жрецам беспринципного писания» Чехова отнесла Е. С. Щепотьева в своем очередном журнальном обзоре (Русская мысль. 1890. № 3). Оскорбленный писатель 10 апреля 1890 г. к редактору В. М. Лаврову, в частности, пишет: «Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырubiшь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как порядочные и воспитанные люди, которые пншут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня

написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможно не только деловое, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою разумеется» (Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 427). Примирение (с помощью общих друзей и после принесенных извинений) состоялось не скоро — через два года, когда началось десятилетнее сотрудничество Чехова с этим, бесспорно, самым популярным толстым журналом того времени. Здесь были напечатаны такие чеховские шедевры, как «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Мужики», «Остров Сахалин», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Чайка», «Три сестры» и др. В журнале Чехову была предоставлена полная свобода самовыражения, чего не было у других авторов. В письмах «враги» теперь обращались друг к другу так: «Милый Вукол», «Друг Антон». Из их переписки сохранилось 40 писем Чехова и 57 Лаврова.

С. 411. *Левитан... покушался на самоубийство, ранил себя.*— Это случилось 21 июня 1895 г. после приступа сильнейшей меланхолии. Чехов, получив это известие, тотчас отправился к Левитану. Двух гениев, неизлечимо больных, связывала пылкая дружба, их переписка изобилует шутивными розыгрышами, поддразниваниями, такими, например: «Ты, Антонио XIII, не семлевайся насчет эфтого фрака; можешь сам его носить, ибо мне сказали, что талантливым людям, как я, неприлично одевать фрак бездарного писателя, компрометирует он. Ты уж извини, а я матку-правду режу в глаза!» В ответ получает: «Ах ты, полосатая гиена, крокодил окаянный, леший без спины с одной ноздрей, квазимодо сплошной, уж не знаю, как тебя еще и обругать! я страдаю глистами в сердце!!! Ах ты, Вельзевул поганый! Сам ты страдаешь этим, а не я, и всегда страдать будешь до конца дней своих! Не лелей надежды увидеть меня — я не хочу тебя видеть, противен ты мне, вот что... А все-таки, не положить ли мне гнев на милость?! Где наше не пропадало, прощаю тебя, ты это мое великодушие помни».

С. 426. *...он в Москве видел и репетиции «Царя Федора».*— Чехов присутствовал 9—14 сентября 1898 г. на репетициях своей «Чайки» и «Царя Федора Иоанновича» А. К. Толстого в Художественном театре. Здесь он познакомился с О. Л. Книппер.

С. 427. *А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура.*— «Ганнеле» — пьеса Герхарта Гауптмана, сказка-мистерия о девочке, попадающей в рай.

С. 429. *...пьесу поставили... у Абрамовой и Соловцова.*— Мария Морицевна Абрамова (1865—1892) — драматическая актриса и антрепренер; содержала (вместе с Соловцовым) в Москве на Театральной площади частный театр в сезон 1889—1890 гг. Николай Николаевич Соловцов (Федоров; 1857—1902) — драматический актер и антрепренер; постановщик в своем театре спектакля по пьесе Чехова «Леший», успеха не имевшего (премьера — 27 декабря 1889 г.).

...тот самый Григорович, который приветствовал его (Чехова) приход в литературу.— Д. В. Григорович, прочитав рассказы Чехова (еще подписывающего их «А. Чехонте»), 25 марта 1886 г. написал ему: «...У Вас настоящий талант,— талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения». А через три дня получает ответ взволнованного дебютанта: «Ваше

письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранных, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чадю. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет... Повторяю только, что она меня поразила» (Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 276, 278).

С. 431. *...мокументально-величественный Южин, поклонник «Эрнани»...*— «Эрнани» — знаменитая пьеса Виктора Гюго о благородном разбойнике. Как вспоминает М. П. Чехов, «М. Н. Ермолова, А. П. Ленский и А. И. Южин-Сумбатов были неподражаемы в пьесе Виктора Гюго «Эрнани». Пьеса захватила всю тогдашнюю Москву, о ней говорили везде и повсюду и обсуждали ее на все лады» (Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М., 1981. С. 132).

С. 432. *Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов...*— Главный режиссер петербургского Александринского театра Е. П. Карпов, поставил «Чайку» в октябре 1896 г. По одним суждениям — спектакль прошел с огромным успехом (об этом пишут Чехову и сам Карпов, и В. Ф. Комиссаржевская). Но вот что пишет сам Чехов Вл. И. Немировичу-Данченко: «...Моя «Чайка» имела в Петербурге громадный успех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я — по законам физики — вылетел из Петербурга, как бомба» (Переписка А. П. Чехова. Т. 2. С. 149).

ТУРГЕНЕВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Впервые — Париж, газ. «Возрождение», 1932, 18 марта. Печ. по этому изд.

С. 476. *Вез тело Стасюлевич и много натерпелся...*— Подробно об этом см.: Стасюлевич М. М. Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева и его похороны // И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 411—428.

С. 477. *На могиле... три речи: Бекетова, Муромцева и Григоровича...*— На Волковом кладбище в Петербурге, куда был доставлен прах Тургенева и где состоялась грандиозная демонстрация, с речами выступили ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, профессор Московского университета С. А. Муромцев, Д. В. Григорович и А. Н. Плещеев (см.: Ланской Л. Р. Последний путь. Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева // Литературное наследство. Т. 76. М., 1976. С. 633—701).

СТОЛЕТИЕ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

Впервые — Русская мысль. Париж, 1952. 13 авг. № 475. Печ. по этому изд.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТУРГЕНЕВА

Впервые — Русская мысль. Париж, 1957. 20 июня. № 1071. Печ. по этому изд.

«ТВОРЧЕСТВО ИЗ НИЧЕГО». ВНОВЬ ЧЕХОВ

Впервые — Русская мысль. Париж, 1958. 15 февр. № 1174. Печ. по этому изд.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамова Мария Морицевна (1865—1892) — актриса и антрепренер.

Абу Эдмон Франсуа Валентин (1828—1885) — французский писатель, редактор газеты «Le XIX-е Siecle». Выступил с речью об И. С. Тургеневе на траурной церемонии в Париже.

Авилова Лидия Алексеевна, урожд. Страхова (1864—1943) — прозаик, автор мемуаров «А. П. Чехов в моей жизни».

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, критик Серебряного века и русского зарубежья; автор книг «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955), «Комментарии» (Вашингтон, 1967) и др.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — живописец-маринист.

Аксакова Вера Сергеевна (1819—1864) — автор мемуаров «Последние дни жизни Гоголя» (1908), «Письма о Гоголе» (1936) и «Дневника» (1913), в котором содержатся интересные высказывания об И. С. Тургеневе. Дочь С. Т. Аксакова.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, критик, поэт, историк, лингвист, один из вождей славянофилов. Сын С. Т. Аксакова.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — прозаик, поэт, публицист, автор знаменитых книг «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова внука» (1858), «Воспоминания» (1856), «История моего знакомства с Гоголем» (1880) и др.

Александр I (1777—1825) — российский император с 1810 г.

Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г.

Александра Федоровна (наст. имя Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина; 1798—1860) — дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма, жена Николая I с 1817 г.

Алексеев — см. Станиславский.

Анакреонт (Анакреон; ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, воспевавший чувственные наслаждения и радости жизни. Анакреонтические стихи в России писали М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, Н. М. Языков, А. С. Пушкин.

Андерсен Адольф (1818—1879) — немецкий шахматист, считавшийся в середине XIX в. сильнейшим в мире.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — критик, историк литературы, прозаик, мемуарист; автор книг «Материалы для биографии Пушкина» (1855), «Замечательное десятилетие. 1838—1848. Из литературных воспоминаний» (1880), «Молодость И. С. Тургенева 1840—1856» (1884), «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856—1862» (1885), «Из переписки с И. С. Тургеневым в 60-х гг.» (1887) и др.

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор.

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — критик, публицист, сотрудник журнала «Современнику», предвзято относившийся к творчеству Тургенева.

Апухтин Алексей Николаевич (1840—1883) — поэт.

Аракчеев Александр Андреевич (1769—1834) — государственный деятель; с 1810 г. председатель военного департамента Государственного совета и фактический руководитель государства. С 1817 г. возглавлял управление военными поселениями.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — врач, лейб-медик Николая I; был в числе врачей, пытавшихся спасти смертельно раненного А. С. Пушкина.

Ариим Беттина фон, урожд. Брентано (1785—1859) — немецкая писательница, автор получившей широкую известность книги «Переписка Гете с ребенком» (1835).

Арсеньев Константин Иванович (1797—1875) — статистик, историк, географ; профессор Петербургского университета, преподаватель наследника цесаревича Александра Николаевича.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — критик, публицист, почетный академик.

Артем (наст. фам. Артемьев) *Александр Родионович* (1842—1914) — актер МХТ с 1898 г.

Базаров Иоанн Иоаннович (1819—1895) — духовный писатель, протоиерей; зарубежный духовник особ царствующего дома и Жуковского, настоятель русских православных церквей во Франкфурте и Штутгарте. Автор популярной «Библейской истории», выдержавшей 30 изданий тиражом более миллиона экземпляров.

Байрон Джордж Нозл Гордон (1788—1824).

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — философ, публицист, идеолог анархизма. Старший из братьев Бакуниных.

Бакунины: Александр, Александра, Николай, Павел, Татьяна — братья и сестры, друзья Тургенева.

Бальзак Оноре де (1799—1850).

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, один из лидеров русского символизма.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт, глава анакреонтического направления в русской лирике.

Безобразов Павел Владимирович (1859—1918) — историк, прозаик.

Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — ботаник, один из основоположников морфологии и географии растений; в 1876—1882 гг. ректор Петербургского университета, на похоронах И. С. Тургенева выступил с речью.

Бекетов Владимир Николаевич (1809—1883) — критик, цензор Петербургского цензурного комитета.

Белинская Мария Васильевна, урожд. Орлова (1812—1890) — жена В. Г. Белинского.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848).

Белусов Иван Алексеевич (1863—1936) — поэт, прозаик, переводчик; автор мемуарных книг «Ушедшая Москва», «Литературная Москва», «В жуткие дни» и др.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, которого Тургенев читал вначале восторженно, а затем под влиянием Белинского изменил свое мнение о нем. «Знаете ли Вы,— писал он Л. Н. Толстому 16 декабря 1856 г.,— что я целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?»

Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1781 или 1783—1844) — государственный деятель, генерал от кавалерии. Участник подавления восстания декабристов. С 1826 г. — шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения.

Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737—1814) — французский писатель; автор знаменитого романа «Поль и Виргиния» (1787; русский перевод 1793).

Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — прозаик, поэт, критик; один из наиболее активных членов Северного общества декабристов.

Бичер Стоу Гарриет (1811—1898) — американская писательница; автор известного романа «Хижина дяди Тома» (1852).

Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864) — литератор, дипломат, государственный деятель; в 1815 г. стал одним из организаторов литературного кружка «Арзамас». С 1855 г. — президент Академии наук, с 1862 г. — председатель Государственного совета.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт; автор знаменитой поэмы «Душенька» (1783) — стилизованное под русские сказки переложение романа Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669).

Бонштеттен Карл Виктор (1745—1832) — швейцарский писатель и философ.

Борисов Иван Петрович (1832—1871) — мценский помещик, друживший с Тургеневым и Фетом (он был женат на сестре поэта).

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) — композитор; создатель нового типа хоровой духовной музыки.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — критик, публицист, переводчик; автор известной книги «Письма об Испании» (1857); друг Белинского и Герцена.

Бруннов Филипп Иванович (1797—1875) — дипломат; посол России в Берлине (1858) и в Лондоне (с 1858 по 1874 г.).

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — живописец.

Бунин Афанасий Иванович (1716—1791) — помещик; в 1780-х гг. градоначальник в Белеве.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — прозаик, поэт; лауреат Нобелевской премии (1933).

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — прозаик, драматург, критик; сотрудник газеты «Новое время».

Былим-Калосовский Евгений Дмитриевич — владелец имения Богимово Калужской губернии, у которого провела лето 1891 г. семья Чеховых.

Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт; создатель жанра современной баллады.

Варнгаген — см. *Фарнгаген*.

Вердер Карл (1806—1893) — немецкий философ и драматург.

Виардо Клоди («Диди», Клавдия), в замужестве Шамро (1852—1914), дочь Л. и П. Виардо.

Виардо Луи (1800—1883) — прозаик, критик, мемуарист, переводчик; муж Полны Виардо.

Виардо Луиза Полина Мария, в замужестве Эритт де ля Тур (1841—1918) — старшая дочь Л. и П. Виардо.

Виардо Марианна, в замужестве Дювернуа (1854—1913) — дочь Л. и П. Виардо.

Виардо Мишель Фернанда Полина, урожд. Гарсиа (1821—1910) — французская певица и композитор; друг Тургенева.

Виардо Поль (1857—1941) — скрипач; сын Л. и П. Виардо.

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — мемуарист; с 1829 г. директор департамента духовных дел иностранных исповеданий. Автор известных «Записок».

Вильегорские (Вьельгорские): *Михаил Юрьевич* (1788—1856) — композитор и музыкальный деятель; *Матвей Юрьевич* (1794—1866) — виолончелист и музыкальный деятель.

Виктор Поль де Сен — см. *Сен-Виктор*.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель, автор знаменитой книги «Сократ беснующийся, или Диалоги Диогена Синопского».

Вильгельм I (1807—1888) — король Пруссии с 1861 и император Германии с 1871 г.; власть при нем фактически находилась в руках канцлера Бисмарка.

Витторино да Фельтро (1378—1446) — итальянский педагог-гуманист, основатель светского учебного заведения нового типа, дававшего классическое образование.

Вишневецкий Александр Леонидович (1861—1943) — один из основных артистов МХТ.

Вовчок Марко (наст. имя Мария Александровна Вилинская-Маркович; 1833—1907) — украинская и русская писательница.

Воейков Александр Федорович (1778 или 1779—1839) — поэт, переводчик, критик, издатель, журналист.

Вревская Юлия Петровна, баронесса, урожд. Варпаховская (1841—1878) — жена генерала И. А. Вревского, погибшего в 1858 г. на Кавказе; близкая знакомая Тургенева; погибла во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., где была сестрой милосердия. Тургенев посвятил ей стихотворение в прозе «Памяти Ю. П. Вревской». В 1958 г. благодарные болгары издали в Плевне книгу с документами и рассказами о героине. В числе публикаций — стихотворение в прозе Тургенева и выдержки из его многочисленных писем к ней, а также стихотворение Я. П. Полонского «Под красным крестом».

Всеволожский Никита Никитич (1846—1896) — второй муж М. Ф. Савиной (см.).

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — поэт, критик, мемуарист, автор книги «Записные книжки».

Гагарин Григорий Иванович (1782—1837) — переводчик, дипломат; одновременно с В. А. Жуковским учился в Московском университетском благородном пансионе.

Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882) — публицист.

Гальм Фридрих (наст. имя Элигиус Фрайхерр фон Мюнх-Беллинггаузен; 1806—1871) — австрийский поэт, автор драматической поэмы «Камознс» (1837).

Гарсиа Мануэль (1775—1832) — знаменитый французский тенор и музыкальный педагог; отец и учитель Полины Виардо.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — прозаик, критик.

Гаттерер Иоганн (1727—1799) — немецкий историк; автор учебников по геральдике и генеалогии.

Гауптман Герхарт (1862—1946) — прозаик, драматург; родоначальник немецкого натурализма.

Гebbель — см. Хеббель.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831).

Гедеонов Александр Михайлович (1790—1867) — в 1833—1858 гг. директор императорских театров.

Гедеонов Степан Александрович (1815—1878) — драматург; в 1867—1875 гг. директор императорских театров. Сын А. М. Гедеонова.

Гейне Генрих (1797—1856).

Гевеж Георг (1817—1875) — немецкий поэт.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, литературовед и писатель.

Герцен Александр Иванович (1812—1870).

Герцен Наталья Александровна, урожд. Захарьина (1817—1852) — жена А. И. Герцена.

Герцен Наталья Александровна (Тата; 1844—1936) — дочь А. И. Герцена.

Герцен Ольга Александровна, в замужестве Моно (1850—1953) — дочь А. И. Герцена.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832).

Гиппиус Зинаида Николаевна, в замужестве Мережковская (1869—1945) — поэт, прозаик, критик, идеолог символизма.

Глазоль (наст. фам. Голоушев) *Сергей Сергеевич* (1855—1920) — врач, художник и публицист; активный участник кружка «Среда».

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852).

Гойя Франсиско Хосе де Лусиентес (1746—1828) — испанский живописец и гравер.

Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — государственный деятель эпохи Александра I; с 1806 г. обер-прокурор Синода, с 1810-го управлял делами иностранных вероисповеданий, с 1816 г. — министр духовных дел и народного просвещения.

Гонкуры де, братья: Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — французские писатели; авторы знаменитого «Дневника».

Гончаров Иван Александрович (1812—1891).

Горацій Квинт Горацій Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт.

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868—1936).

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель и композитор.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета; лидер русских западников.

Гребенка Евгений Павлович (1812—1848) — прозаик, поэт, писавший на русском и украинском языках.

Грей Томас (1716—1771) — английский поэт; автор элегии «Сельское кладбище», переведенной Жуковским.

Грессер Петр Аполлонович (1833—1892) — с 1882 г. петербургский градоначальник.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795, по др. сведениям: 1790—1829).

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — прозаик, мемуарист; автор книги «Литературные воспоминания» (1892—1893). Тургенев познакомился с ним в апреле 1846 г. Григорович первым поддержал А. П. Чехова-дебютанта.

Гримм Фредерик Мельхиор (1723—1807) — французский критик и журналист; с 1753 г. выпускал рукописный журнал «Литературная корреспонденция», который получали Фридрих II, Екатерина II, Станислав Понятовский и др.

Гумбольдт Александр Фридрих Генрик, барон фон (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, прозаик; герой Отечественной войны 1812 г.

Даль Владимир Иванович (1801—1872).

Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — критик, один из основателей общества «Арзамас»; впоследствии министр юстиции.

Дежерандо Жозеф Мари, барон (1772—1842) — писатель, историк, философ-моралист, общественный деятель.

Державин Гаврила Романович (1743—1816).

Джеймс Генри (1843—1916) — американский писатель; почитатель творчества Тургенева.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, государственный деятель.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861).

Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель.

Додслей (Додсли) Роберт (1703—1764) — английский поэт, драматург; основатель издательской фирмы. Автор переведенной в 1786 г. на русский язык «Книги премудрости и добродетели, или Состояние человеческой души. Индейское нравоучение».

Долгоруков Иван Михайлович (1764—1823) — поэт, драматург; возглавлял Соляную контору; вице-губернатор в Пензе и губернатор во Владимире. Автор знаменитой книги «Капище моего сердца, или Словарь всех тех, с коними я был в разных отношениях в течение моей жизни».

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881).

Дружнин Александр Васильевич (1824—1864) — прозаик, критик, переводчик.

Дьякова Варвара Александровна, урожд. Бакунина (р. 1812).

Дювернуа — см. *Виардо Марианна*.

Дюковский Михаил Михайлович (1860—1902) — инспектор Мещанского училища в Москве; знакомый семьи Чеховых.

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный деятель; один из создателей объединения художников «Мир искусства»; создатель зарубежной труппы «Русские балеты Дягилева» (1911—1929).

Евреинова Анна Михайловна (1844—1919) — издатель журнала (в 1885—1890 гг.) «Северный вестник»; первая женщина доктор права.

Екатерина II (1729—1796) — российская императрица с 1862 г.; немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербская.

Елагин Алексей Андреевич (?—1846) — отчим И. В. и П. В. Киреевских (см.).

Елагина Авдотья Петровна (1789—1877) — племянница В. А. Жуковского; мать И. В. и П. В. Киреевских (см.).

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — прозаик, публицист; по образованию врач.

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — выдающаяся трагедийная актриса; с 1871 г. в московском Малом театре.

Жанлис Стефани Фелисите (1746—1830) — французская писательница; автор детских и педагогических книг, а также множества (90 т.; из них 54 переведены на русский) сентиментальных, нравоучительных, исторических романов.

Житова (Богданович-Лутовинова) Варвара Николаевна (1833—1900) — воспитанница матери И. С. Тургенева; автор книги «Воспоминания о семье И. С. Тургенева» (Вестник Европы, 1884. № 11 и 12; Тула, 1961 и др. переиздания).

Жихарев Степан Петрович (1788—1860) — мемуарист, переводчик-драматург; автор знаменитых «Записок современника», много раз издававшихся.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852).

Жуковский Павел Васильевич (1845—1912) — художник; сын В. А. Жуковского.

Жуковская Александра Васильевна, в замужестве баронесса Вёрманн (1843—1899) — дочь В. А. Жуковского.

Занд Жорж — см. *Санд Жорж*.

Зейдлиц Карл Карлович (1798—1885) — профессор-терапевт, друг Жуковского и первый его биограф; автор книги (на немецком языке) «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. 1783—1852. По неизданным источникам и личным воспоминаниям» (Митава, 1870); русский перевод — СПб., 1883.

Зенф Карл — немецкий художник и гравер, учитель рисования Дерптского университета (1809—1830; Жуковский брал у него уроки).

Зонтаг Анна Петровна, урожд. Юшкова (1786—1864) — детский прозаик,

переводчица, мемуаристка; сестра А. П. Елагиной, племянница В. А. Жуковского (и с ним воспитывалась в доме своей бабушки М. Г. Бунинной, после смерти матери в 1797 г.). Автор мемуарных публикаций: «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского» (1849), «Воспоминания о первых годах детства В. А. Жуковского», письма Зонтаг к П. А. Вяземскому, А. М. Павловой и др., которые внимательно прочитал Зайцев.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский писатель; классик мировой драматургии.

Игнатий Богоносец — епископ Антиохийский; при императоре Траяне (98—117) был замучен и казнен в 107 г. До нас дошло 14 его богословских посланий.

Иорданов Павел Федорович (1858—1920) — санитарный врач в Таганроге, переписывавшийся с А. П. Чеховым.

Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851) — литератор, директор Петербургского университета; друг Жуковского и Воейковых.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк, публицист, общественный деятель; автор одного из первых проектов отмены крепостного права.

Кайсаровы, братья: *Петр Сергеевич* (1777—1854) — писатель, переводчик, сенатор; *Михаил Сергеевич* (1780—1825) — поэт, переводчик знаменитого романа Лоуренса Стерна (1713—1768) — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», чиновник; *Андрей Сергеевич* (1782—1813) — публицист, филолог, поэт; защитил докторскую диссертацию «Об освобождении крестьян» в 1806 (!) г.; *Паисий Сергеевич* (1783—1744) — в годы Отечественной войны дежурный генерал при М. И. Кутузове, командир летучего партизанского отряда, генерал от инфантерии.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681) — крупнейший драматург испанского барокко.

Камознс Луиш ди (1524 или 1525—1580) — португальский поэт.

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт, автор знаменитых «Сатир».

Каподистрия Иоанн Антон, граф (1776—1831) — дипломат. В 1816—1822 гг. — министр иностранных дел России; с 1827 г. президент Греции; убит заговорщиками.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — прозаик, поэт, историк.

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879) — комический актер и водевилист (написал 68 пьес); автор «Воспоминаний» (1880).

Карпов Евтихий Павлович (1857—1926) — в 1896—1900 гг. главный режиссер петербургского Александринского театра.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик, переводчик (первым начал переводить Вальтера Скотта); редактор журнала «Вестник Европы». «Герой» пушкинских эпиграмм.

Кёрнер Карл Теодор (1791—1813) — немецкий поэт-романтик, прозаик и драматург.

Кирриан, архимандрит (Керн Константин Эдуардович; 1899—1960) — в 1936—1960 гг. профессор в Богословском институте в Париже.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — философ, критик, лидер славянофильства.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — фольклорист, археограф, составитель неоднократно переиздававшихся сборников «Песни, собранные Киреевским» (около 3000 народных песен).

Киреевская (во втором браке Елагина) *Авдотья Петровна* (1789—1878), мать братьев Киреевских.

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872) — государственный деятель; член Государственного совета, министр государственных имуществ, посол во Франции.

Клейст Эвальд Христиан (1715—1759) — немецкий поэт; автор идиллической поэмы в гекзаметрах «Весна» (рус. перевод 1792).

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт эпохи Просвещения.

Клуттер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959) — актриса МХАТа (с 1898 г.); жена А. П. Чехова и первая исполнительница ролей в его пьесах.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — историк, социолог; профессор Московского университета. Автор мемуарных очерков «Воспоминания об И. С. Тургеневе», «Баденский период жизни Тургенева» и «За рубежом».

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт-лирик; в 1821 г. ослеп.

Кальцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса; в 1904 г. в Александринском театре создала свой театр символистской ориентации.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — судебный деятель, литератор; автор воспоминаний о похоронах И. С. Тургенева в Петербурге и об А. П. Чехове.

Константин Павлович, великий князь (1779—1831) — второй сын императора Павла I; участник Итальянского похода А. В. Суворова, командовал гвардией в Отечественной войне в 1812 г. Наместник Царства Польского.

Константиновский Матавей Александрович (1792—1857) — священник из Ржева, с которым сблизился в последние годы Гоголь.

Корнель Пьер (1606—1684) — французский поэт и драматург-классицист.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист.

Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761—1819) — немецкий драматург и прозаик; в 1781—1783 и 1800—1802 гг. находился на русской службе; агент русского правительства и Священного союза.

Кребийон-сын (Crebillon) *Клод Проспер Жюлио* (1707—1777) — французский прозаик; автор знаменитой книги «Заблуждения сердца и ума, или Мемуары г-на де Мелькура» (1736).

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — баснописец, драматург, прозаик, журналист.

Кудряшов Порфирий Тимофеевич — домашний врач В. П. Тургеневой.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — драматург, прозаик, поэт, художественный критик, журналист; автор популярных до сих пор романсов «Сомнение», «Жолыбельная песня», «Жаворонок», цикла «Прощание с Петербургом» и др.

Куручкин Василий Степанович (1831—1875) — поэт-сатирик, издатель журнала «Искра» (1859—1873).

Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог-реформатор.

Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) — редактор-издатель (с 1880 г.) журнала «Русская мысль», в котором много печатался А. П. Чехов.

Лавров Петр Лаврович (псевд. «П. Миртов»; 1832—1900) — философ, социолог и публицист, идеолог народничества; автор знаменитых «Исторических писем» (1868—1869).

Лагарп Фредерик Сезар де (1754—1838) — швейцарский политический деятель, приверженец идей Просвещения; в 1784—1795 гг. — воспитатель будущего императора России Александра I.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932) — прозаик, друживший с А. П. Чеховым; автор воспоминаний о нем.

Ламберт Елизавета Егоровна (Георгиевна), урожд. Канкринна (1821—1883) — близкая знакомая Тургенева; дочь министра финансов Е. Ф. Канкринна; жена генерала и графа И. К. Ламберта (1809—1879). Сохранилось 115 писем Тургенева к графине Ламберт.

Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский прозаик, драматург, баснописец.

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — живописец.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — прозаик, журналист, в 1881—1905 гг. редактор-издатель журнала «Осколки», в котором сотрудничал А. П. Чехов.

Леонидов Леонид Миронович (1873—1941) — актер-мхатовец (с 1903 г.), педагог.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — философ, прозаик, публицист, дипломат.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841).

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и критик.

Ливен Карл Андреевич, князь (1767—1844) — генерал, в 1828—1833 гг. министр народного просвещения.

Лилина (наст. фам. Перевощикова) *Мария Петровна* (1866—1943) — актриса МХТ (с 1898 г.); жена К. С. Станиславского.

Линтварев Георгий Михайлович (1865—1943) — пианист; сын А. В. Линтваревой.

Линтварев Павел Михайлович (1861—1911) — земский деятель; сын А. В. Линтваревой.

Линтварева Александра Васильевна (1833—1906) — владелица усадьбы Лука (возле г. Сумы Харьковской губ.), где Чеховы жили летом в 1888—1890 гг.

Линтварева Елена Михайловна (1859—1922) — врач; дочь А. В. Линтваревой.

Линтварева Зинаида Михайловна (1857—1891) — врач; дочь А. В. Линтваревой.

Линтварева Наталья Михайловна (ок. 1863—1943) — учительница; дочь А. В. Линтваревой.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765).

Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) — государственный деятель,

публицист; один из организаторов типографской компании и масонской типографии. С 1796 г. — статс-секретарь, сенатор. Автор воспоминаний и масонских сочинений, почитавшихся в секте духоносцев.

Лужский (наст. фам. Калужский) *Василий Васильевич* (1869—1931) — актер, режиссер МХТ.

Лутовинов Иван Иванович (1753—1813) — дядя матери И. С. Тургенева, устроитель усадьбы Спасское-Лутовиново.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1835) — соратник реформатора М. М. Сперанского (с ним был в ссылке), А. А. Аракчеева и А. А. Голицына. В 1819—1826 гг. — попечитель Казанского учебного округа.

Малибран Мария-Фелисия, урожд. Гарсна (1808—1836) — французская оперная певица; сестра П. Виардо.

Мамин (псевд. Д. Сибиряк) *Дмитрий Наркисович* (1852—1912) — прозаик, драматург.

Мамонтов Савва Иванович (1841—1913) — промышленник, театральный деятель; в 1885 г. открыл в Москве Частный оперный театр.

Мария Федоровна (1759—1828) — императрица, супруга Павла I.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — с 1869 г. книгоиздатель, с 1870 г. выпускал самый популярный в России журнал «Нива» (в приложении — собрания сочинений, географические атласы, альбомы).

Марлинский — см. *Бестужев*.

Маслов Иван Ильич (1817—1891) — общественный деятель; участник встреч в кружке Белинского в 1840-е годы.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, критик, теоретик литературы, переводчик; профессор Московского университета. Автор популярных песен и романсов «Среди долины ровныя...», «Не липочка кудрявая...», «Чернобровый, черноглазый...» и др.

Мердер Карл Карлович (1788—1857) — генерал-адъютант, воспитатель наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II.

Мережковская — см. *Гиппиус*.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — прозаик, поэт, философ, историк литературы, теоретик символизма, переводчик.

Мериме Проспер (1803—1870) — французский писатель; переводчик тургеневских произведений. Тургенев познакомился и подружился с Мериме в начале 1857 г. в Лондоне. Из многолетней переписки писателей сохранилось 96 писем Мериме, а письма Тургенева сгорели во время пожара в квартире Мериме в 1871 г.

Местр Ксавье де (1763—1852) — французский писатель, физик и химик, военный деятель. В 1800 г. эмигрировал в Россию, где стал директором Морского музея императора Петра Великого в Петербурге.

Метерлинка Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт-символист, критик; автор шедевра мировой драматургии — драмы «Синяя птица», впервые поставленной в 1908 г. на сцене МХТ. Лауреат Нобелевской премии (1911 г.).

Мизинова Лидия Стахиевна (1870—1937) — подруга М. П. Чеховой и

А. П. Чехова (сохранилось 67 писем Чехова к «прекрасной Лике» и 98 ее писем к нему).

Милухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888) — этнограф и путешественник; автор воспоминаний о Тургеневе.

Милюеа Шарль Ибер (1782—1816) — французский поэт; начиная с первой книги «Удовольствия поэта. Большой Сен-Бернар и мимолетные стихи» (1802), его увлеченно переводили Жуковский, Батюшков, Баратынский, В. Л. и А. С. Пушкины, Брюсов и др.

Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт и политический деятель; автор поэм «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671) и др.

Мирялобов Виктор Сергеевич (1860—1939) — литератор, издатель; редактор литературно-научного «Журнала для всех» (1898—1906); с 1910 г. — редактор горьковских сборников «Знание»; в 1914—1917 гг. издавал «Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни».

Митрофаней (Митрофан, в миру Михаил; 1623—1703) — первый воронежский епископ (1682), назначенный по желанию царя Федора Алексеевича. Петр I, принявший участие в погребении Митрофана, сказал о нем: «не было у меня такого другого святого старца».

Михаил (в миру Михаил Михайлович Грибановский, 1856—1898) — духовный писатель, магистр Петербургской духовной академии; был епископом Прилуцким, Каширским, Таврическим и Симферопольским.

Михаил Павлович, великий князь (1798—1848) — генерал-фельдцейхмейстер; с 1819 г. управлял артиллерийским ведомством; с 1825 г. — член следственной комиссии по делу декабристов; с 1831 г. — главный начальник всех кадетских корпусов.

Михаил Федорович (1596—1645) — первый московский царь (с 1613 г.) из рода Романовых.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — публицист, социолог, критик, теоретик народничества. В 1892—1904 гг. — редактор журнала «Русское богатство».

Мойер Иван Филиппович (?—1858) — хирург, профессор Дерптского университета.

Мольер Жан-Батист (наст. фам. Поклен; 1622—1673).

Монталамбер Шарль Форб де Трион, граф (1810—1870) — французский политический деятель; член палаты пэров, учредительного и законодательного собраний, лидер католической партии; публицист-клерикал, в 1869 г. безбоязненно выступивший против папской непогрешимости.

Монтень Мишель де (1533—1592) — французский философ и писатель; автор книги литературно-философских размышлений «Опыты» (1588).

Мопассан Ги де (1850—1893) — французский классик, называвший себя учеником Тургенева; автор мемуарного очерка-некролога о нем.

Морфи Пол Чарлз (1837—1884) — американский шахматист, победивший в матчах 1857—1859 гг. сильнейших шахматистов мира.

Москвин Иван Михайлович (1874—1946) — актер-мхатовец (с 1898 г.).

Мур Томас (1779—1852) — английский поэт.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, публицист.

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862) — с 1845 по 1856 г. —

председатель Петербургского цензурного комитета и попечитель Петербургского учебного округа.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт.

Неверов Януарий Михайлович (1810—1893) — друг Т. Н. Грановского и Н. В. Станкевича; в 1838—1839 гг. вместе с Тургеневым был слушателем Берлинского университета.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877).

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1829) — поэт.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, драматург, прозаик, критик; основатель (вместе с К. С. Станиславским) МХТ; реформатор театра.

Николай Павлович, великий князь (1796—1855) — будущий император России.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ.

Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий поэт-романтик и философ.

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — просветитель, писатель, журналист; издатель журналов «Трутень», «Живописец», «Кошелев»; организатор в России типографий, библиотек, книжных магазинов.

Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869) — прозаик, эстетик, литературный и музыкальный критик, композитор; хозяин литературного салона, в котором, как заметил С. П. Шевырев, пересидела вся русская литература на диване Одоевского.

Опекушин Александр Михайлович (1838—1923) — скульптор; автор памятников А. С. Пушкину в Москве (1880), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889) и др.

Оссиан — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Некоторые из его сказаний сохранились и изданы.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — классик русской драматургии.

Остроумов Александр Александрович (1844—1908) — терапевт, основатель научной школы.

Павел I (1754—1801) — император России с 1796 г.

Павский Герасим Петрович (1787—1863) — протоиерей, выдающийся филолог и гебраист; главный труд — «Филологические наблюдения над составом русского языка» (1841—1842).

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — журналист, писатель; соредaktor (с Некрасовым) журнала «Современнику».

Панаева Авдотья Яковлевна, урожд. Брянская, во втором браке Головачева (1820—1893) — писательница (псевд. Н. Станицкий); автор знаменитых «Воспоминаний» (1889, 1972).

Пауллуччи Филипп Осипович (1779—1849) — генерал-губернатор Эстляндии, Курляндии и Лифляндии.

Перовский Василий Алексеевич, граф (1795—1857) — флигель-адъютант,

писатель, оренбургский военный губернатор; друг Жуковского и Воейкова.
Перуджино (Ваннуччи) *Пьетро* (между 1445 и 1452—1523) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения.

Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, родоначальник культуры Возрождения.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — прозаик.

Пич Карл Адольф Людвиг (1824—1911) — немецкий литератор, критик, художник, мемуарист, который, по словам П. В. Анненкова, сделал «задачей своей жизни распространение произведений Тургенева в своем отечестве».

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — с 1902 г. министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов; убит эсером.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — поэт, критик, издатель, профессор русской словесности Петербургского университета.

Плещеев Александр Алексеевич (1778—1862) — двоюродный брат М. А. и А. А. Протасовых (см.), театрал-любитель, композитор-дилетант, положивший на музыку много стихотворений В. А. Жуковского. Впоследствии камергер, статский советник.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт; один из первых почитателей таланта А. П. Чехова. Из их переписки сохранилось 60 писем Чехова и 53 письма Плещеева.

Плещеева Анна Ивановна — жена А. А. Плещеева (см.).

Пошывало Василий Сергеевич (1765—1813) — поэт, переводчик, журналист, преподаватель Московского университетского пансиона.

Полenov Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник-передвижник; мастер лирического пейзажа.

Полонская Жозефина Антоновна (1844—1920) — скульптор; вторая жена Я. П. Полонского.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт; друг Тургенева и автор мемуаров о нем.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт; переводчик Гомера, Овидия, Феокрита, Вергилия; автор книги «Опыт о критике» (1711), ставшей манифестом английского просветительского классицизма.

Поссе Владимир Алексеевич (1864—1940) — журналист и общественный деятель; организатор и редактор журналов «Жизнь», «Новое слово», один из основателей издательства «Знание».

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — прозаик; автор воспоминаний об А. П. Чехове.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762—1848) — профессор естественной истории в Московском университете; в 1791—1824 гг. — инспектор, директор Университетского пансиона.

Протасовы: Александра Андреевна, в замужестве Воейкова (1795—1829; ей В. А. Жуковский посвятил стихотворение «Светлане»); *Мария Андреевна*, в замужестве Мойер (1793—1823) — несчастливую любовь к ней В. А. Жуковский прones через всю жизнь.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837).

Пушкин Василий Львович (1766—1830) — поэт, член литературного об-

щества «Арзамас»; автор известной сатирической поэмы «Опасный сосед». Дядя А. С. Пушкина.

Пушкина Елена Григорьевна (1778—1833) — жена поэта Александра Михайловича Пушкина (1771—1825).

Разумовская Генриетта, урожденная Мальсен, графиня (?—1827) — хозяйка литературного салона в Париже.

Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, поэт-классицист.

Рафаэль Санти (1483—1520) — итальянский живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения.

Рейтерн Евграф (Гергардт) *Романович* (1794—1865) — русский офицер, художник; тесть Жуковского.

Рейтерн Елизавета Евграфовна (после принятия православия Алексеевна; 1821—1856) — жена В. А. Жуковского (с 21 апреля 1841 г.).

Рекамье Ж. Ф. (1777—1849) — хозяйка знаменитого литературно-политического салона в Париже, дружившая с Шатобрианом (см.).

Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский писатель, историк и филолог-востоковед. Выступил с речью об И. С. Тургеневе на траурной церемонии в Париже.

Родзянко Семен Емельянович (1782—1808) — поэт, переводчик.

Роксанова Мария Людовировна (псевд. «Н. Р.», «Рою»; 1858—1903) — журналист, театральный критик.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и философ.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — выдающаяся русская актриса, дружившая и переписывавшаяся с Тургеневым; автор мемуарного очерка о нем. Об истории этой дружбы см. воспоминания А. Ф. Кони «Тургенев и Савина» (автор сперва назвал свой очерк «Последняя любовь Тургенева»).

Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, графиня, урожд. Сухово-Кобылина (1815—1892) — прозаик, публицист (псевд. «Евгения Тур»); мать известного исторического беллетриста Е. А. Салиаса де Турнемир (1840—1908).

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889).

Саларин Юрий Федорович (1819—1876) — философ, историк, публицист, один из идеологов славянофильства.

Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница.

Санин Александр Акимович (1869—1956) — актер и режиссер МХТ.

Северин Дмитрий Петрович (1791—1865) — дипломат, в молодости член общества «Арзамас».

Сен-Виктор Поль Бен, граф де (1825—1881) — французский театральный и художественный критик.

Сент-Бев Шарль Огюстен (1804—1869) — французский критик и поэт.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616).

Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930) — литератор, публицист, считавший себя другом Л. Н. Толстого.

Серов Александр Николаевич (1820—1871) — композитор и музыкальный критик.

Сисмонди, Симон де Жан Шарль Леонар (1773—1842) — швейцарский экономист и историк.

Скарпа Антонио (1777—1832) — итальянский анатом и хирург, лейб-медик Наполеона Бонапарта; автор медицинских трудов.

Скиталец (Петров Степан Гаврилович; 1869—1941) — прозаик.

Склифосовский Николай Васильевич (1836—1904) — хирург-новатор.

Скобелев Иван Никитич (1778—1849) — военный писатель (псевдоним «Русский инвалид»); участник Отечественной войны 1812 г. (квартиргер М. И. Кутузова); впоследствии генерал-лейтенант, комендант Петропавловской крепости.

Соловцов Николай Николаевич (1857—1902) — актер, режиссер, антрепренер; основатель «Театра Соловцова» — русского драматического театра в Киеве, ставившего пьесы А. П. Чехова.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт, публицист.

Сохацкий Павел Афанасьевич (1765—1809) — журналист, профессор эстетики и древней словесности в Московском университете, редактор журналов «Политический журнал», «Приятное и полезное препровождение времени» (вместе с В. С. Подшиваловым), «Ипокрена, или Утехи любословия», «Новости русской литературы».

Сперанский Михаил Михайлович, граф (1772—1839) — государственный деятель, реформатор в эпоху Александра I.

Станиславский (наст. фам. Алексеев) *Константин Сергеевич* (1863—1938) — актер, режиссер, теоретик и реформатор театра; основатель (вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко) МХТ.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — философ, поэт; основатель литературно-философского кружка в Москве (1831—1839), в который входили К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, М. Н. Катков, Ю. Ф. Самарин и др.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, журналист, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» и газеты «Порядок».

Стечкина Любовь Яковлевна (1851—1900) — писательница.

Строганов Григорий Александрович, граф (1770—1857) — дипломат.

Суворин Александр Сергеевич (1834—1912) — журналист и издатель газеты «Новое время», журнала «Исторический вестник» и собраний сочинений, научной и справочной литературы.

Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) — журналист; с 1888 г. возглавил газету «Новое время». Сын А. С. Суворина (см.).

Суворина Анна Ивановна (1858—1936) — вторая жена А. С. Суворина.

Сундберн Алджернон Чарлз (1837—1909) — английский поэт, воспевавший чувственность и жажду наслаждений.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург, издатель первого русского литературного журнала «Трудолюбивая пчела».

Сумароков Панкратий Платонович (1763—1814) — поэт, журналист, переводчик; находясь в ссылке в Тобольске, основал ежемесячник «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» — первый журнал в Сибири.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт Возрождения и барокко; автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580), подвергнутой суду инквизиции.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — прозаик, мемуарист, создатель литературного кружка «Среда».

Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт, автор любовных элегий.

Тик Людвиг (1733—1853) — немецкий поэт-романтик, прозаик и драматург.

Тимковский Николай Иванович (1863—1922) — прозаик, драматург.

Тихомиров Иосафат (Иосаф) Александрович (1878—1908) — актер и режиссер МХТ.

Тихон Задонский (1724—1783) — знаменитый церковный деятель и духовный писатель.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889) — государственный деятель, историк; в 1864—1880 гг. — обер-прокурор Синода, в 1865—1880 гг. — министр народного просвещения, с 1882 г. — министр внутренних дел.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910).

Томсон Джеймс (1700—1748) — английский поэт.

Топоров Александр Васильевич (1831—1887) — близкий приятель Тургенева.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — историк и археолог, друживший с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Вальтером Скоттом, Гете.

Тургенев Александр Михайлович (1772—1862) — отец О. А. Тургеневой.

Тургенев Андрей Иванович (1781—1803) — поэт, публицист, в 1797—1800 гг. возглавлял предромантический литературный кружок. Подававшему большие надежды, но рано ушедшему другу Жуковский посвятил стихотворение «На смерть Андрея Тургенева».

Тургенев Иван Петрович (1752—1807) — директор Московского пансиона, член кружка Н. И. Новикова. Жуковский дружил с его сыновьями Александром и Андреем (см.).

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883).

Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — прозаик, историк, экономист, друживший с И. С. Тургеневым и многими деятелями культуры и науки. Как один из основателей тайного общества декабристов был приговорен к смертной казни (заочно, поскольку ему удалось эмигрировать). Чины и дворянское достоинство ему были возвращены в 1864 г.

Тургенев Николай Николаевич (1795—1881) — дядя писателя, управляющий его имением.

Тургенев Николай Сергеевич (1816—1879) — брат писателя.

Тургенев Сергей Иванович (1791—1827) — душевнобольной брат А. И. Тургенева, умер в Париже.

Тургенев Сергей Николаевич (1793—1834) — отец писателя.

Тургенева Варвара Петровна, урожд. Лутовинова (1780—1850) — мать писателя.

Тургенева Ольга Александровна, в замужестве Сомова (1836—1872) — дальняя родственница писателя.

Тургенева Полина (Пелагея) Ивановна, в замужестве Брюэр (1842—1919) — дочь писателя.

Тучков Алексей Александрович (1800—1879) — генерал, в молодости близкий к декабристам; друг Огарева и Герцена.

Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913) — жена Н. П. Огарева; впоследствии гражданская жена А. И. Герцена. Автор книги «Воспоминания» (1959).

Тэн Ипполит (1828—1923) — французский историк, философ, искусствовед.

Тютчев Николай Николаевич (1815—1878) — друг И. С. Тургенева, управлявший его имением Спасское в 1850—1853 гг.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт.

Тютчева Александра Петровна (1822—1883) — жена Н. Н. Тютчева.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — поэт, деятельный член общества «Арзамас»; впоследствии министр просвещения.

Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик и историк литературы (основоположник германистики); автор драм, баллад, лирических стихотворений (многие положены на музыку Р. Шуманом, Ф. Мендельсоном и др.).

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — прозаик, создатель очерковых циклов «Нравы Растеряевой улицы», «Власть земли» и др.

Фарнгаген фон Энзе Карл Август (1785—1856) — немецкий писатель, встречавшийся с И. С. Тургеневым.

Фенелон Франсуа (1651—1715) — французский писатель, архиепископ Камбрийский; автор философско-утопического романа «Приключения Телемака» (1699), популярного в России.

Феоктистов Евгений Михайлович (1829—1898) — историк; с 1883 г. начальник главного управления по делам печати. Автор книги воспоминаний «За кулисами полнотики и литературы. 1848—1896».

Фет (наст. фам. Шеншин) *Афанасий Афанасьевич* (1820—1892).

Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782—1867) — митрополит Московский (с 1826 г.); участник составления манифеста 1861 г. об отмене крепостного права.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ.

Флобер Гюстав (1821—1880) — французский классик.

Флориан Жан Пьер (1755—1794) — французский поэт, прозаик; автор стихотворных идиллий, басен (в духе Ж. Лафонтена), а также пасторальных романов и повестей.

Фонтенель Бернар (1657—1757) — французский драматург, поэт.

Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792—1838) — архимандрит, настоятель Юрьевского монастыря; обличитель мистицизма и масонства.

Фридрих Каспар Давид (1774—1840) — немецкий живописец; представитель раннего романтизма.

Фролов Николай Григорьевич (1812—1855) — географ, переводчик, издатель журнала «Магазин земледения и путешествий»; был близок к кружку Н. В. Станкевича.

Фуке де ла Мотт (1777—1843) — немецкий писатель; автор рыцарских романов и романтической повести «Ундина», известной в России в вольном переводе В. А. Жуковского.

Хеббель Кристиан Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург и теоретик драмы.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, драматург.

Хлюстина М. С., в замужестве Бибилова (?—1876) — фрейлина.

Ховрины: Николай Васильевич — пензенский помещик, его жена *Мария Дмитриевна* (1801—1877) и дочь, детская писательница *Александра Николаевна*, в замужестве Бахметьева (1823—1901).

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, публицист, теоретик славянофильства.

Хотяинцева Александра Александровна (1865—1902) — художница, знакомая семьи Чеховых.

Худеков Сергей Николаевич (1837—1928) — издатель-редактор «Петербургской газеты».

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856).

Чайковский Петр Ильич (1840—1893).

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889).

Чехов Александр Павлович (1855—1913) — прозаик, публицист, мемуарист. Старший брат А. П. Чехова.

Чехов Антон Павлович (1860—1904).

Чехов Георгий Митрофанович — двоюродный брат А. П. Чехова.

Чехов Егор Михайлович (1798—1879) — дед А. П. Чехова.

Чехов Иван Павлович — брат А. П. Чехова, педагог.

Чехов Михаил Павлович (1865—1936) — прозаик, мемуарист. Брат и первый биограф А. П. Чехова.

Чехов Митрофан Егорович (1832—1894) — дядя А. П. Чехова.

Чехов Николай Павлович (1858—1889) — брат А. П. Чехова, художник.

Чехов Павел Егорович (1825—1898) — отец А. П. Чехова.

Чехова (Морозова) Евгения Яковлевна (1835—1919) — мать А. П. Чехова.

Чехова Мария Павловна (1863—1963) — мемуаристка, текстолог; сестра А. П. Чехова и его помощница. После смерти брата работала с его рукописями и письмами, готовя их к публикации. В 1921—1957 гг. — директор Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.

Шамфор Никола Себастьян Рок (1741—1794) — французский писатель; прославился «Похвальным словом Мольеру» и «Похвальным словом Лафонтену»; автор книги афоризмов, остроумных анекдотов «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты».

Шарко Жан-Мартен (1825—1893) — французский врач, основоположник невропатологии и психотерапии.

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель.

Шаховской Александр Александрович, князь (1777—1846) — драматург и театральная деятельность.

Шереметьева Н. Н. (1775—1850) — тетка Ф. И. Тютчева.

Шестов (Шварцман) Лев Исаакович (1866—1938) — философ, публицист; с 1922 по 1936 г. — профессор литературы в Парижском университете.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805).

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — поэт, драматург, переводчик; адмирал; в 1813—1841 гг. — президент Российской Академии наук; в 1824—1828 гг. — министр народного просвещения. Один из создателей литературного общества «Беседа любителей русского слова» (1811—1816). Автор книг «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка» (1803) и «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге русского языка» (1804), вызвавших бурную полемику.

Шмидт Юлиан Генрих (1818—1886) — немецкий критик.

Шопен Фридерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ.

Шпис Христиан Генрих (1755—1799) — немецкий прозаик и драматург; автор приключенческих романов.

Штурм Кристоф Христиан (1740—1786) — немецкий религиозный писатель; автор 12-томного труда «Утренние и вечерние размышления», изданного в переводе Н. И. Новиковым в 1787—1789 гг.

Щеглов (наст. фам. Леонтьев) *Иван Леонтьевич* (1856—1911) — прозаик, драматург, театровед; автор воспоминаний об А. П. Чехове.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — знаменитый актер московского Малого театра, игравший в пьесах Тургенева.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — прозаик, драматург, переводчица; друг семьи Чеховых. Правнучка великого актера М. С. Щепкина.

Эверс Лоренц (1742—1830) — профессор богословия в Дерптском университете. Жуковский посвятил ему стихотворение «Старцу Эверсу» (1815).

Эверс Иоганн Филипп Густав (1781—1830) — историк и юрист; профессор, с 1818 г. ректор Дерптского университета; создатель теории родового строя древнерусского быта.

Эдмон Шарль (наст. имя Карл Эдмунд Хоецкий; 1822—1877) — французский публицист, польский эмигрант.

Эфрос Николай Ефимович (1867—1923) — журналист, театральный критик, историк театра; автор книг «Московский Художественный театр. 1898—1923», «К. С. Станиславский. Опыт характеристики», о спектаклях по пьесам А. П. Чехова.

Юэсин (Сумбатов) *Александр Иванович* (1857—1927) — выдающийся актер, драматург; с 1909 по 1925 г. руководитель Малого театра.

Юрьевич Семен Алексеевич (1798—1865) — генерал от инфантерии; с 1826 г. помощник воспитателя при наследнике Александре Николаевиче.

Языков Михаил Александрович (1811—1885) — приятель Белинского, Некрасова, Тургенева, участвовавший в издании «Современника».

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт пушкинского круга.

Ясинский Иероним Иеронимович (псевд.— Максим Белинский; 1850—1931) — прозаик, журналист, редактор журналов «Ежемесячные сочинения» (1901—1902), «Беседа» (1903—1908), «Новое слово» (1908—1914).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Федор Степун</i> . Борису Константиновичу Зайцеву — к его восьмидесятилетню	3
--	---

РОМАНЫ-БИОГРАФИИ

Жизнь Тургенева	19
Жуковский	177
Чехов	329
<Чехов>. Добавления и заметки	463

ПРИЛОЖЕНИЯ

Борис Зайцев. Тургенев после смерти (<i>Заключение жизни</i>)	475
Борис Зайцев. Столетие «Записок охотника»	481
Борис Зайцев. Перечитывая Тургенева	487
Борис Зайцев. «Творчество из ничего». Вновь Чехов	491
ПРИМЕЧАНИЯ	496
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	519

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Собрание сочинений

Том 5

ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВА

Романы-биографии. Литературные очерки

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **М. С. Логвинова**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Подписано в печать. Формат 84×108/32. Бумага писчая. На вкл. — мелов.
Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 28,66 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд.
л. 33,10 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 5000 экз. С — 12. Зак. № 1138. Изд. инд.
ЛХ—171.

Издательство «Русская книга» Комитета Российской Федерации по печати.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
«Правда Севера». 163002, Архангельск, Новгородский пр., 32.

